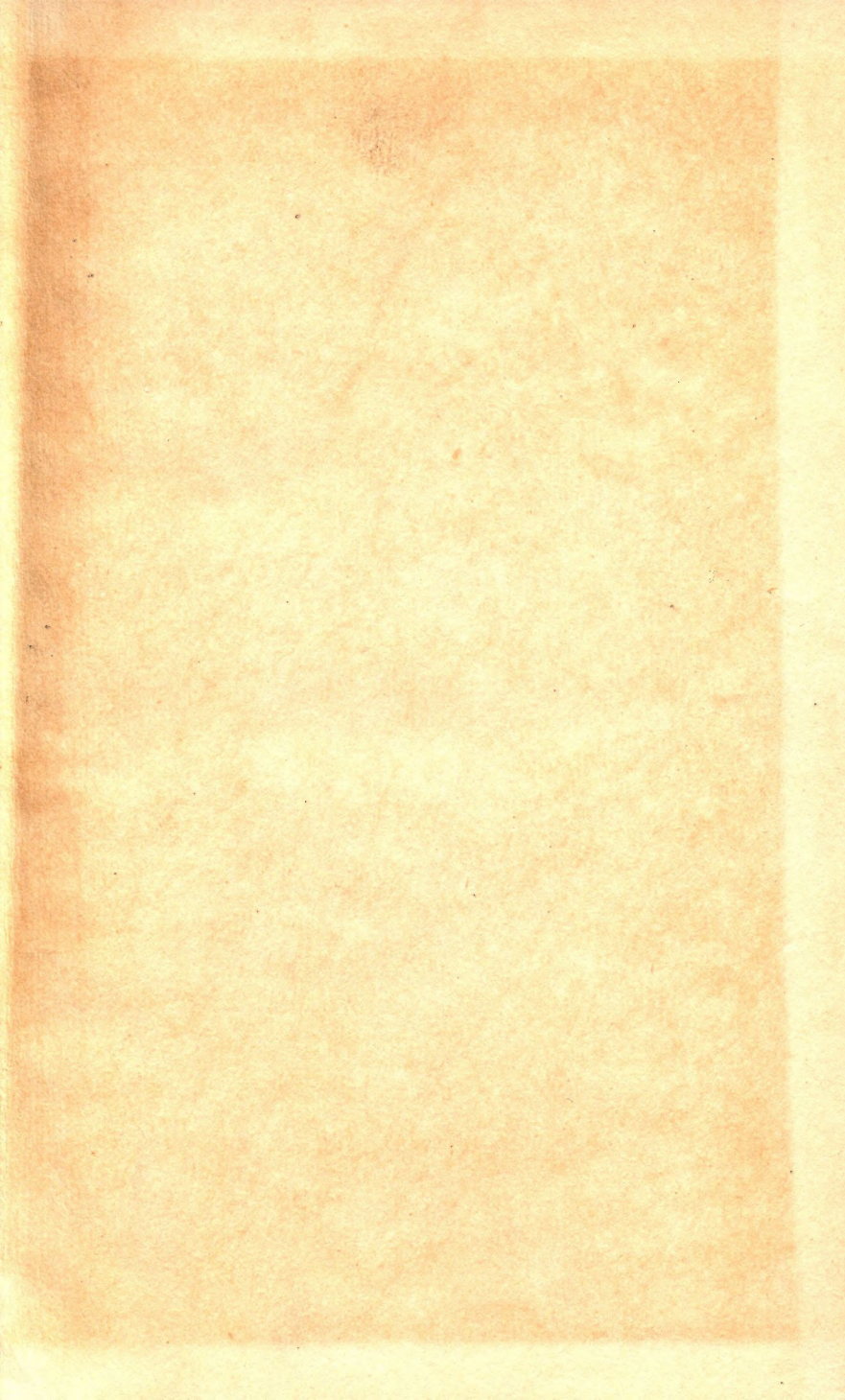
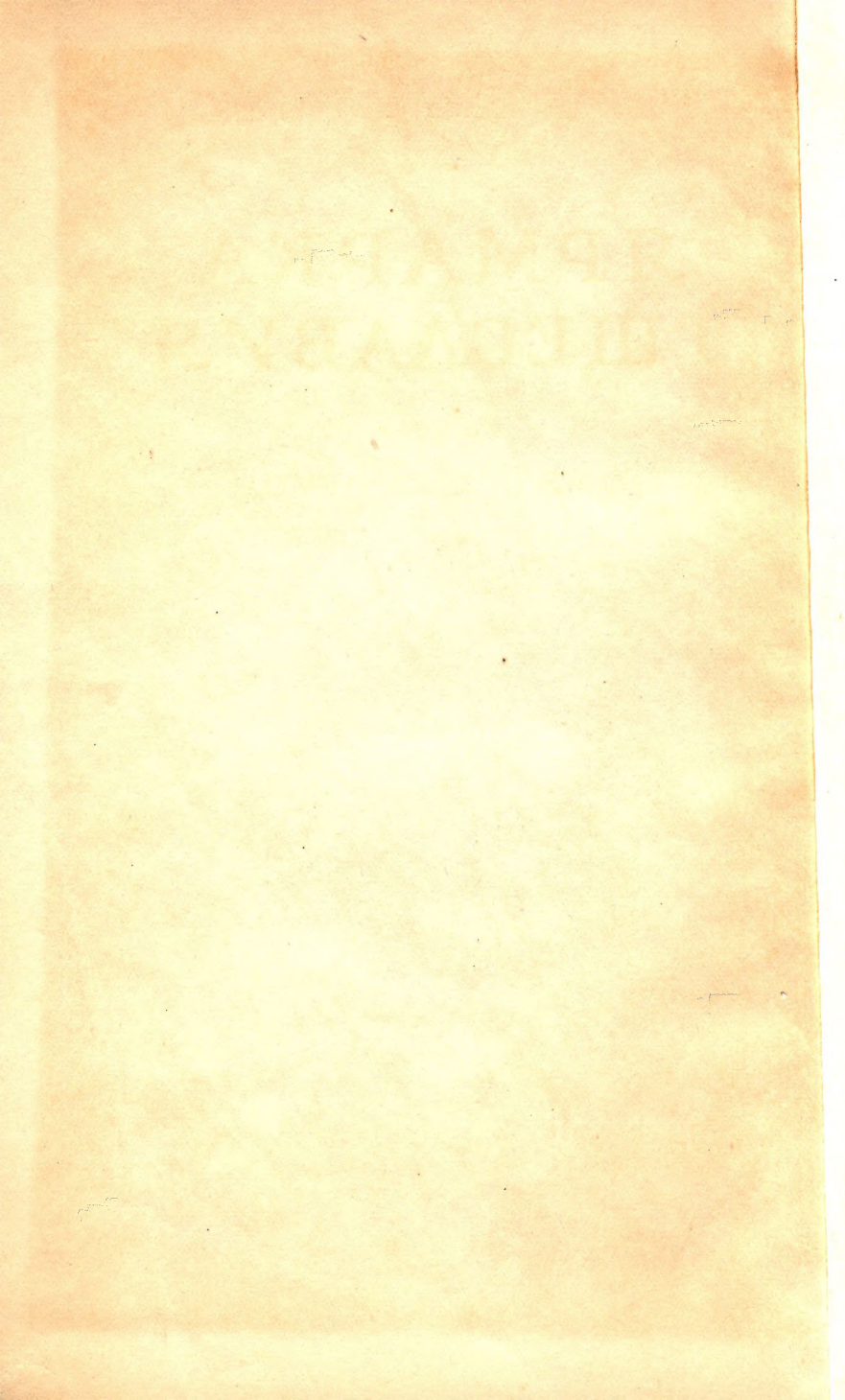




ВИЛЬЯМ ТЕККЕРЕЙ
ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ





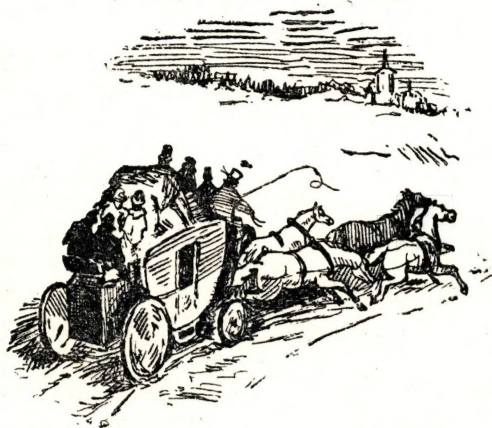


ВИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ

ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ

РОМАН БЕЗ ГЕРОЯ

Том II



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО БССР

Редакция художественной литературы

Минск 1956

Перевод с английского под редакцией
Р. М. ГАЛЬПЕРИНОЙ и М. Ф. ЛОРИЕ

Рисунки художника
Д. ДУБИНСКОГО

Настоящее издание печатается по тексту:

ВИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ

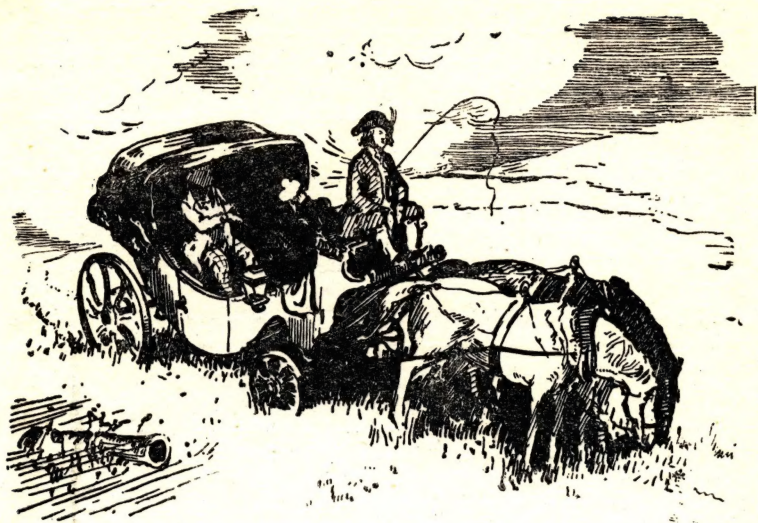
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ

роман без героя, том второй

Государственное издательство

художественной литературы

Москва 1953



ГЛАВА XXXV

Вдова и мать

Известия о больших сражениях при Катр-Бра и Ватерлоо пришли в Англию одновременно. «Газета» первая опубликовала эти славные донесения, заставив всю страну трепетать от торжества и ужаса. Затем последовали подробности: извещения о победах сменил нескончаемый список раненых и убитых. Кто в силах описать, с каким страхом разворачивались и читались эти списки! Вообразите, как встречали в каждой деревушке, чуть ли не в каждом уголке всех трех королевств великую весть о битвах во Фландрии, вообразите чувства ликования и благодарности, чувства незаменимой утраты и безысходного отчаяния, когда люди прочли эти списки и стало известно, жив или погиб близкий друг или родственник. Всякий, кто возьмет на себя труд просмотреть газеты того времени, даже теперь вчуже почувствует этот трепет ожидания. Список потерь печатался изо дня в день:

вы останавливались посредине его, как в рассказе, продолжение которого обещано в следующем номере. Подумайте только, с каким волнением ждали ежедневно этих листков по мере их выхода из печати! И если такой интерес возбуждали они в нашей стране — к битве, в которой участвовало лишь двадцать тысяч человек наших соотечественников, то подумайте о состоянии всей Европы двадцать лет тому назад, — там люди сражались не тысячами, а миллионами, и каждый поразивший врага жестоко ранил чье-нибудь невинное сердце далеко от поля битвы.

Известие, которое принесла знаменитая «Газета» семейству Осборнов, страшным ударом поразило обеих сестер и их отца. Но если девицы открыто предавались безутешной скорби, то тем горше было мрачному старику сносить тяжесть постигшего его несчастья. Он старался убедить себя, что это возмездие строптивцу за непослушание, и не смел сознаться, что он и сам потрясен суровостью приговора и тем, что его проклятие так скоро сбылось. Иногда он содрогался от ужаса, как будто и вправду был виновником постигшей сына кары. Раньше еще оставались какие-то шансы на примирение: жена Джорджа могла умереть или сам он мог прийти и сказать: «Отец, прости, я виноват». Но теперь уже не было надежды. Его сын стоял на другом краю бездны, не спуская с отца грустного взора. Старик вспомнил, что видел однажды эти глаза — во время лихорадки, когда все думали, что юноша умирает, а он лежал на своей постели безмолвный, с устремленным куда-то скорбным взглядом. Милосердный боже! Как отец цеплялся тогда за доктора и с какой тоскливой тревогой внимал ему! Какая тяжесть свалилась с его сердца, когда после кризиса мальчик стал поправляться и снова взглянул на отца сознательными глазами! А теперь не могло быть ни помощи, ни поправки, никакой надежды на примирение, а главное — никогда уже не услышит он тех смиренных слов, которые одни могли бы смягчить оскорбленное тщеславие отца и успокоить его отравленную яростью кровь. И трудно сказать, что больше терзало гордое сердце старика, — то, что его сын находился за пределами прощения, или то, что для него самого исчезла возможность услышать мольбу о прощении, которой так жаждала его гордость.

Однако, каковы бы ни были его чувства, суровый старик ни с кем не делился ими. Он никогда не произносил имени сына при дочерях, но приказал старшей одеть всю женскую прислугу в траур и пожелал, чтобы все слуги мужского пола тоже облеклись в черное. Приемы и развлечения были, конечно, отменены. Будущему зятю ничего не говорилось о свадьбе, и хотя день ее был уже давно назначен, один вид мистера Осборна удерживал мистера Буллока от расспросов или каких-либо попыток ускорить приготовления к венчанию. Он порой шептался об этом с дамами в гостиной, куда отец никогда не заходил, проводя все время у себя в кабинете. Вся парадная половина дома была закрыта на время траура.

Недели через три после 18 июня старый знакомый мистера Осборна, сэр Вильям Доббин, явился на Рассел-сквер, очень бледный и взволнованный, и настоял на том, чтобы быть допущенным к главе дома. Войдя в комнату и сказав несколько слов, которых не поняли ни сам говоривший, ни хозяин дома, посетитель достал письмо, запечатанное большой красной печатью.

— Мой сын, майор Доббин, — заявил олдермен с волнением, — прислал мне письмо с одним офицером *** полка, сегодня приехавшим в город. В письме моего сына было письмо к вам, Осборн. — Олдермен положил запечатанный пакет на стол, и Осборн минуту или две молча смотрел на посетителя. Взгляд этот испугал посланца, он виновато посмотрел на убитого горем человека и поспешил уйти, не добавив ни слова.

Письмо было написано знакомым смелым почерком Джорджа. Это было то самое письмо, которое он написал на рассвете 16 июня, перед тем как расстаться с Эмилией. На большой красной печати был оттиснут фальшивый герб с девизом «*Rex in bello*»¹, заимствованный Осборном из Книги пэров и принадлежавший герцогскому дому, в родстве с которым тщеславный старик хотел себя уверить. Рука, подписавшая письмо, никогда уже не будет держать ни пера, ни меча. Самая печать, которой оно было запечатано, была похищена у Джорджа, когда он мертвый лежал на поле сражения. Отец ничего не знал об

¹ «Мир во время войны» (лат.).

этом; он сидел и смотрел на конверт в немом ужасе и едва не упал, когда поднялся с кресла.

Были ли вы когда-нибудь в ссоре с близким другом? Какое мучение и какой укор для вас его письма, написанные в пору любви и доверия! Какое тяжкое страдание — задуматься над этими горячими излияниями умершего чувства! Какой лживой эпитафией звучат они над трупом любви! Какие это мрачные, жестокие комментарии к Жизни и Тщеславию! Большинство из нас получало или писало целые пачки таких писем. Это позорные тайны, которые мы храним и которых боимся. Осборн долго сидел, весь дрожа, над посланием умершего сына.

В письме бедного молодого офицера было сказано немного. Он был слишком горд, чтобы обнаружить нежность, которую чувствовал в сердце. Он только говорил, что накануне большого сражения хочет проститься с отцом, и заклинал его оказать покровительство жене и, может быть, ребенку, которых он оставляет после себя. Он с раскаянием признавался, что вследствие своей расточительности и беспорядочности уже растратил большую часть маленького материнского капитала. Он благодарил отца за его прежнее великодушие и обещал — что бы ни сулил ему завтрашний день, жизнь или смерть на поле битвы, — не опозорить имени Джорджа Осборна.

Свойственная англичанину гордость, быть может некоторое чувство неловкости не позволяли ему сказать больше. Отец не мог видеть, как он поцеловал адрес на конверте. Мистер Осборн уронил листок с горькой, смертельной мукой неудовлетворенной любви и мщенья. Его сын был все еще любим и не прощен.

Однако месяца два спустя, когда обе леди были с отцом в церкви, они обратили внимание на то, что он сел не на свое обычное место, с которого любил слушать службу, а на противоположную сторону, и что со своей скамьи он смотрит на стену над их головой. Это заставило молодых женщин также посмотреть в направлении, куда были устремлены мрачные взоры отца. И они увидели на стене затейливо разукрашенную мемориальную доску, на которой была изображена Британия, плачущая над урной; сломанный меч и спящий лев указывали на то, что это — памятник в честь павшего воина. Скульпторы того времени были очень изобретательны по

части таких погребальных эмблем, в чем вы можете и сейчас убедиться при взгляде на стены собора св. Павла, которые покрыты сотнями этих хвастливых языческих аллегорий. В течение первых пятнадцати лет нашего столетия на них был постоянный спрос.

Под мемориальной доской красовался пресловутый пышный герб Осборнов; надпись гласила: «Памяти Джорджа Осборна-младшего, эскайдра, покойного капитана его величества*** пехотного полка. Пал 18 июня 1815 года, 28 лет от роду, сражаясь за короля и отечество в славной битве при Ватерлоо. *Dulce et decorum est pro patria mori!*»¹

Вид этой плиты так подействовал на нервы сестрам, что мисс Мария была вынуждена покинуть церковь. Молящиеся почтительно расступились перед рыдающими девушками, одетыми в глубокий траур, и с сочувствием смотрели на сурового старика отца, сидевшего против памятника павшему воину.

— Простит ли он миссис Джордж? — говорили девушки между собой, как только прошел первый взрыв горя. Среди знакомых, которым было известно о разрыве между отцом и сыном из-за женитьбы последнего, тоже много говорилось о возможности примирения с молодой вдовой. Джентльмены даже держали об этом пари и на Рассел-сквере и в Сити.

Если сестры испытывали некоторое беспокойство относительно возможного признания Эмилии полноправным членом семьи, то это беспокойство еще увеличилось, когда в конце осени отец объявил, что уезжает за границу. Он не сказал куда, но дочери сразу сообразили, что путь его лежит в Бельгию; знали они и то, что вдова Джорджа все еще находится в Брюсселе, так как довольно аккуратно получали известия о бедной Эмилии от леди Доббин и ее дочерей. Наш честный капитан был повышен в чине, заняв место погибшего на поле битвы второго майора полка, а храбрый О'Дауд, который отличился в этом сражении, как и во многих других боях, где он имел возможность выказать хладнокровие и доблесть, был произведен в полковники и пожалован орденом Бани.

¹ Смерть за отечество отраднa и славна! (Гораций, Оды. III, 2, 13.)

Очень многие из доблестного *** полка, особенно пострадавшего во время двухдневного сражения, осенью находились еще в Брюсселе, где залечивали свои раны. В течение многих месяцев после великих битв город представлял собой обширный военный госпиталь. А как только солдаты и офицеры начали поправляться от ран, сады и общественные увеселительные места наполнились увечными воинами, молодыми и старыми, которые, только что избегнув смерти, предавались игре, развлечениям и любовным интригам, как и все на Ярмарке Тщеславия. Мистер Осборн без труда нашел людей *** полка. Он отлично знал их форму, привык следить за производствами и переменами в полку и любил говорить о нем и его офицерах, как будто сам служил в нем. На другой же день после приезда в Брюссель, выйдя из отеля, расположенного против парка, он увидел солдата в хорошо знакомой форме, отдохавшего под деревом на каменной скамье, и, подойдя к нему, с трепетом уселся возле выздоравливающего воина.

— Вы не из роты капитана Осборна? — спросил он и, помолчав, прибавил: — Это был мой сын, сэр!

Солдат оказался не из роты капитана, но здоровой рукой он с грустью и почтением прикоснулся к фуражке, приветствуя удрученного и расстроенного джентльмена, который обратился к нему с вопросом.

— Во всей армии не нашлось бы офицера лучше и храбрее его, — сказал честный служака. — Сержант роты капитана (теперь ею командует капитан Реймонд) еще в городе. Он только что поправился от ранения в плечо. Если ваша честь пожелает, вы можете повидать его, и он расскажет все, что вам угодно знать о... о подвигах *** полка. Но ваша честь, конечно, уже видели майора Доббина, близкого друга храброго капитана, и миссис Осборн, которая тоже здесь и которая, как слышно, была очень плоха. Говорят, она была не в себе около шести недель или даже больше. Но вашей чести это все, вероятно, уже известно, прошу прощения! — добавил солдат.

Осборн положил гинею в руку доброго малого и сказал, что он получит другую, если приведет сержанта в «Hotel du Parc». Это обещание возымело действие, и желаемый человек очень скоро явился к мистеру Осборну. Пер-

вый солдат рассказал одному-двум товарищам о том, какой мистер Осборн щедрый и великодушный джентльмен, после чего они отправились кутить всей компанией и изрядно повеселились, налегая на выпивку и закуску, пока не растранижирили до последней полушки деньги, доставшиеся им от разбитого горем старика отца.

В обществе этого сержанта, только что оправившегося после ранения, мистер Осборн предпринял поездку к Ватерлоо и Катр-Бра — поездку, которую совершали тогда тысячи его соотечественников. Он взял сержанта в свою карету и по его указаниям объездил оба поля сражения. Он видел то место дороги, откуда шестнадцатого числа полк двинулся в бой, и склон, с которого он сбросил французскую кавалерию, теснившую отступающих бельгийцев. Вот здесь благородный капитан сразил французского офицера, который схватился с юным прапорщиком из-за знамени, выпавшего из рук сраженного знаменосца. По этой дороге они отступали на следующий день, а вот здесь, вдоль этого вала, полк расположился на бивуак под дождем в ночь на семнадцатое. Дальше была позиция, которую они взяли и удерживали целый день, снова и снова перестраиваясь, чтобы встретить атаку неприятельской конницы, или ложились под прикрытие вала, спасаясь от бешеной французской канонады. И как раз на этом склоне, когда к вечеру была отбита последняя атака и английские войска двинуты в наступление, капитан с криком «ура!» бросился вниз, размахивая саблей, и тут же упал, настигнутый вражеской пулей.

— Это майор Доббин увез тело капитана в Брюссель, — промолвил тихо сержант, — и там похоронил его, как известно вашей чести.

Пока солдат рассказывал свою историю, крестьяне и другие охотники за реликвиями с поля битвы кричали вокруг них, предлагая купить на память о сражении кресты, орлы, эполеты и разбитые кирасы.

Осмотрев арену последних подвигов сына, Осборн распростился с сержантом и щедро наградил его. Место погребения он посетил уже раньше, побывав там сейчас же по прибытии в Брюссель. Тело Джорджа покоилось на живописном лекенском кладбище вблизи города. Когда-то вместе с веселой компанией капитан посетил это кладбище и беспечно выразил желание, чтобы тут была

его могила. Здесь-то друг и похоронил его, в неосвященном углу сада, отделенном невысокой изгородью от храмов и мавзолеев, от цветочных насаждений и кустов, под которыми покоились умершие католического исповедания. Старику Осборну показалось оскорбительным, что его сын, английский джентльмен, капитан славной британской армии, не удостоен погребения в земле, где лежат какие-то иностранцы. Трудно сказать, сколько тщеславия таится в наших самых горячих чувствах к ближним и как эгоистична наша любовь! Старик Осборн не раздумывал над смешанной природой своих ощущений и над тем, как боролись в нем отцовское чувство и эгоизм. Он твердо верил, что все, что он делает, правильно, что во всех случаях жизни он должен поступать по-своему, и, подобно жалу осы или змеи, его злобная, ядовитая ненависть обрушивалась на все, что стояло на его дороге. Гордость руководила им в ненависти, как и во всем. Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь, — разве не с помощью этих великих качеств тупость управляет миром?

Возвращаясь в экипаже после поездки в Ватерлоо и приближаясь на закате солнца к городским воротам, мистер Осборн встретил другую открытую коляску, в которой сидели две леди и джентльмен, а рядом ехал верхом офицер. Осборн отшатнулся, и сидевший рядом с ним сержант с удивлением посмотрел на своего спутника, отдавая честь офицеру, который машинально ответил на приветствие. В коляске была Эмилия, рядом с хромым юным прапорщиком, а напротив сидела миссис О'Дауд, ее верный друг. Да, это была Эмилия. Но как не похожа она была на ту свежую и миловидную девушку, которую знал Осборн! Лицо у нее осунулось и побледнело, прекрасные каштановые волосы были разделены прямым пробором под вдовьим чепцом. Бедное дитя! Ее глаза неподвижно смотрели вперед, но ничего не видели. Она в упор посмотрела на Осборна, когда их экипажи поравнялись, но не узнала его. Он также не узнал ее, пока не увидел Доббина, сопровождавшего верхом коляску, и тогда только сообразил, кто это. Он ненавидел ее. Он даже не подозревал, что так сильно ее ненавидит, пока не встретил ее. Когда экипаж скрылся из виду, он уставился на изумленного сержанта с таким вызовом и злобою в глазах.

словно говорил: «Как вы смеете смотреть на меня? Будьте вы прокляты! Да, я ненавижу ее! Это она разбила мои надежды, растоптала мою гордость».

— Скажите этому мерзавцу, чтобы ехал быстрее! — приказал он бранчливо груму, сидевшему на козлах.

Но минуту спустя раздался стук копыт по мостовой, и коляску Осборна нагнал Доббин. Мысли честного Вильяма были где-то далеко, когда их экипажи встретились, и только проехав несколько шагов, он сообразил, что то был Осборн. Доббин обернулся, чтобы посмотреть, произвела ли эта встреча какое-нибудь впечатление на Эмилию, но бедняжка попрежнему ничего не замечала вокруг. Тогда Вильям, обычно сопровождавший ее во время прогулок, вынул часы и, ссылаясь на дела, о которых вдруг вспомнил, отъехал прочь. Эмилия не видела и этого: глаза ее были устремлены на незатейливый пейзаж, на темневший в отдалении лес, по направлению к которому ушел от нее Джордж со своим полком.

— Мистер Осборн! Мистер Осборн! — крикнул Доббин, подъезжая к экипажу и протягивая руку.

Осборн не сделал никакого движения, чтобы ответить на приветствие, и только раздраженно приказал слуге ехать дальше. Доббин положил руку на край коляски.

— Я должен поговорить с вами, сэр, — сказал он, — у меня есть к вам поручение.

— От этой женщины? — злобно выговорил Осборн.

— Нет, — отозвался Доббин, — от вашего сына.

При этих словах Осборн откинулся в угол коляски, и Доббин, пропустив экипаж вперед, в молчании последовал за ним через весь город, до самой гостиницы, где остановился Осборн. Затем Доббин поднялся вслед за Осборном в его комнаты.

Джордж часто бывал здесь: это было то самое помещение, которое во время своего пребывания в Брюсселе занимали супруги Кроули.

— Пожалуйста, если у вас поручение ко мне, капитан Доббин... или, виноват, мне следовало сказать — *майор* Доббин... поскольку истинные храбрецы умерли и вы заняли их место... — промолвил мистер Осборн тем саркастическим тоном, который был ему так свойствен.

— Да, истинные храбрецы умерли, — отвечал Доббин. — И я хочу поговорить с вами об одном из них.

— Будьте кратки, сэр, — сказал Осборн, мрачно взглянув на посетителя.

— Я пришел к вам в качестве его ближайшего друга и исполнителя его воли, — продолжал майор. — Он оставил завещание, перед тем как идти в бой. Известно ли вам, как ограничены были его средства и в каком стесненном положении находится вдова?

— Я не знаю никакой вдовы, сэр, — заявил Осборн, — пусть она возвращается к своему отцу.

Но джентльмен, к которому он обращался, решил не терять самообладания и, пропустив это замечание мимо ушей, продолжал:

— Знаете ли вы, сэр, в каком положении находится миссис Осборн? Ее жизнь и рассудок были в опасности. Бог весть, поправится ли она. Правда, некоторая надежда есть, и вот об этом-то я и пришел поговорить с вами. Она скоро будет матерью. Перенесете ли вы вину родителей на голову ребенка, или простите ребенка в память бедного Джорджа?

Осборн разразился в ответ напыщенной речью, в которой самовосхваления чередовались с проклятиями. С одной стороны, он старался оправдать свое поведение перед собственной совестью, а с другой — преувеличивал непокорность Джорджа. Ни один отец в Англии не обращался с сыном более великодушно, и это не помешало неблагодарному восстать против отца. Он умер не раскаявшись, — пусть же на него падут последствия непокорности и безрассудства. Что касается самого мистера Осборна, то его слово свято: он поклялся никогда не говорить с этой женщиной и не признавать ее женой своего сына.

— Это вы и передайте ей, — закончил он с проклятием, — и на этом я буду стоять до гробовой доски!

Итак, надежды не было. Вдова должна жить на свои ничтожные средства или на ту помощь, какую ей окажет Джоз.

«Я мог бы передать ей эти слова, но она не обратит на них внимания», — подумал опечаленный Доббин. Мысли бедняжки со времени постигшей ее катастрофы витали далеко, и, угнетенная горем, она была одинаково равнодушна к добру и к злу. Так же равнодушно она относилась к дружбе и ласке — безучастно принимала их и снова погружалась в свое горе.

Целый год прошел после только что описанной беседы. Первые месяцы этого года Эмилия провела в таком глубоком и безутешном горе, что даже мы, наблюдающие и описывающие каждое движение этого слабого и нежного сердца, должны отступить перед его страданиями. Молча обойдем это ложе скорби, прикроем осторожно дверь темной комнаты, где томится изнемогающее существо, как это делали добрые люди, ухаживавшие за нею в течение первых месяцев ее страданий и не покидавшие ее, пока, наконец, небеса не послали ей утешение. И вот наступил день, принесший трепетный восторг и изумление, когда бедная овдовевшая девочка прижала к своей груди ребенка, — ребенка с глазами покойного Джорджа, крошку-сына, прекрасного, как херувим! Каким чудом был его первый крик! Как она плакала и смеялась, склонясь над ним! Как пробудились вновь любовь, надежды и молитва в груди, к которой прижался малютка! Она была спасена. Доктора, лечившие ее и опасавшиеся за ее жизнь и рассудок, с беспокойством ждали этой минуты, прежде чем поручиться за благополучный исход. Друзья, постоянно находившиеся при ней в эти долгие месяцы сомнений и страха, были вознаграждены, когда увидели, что ее глаза опять засияли нежностью.

Одним из них был наш друг Доббин. Это он привез Эмилию назад в Англию, в дом ее матери, когда миссис О'Дауд, получив настоятельное предписание от мужа-полковника, вынуждена была покинуть свою пациентку. Видеть, как Доббин носит на руках ребенка и слышать торжествующий смех Эмилии, которая следит за ним, доставило бы удовольствие всякому, в ком теплится хотя бы искра юмора. Вильям был крестным отцом ребенка и изошрял всю свою изобретательность, покупая чашки, ложки, рожки и коралловые погремушки для своего маленького крестника.

О том, как мать, жившая только им одним, холила, пеленала младенца, как она отстраняла всех нянек и не позволяла ничьей руке, кроме своей, его касаться и считала, что оказывает величайшую милость его крестному отцу, Доббину, позволяя ему иногда нянчить ребенка, — обо всем этом мы не будем здесь распространяться. В ребенке была вся ее жизнь. Материнство поглощало ее цели-

ком. Она окутывала слабое, беспомощное существо своей любовью и обожанием. Ребенок высасывал самую жизнь из ее груди. По ночам, одна в своей спаленке, Эмилия испытывала тайные и бурные восторги материнской любви, какие господь в своей неизреченной милости дарует женскому инстинкту, радости, недоступные разуму и в то же время превышающие его, — чудесное слепое обожание, известное только женскому сердцу. Вильям Доббин любил размышлять о переживаниях Эмилии и наблюдать движения ее души. И если любовь помогала ему угадывать почти все чувства, волновавшие это сердце, он убеждался — увы! с роковой очевидностью, — что для него там нет места. Но, зная это, он все же покорно мирился с своей судьбой.

Мне думается, отец и мать Эмилии понимали майора и были даже непрочь поощрить его. Ведь Доббин приезжал ежедневно и сидел подолгу с ними, или с Эмилией, или с почтенным домохозяином мистером Клепом и его семьей. Он почти каждый день привозил всем подарки то под тем, то под другим предлогом, и хозяйская дочка, любимица Эмилии, прозвала его «Майор Пряник». Эта маленькая девочка обычно исполняла роль церемониймейстера, докладывая о его приходе миссис Осборн. Однажды она встретила «Майора Пряника» со смехом: он прибыл в Фулем в кебе и, сойдя, вынул из него деревянную лошадку, барабан, трубу и другие такие же воинственные подарки для маленького Джорджи, которому едва исполнилось шесть месяцев и для которого эти гостинцы были явно преждевременными.

Ребенок только что уснул.

— Тсс! — прошептала Эмилия, вероятно досадуя на скрипевшие сапоги майора. Она протянула ему руку и улыбнулась, так как Вильям не мог пожать ее, пока не освободился от своих покупок.

— Ступай-ка вниз, крошка Мери! — обратился он к девочке. — Мне нужно поговорить с миссис Осборн.

Эмилия посмотрела на него удивленно и положила сына в постельку.

— Я пришел проститься с вами, Эмилия, — сказал он, ласково беря ее маленькую худенькую ручку.

— Проститься? Куда же вы уезжаете? — спросила она с улыбкой.

— Направляйте письма моим агентам, — отвечал он, — они будут пересылать их дальше. Ведь вы будете писать мне, не правда ли? Я уезжаю надолго.

— Я буду писать вам о Джорджи, — сказала Эмилия. — Милый Вильям, как вы были добры к нему и ко мне!.. Взгляните на него! Правда, он похож на ангелочка?

Маленькие розовые пальчики машинально охватили палец честного солдата, и Эмилия с ясной материнской радостью заглянула в его лицо. Самый суровый взор не мог бы ранить Доббина больше, чем этот ласковый взгляд, отнимавший у него всякую надежду. Он склонился над ребенком и матерью. С минуту он не мог говорить и, только собрав все свои силы, заставил себя произнести:

— Бог да благословит вас!

— Да благословит вас бог! — ответила Эмилия и, подняв к нему лицо, поцеловала его. — Тсс! Не разбудите Джорджи, — добавила она, когда Доббин тяжелыми шагами направился к двери. Она не слышала шума колес отъезжавшего кеба: она смотрела на ребенка, который улыбался во сне.



ГЛАВА XXXVI

*Как можно жить — и жить припеваючи —
неизвестно на что*

Пожалуй, на нашей Ярмарке Тщеславия не найдется человека, столь мало наблюдательного, чтобы не задуматься иногда над образом жизни своих знакомых, или столь милосердного, чтобы не удивляться тому, как его сосед Джонс или Смит умудряются сводить концы с концами. При всем моем уважении, например, к семейству Дженкинсов (я обедаю у них два-три раза в году), я не могу не сознаться, что появление их в Парке в открытой коляске, в сопровождении рослых лакеев, всегда будет представлять для меня необъяснимую загадку. Хотя я и знаю, что экипаж берется напрокат и вся прислуга у Дженкинсов служит только за стол и квартиру, все же три человека и экипаж составляют годовой расход по меньшей мере в шестьсот фунтов. А тут еще их великолепные обеды, содержание двух сыновей в Итоне, дорогая гувернантка и учителя для девочек, поездка за границу или в Истберн и Уортинг осенью, ежегодный бал с ужином от Гантера (который, кстати сказать, постав-

ляет Дженкинсам большинство их парадных обедов, что мне хорошо известно, так как я был приглашен на один из них, когда понадобилось заполнить пустое место, и сразу заметил, что эти трапезы не сравнимы с обычными обедами Дженкинсов для более скромных гостей), — кто, повторяю я, несмотря на самые доброжелательные чувства, не задастся вопросом: как Дженкинсы выходят из положения? В самом деле, кто такой Дженкинс? Мы все знаем, что это чиновник по Ведомству сургуча и гусиных перьев с жалованьем в тысячу двести фунтов в год. Может быть, у его жены есть состояние? Какое там! Урожденная мисс Флинт — одна из одиннадцати детей мелкого помещика в Бакингемпшире. Все, что она получает от своей семьи, — это индейка к рождеству, и за это ей приходится содержать двух или трех своих сестер в каникулярное время и оказывать гостеприимство братьям, когда они приезжают в столицу. Вы спросите, как Дженкинс справляется при таком бюджете? А я вас спрашиваю, как должен спросить каждый из его друзей: как это до сих пор сходит ему с рук и как он мог (к всеобщему удивлению) вернуться в прошлом году из Булони?

«Я» введено здесь для олицетворения света вообще, это — миссис Гранди * в личном кругу каждого уважаемого читателя, которому, несомненно, знакомы семейства, живущие неизвестно на что. Я не сомневаюсь, что все мы выпили немало стаканов вина за здоровье гостеприимного хозяина, удивляясь в душе, как он, черт побери, заплатил за это вино!

Три или четыре года спустя после приезда из Парижа, когда Родон Кроули с женой водворились в очень маленьком уютном домике на Керзон-стрит, в Мейфэре, едва ли нашелся бы хоть один человек среди многочисленных друзей, посещавших их, который не задавал бы себе такого же вопроса применительно к этой интересной паре. Романист — как о том уже говорилось — знает все; и поскольку я могу рассказать уважаемой публике, как Кроули и его жена умудрялись жить на несуществующие доходы, то да будет мне позволено просить газеты, имеющие обыкновение заимствовать выдержки из всякого рода периодических изданий, не перепечатывать нижеприведенные точные выкладки и данные, ибо мне, как исследователю, впервые открывшему их ценою некоторых ощутительных

издержек, принадлежит преимущественное право на все проистекающие отсюда льготы и выгоды.

«Сын мой, — сказал бы я, если бы судьба благословила меня сыном, — ты можешь путем постоянного общения с человеком и при некоторой доле пытливости узнать, каким образом ему удастся жить — и жить припеваючи — неизвестно на что. Но лучше не сближаться с подобными джентльменами и довольствоваться сведениями из вторых рук, как ты делаешь, пользуясь логарифмами: ибо вычислить их самому, поверь, покажется тебе чересчур накладным».

Итак, Кроули с женой, не имея никакого дохода, жили в Париже счастливо и безбедно в течение двух или трех лет, о которых мы можем рассказать только очень кратко. В этот период Родон покинул гвардию и продал свой патент. И когда мы снова встречаемся с ним, его усы и чин полковника, обозначенный на визитной карточке, — это все, что осталось от его военного звания.

Мы уже упоминали, что Ребекка вскоре после своего прибытия в Париж заняла первенствующее место в столичном обществе и была радушно встречена во многих домах французской знати. Англичане из высшего света, проживавшие в Париже, также ухаживали за нею — к негодованию своих жен, которые терпеть не могли этой выскочки. В течение нескольких месяцев салоны Сен-Жерменского предместья*, в которых она утвердилась, и блеск нового двора, где она встречала радужный прием, кружили голову миссис Кроули и, пожалуй, несколько опьянили ее, — и в период этого восторженного состояния она даже склонна была третировать некоторых друзей, преимущественно молодых военных, составлявших постоянное общество ее супруга.

Полковник в свою очередь зевал среди герцогинь и важных придворных дам. Старухи, игравшие в экарте, поднимали такой шум из-за каждой пятифранковой монеты, что Родон считал потерю времени садиться с ними за карточный стол. Остроумия их разговоров он не мог оценить, так как не знал их языка. «И что за охота жене, — думал он, — целый вечер делать реверансы всем этим принцессам?» Вскоре он предоставил Ребекке выезжать одной, а сам предался обычным своим развлечениям,

проводя время среди добрых друзей, подобранных по собственному вкусу.

Когда мы говорим о джентльмене, что он живет роскошно неизвестно на что, мы употребляем слово «неизвестно» для обозначения чего-то неизвестного *нам*, желая дать понять, что мы не знаем, из каких источников наш джентльмен покрывает свои расходы. Что касается нашего приятеля полковника, то все мы знаем, что у него была большая склонность ко всякого рода азартным играм, и так как ему приходилось постоянно иметь дело с картами, костями и кием, естественно предположить, что он приобрел гораздо большую ловкость в обращении с этими орудиями, чем люди, только случайно за них взявшиеся. Искусное владение бильярдным кием подобно владению карандашом, флейтой или рапирой: вы не можете сразу овладеть такого рода орудием, и только благодаря повторным упражнениям и настойчивости, в соединении с природными способностями, человеку удастся достичь совершенства в пользовании ими. Так, Кроули из блестящего любителя бильярдной игры превратился в законченного артиста. Как у великого полководца, его гений возрастал вместе с опасностью, и когда счастье явно не благоприятствовало ему и против него уже держали пари, он с поразительным искусством и смелостью делал вдруг несколько ловких ударов, изменявших ход игры, и выходил в конце концов победителем — к удивлению всех, то есть тех, кто незнаком был с его методой. Те же, кто знал его, с большой осторожностью ставили против человека, обладавшего такими неожиданными ресурсами и блестящим, непобедимым мастерством.

В карточной игре он был так же искусен, хотя в начале вечера постоянно проигрывал, понтируя столь небрежно и делая такие промахи, что вводил в заблуждение новичков. Но когда после повторных маленьких проигрышей он делался энергичнее и осторожнее, все замечали, что игра Кроули совершенно меняется, и тут уж можно было с уверенностью сказать, что он разобьет противника в пух и прах, прежде чем закончится вечер. И действительно, очень немногие могли похвалиться, что им удавалось его обыграть.

Его успехи были настолько постоянны, что не удиви-

тельно, если завистники и побежденные иногда отзывались о нем со злобой. И как французы говорили о герцоге Веллингтоне, который никогда не терпел поражений, что только счастливое стечение обстоятельств доставляет ему победу, — они допускали даже, что он сплутовал при Ватерлоо и только поэтому выиграл эту последнюю ставку, — так и в Англии, в штаб-квартире игроков, давно уже намекали на то, что неизменные успехи полковника Кроули объясняются, возможно, нечистой игрой.

Хотя к услугам игроков в Париже были Фраскатти и Салон, но мания игры распространилась столь широко, что для удовлетворения общей потребности не хватало игорных домов, и игра велась в частных домах с таким усердием, как будто не было публичных мест для утоления этой страсти. На очаровательных маленьких *géni-
ons*¹ у Кроули по вечерам тоже предавались этому роковому развлечению, к большой досаде добродушной маленькой миссис Кроули. Она говорила о страсти своего мужа к игре с крайним недовольством и жаловалась на это всем, кто посещал ее вечера. Она умоляла молодых людей никогда не прикасаться к игральным костям, а когда юный Грин из стрелкового полка проиграл очень значительную сумму, Ребекка провела целую ночь в слезах, как рассказывала ее горничная этому несчастному молодому джентльмену, и буквально валялась у мужа в ногах, умоляя его простить долг и сжечь вексель. Но как мог он это сделать? Он сам проиграл столько же Блэкстону из гусарского полка и графу Пейнтеру из ганноверской кавалерии. Грину можно дать отсрочку, но платить... конечно, заплатить он должен. Говорить о том, чтобы сжечь расписку, — это просто детская болтовня.

И другие офицеры — большей частью молодые, потому что вокруг миссис Кроули собиралась обычно молодежь, — уходили с этих вечеров с вытянутыми лицами, оставив более или менее значительные суммы за ее карточными столами. Ее дом стал приобретать печальную славу, и опытные игроки предупреждали менее опытных об опасности. Полковник О'Дауд *** полка, входившего в состав оккупационных войск в Париже, предостерег таким образом лейтенанта Спунни того же полка. В «Café de Paris»

¹ Собрания, встречи (франц.).

между обедавшими там упомянутым пехотным полковником и супругой, с одной стороны, и полковником Кроули и миссис Кроули — с другой, произошла ссора, наделавшая много шума. Обе дамы участвовали в стычке. Миссис О'Дауд щелкнула пальцами перед носом миссис Кроули и назвала ее мужа «форменным шулером». Полковник Кроули вызвал на дуэль полковника О'Дауда, кавалера ордена Бани. Главнокомандующий, услышав о ссоре, пригласил к себе полковника Кроули, который уже готовил пистолеты — те самые, из которых он застрелил капитана Маркера, — и так убедительно побеседовал с ним, что дуэль не состоялась. Если бы Ребекка не упала на колени перед генералом Тафто, Кроули был бы отправлен назад в Англию. В течение нескольких недель после этого он играл только со штатскими.

Но, несмотря на неоспоримое искусство Родона и его неизменные успехи, Ребекка, поразмыслив, пришла к выводу, что их положение непрочное и что, хотя они почти никому не платят, их маленький капитал грозит в один прекрасный день обратиться в нуль.

— Карточная игра, дорогой мой, — говорила она, — хороша как дополнение к доходу, но не как доход сам по себе. Рано или поздно людям надоест играть, и что же тогда нам делать?

И Родону пришлось с ней согласиться. Он уже не раз замечал, что после нескольких приятных ужинов в их доме джентльменам и в самом деле надоедала игра с ним, и, несмотря на чары Ребекки, они не торопились повторить свое посещение.

Жизнь в Париже текла легко и привольно, но в сущности это была праздная забава и пустое развлечение, и Ребекка решила, что пора ей серьезно заняться судьбою мужа у себя на родине: необходимо было найти ему место или исхлопотать для него должность в Англии или в колониях. И она решила вернуться домой, как только для них будет расчищен путь. Для начала она заставила Кроули продать патент и выйти в отставку на половинную пенсию. Его обязанности как адъютанта Тафто прекратились еще раньше. Ребекка повсюду высмеивала этого офицера, его тупей (который он соорудил себе по приезду в Париж), корсет, фальшивые зубы, а больше всего — его поползновения слыть сердцеедом

и нелепое тщеславие, заставлявшее его видеть чуть ли не в каждой женщине, к которой он приближался, свою жертву. Теперь генерал перенес все свое внимание — букеты, обеды в ресторанах, логи в опере и безделушки — на миссис Brent, густобровую жену комиссара Brenta. Бедная миссис Тафто не стала от этого счастливее и все так же проводила долгие вечера одна со своими дочерьми, зная, что ее генерал, завитой и надушенный, уезжает, чтобы простоять весь спектакль за креслом миссис Brent. Конечно, у Бекки немедленно оказалась на его месте дюжина других поклонников, и она могла своим остроумием уничтожить соперницу. Но, как мы уже говорили, эта праздная светская жизнь утомила ее. Ложи в театрах и обеды в ресторанах наскучили ей; из букетов нельзя было делать запасов на будущее, и она не могла жить на безделушки, кружевные носовые платки и лайковые перчатки. Ребекка чувствовала тщету удовольствий и стремилась к более существенным благам.

Как раз в это время пришло известие, которое мгновенно распространилось среди многочисленных кредиторов полковника в Париже и немало их успокоило: мисс Кроули, его богатая тетка, от которой он ожидает огромного наследства, при смерти; полковник должен спешить к одру умирающей. Миссис Кроули с ребенком останется в Париже, пока муж не приедет за ними. Родон отправился в Кале, куда и прибыл благополучно. Можно было думать, что оттуда он поедет в Дувр, но вместо того он взял место в дилижансе, направлявшемся в Дюнкерк, а там прямехонько проехал в Брюссель, куда его давно тянуло. Дело в том, что в Лондоне у него было еще больше долгов, чем в Париже, и он предпочитал обеим шумным столицам тихий бельгийский городок.

Тетка умерла. Миссис Кроули заказала глубокий траур для себя и для маленького Родона. Полковник был занят устройством дел о наследстве. Они могли теперь снять в гостинице комнаты в бельэтаже взамен маленьких антресолей, которые до сих пор занимали. Миссис Кроули и хозяин отеля устроили совещание по поводу новых драпировок и дружески пререкались о коврах. Наконец все было улажено — кроме денежного счета. Ребекка уехала в одной из карет отеля; с нею отбыли ее французенканья и сын. Любезный хозяин и хозяйка гостиницы на

прощанье улыбались ей, стоя у подъезда. Генерал Тафто неистовствовал, когда узнал, что Ребекка уехала, а миссис Брент неистовствовала оттого, что он неистовствует. Лейтенант Спунни был поражен в самое сердце. Хозяин заранее готовил свои лучшие комнаты к возвращению прелестной маленькой женщины и ее супруга. Он увязал и тщательно хранил сундуки, которые она поручила его величайшим заботам. Madame Кроули умоляла беречь их как зеницу ока. Однако, когда впоследствии они были вскрыты, в них не оказалось ничего особенно ценного.

Прежде чем присоединиться к мужу в бельгийской столице, миссис Кроули предприняла поездку в Англию, а своего маленького сына оставила на континенте, на попечении его французской няни.

Разлука матери с ребенком не причинила больших огорчений ни той, ни другой стороне. По правде говоря, Ребекка не слишком много внимания уделяла юному джентльмену с самого его рожденья. По милому обычаю французских матерей, она поместила его в деревне в окрестностях Парижа, у кормилицы, где маленький Родон благополучно провел первые месяцы своей жизни среди многочисленных молочных братьев, бегавших в деревянных башмаках. Отец нередко приезжал навещать его, и родительское сердце Родона-старшего радовалось при виде загорелого чумазого мальчугана, который весело визжал, делая из песка пирожки под наблюдением своей кормилицы, жены садовника.

Ребекка не очень-то стремилась видеть своего сына и наследника: однажды он испортил ей новую ротонду прелестного жемчужно-серого цвета. Малыш предпочитал ласки нянюшки ласкам матери, и когда, наконец, ему пришлось покинуть свою веселую кормилицу и почти родительницу, он в течение нескольких часов громко плакал и утешился только тогда, когда мать обещала, что он вернется к кормилице на следующий же день. Да и доброй крестьянке, которая, вероятно, также огорчилась разлукой, было сказано, что ребенок вскоре вернется к ней, и некоторое время она с нетерпением его ждала...

В сущности наши друзья были, можно сказать, первыми из той стаи смелых английских авантюристов, которые позднее наводнили континент, промышляя во всех

европейских столицах. В те счастливые 1817—1818 годы уважение к богатству и достоинству англичан еще не было поколеблено. В то время они, как я слышал, еще не научились торговаться при покупках с той настойчивостью, которая отличает их теперь. Большие города Европы не были еще открыты для деятельности наших предприимчивых плутов. Если в настоящее время едва ли найдется город во Франции или в Италии, где бы вы не встретили наших благородных соотечественников, ведущих себя с тем беспечным чванством и наглостью, которые от нас неотъемлемы, надувающих хозяев отелей, сбывающих доверчивым банкирам фальшивые чеки, похищающих у каретников их экипажи, у ювелиров — драгоценные украшения, у легкомысленных путешественников — деньги за карточным столом... и даже книги из общественных библиотек, — то тридцать лет назад наша репутация не была так прочно установлена: стоило вам только назваться «английским милордом», путешествующим в собственном экипаже, — и к вашим услугам был кредит повсюду, где вы только пожелаете, и благородные джентльмены не столько обманывали, сколько сами оказывались обманутыми.

Хозяин гостиницы, где жили супруги Кроули во время пребывания в Париже, обнаружил понесенные им убытки лишь спустя несколько недель после их отъезда, не прежде, чем к нему много раз заходила madame Марбу, модистка, со своим счетиком за вещи, которые она поставляла madame Кроули, и monsieur Дидло из Буль д'Ор в Пале-Рояле, осведомлявшийся раз пять-шесть, не вернулась ли очаровательная миледи, которая покупала у него часы и браслеты. Оказалось, что даже бедной жене садовника, кормившей ребенка миледи, только за первые шесть месяцев были оплачены молоко и материнская ласка, которые она щедро отдавала веселому и здоровому маленькому Родону. Повторяем, даже кормилице не было заплачено: Кроули слишком спешили, чтобы помнить о таком незначительном долге. Что же касается хозяина гостиницы, то он до конца своей жизни нещадно ругал всю английскую нацию и расспрашивал проезжающих, не знают ли они некоего полковника, лорда Кроули, avec sa femme — une petite dame, très spirituelle¹.

¹ С женой, очень остроумной маленькой особой (франц.).

— Ah, monsieur, — добавлял он, — ils m'ont affreusement volé¹.

Грустно было слушать его жалобы по поводу постигшего его разочарования.

Цель путешествия Ребекки в Лондон заключалась в том, чтобы добиться полюбовного соглашения с многочисленными кредиторами Родона и, предложив им по девяти пенсов или по шиллингу за фунт, дать мужу возможность вернуться на родину. Мы не будем здесь входить в рассмотрение тех шагов, которые она предприняла для совершения этой трудной сделки. Доказав кредиторам с полной убедительностью, что сумма, которую она уполномочена им предложить, составляет весь наличный капитал ее мужа, уверив их, что полковник Кроули предпочтет постоянное пребывание на континенте — жизни с непогашенными долгами у себя на родине и что у него не предвидится никаких денег из других источников и, стало быть, им нечего надеяться на лучшие условия, Ребекка добилась того, что кредиторы полковника единодушно согласились на ее предложение, и она таким образом за тысячу пятьсот фунтов наличными скупила долговые обязательства на сумму вдесятеро бóльшую.

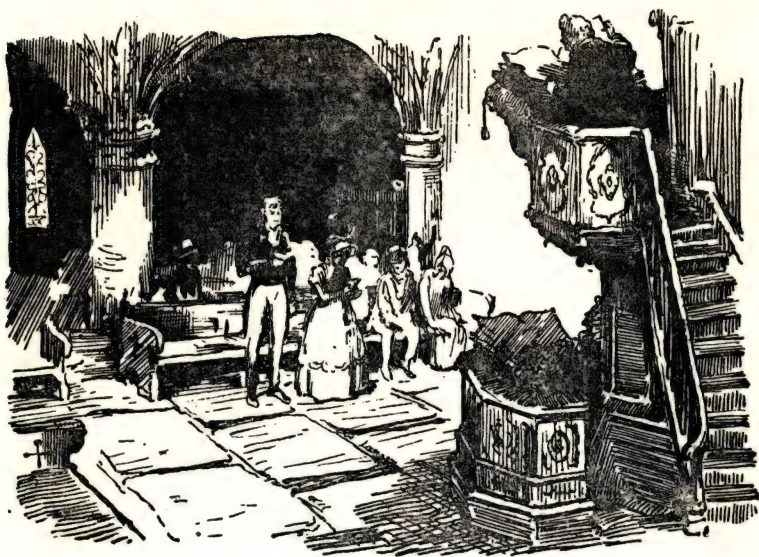
Миссис Кроули не пользовалась услугами юристов при заключении этой сделки: вопрос был настолько ясен — хотите — берите, не хотите — не надо, как она справедливо заметила, — что она предоставила поверенным кредиторов самим уладить дело. И мистер Льюис, представитель мистера Дэвидса с Ред-Лайон-сквера, и мистер Мос, действующий за мистера Менеси с Керситор-стрит (это были главные кредиторы полковника), наговорили его жене комплиментов, поздравили ее с блестящим ведением дела и заявили, что она побьет любого профессионала.

Ребекка приняла эти поздравления с подобающей скромностью; распорядившись подать бутылку хереса и печенье в маленькие грязные меблированные комнаты, где она остановилась, она угостила поверенных своих врагов, сердечно пожала им руки на прощанье и отправилась на континент, чтобы присоединиться к мужу и сыну и сообщить первому радостное известие о его освобождении.

¹ Ах, сударь, они меня ужаснейшим образом обокрали (*франц.*).

Что касается сына, то он в отсутствие матери был в полном небрежении у *mademoiselle* Женевьев, их французской няни, по той простой причине, что эта молодая женщина увлеклась солдатом из гарнизона Кале и забывала в его обществе о своих обязанностях. Маленький Родон едва не утонул у самого пляжа, где Женевьев оставила его, отлучившись, а потом потеряла.

Итак, полковник и миссис Кроули прибыли в Лондон, и здесь на Керзон-стрит, Мейфэр, они действительно показали искусство, которым должен обладать тот, кто хочет жить упомянутым образом.



ГЛАВА XXXVII

Продолжение предыдущей

Прежде всего, и это в высшей степени важно, мы должны рассказать, как можно снимать дом, не внося при этом арендной платы. Некоторые особняки сдаются без мебели, и тогда, если у вас есть кредит у господ Джилоу или Бантинг, вы можете великолепно убрать и отделать его по собственному вкусу; другие сдаются с мебелью, — что гораздо удобнее и проще для большинства нанимателей. Кроули с женой предпочли снять для себя именно такой дом.

До вступления мистера Боулса в должность дворецкого у мисс Кроули на Парк-лейн домом и погребом этой леди заведовал мистер Реглс, — он родился в Королевском Кроули и был младшим сыном садовника. Благодаря примерному поведению, красивой внешности, стройным икрам и важной осанке Реглс попал из кухни, где чистил ножи, на запятки кареты, а оттуда в буфетную.

Прослужив немало лет в доме мисс Кроули, где он получал хорошее жалованье, имел обильные побочные доходы и полную возможность делать сбережения, мистер Реглс объявил о своем намерении вступить в брак с кухаркой, служившей раньше у мисс Кроули, а теперь существовавшей на приличный доход от катка для белья и от маленькой зеленной, которую она держала по соседству. По правде говоря, союз этот был заключен уже несколько лет назад, но держался в таком секрете, что известие о женитьбе мистера Реглса было впервые принесено мисс Кроули мальчиком и девочкой, семи и восьми лет, постоянное пребывание которых на кухне привлекло внимание мисс Бригс.

Тогда мистер Реглс вынужден был уйти в отставку и лично вступил в управление маленькой зеленной. Он прибавил к прежним товарам молоко и сливки, яйца и отличную деревенскую свинину, довольствуясь продажей этих простых сельских продуктов, тогда как другие отставные дворецкие открывали трактиры и торговали спиртными напитками. У него были связи среди дворецких соседних домов и имелась уютная комната, где они с миссис Реглс принимали своих братьев, а потому молоко, сливки и яйца предприимчивой четы имели хороший сбыт и доходы их все росли. Год за годом они тихо и скромно наживали денежки, и, наконец, когда уютный и хорошо обставленный на холостую ногу дом под № 201 на Керзон-стрит, бывшая резиденция почтенного Фредерика Дьюсиса, уехавшего за границу, пошел с молотка со всей богатой и удобной мебелью, кто же приобрел право аренды и обстановку, как не Чарльз Реглс? Правда, некоторую толику денег ему пришлось занять, и под довольно высокие проценты, у собрата-дворецкого, но большую часть он выложил из своего кармана, и миссис Реглс с немалой гордостью укладывалась спать на резное ложе красного дерева с шелковыми занавесями, созерцая перед собой огромное трюмо и гардероб, в который можно было бы поместить ее, Реглса и все их потомство.

Конечно, они не собирались оставаться в таком роскошном помещении. Реглс приобрел право аренды, чтобы пересдавать дом от себя, и как только нашелся съемщик, опять удалился в свою зеленную; но ему доставляло огромное удовольствие, выйдя из лавочки, прогуливаться

по Керзон-стрит и любоваться этим владением — собственным домом с геранями на окнах и с резным бронзовым молотком. Лакей, зазевавшийся у подъезда, с почтением кланялся ему; повар забирал у него зелень и называл его «господин владелец». И если бы Реглс захотел, он мог бы знать все, что делается у его жильцов, или какие блюда подаются у них к обеду.

Это был добрый человек, добрый и счастливый. Дом приносил ему столь значительный годовой доход, что он решил дать своим детям первоклассное образование, а потому, невзирая на издержки, он поместил Чарльза в пансион доктора Суиштейла в Шугеркейн-лодже, а маленькую Матильду — к мисс Пековер, Лорентайнумхаус, в Клефеме.

Реглс любил и можно даже сказать боготворил семейство Кроули, этот источник всего его благосостояния. В уютной комнате за лавкой висел вырезанный из бумаги силуэт его бывшей хозяйки и рисунок ее работы, изображавший сторожку привратника в Королевском Кроули, а единственным добавлением, какое он внес в убранство дома на Керзон-стрит, была гравюра, на коей представлено было Королевское Кроули в Хемпшире, резиденция сэра Уолпола Кроули, баронета; последний восседал на золотой колеснице, запряженной шестью белыми конями, бегущими вдоль озера, где плавали лебеди и разъезжали лодки с дамами и музыкантами в париках. Реглс и в самом деле думал, что на всем свете нет другого такого дворца и такой знатной фамилии.

Когда Родон с женой вернулись в Лондон, дом Реглса случайно оказался свободным. Полковник хорошо знал и помещение и его владельца: последний постоянно поддерживал связь с семьей Кроули, потому что помогал мистеру Боулсу, когда его хозяйка принимала гостей. И старик не только сдал дом полковнику, но также исполнял у него обязанности дворецкого во время больших приемов. Миссис Реглс хозяйничала на кухне и посылала наверх такие обеды, которые одобрила бы сама мисс Кроули.

Вот каким способом Кроули сняли дом, не заплатив ни гроша, ибо, хотя Реглсу приходилось уплачивать сборы и налоги, проценты по закладной собрату-дворецкому, взносы по страхованию своей жизни и за детей в школу, а также тратиться на съестные припасы и напитки, как

для собственного потребления, так — одно время — и для семьи полковника, — и хотя бедняга совершенно разорился от такого ведения дел и дети его оказались выброшенными на улицу, а сам он доведен был до флитской тюрьмы, — но ведь должен же кто-то платить за джентльменов, которые живут неизвестно на что, — и вот несчастному Реглсу пришлось возмещать все нехватки в хозяйстве полковника Кроули.

Интересно было бы знать, сколько семейств ограблено и доведено до разорения великими надувалами вроде Кроули? Сколько знатных вельмож грабят мелких торговцев, снисходят до того, что обманывают своих бедных поставщиков, отнимая у них последние деньги и плутуя из-за нескольких шиллингов? Когда мы читаем, что такой-то благородный дворянин выехал на континент, а у другого благородного дворянина наложен арест на имущество, и что тот или другой задолжали шесть-семь миллионов, то такие банкроты предстают перед нами в апофеозе славы, и мы проникаемся уважением к жертвам столь трагических обстоятельств. Но кто пожалеет бедного цырюльника, который напрасно ждет уплаты за то, что пудрил головы ливрейным лакеям; или бедного плотника, сооружающего на свои средства павильоны и всякие другие затейливые штуковины для *déjeuner*¹ миледи; или беднягу портного, который по особой милости управляющего получил заказ и заложил все, что мог, чтобы изготовить ливреи, по поводу которых милорд, в виде особенной чести, самолично с ним совещался? Когда рушится знатный дом, эти несчастные бесславно погибают под его обломками. Недаром в старых легендах говорится, что прежде чем человек сам отправится к дьяволу, он спровадит туда немало других человеческих душ.

Родон и его жена оказывали самое широкое покровительство всем торговцам и поставщикам мисс Кроули, которые теперь предлагали им свои услуги. Охотников находилось немало, особенно из тех, кто победнее. Удивительно, с какой неумолимостью прачка из Тутинга каждую субботу прикатывала свою тележку и подавала неделю за неделей неоплаченные счета. Счет за портер для прислуги из трактира «Военная Удача» представлял

¹ Завтрака (франц.).

куръез в хронике питейного дела. Слугам постоянно задерживали жалованье, и потому в их интересах было оставаться в доме. В сущности не платили никому — ни слесарю, открывавшему замок, ни стекольщику, вставлявшему стекла, ни каретнику, отдававшему внаем экипаж, ни груму, управлявшему этим экипажем, ни мяснику, привозившему баранину, ни лавочнику, поставлявшему уголь, на котором она жарилась, ни кухарке, готовившей ее, ни слугам, которые ее ели. И вот таким-то образом, мне кажется, люди умудряются жить в роскоши, не имея никакого дохода.

В маленьких городах такие вещи не могут пройти незаметно: там мы знаем, сколько молока берут наши соседи и какое мясо или птица подается у них за столом. Вполне возможно, что в № 200 и № 202 по Керзон-стрит было известно, что делается в доме, расположенном между ними, так как слуги общались между собой через дворовую ограду. Но ни Кроули, ни его жена, ни их гости знать не хотели ни № 200, ни № 202. Когда вы приходили в № 201, вас встречали очень радушно, ласковой улыбкой и хорошим обедом, и хозяин с хозяйкой приветливо жали вам руку, как будто чувствовали себя неоспоримыми владельцами трех-четырёх тысяч годового дохода. Да так оно и было, — только они располагали не деньгами, а продуктами и чужим трудом. Если они и не платили за баранину, она все-таки у них была, и если они не давали золота в обмен на вино, то какое нам до этого дело? Нигде не подавали к столу лучшего вина, чем у честного Родона, и нигде не было таких веселых и изящно сервированных обедов. Его маленькие гостинные были самыми скромными и уютными комнатами, какие только можно себе вообразить. Ребекка украсила их с величайшим вкусом безделушками, привезенными из Парижа. А когда она садилась за фортепьяно и с беззаботной душой распевала романсы, гостю казалось, что он попал в домашний рай; и он готов был согласиться, что если муж несколько глуповат, то жена очаровательна, а их обеды — самые приятные на свете.

Остроумие, ловкость и смелость Ребекки быстро создали её популярность в известных лондонских кругах. Около дверей ее дома часто останавливались солидные экипажи, из которых выходили очень важные люди.

В Парке ее коляску всегда видели окруженной самой знатной молодежью. В маленькой ложе третьего яруса Оперы всегда виднелось множество голов, сменявшихся как в калейдоскопе. Но нужно сознаться, что дамы держались от Ребекки в стороне, и их двери были наглухо закрыты для нашей маленькой авантюристки.

Что касается мира светских женщин и их обычаев, то автор может говорить о них, конечно, только понаслышке. Мужчине так же трудно проникнуть в этот мир или понять его тайны, как догадаться, о чем говорят эти леди, когда они удаляются наверх после обеда. И только путем настойчивых расспросов удастся получить кое-какое представление об этих тайнах. Проявляя подобную любознательность, всякий гуляющий по тротуарам Пель-Мель или посещающий столичные клубы узнает, как из личного опыта, так и из рассказов знакомых, с которыми он играет на бильярде или завтракает вместе, кое-что о высшем лондонском обществе, — а именно, что, подобно тому как есть мужчины (вроде Родона Кроули, о положении которого мы только что упоминали), представляющиеся важными особами лицам, не знающим света, или неопытным новичкам, еще не осмотревшимся в Парке и постоянно встречающим означенных джентльменов в обществе самой знатной молодежи, точно так же есть и леди, которых можно назвать любимицами мужчин, поскольку они пользуются успехом решительно у всех джентльменов, хотя и не вызывают никакого доверия и уважения у их жен. Такова, например, миссис Файрбрейс, леди с прекрасными белокурыми локонами, которую вы каждый день можете видеть в Хайд-парке, окруженную самыми знатными и прославленными денди нашей страны. Другая леди — миссис Роквуд, о вечерах которой постоянно пишут великосветские газеты, ибо у нее обедают посланники и вельможи. Да и многих других дам можно было бы назвать, если бы они имели отношение к нашей повести. Но в то время как скромные люди, далекие от светской жизни, или провинциалы, тяготеющие к высшему кругу, любят в общественных местах на этих дам в их мишурном блеске или завидуют им издалека, лица более осведомленные могли бы сообщить, что у этих особ, которым так завидуют, не больше шансов войти в так называемое «общество», чем у какой-

нибудь мелкопоместной помещицы в Сомерсетшире, читающей о них в «Морнинг пост». Людям, живущим в Лондоне, известна эта печальная истина. Сколько раз вам приходилось слышать, как безжалостно исключаются из «общества» многие люди, повидимому занимающие высокое положение и богатые. Их отчаянные попытки проникнуть в этот круг, унижения, которым они подвергаются, оскорбления, которые терпят, ставят втупик всякого, кто изучает человеческий род или женскую его половину; это стремление невзирая ни на что попасть в высший свет могло бы послужить благодарной темой для талантливого писателя, обладающего умом, превосходным знанием родного языка и, наконец, досугом, который необходим для того, чтобы написать такую повесть.

Те немногие дамы, с которыми миссис Кроули встречалась за границей, теперь, когда она вернулась в Англию, не только не пожелали бывать у нее в доме, но при встрече намеренно не узнавали ее. Удивления достойно, как все светские леди вдруг забыли ее лицо, и, конечно, самой Ребекке было не очень-то приятно в этом убедиться. Когда леди Бейракс встретила ее в фойе Оперы, она собралась вокруг себя дочерей, как будто они могли заразиться от одного прикосновения Бекки, и, отступив на шаг или на два и устремив пристальный взгляд на своего маленького врага, заслонила их своей грудью. Но не так-то легко было смутить Ребекку; для этого требовался поистине разящий взгляд, а не то тупое оружие, какое представляли собой тусклые, холодные гляделки старухи Бейракс. Когда леди де ля Моль, часто скакавшая верхом вместе с Бекки в Брюсселе, встретила открытую коляску миссис Кроули в Хайд-парке, ее милость вдруг ослепла и оказалась решительно неспособна узнать свою прежнюю приятельницу. Даже миссис Бленкинсоп, жена банкира, отвернулась от нее в церкви. Теперь Бекки регулярно посещала церковь; и то, как она появлялась там вместе с Родоном, который нес пару больших с золотым обрезом молитвенников, и затем покорно высиживала всю службу, было поистине назидательным зрелищем.

Родона сначала сильно задевали оскорбления, которые наносились его жене. Он хмурился и приходил в неистовство, грозился вызвать на дуэль мужей и братьев этих дерзких женщин, которые отказывали в должном

уважении его жене, — и только ее строжайшие приказания и просьбы удерживали его в границах приличия.

— Не можешь же ты ввести меня в общество выстрелами! — говорила она добродушно. — Вспомни, дорогой мой, ведь я, как-никак, была гувернанткой, а ты, мой глупый бедный старичина, пользуешься незавидной репутацией — тут и долги, и игра, и другие пороки. Со временем у нас будет сколько угодно друзей, а пока изволь быть хорошим мальчиком и слушаться своей наставницы во всем. Когда мы узнали, что тетка почти все завещала Питту с супругою, — помнишь, в какое ты пришел бешенство? Ты готов был раструбить об этом по всему Парижу, и, если бы я тебя не удержала, где бы ты был сейчас? В долговой тюрьме Сен-Пелажи, а не в Лондоне, в чудесном, благоустроенном доме. Ты был в таком неистовстве, что способен был убить брата, злой ты Каин. Ну и что бы вышло, если бы ты продолжал сердиться? Сколько бы ты ни злился, это не вернет нам тетушкиных денег, — так не лучше ли быть в дружбе с семейством твоего брата, чем во вражде, как этот сумасшедший Бьют. Когда твой отец умрет, Королевское Кроули будет для нас приятным домом, где мы можем проводить зиму. Если мы вконец разоримся, ты будешь разрезать жаркое за обедом и присматривать за конюшнями, а я буду гувернанткой у детей леди Джейн... Разоримся? Глупости! Я еще найду для тебя хорошее местечко; а может случиться, что Питт со своим сыном умрут, и мы станем — сэр Родон и миледи. Пока есть жизнь, есть и надежда, мой милый, и я собираюсь сделать из тебя человека. Кто продал твоих лошадей? Кто уплатил твои долги?

Родон должен был сознаться, что всем этим он обязан своей жене, и обещал ей и в будущем полагаться на ее мудрое руководство.

И в самом деле, когда мисс Кроули переселилась в лучший мир и деньги, за которыми так усердно охотились все ее родичи, в конце концов попали в руки Питта, Бьют Кроули, узнав, что ему оставлено всего лишь пять тысяч фунтов вместо двадцати, на которые он рассчитывал, пришел в такое бешенство, что с дикой бранью накинулся на племянника, и вражда, никогда не затихавшая между ними, привела к форменному разрыву. Напротив того, поведение Родона Кроули, получившего по

духовной всего сто фунтов, изумило его брата и восхитило невестку, которая была доброжелательно настроена ко всем родственникам мужа. Родон написал брату сердечное, бодрое и веселое письмо из Парижа. Он знает, писал он, что из-за своей женитьбы лишился расположения тетки; и хотя крайне огорчен тем, что она отнеслась к нему так безжалостно, но все же рад, что деньги останутся во владении их фамильной ветви. Он сердечно поздравлял брата с удачей, посылал свой нежный привет сестре и выражал надежду, что она отнесется благосклонно к миссис Кроули. Письмо заканчивалось собственноручной припиской этой леди: она просила присоединить ее поздравления к поздравлениям мужа. Она всегда будет помнить доброту мистера Кроули, который обласкал ее в те далекие дни, когда она была беззащитной сиротой, воспитательницей его маленьких сестер, благополучие которых до сих пор близко ее сердцу. Она желала ему счастья в семейной жизни и просила разрешения передать привет леди Джейн (о доброте которой много слышала). Далее она выражала надежду, что ей будет позволено когда-нибудь представить дяде и тете своего маленького сына, и просила отнестись к нему доброжелательно и оказать ему покровительство.

Питт Кроули принял письмо очень милостиво, — более милостиво, чем принимала мисс Кроули прежние письма Ребекки, переписанные рукой Родона. Что касается леди Джейн, то она была очарована письмом и ожидала, что муж сейчас же разделит наследство тетки на две равные части и одну отошлет брату в Париж.

Однако, к удивлению миледи, Питт воздержался от посылки брату чека на тридцать тысяч фунтов. Но он благородно обещал оказать брату поддержку, как только тот приедет в Англию и захочет ею воспользоваться, и, поблагодарив миссис Кроули за ее доброе мнение о нем и о леди Джейн, любезно выразил желание быть полезным при случае ее маленькому сыну.

Таким образом, между братьями состоялось почти полное примирение. Когда Ребекка приехала в Лондон, Питта с супругой не было в городе. Она не раз проезжала мимо старого подъезда на Парк-лейн, чтобы узнать, вступили ли они во владение домом мисс Кроули. Но новые владельцы еще не появлялись, и только от Реглса она

узнавала об их мероприятиях: все домочадцы мисс Кроули были отпущены с приличным вознаграждением; мистер Питт приезжал в Лондон только один раз, — он на несколько дней остановился в доме, устроил дела с поверенными и продал все французские романы мисс Кроули букинисту с Бонд-стрит.

У Бекки были собственные причины желать прибытия новой родственницы. «Когда леди Джейн придет, — думала она, — она введет меня в лондонское общество; а что касается дам... ну, дамы сами начнут приглашать меня, когда увидят, что мужчины ищут моего общества».

Для всякой леди в подобном положении компаньонка необходима так же, как коляска или букет. Как это трогательно, что нежные создания, которые не могут жить без привязанности, непременно выбирают себе в подруги какую-нибудь на редкость бесцветную особу, с которой и становятся неразлучны. Вид этой неизбежной спутницы в выцветшем платье, сидящей в глубине ложи, позади своей дорогой приятельницы, или занимающей скамеечку в коляске, обычно настраивает меня на философический лад: это столь же приятное напоминание, как череп, фигурировавший на пирах египетских бонвиванов, — странное сардоническое *memento*¹ Ярмарки Тщеславия! Что и говорить: даже такая разбитная, наглая, бессовестная и бессердечная красавица, как миссис Файрбрейс, отец которой умер, не снес ее позора; даже прелестная смелая мисс Ментреп, которая возьмет верхом барьер не хуже любого мужчины в Англии и которая сама управляет парой серых в Парке (мать ее до сих пор держит мелочную лавочку в Бате), — даже эти женщины, такие дерзкие, что им, кажется, сам черт не брат, и те не решаются показываться в свете без компаньонки. У них непременно должен быть кто-нибудь, к кому бы они могли привязаться, эти нежные создания! И вы иначе не встретите их в публичном месте, как в сопровождении жалкой фигуры в перекрашенном шелковом платье, сидящей где-нибудь поблизости в укромном уголке.

— Родон, — сказала Бекки как-то раз поздно вече-

¹ Memento — напоминание; в точном значении: помни (лат.).

ром, когда компания джентльменов сидела в ее гостиной (мужчины приезжали к ним заканчивать вечер, и она угощала их кофе и мороженым, лучшим в Лондоне), — я хочу завести овчарку.

— Что? — спросил Родон, подняв голову от стола, за которым он играл в экарте.

— Овчарку? — отозвался юный лорд Саутдаун. — Милая моя миссис Кроули, что за фантазия? Почему бы вам не завести датского дога? Я знаю одного — огромного, ростом с жирафу, честное слово. Его, пожалуй, можно будет впрячь в вашу коляску. Или персидскую борзую (мой ход, с вашего позволения), или крошечного мопсика, который вполне уместится в одну из табакерок лорда Стайна. У некоего субъекта в Бейзуотере я видел мопса с таким носом, что вы могли бы (записываю короля и хожу)... что вы могли бы вешать на него вашу шляпу.

— Записываю взятку, — торжественно произнес Родон. Он обыкновенно весь отдавался игре и вмешивался в разговор, только когда речь заходила о лошадях или о пари.

— И зачем это вам понадобилась овчарка? — продолжал веселый маленький Саутдаун.

— Я имею в виду *моральную* овчарку, — сказала, смеясь, Бекки, поглядывая на лорда Стайна.

— Это что еще за дьявол? — спросил его милость.

— Собаку, которая охраняла бы меня от волков, — продолжала Ребекка, — компаньонку.

— Милая вы моя невинная овечка, вам действительно нужна овчарка, — сказал маркиз. Его челюсть отвисла, он отвратительно скалил зубы и строил Ребекке глазки.

Именитый лорд Стайн стоял около камина, прихлебывая кофе. Огонь весело пылал и потрескивал за решеткой. На камине горело штук двадцать свечей во всевозможных причудливых канделябрах, золоченых, бронзовых и фарфоровых. Они восхитительно освещали фигуру Ребекки, которая сидела на софе, обитой пестрой материей. Ребекка была в розовом платье, свежем, как роза; ее безупречно белые руки и плечи сверкали из-под тонкого газового шарфа, которым они были полуприкрыты; волосы спускались локонами на шею; маленькая ножка выглядывала из-под упругих шуршащих складок

шелка,— прелестная маленькая ножка в прелестной крошечной туфельке и прозрачном шелковом чулке.

Свечи освещали блестящую лысину лорда Стайна в венчике рыжих волос. У него были густые косматые брови и мигающие, налитые кровью глазки, окруженные сетью морщинок. Нижняя челюсть выдавалась вперед, и когда он смеялся, два белых торчащих клыка блестели во рту, придавая ему свирепый, дикий вид. В этот день он обедал с особами королевской семьи, и потому на нем был орден Подвязки и лента. Его милость был низенький человек, широкогрудый и кривоногий, но он очень гордился изяществом своей ступни и лодыжки и постоянно поглаживал свое колено, украшенное орденом Подвязки.

— Значит, пастуха недостаточно, — спросил он, — чтобы охранять овечку?

— Пастух слишком любит играть в карты и ходить по клубам, — ответила, смеясь, Бекки.

— Боже мой, что за распутный Коридон! * — сказал милорд. — Прямо создан для свирели.

— Три да два — пять, — произнес Родон за карточным столом.

— Послушайте-ка вашего Мелибея, — проворчал благородный маркиз. — Какое в самом деле буколическое занятие: он стрижет Саутдауна. Что за невинный барашек, а? Черт возьми, какое белоснежное руно!

Глаза Ребекки сверкнули презрительной насмешкой.

— Но, милорд, — сказала она, — вы тоже рыцарь этого ордена *.

На шее у милорда была орденская цепь — дар короля, недавно возвращенного Испании.

Лорд Стайн в молодости слыл отчаянным бретером и удачливым игроком. Однажды он два дня и две ночи просидел за азартной игрой с мистером Фоксом. Он выигрывал у многих августейших особ Англии, и говорили, что даже свое звание маркиза он выиграл за карточным столом. Но достойный лорд не терпел намеков на эти грехи молодости.

Заметив неудовольствие на его лице, Ребекка встала с софы, подошла к нему и с легким реверансом взяла у него чашку.

— Да, — проговорила она, — мне нужна сторожевая собака. Но на вас она лаять не будет.

И, перейдя в соседнюю гостиную, она села за рояль и запела французские песенки таким очаровательным звонким голосом, что смягчившийся лорд быстро последовал за нею, и видно было, как он кивал головой в такт, склонившись над Ребеккой.

Между тем Родон и его приятель продолжали играть в экарте, пока им, наконец, не надоело это занятие. Полковник выиграл; но хотя он часто выигрывал такие суммы, вечера, подобные этому, повторявшиеся несколько раз в неделю, — когда его жена была предметом общего поклонения, а он сидел в стороне и молчал, не принимая участия в беседе, ибо ни слова не понимал в их шутках, намеках и аллегориях, — такие вечера вконец приелись нашему отставному драгуну.

— Как поживает супруг миссис Кроули? — постоянно осведомлялся лорд Стайн при встрече с ним — вместо приветствия.

И действительно, таково было положение, которое Родон занимал теперь. Он больше не был полковником Кроули, — он был супругом миссис Кроули.

Если до сих пор ничего не было сказано о маленьком Родоне, то лишь по той причине, что его сослали на чердак, и он только иногда в поисках общества сползал вниз в кухню. Мать почти не обращала на него внимания. Все дни ребенок проводил с француженкой-бонной, пока та оставалась в семье мистера Кроули, а когда она ушла, над малышом, плакавшим ночью в кроватке, сжалилась горничная: она взяла его из опустевшей детской к себе на чердак и там утешала, как могла.

Ребекка, милорд Стайн и еще один-два гостя сидели как-то после оперы в гостиной за чаем, когда над их головами раздался плач.

— Это мой херувим горюет о своей няне, — сказала Ребекка, но не двинулась с места посмотреть, что с ребенком.

— Пожалуй, вы расстроите себе нервы, если пойдете проводить его, — сардонически заметил лорд Стайн.

— Пустое! — ответила она, слегка покраснев. — Он наплачется и заснет.

И они снова заговорили об опере.

Однако Родон, выскользнув украдкой из гостиной, по-

шел взглянуть на сына и наследника и успокоился лишь тогда, когда узнал, что верная Долли занялась ребенком, после чего он вернулся к обществу. Туалетная комната полковника помещалась в той же горней области, и там он потихоньку встречался с мальчиком. Каждое утро, когда полковник брился, у них происходили свидания: Родон-младший взбирался на сундук подле отца и с неизменным увлечением следил за операцией бритья. Они с отцом были большие приятели. Родон-старший приносил ему сласти, утаенные от собственного десерта, и прятал их в старом футляре для эполет, и ребенок ликовал, разыскав сокровище, — смеялся, но не громко, потому что маменька внизу спала и ее нельзя было беспокоить: она ложилась очень поздно и редко вставала раньше полудня.

Родон покупал сыну много книжек с картинками и наполнял игрушками его детскую. Стены ее были все увешаны картинками, которые отец приобретал на наличные деньги и приклеивал собственноручно. Когда миссис Кроули освобождала его от обязанности сопровождать ее в Парк, он приходил к сыну и проводил с ним по нескольку часов; мальчик, усевшись к нему на грудь, дергал его за длинные усы, как будто это были вожжи, и неутомимо прыгал и скакал вокруг него. Комната была довольно низкая, и однажды, когда ребенку не было еще пяти лет, отец, высоко подбросив его, так сильно стукнул бедного малыша головой о потолок, что, перепугавшись, чуть не выронил его из рук. Родон-младший уже приготовился громко заплакать, — удар был так силен, что вполне оправдывал это намерение, — но только что он скривил рожицу, как отец зашикал на него.

— Ради бога, Роди, не разбуди маму! — воскликнул он. И ребенок, очень серьезно и жалобно посмотрев на отца, закусил губы, сжал кулачки и не издал ни звука. Родон рассказывал об этом в клубах, за обедом в офицерском собрании и всем и каждому в городе.

— Ей-богу, сэр, — говорил он, — что за мальчишка у меня растет! Такой молодчина! Я чуть не прошиб его головенкой потолок, ей-богу, а он и не заплакал, боялся беспокоить мать.

Иногда — раз или два в неделю — Ребекка поднималась в верхние покои, где жил ребенок. Она приходила, словно ожившая картинка из журнала *Magasin des Modes*.

мило улыбаясь, в прелестном новом платье, изящных перчатках и башмачках. Изумительные шарфы, кружева и драгоценности украшали ее. У нее всегда была новая шляпка, отделанная неувядающими цветами или великолепными страусовыми перьями, кудрявыми и нежными, как лепестки камелии. Она покровительственно кивала мальчугану, который отрывался от обеда или от раскрашивания солдатиков на картинках. Когда она уходила, в детской еще долго носился запах розы или какое-нибудь другое волшебное благоухание. В глазах ребенка мать была неземным существом — гораздо выше отца... выше всего мира, — требующим поклонения и восхищения издали. Кататься с этой леди в экипаже казалось ему священнодействием: он сидел на скамеечке, не осмеливаясь произнести ни слова, и только глядел во все глаза на пышно разодетую принцессу, сидевшую против него. Джентльмены, гарцующие на великолепных конях, подъезжали к экипажу и, улыбаясь, разговаривали с нею. Как блестяли ее глаза, когда эти кавалеры приближались! Как грациозно она помахивала им ручкой, когда они проезжали мимо. В таких случаях на мальчика надевали новенький красный костюмчик: старый коричневый парусиновый годился только для дома. Изредка, когда мать уезжала и горничная Долли убирала ее постель, он входил в спальню. Ему это помещение казалось раем, волшебной комнатой роскоши и чудес. В гардеробе висели чудесные платья — розовые, голубые и разноцветные. Вот отделанная серебром шкатулка с драгоценностями и таинственная бронзовая рука на туалете, сверкающая сотнями колец. А вот трюмо — чудо искусства, — где он мог видеть свое удивленное личико и отражение Долли (странно измененное и витающее на потолке), она взбивает и разглаживает подушки на постели. Бедный, одинокий, заброшенный мальчуган! Мать — это имя божества в устах и в сердце маленьких детей, а этот малыш боготворил камень!

Родон Кроули, при всем своем беспутстве, сохранил еще некоторое душевное благородство, проявлявшееся в его любви к ребенку и жене. К Родону-младшему он питал тайную нежность, которая не ускользнула от Ребекки, хотя она никогда не говорила об этом мужу. Это не раздражало ее — она была слишком добродушна, —

но только увеличивало ее презрение к нему. Он сам стыдился своих родительских чувств, скрывал их от жены и только когда бывал наедине с мальчиком, давал им волю.

Обыкновенно по утрам они вместе гуляли; сначала заходили в конюшни, а оттуда направлялись в Парк. Маленький лорд Саутдаун — добрейший человек, способный отдать последнее и считавший своим главным занятием в жизни приобретение всяких безделушек, которые он потом раздаривал, — приобрел для мальчика крошечного пони, немногим больше крупной крысы, как говорил сам даривший, и на этого маленького вороного с Шетландских островов рослый отец юного Родона с восторгом сажал сынишку и ходил рядом с ним по Парку. Ему доставляло удовольствие видеть старую казарму и старых товарищей гвардейцев в Найтсбридже, — он вспоминал теперь холодную жизнь с чем-то вроде сожаления. Старые кавалеристы также были рады повидаться с прежним сослуживцем и понянчить маленького полковника. Полковнику Кроули приятно было обедать в собрании вместе с собратьями офицерами.

— Черт возьми, я недостаточно умен для нее... я знаю это! Она не заметит моего отсутствия, — говаривал он.

И он был прав: жена действительно не замечала его отсутствия.

Ребекка любила мужа. Она всегда была добродушна и ласкова с ним и даже не очень выказывала ему свое презрение, — может быть, он и нравился ей оттого, что был глуп. Он был ее старшим слугой и метрдотелем, ходил по ее поручениям, беспрекословно слушался ее приказаний, безропотно катался с нею в коляске по кругу, отвозил ее в Оперу, а сам развлекался в клубе, пока шло представление, и возвращался за нею точно в надлежащее время. Ему хотелось бы, чтобы она была поласковее к мальчику, но он мирился с ее отношением.

— Черт возьми, она ведь, знаете ли, такая умница, — пояснял он, — а я неученый человек и все такое, знаете...

Как мы уже говорили раньше, не требуется большой мудрости, чтобы выигрывать в карты и на бильярде, а Родон и не претендовал на другие таланты.

Когда в доме появилась компаньонка, его домашние обязанности значительно облегчились. Жена даже поощ-

ряла его обедать вне дома и освободила от обязанности провожать ее в Оперу.

— Нечего тебе сидеть и томиться дома: ты будешь скучать, милый,— говорила она.— У меня сегодня соберется несколько человек, которые будут тебя только раздражать. Я бы их не приглашала, но, ты ведь знаешь, это для твоей же пользы. А теперь, когда у меня есть овчарка, ты можешь за меня не бояться.

«Овчарка-компаньонка! У Бекки Шарп — компаньонка! Разве это не смешно?» — думала про себя миссис Кроули. Эта мысль забавляла ее.

Однажды утром, в воскресенье, когда Родон Кроули, его сынишка и пони совершали обычную прогулку в Парке, они встретили давнишнего знакомого и сослуживца полковника — капрала Клинка, который дружески беседовал с каким-то старым джентльменом, державшим на руках мальчика такого же возраста, как и маленький Родон. Мальчуган схватил руками висевшую на груди капрала медаль в память битвы при Ватерлоо и с восхищением рассматривал ее.

— Здравия желаю, ваша честь, — сказал Клинк в ответ на приветствие полковника: «Здорово, Клинк!»

— Этот юный джентльмен — ровесник маленькому полковнику, сэр, — продолжал капрал.

— Его отец тоже сражался под Ватерлоо, — добавил старый джентльмен, державший на руках мальчика, — не правда ли, Джорджи?

— Да, — подтвердил Джорджи. Он и мальчуган, сидевший верхом на пони, пристально и важно рассматривали друг друга, как это бывает между детьми.

— В пехоте, — сказал Клинк покровительственным тоном.

— Он был капитаном *** полка, — продолжал с некоторой торжественностью старый джентльмен. — Капитан Джордж Осборн, сэр. Может быть, вы его знали? Он пал смертью храбрых, сэр, сражаясь против корсиканского тирана.

Полковник Кроули вспыхнул.

— Я знал его очень хорошо, сэр, — сказал он, — и его жену, его славную женушку, сэр. Как она поживает?

— Это моя дочь, сэр, — отвечал старый джентльмен, спустив с рук мальчика и торжественно вынимая визитную карточку, которую и протянул полковнику. На ней было выгравировано:

«Мистер Седли, доверенный агент компании «Черный алмаз, беззолый уголь». Угольная верфь, Темз-стрит и коттеджи Анна-Мария, Фулем-род».

Маленький Джорджи подошел и стал рассматривать шетландского пони.

— Не хочешь ли прокатиться? — спросил Родон-младший с высоты своего седла.

— Хочу, — отвечал Джорджи.

Полковник, смотревший на него с некоторым интересом, поднял мальчика и посадил на пони, позади Родона-младшего.

— Держись за него, Джорджи, — сказал он, — обхвати моего мальчугана за талию; его зовут Родон!

И оба мальчика засмеялись.

— Пожалуй, во всем парке не найдется более красивой пары, — заметил добродушный капрал.

И полковник, капрал и мистер Седли, с зонтиком в руке, пошли рядом с детьми.



ГЛАВА XXXVIII

Семья в крайне стесненных обстоятельствах

Предположим, что маленький Джордж Осборн от Найтсбриджа проехал до Фулема, — остановимся же и мы в этом пригороде и посмотрим, как поживают наши друзья, которых мы там оставили. Как чувствует себя миссис Эмилия после ватерлооской катастрофы? Жива ли она, здорова ли? Что случилось с майором Доббином, чей кеб постоянно маячил около ее дома? Есть ли какие-нибудь известия о коллекторе Богли-Уолаха? Относительно последнего нам известно следующее:

Наш достойный друг, толстяк Джозеф Седли, вскоре после счастливого своего спасения возвратился в Индию. Кончился ли срок его отпуска, или же он опасался встречи с свидетелями своего бегства из-под Ватерлоо, но, так или иначе, он вернулся к своим обязанностям в Бенгалии очень скоро после водворения Наполеона на острове св. Елены, где нашему коллектору даже довелось увидеть бывшего императора *. Если бы вы послушали,

что говорил мистер Седли на борту корабля, вы решили бы, что это не первая его встреча с корсиканцем и что сей штатский основательно посчитался с французским полководцем на плато Сен-Жан. Он рассказывал тысячу анекдотов о знаменитых баталиях, он знал расположение каждого полка и понесенные им потери. Он не отрицал, что сам причастен к этим победам, — что был вместе с армией и доставлял депеши герцогу Веллингтону. Он так уверенно судил обо всем, что герцог делал или говорил в любой момент исторической битвы, с таким знанием всех поступков и чувств его милости, что всякому становилось ясно: этот человек делил лавры победителя и не разлучался с ним в течение всего того дня, хотя имя его, как не участвовавшего в бою, и не упоминалось в опубликованных документах. Вполне возможно, что со временем Джоз и сам этому поверил. Во всяком случае, в течение некоторого времени он гремел на всю Калькутту и даже получил прозвище «Седли Ватерлооского», каковое и оставалось за ним во все время его пребывания в Бенгалии.

Вексея, которые Джоз выдал при покупке злополучных лошадей, были беспрекословно оплачены им и его агентами. Он никому и словом не заикнулся об этой сделке, и никто не знал достоверно, что случилось с его упряжкой или как он отделался от нее и от Исидора, своего слуги-бельгийца; последнего видели осенью 1815 года в Валансьене, где он продавал серую в яблоках лошадь, очень похожую на ту, на которой усакал Джоз.

Лондонским агентам Джоза было дано распоряжение выплачивать ежегодно сто двадцать фунтов его родителям в Фулеме. Это была главная поддержка для старой четы, потому что спекуляции, предпринятые мистером Седли после его банкротства, никоим образом не могли восстановить его разрушенное благосостояние. Он пытался торговать вином, углем, был агентом по распространению лотерейных билетов и т. д., и т. п. Взявшись за что-нибудь новое, он немедленно рассылал проспекты друзьям, заказывал новую медную дощечку на дверь и важно заявлял, что он еще поправит свои дела. Но фортуна окончательно отвернулась от удрученного, разбитого старика. Один за другим друзья покидали его, — им надоедало покупать у него дорогой уголь и плохое

вино, — и только жена его еще воображала, что он вершит какие-то дела, когда с утра он тащился в Сити. К концу дня старик тихонько брел обратно и вечера проводил в трактире, в маленьком местном клубе, где разглагольствовал о государственных финансах. Стоило послушать, с каким знанием дела он толковал про миллионы, про лаж и дисконт и про то, что делали Ротшильд и братья Беринги. Он с такой легкостью бросался огромными цифрами, что завсегдатаи клуба (аптекарь, гробовщик, подрядчик плотничных и строительных работ, псаломщик, который заглядывал сюда украдкой, и наш старый знакомый — мистер Клеп) проникались к нему уважением.

— Когда-то я знал лучшие дни, сэр, — не упускал он случая сказать каждому посетителю. — Мой сын сейчас занимает высокий служебный пост в Ремгандже, в Бенгальском округе, и получает четыре тысячи рупий в месяц. Моя дочь могла бы стать полковницей хоть сию минуту, если бы только захотела. Я могу завтра же выдать вексель на моего сына, главного судью, на две тысячи фунтов, и Александер без всяких отсчитает мне денежки. Но, заметьте, сэр, я слишком горд для этого. Седли всегда были горды.

И вы, и я, дорогой читатель, можем оказаться в таком положении: разве мало наших друзей доходило до этого? Счастье может изменить вам, силы могут вас оставить, ваше место на подмостках займут другие актеры, помоложе и поискуснее, и вы окажетесь перед разбитым корытом. При встрече с вами знакомые постараются перейти на другую сторону или, что еще хуже, сострадательно протянут вам два пальца, и вы будете знать, что, едва пройдя мимо, приятель начнет рассказывать: «Бедняга, каких глупостей он наделал и какие возможности упустил!..» И все же собственный выезд и три тысячи годовых — это не предел благополучия на земле и не высшая награда небес. Если шарлатаны столь же часто преуспевают, как и терпят крах, если шуты благоденствуют, а негодяи пользуются милостями фортуны и *vice versa*, так что на долю каждого приходится и удачи и неудачи, как это бывает и с самыми способными и честными среди нас, то, право же, брат, дары и развлечения Ярмарки Тщеславия не слишком многого стоят, и вероятно... Впрочем, мы уклонились от нашей темы.

Когда бы миссис Седли была женщиной энергической и не захотела сидеть сложа руки после разорения мужа, она могла бы снять большой дом и взять нахлебников. Придавленный судьбой Седли отлично играл бы роль мужа хозяйки меблированных комнат — роль своего рода принца-супруга, номинального хозяина и господина, — резал бы жаркое за общим столом, исполнял бы должность домоправителя и смиренного мужа своей жены, восседающей на неприглядном хозяйском троне. Я видал людей неглупых и с хорошим образованием, которые когда-то много обещали, удивляя всех своей энергией, которые в молодости задавали пиры помещикам и держали лошадей для охоты, а теперь покорно нарезают баранину для старых сварливых ведьм и делают вид, что занимают за их унылым столом почетное место. Но миссис Седли, как мы сказали, не обладала достаточной силой духа, чтобы хлопотать ради «немногих избранных пансионеров, желающих поселиться в приятном музыкальном семействе», как гласят подобного рода объявления в «Таймсе». Она успокоилась на том, что оказалась на мели, куда ее выбросила фортуна; и, как видите, песня старой четы была спета.

Я не думаю, чтобы они были несчастны. Может быть, они были даже несколько более горды в своем падении, чем во времена процветания. Миссис Седли всегда оставалась важной особой в глазах своей домохозяйки, миссис Клеп, к которой она часто спускалась вниз и с которой проводила долгие часы в ее опрятной кухне. Чепцы и ленты Бетти Фленеген, горничной-ирландки, ее нахальство, лень, чудовищная расточительность, с какой она сжигала на кухне свечи, истребляла чай и сахар и т. д., занимали и развлекали старую леди почти столько же, сколько поведение ее прежнего штата, когда у нее были и Самбо, и кучер, и грум, и мальчишка-посыльный, и экономка с целой армией женской прислуги, — обо всех добрая леди вспоминала сотни раз на дню. А кроме Бетти Фленеген, миссис Седли наблюдала еще за всеми служанками в околотке. Она знала, аккуратно ли платит каждый наниматель за свой домик, или задерживает плату. Она отступала в сторону, когда мимо нее проходила актриса миссис Ружемон со своим сомнительным семейством. Она задирала голову, когда миссис Песлер, аптекарша, проезжала мимо в одноконном тарантасе своего супруга,

служившем ему для объезда больных. Она вела беседы с зеленщиком относительно грошовой брюквы для мистера Седли, следила за молочником и за мальчишкой из булочной и навещала мясника, которому, вероятно, удавалось продать сотню туш другим хозяйкам с меньшими хлопотами, чем он продавал миссис Седли один бараний бок; она вела счет картофелю, который подавался к жаркому в праздничные дни, и по воскресеньям, одетая во все лучшее, дважды посещала церковь, а по вечерам читала «Проповеди Блейра».

По воскресным же дням, — так как в будни «дела» мешали такому развлечению, — мистер Седли любил совершать прогулки с маленьким Джорджи в соседние парки и в Кенсингтонские сады*, смотреть на солдат или кормить уток. Джорджи был равнодушен к красным мундирам, и дедушка рассказывал ему, каким знаменитым воином был его отец, и знакомил мальчика с сержантами и другими военными, грудь которых была украшена ватерлооскими медалями и которым старый джентльмен торжественно представлял внука как сына капитана *** полка Осборна, геройски погибшего в славный день 18 июня. Старик иной раз угощал отставного служивого стаканом портера, а главное — с первого же раза обнаружил пагубную склонность закармливать Джорджи яблоками и имбирными пряниками, явно во вред его здоровью, так что Эмилия даже объявила, что не будет отпускать Джорджи с дедушкой, если тот не пообещает ей не давать ребенку ни пирожных, ни леденцов, ни вообще каких-либо лакомств, приобретаемых в ларьках.

Что касается миссис Седли, то между ней и дочерью установилась некоторая холодность из-за мальчика и обнаружилась скрытая ревность. Однажды вечером, когда Джорджи был еще младенцем, Эмилия, сидевшая с работой в своей маленькой гостиной и не заметившая, что старая леди вышла из комнаты, внезапно услышала крик ребенка, который до того спокойно спал. Бросившись в спальню, она увидела, что миссис Седли с помощью чайной ложки тайком вливает в рот ребенку эликсир Дэффи. При виде такого посягательства на ее материнские права, Эмилия, добрейшая и нежнейшая из смертных, вся затрепетала от гнева. Щеки ее, обычно бледные, вспыхнули и стали такими же красными, как в те времена, когда ей

было двенадцать лет. Она вырвала ребенка из рук матери и схватила со стола склянку, чем немало разгневала старую леди, которая с изумлением смотрела на нее, держа в руке злополучную чайную ложку.

— Я не хочу, чтобы малютку отравляли, маменька! — закричала со сверкающими глазами Эмми и, бросив склянку в камин, где она разбилась со звоном, обхватила ребенка обеими руками и принялась укачивать его.

— Отравляли, Эмилия? — сказала старая леди. — И ты смеешь это говорить мне?!

— Ребенок не будет принимать никаких лекарств, кроме тех, которые присылает для него мистер Песлер; он уверял меня, что элексир Дэффи — это яд.

— Ах, вот как! Значит, ты считаешь меня убийцей, — отвечала миссис Седли. — Так-то ты разговариваешь с матерью! Судьба достаточно насмеялась надо мною; я низко пала в жизни: когда-то я держала карету, а теперь хожу пешком. Но я до сих пор не знала, что я — убийца, — спасибо тебе за такую новость!

— Маменька, — воскликнула бедная Эмилия, уже готовая расплакаться, — не сердитесь на меня!.. У меня и в мыслях не было, что вы желаете вреда ребенку, я только сказала...

— Ну да, милочка... ты только сказала, что я — убийца; но в таком случае пусть меня лучше отправят в тюрьму. Хотя не отравила же я тебя, когда ты была малюткой, а дала тебе самое лучшее воспитание и самых дорогих учителей, каких только можно достать за деньги. Я пятерых выкормила, хотя троих и схоронила; и самая моя ненаглядная доченька, из-за которой я ночей недосыпала, когда у нее резались зубки, и во время крупа, и кори, и коклюша, и для которой нанимала француженок, — поди сосчитай, сколько это стоило, — а потом еще и в пансион ее послала для усовершенствования, — ведь сама-то я ничего такого не видала, когда была девочкой, а почитала же отца с матерью, чтобы бог продлил дни мои на земле и чтобы по крайней мере приносить пользу, а не дуться целыми днями в своей комнате да разыгрывать из себя важную леди, — и вот эта дочь говорит мне, что я убийца!.. Миссис Осборн, — продолжала она, — желаю вам, чтобы вы не вскормили змею своей грудью, — вот о чем будут мои молитвы!

До самой смерти миссис Седли эта размолвка между нею и дочерью так и не забылась. Эта ссора дала старшей даме бесчисленные преимущества, которыми она не упускала случая пользоваться с чисто женской изобретательностью и упорством. Началось с того, что она почти не разговаривала с Эмилией в течение нескольких недель. Она предупреждала прислугу, чтобы та не прикасалась к ребенку, так как миссис Осборн будет недовольна. Она просила дочь придти и удостовериться, что в кушанья, которые ежедневно приготавливались для маленького Джорджи, не подмешано яду. Когда соседи спрашивали о здоровье мальчика, она отсылала их к миссис Осборн. Сама она, видите ли, не осмеливается спросить о его здоровье. Она не позволяет себе прикоснуться к ребенку (хотя это ее внук и любимец), так как не умеет обращаться с детьми и может причинить ему вред. А когда ребенка навещал мистер Песлер, она принимала доктора с таким саркастическим и презрительным видом, какого, по его словам, не напускала на себя даже сама леди Тислвуд, которую он имел честь пользоваться — хотя со старой миссис Седли он не брал платы за лечение. Очень возможно, что Эмми со своей стороны тоже ревновала ребенка. Да и какая мать не ревнует к тем, кто нянчится с ее детьми и может занять первое место в сердце ее сыночка? Достоверно только то, что, когда кто-нибудь возился с ее малюткой, она начинала беспокоиться и не давала ни миссис Клеп, ни прислуге одевать его или ухаживать за ним, как не позволяла им вытирать пыль с миниатюры Джорджа, висевшей над ее маленькой кроваткой, той самой кроваткой, с которою она рассталась, когда ушла к мужу, и к которой теперь вернулась на много долгих, безмолвных, полных слез, но все же счастливых лет.

В этой комнате была вся любовь Эмили, все самое дорогое в ее жизни. Здесь она пестовала своего мальчика и ухаживала за ним во время детских болезней с неизменным страстным рвением. В нем как бы возродился старший Джордж, только в улучшенном виде, словно он вернулся с небес. Сотней неуволнимых интонаций, взглядами, движениями ребенок так напоминал отца, что сердце вдовы трепетало, когда она прижимала к себе малютку. Джорджи часто спрашивал мать, отчего она плачет. Оттого, что он так похож на отца, отвечала она не стесняясь.

Она постоянно рассказывала ему о покойном отце и говорила о своей любви к нему, — с невинным, непонимающим ребенком она была откровеннее, чем в свое время с самим Джорджем или какой-нибудь близкой подругой юности. С родителями она никогда не говорила на эту тему: она стеснялась раскрывать перед ними свое сердце. Вряд ли маленький Джордж понимал ее лучше, чем поняли бы они, но его ушам, только его ушам, доверяла Эмилия без колебания свои сердечные тайны. Самая радость этой женщины походила на грусть и была так нежна, что в конце концов единственным ее выражением становились слезы. Чувства Эмилии были так неуловимы, так робки, что, пожалуй, лучше не говорить о них в книге. Доктор Песлер (теперь популярнейший дамский врач, — он разъезжает в шикарной темнозеленой карете, ждет скорого производства в дворянское достоинство и имеет собственный дом на Манчестер-сквере) рассказывал мне, что горе Эмилии, когда пришлось отнимать ребенка от груди, способно было растрогать сердце Ирода. В те времена доктор был еще очень мягкосердечен, и его жена и тогда, и еще долго спустя смертельно ревновала его к миссис Эмилии.

Быть может, докторша имела серьезные основания для ревности: большинство женщин, составлявших кружок знакомых миссис Осборн, разделяли с нею это чувство и сердились на восхищение, с каким относились к Эмилии представители другого пола, ибо почти все мужчины, которые знакомились с нею ближе, поклонялись ей, хотя они, без сомнения, не могли бы сказать, за что именно. Она не была ни блестящей женщиной, ни остроумной, ни слишком умной, ни исключительно красивой.

Но где бы она ни появлялась, она трогала и очаровывала всех мужчин так же неизменно, как пробуждала презрение и недоверие в лицах своего пола. Я думаю, что главное ее очарование заключалось в беспомощности, в кроткой покорности и нежности; казалось, она обращалась ко всем мужчинам, с которыми встречалась, с просьбою об участии и покровительстве. Мы уже видели, как в полковом собрании, — хотя ей были известны лишь немногие товарищи Джорджа, — все юные офицеры готовы были обнажить мечи, чтобы сразиться за нее. Точно так же в маленьком домике в Фулеме и в тесном кружке навещавших его друзей она всем нравилась и во всех возбуждала

интерес. Будь она самой миссис Мэнго из знаменитой фирмы «Мэнго, Плэнтайн и К°» на улице Крачед-Фрайерс, — великолепной обладательницей виллы в Фулеме, дававшей здесь свои летние *déjeuners*, на которые съезжались герцоги и графы; миссис Мэнго, разъезжавшей по приходу с гайдуками в роскошных желтых ливреях и на паре гнедых, каких не найдется и в королевских кенсингтонских конюшнях, — повторяю, будь она самою миссис Мэнго или женою ее сына, леди Мери Мэнго (дочерью графа Каслмоулди, которая соблаговолила выйти замуж за главу фирмы), то и тогда все соседние торговцы не могли бы оказывать ей больше почета, чем они оказывали кроткой молодой вдове, когда она проходила мимо их дверей или делала свои скромные покупки в их лавках.

И не только сам доктор, мистер Песлер, но и его молодой ассистент, мистер Линтон, лечивший горничных и мелких торговцев, — его всегда можно было застать читающим «Таймс» в докторской приемной, — открыто объявил себя рабом миссис Осборн. Этот видный из себя молодой джентльмен встречал в доме миссис Седли даже более радушный прием, чем его патрон, и если с Джорджи случалось что-нибудь, он забегал проведать мальчугана два-три раза в день, даже и не думая о гонораре. Он извлекал из аптекарских ящиков мятные лепешки, тамаринд и другие снадобья для маленького Джорджи и составлял сиропы и микстуры такой удивительной сладости, что ребенку доставляло удовольствие лечиться. Они с Песлером просидели целых две ночи около мальчика в ту памятную страшную неделю, когда Джорджи заболел корью и когда, глядя на ужас матери, можно было подумать, что ни один человек на земле никогда не болел такой болезнью. Для кого еще стали бы они это делать? Разве просиживали они все ночи у знатных соседей, когда Ральф Пантагенет, Гвендолина и Гуиневвер Мэнго хворали той же самой детской болезнью? И разве сидели они около маленькой Мери Клеп, дочери домохозяина, которая заразилась корью от Джорджи? Надо прямо сказать — нет, не сидели. Они преспокойно спали, — по крайней мере поскольку это касалось Мери, — объявив, что корь у нее в легкой форме и пройдет без всякого лечения, и с полнейшим равнодушием, ради одной проформы,

прислали ей одну-две микстуры с добавлением хины, когда девочка стала поправляться.

Далее, жил против миссис Осборн скромный французский шевалье, дававший уроки своего родного языка в соседних школах. Вечерами можно было слышать, как он разыгрывал на разбитой скрипке старинные гавоты и менуэты. Когда этот учтивый старичок, носивший пудренный парик и никогда не пропускавший воскресной службы в хаммерсмитской монастырской капелле, — словом, ни в каком отношении, ни по образу мыслей, ни поведением, ни манерами не похожий на своих теперешних диких бородатых соплеменников, которые и посейчас клянут коварный Альбион и косятся на вас поверх своих сигар, проходя мимо английского посольства в Париже, — когда старый шевалье де Талонруж говорил о миссис Осборн, он сначала втягивал понюшку табаку, потом грациозным движением руки стряхивал приставшие к платью крошки, собирал все пальцы пучочком, подносил к губам и, поцеловав, распускал их, восклицая: «Ah! la divine créature!»¹ Он клялся и заявлял во всеуслышание, что когда Эмилия гуляет по бромптонским улицам, под ее ногами вырастают в изобилии цветы. Он называл маленького Джорджи Купидоном и спрашивал у него новости о его маме Венере; он говорил изумленной Бетти Фленеген, что она одна из граций и любимая прислужница *Reigne des Amours*².

Еще много можно было бы привести примеров так легко приобретенной и невольной популярности. Разве мистер Бинни, кроткий и любезный викарий местной церкви, которую посещала семья Седли, не навещал усердно вдову? Он качал на коленях маленького мальчика и предлагал учить его латыни, к негодованию старой девы, своей сестры, которая вела его хозяйство.

— В ней ничего нет, Бильби, — уверяла его эта леди. — Когда она приходит к нам пить чай, от нее за весь вечер ни слова не услышишь. Это такая слабонервная дамочка! Я уверена, что у нее нет сердца. Только ее смазливенькое личико привлекает вас, мужчин. У мисс Гритс, при ее пяти тысячах фунтов дохода да при ее надеждах на бу-

¹ О божественное создание! (франц.).

² Царицы любви (франц.).

дущее, гораздо больше характера, и она гораздо милее, на мой вкус; будь она чуть покрасивее, я знаю, ты нашел бы ее совершенством.

Возможно, что мисс Бинни была в известной степени права; хорошенькое личико всегда возбуждает симпатию мужчин — этих неисправимых вертопрахов. Женщина может обладать умом и целомудрием Минервы, но мы не обратим на нее внимания, если она некрасива. Каких безумств мы не совершаем ради пары блестящих глазок! Какая глупость, произнесенная алыми губками и нежным голосом, не покажется нам приятной! И вот дамы, с присущим им чувством справедливости, решают: раз женщина красива — значит глупа. О дамы, дамы, сколько найдется среди вас и некрасивых и неумных!

Все, что мы можем сообщить о жизни нашей героини, принадлежит к числу самых тривиальных событий. Ее повесть не изобилует чудесами, как, без сомнения, уже заметил любезный читатель; и если бы она вела дневник всех происшествий за семь лет со времени рождения сына, в нем мало нашлось бы событий, более замечательных, чем корь, о которой мы уже говорили на предыдущих страницах. Впрочем, однажды, к великому ее недоумению, преподобный мистер Бинни, только что упомянутый, попросил ее переменить фамилию Осборн на его собственную. На что она, вся вспыхнув, со слезами в голосе и на глазах поблагодарила его за честь и выразила признательность за все его внимание и к ней, и к бедному мальчику, но заявила, что она никогда, никогда не в состоянии будет думать ни о ком... ни о ком, кроме мужа, которого она потеряла.

25 апреля и 18 июня — в день свадьбы и в день смерти мужа — она совсем не выходила из своей комнаты, посвящая эти дни (не говоря уже о бесконечных часах одиноких ночных размышлений, когда малютка-сын спал рядом с ней в своей колыбели) памяти ушедшего друга. Днем она была более деятельна: учила Джорджи читать, писать и немного рисовать; читала книги, с тем чтобы потом рассказывать оттуда малышу разные истории. По мере того как раскрывались его глаза и пробуждался ум под влиянием окружающего мира, она учила ребенка, насколько позволяло ей ее разумение, познавать творца вселенной. Каждое утро и каждый вечер мать и сын (в великом и

трогательном единении, которое, я думаю, умилило всякого, кто это видел или сам пережил) — мать и ее мальчик молились отцу небесному: мать вкладывала в молитву всю свою кроткую душу, а ребенок лепетал за нею слова, которые она произносила. И каждый раз они молили бога благословить дорогого папеньку, как будто он был жив и находился тут же с ними.

Много часов каждый день уходило у нее на то, чтобы умывать и одевать юного джентльмена, водить его на прогулку перед завтраком и уходом бабушки «по делам», шить для него самые удивительные и хитроумные костюмчики, для каковой цели бережливая вдова перекраивала и переделывала каждый пригодный лоскут из нарядов, составлявших ее гардероб во времена замужества, ибо сама миссис Осборн (к большому огорчению ее матери, любившей наряжаться, особенно с тех пор как они разорились) всегда носила черные платья и соломенную шляпку с черной лентой. Остальное время она посвящала матери и старику отцу. Она постаралась научиться игре в крибедж и часто играла со старым джентльменом в те вечера, когда он не ходил в клуб. Она пела, когда ему хотелось ее послушать; и это было хорошим знаком, потому что под музыку старик неизменно впадал в сладкий сон. Она переписывала ему бесчисленные записки, планы, письма и проспекты. Большинство прежних знакомых старого джентльмена получили уведомления, написанные ее рукой, о том, что он сделался агентом компании «Черный алмаз и беззольный уголь» и готов снабжать друзей и публику самым лучшим углем по столько-то шиллингов за чедрон¹. Ему оставалось только подписать с замысловатым росчерком эти проспекты и дрожащим канцелярским почерком надписать адреса. Одна из этих бумаг была отправлена майору Доббину в *** полк, через господ Кокса и Гринвуда; но майор был в это время в Мадрасе и, следовательно, не имел особой надобности в угле. Однако он узнал руку, которою был написан проспект. Господи боже! чего бы он не отдал, чтобы держать эту ручку в своей! Пришел и второй проспект, извещавший майора, что Седли и К° учредили в Опорто, Бордо и Сен-Мари агентства, которые имеют

¹ Ч е л д р о н — мера для угля, 1220 килограммов.

возможность предложить друзьям и публике самый лучший и изысканный выбор портвейна, хереса и красных вин по умеренным ценам и на особо выгодных условиях. Основываясь на этом извещении, Доббин усердно наседали на губернатора, главнокомандующего, на судей, полковых товарищей и всех, кого только знал из начальствующих лиц, и послал фирме Седли и К° столько заказов на вина, что привел в полное изумление мистера Седли и мистера Клепа, которые и составляли всю К° в названном предприятии. Но за этим взрывом удачи, под влиянием которого бедный старик уже собирался строить дом в Сити, обзавестись целым полком клерков, собственными доками и агентами во всех уголках земного шара, других заказов не последовало. Очевидно, старый джентльмен утратил прежний тонкий вкус к винам: на майора Доббина посыпались жалобы из всех офицерских столовых за скверные напитки, которые были выписаны по его рекомендации. В конце концов он скупил обратно огромное количество вин и продал с аукциона, с огромным для себя убытком.

Что касается бывшего коллектора, получившего в это время место в управлении государственными сборами в Калькутте, то он был взбешен, когда почта принесла ему пачку этих вакхических проспектов с приватной припиской отца, извещавшей Джоза, что его родитель рассчитывает на него в этом предприятии и посылает ему партию отборных вин, указанных в накладной, а также выданные им на эту сумму векселя от имени сына — на покрытие расходов. Джоз, которому так же неприятно было, что его отец, отец Джоза Седли, члена управления государственными сборами, сделался виноторговцем, кланчающим заказы, как если бы он стал Джеком Кечем *, с возмущением отказался от векселей и написал старому джентльмену сердитое письмо, предлагая на будущее оставить его в покое. Опротестованные векселя пришли обратно, и Седли и К° вынуждены были оплатить их доходами от мадрасской операции, а частью и сбережениями Эмми.

Кроме пенсии в пятьдесят фунтов в год, у нее, по заявлению душеприказчика ее мужа, была еще сумма в пятьсот фунтов, находившаяся на руках агентов в момент смерти Осборна; эту сумму опекун Джорджа, Доббин, предлагал поместить из восьми годовых процентов в одну

индийскую контору. Мистер Седли, подозревавший майора в каких-то неблагоприятных расчетах на эти деньги, был категорически против предложенного плана. Он отправился к агентам, чтобы лично протестовать против такого помещения упомянутого капитала. Там он узнал, к своему изумлению, что никто им не доверял такой суммы, что все оставшиеся после покойного капитана средства не превышают ста фунтов, а названные пятьсот фунтов, повидимому, составляют особую сумму, о которой известно только майору Доббину. Окончательно убедившись, что дело нечисто, старик Седли начал преследовать майора. Как самый близкий дочери человек, он потребовал отчета относительно средств покойного капитана. Доббин замялся, покраснел и стал давать невразумительные ответы. Это подтверждало подозрение старика, что он имеет дело с мошенником. Величественным тоном высказал он этому офицеру «всю правду в глаза», как он выразился, то есть попросту выразил убеждение, что майор незаконно присвоил деньги его покойного зятя.

Тут Доббин вышел из терпения, и если бы его обвинитель не был так стар и жалок, между обоими джентльменами, сидевшими за столиком кофейни «Слотера», где происходило их объяснение, непременно вспыхнула бы ссора.

— Подниметесь ко мне, сэр, — пробормотал майор с сердцем, — я настаиваю на том, чтобы вы поднялись ко мне, и я покажу вам, кто оказался пострадавшей стороной: бедный Джордж или я.

И он потащил старика к себе в номер и достал из конторки счета и пачку долговых обязательств, выданных Осборном, который, надо отдать ему справедливость, охотно выдавал такие обязательства.

— Джордж оплатил свои векселя при отъезде из Англии, но, когда он пал в сражении, у него не осталось и сотни фунтов. Я и еще два собрата офицера из своих сбережений собрали небольшую сумму, а вы еще осмеливаетесь говорить, что мы стараемся обогатить вдову и сироту.

Седли был очень сконфужен и притих, хотя в действительности Вильям Доббин изрядно насочинил старому джентльмену: это были его деньги, полностью все пятьсот фунтов, он похоронил на свои средства друга и оплатил все

расходы, связанные с этим бедствием и с переездом несчастной Эмили.

Об этих издержках старый Осборн ни разу не дал себе труда подумать, да и никто из родственников Эмили не вспомнил об этом, не говоря уж о ней самой. Вполне доверяя майору Доббину как бухгалтеру, она не вникала в его несколько запутанные расчеты и понятия не имела, как много она ему должна.

Два-три раза в год, верная своему обещанию, она писала ему письма в Мадрас, — письма, целиком наполненные маленьким Джорджи. Как дорожил Вильям этими письмами! Каждый раз, когда Эмили писала ему, он аккуратно отвечал ей, но по собственному почину никогда не писал. Зато он посылал ей и крестнику бесчисленные напоминания о себе. Так он заказал и выслал ей целый набор шарфов и великолепные китайские шахматы из слоновой кости. Пешками были зеленые и белые человечки с настоящими мечами и щитами, конями — всадники, а турами — башни на спинах слонов.

— Даже у миссис Мэнго шахматы далеко не такие роскошные, — заметил мистер Песлер.

Шахматы привели в истинное восхищение Джорджи, и он в первом своем письме печатными буквами благодарил крестного за подарок. Доббин присылал также консервированные фрукты и маринады; когда юный джентльмен тайком отведал последних, достав их из буфета, он чуть не задохнулся, — и решил, что это наказание за воровство: так они сожгли ему горло. Эмми комически описала майору это происшествие. Доббина обрадовало в ее письме то, что состояние духа у нее стало бодрее и что она уже может смеяться. Он прислал ей две шали: белую — для нее самой, и черную с пальмовыми листьями — для ее матери, а также два теплых зимних красных шарфа для старого мистера Седли и Джорджа. Шали стоили по крайней мере по пятидесяти гиней каждая, как определила миссис Седли. Она надевала свою в церковь, и знакомые дамы поздравляли ее с роскошной обновкой. Белая шаль Эмми очень украшала ее скромное черное платье.

— Какая жалость, что она и слышать о нем не хочет, — сетовала миссис Седли, обращаясь к миссис Клеп и к своим другим приятельницам в Бромптоне. —

Джоз никогда не присылал нам таких подарков и жалеет для нас денег. Майор, очевидно, по уши влюблен, но, как только я намекну ей об этом, она краснеет, начинает плакать, уходит к себе и сидит там со своей миниатюрой. Мне тошно смотреть на эту миниатюру. Желала бы я, чтобы мы никогда не встречались с этими противными, заносчивыми Осборнами.

Среди таких скромных событий и в таком скромном кружке лиц протекало раннее детство Джорджа. Мальчик рос хрупким, чувствительным, изнеженным, властным по отношению к своей кроткой матери, которую он любил со страстной нежностью. Он командовал и всеми прочими членами своего маленького мирка. По мере того как Джорджи становился старше, взрослые удивлялись его высокомерным замашкам и полному сходству с отцом. Он приставал к ним с вопросами, как всегда делают пытливые дети, и, пораженный глубиной его замечаний и наблюдений, дедушка надоел всем в клубе рассказами о гениальности и учености мальчика. Бабушку мальчик принимал с добродушным безразличием. Тесный кружок его близких считал, что такого умницы еще не было на свете, и Джорджи, унаследовавший самомнение отца, думал, вероятно, что они не ошибаются.

Когда ему было около шести лет, Доббин вступил с ним в оживленную переписку. Майор хотел знать, собирается ли Джорджи поступать в школу, и надеялся, что он займет там достойное место, — или он предпочитает иметь хорошего учителя дома? А когда пришло время начинать учение, его крестный и опекун деликатно предложил взять на себя все издержки по воспитанию Джорджи, так как они будут тяжелы для скудных средств матери. Словом, майор всегда думал об Эмилии и ее маленьком сыне и приказал своим поверенным доставлять мальчику книжки с картинками, краски, карты и всевозможные пособия для занятий и развлечений.

За три дня до шестой годовщины рождения Джорджа какой-то джентльмен в сопровождении слуги подъехал на двуколке к дому мистера Седли и пожелал видеть мистера Джорджа Осборна. Это был мистер Улси, военный портной с Кондит-стрит, который приехал по поручению майора, чтобы снять мерку с юного джентльмена и сшить

ему суконный костюм. Он имел честь шить на капитана, отца юного джентльмена.

Иногда — и, без сомнения, также по желанию майора — его сестры, девицы Доббин, заезжали в фамильном экипаже, чтобы пригласить покататься Эмилию и мальчика. Покровительство и любезность этих леди стесняли Эмилию, но она переносила это довольно кротко, потому что была незлобива по натуре; к тому же прогулка в роскошном экипаже доставляла маленькому Джорджу огромное удовольствие. Иногда девицы просили отпустить к ним ребенка на целый день, и он всегда с радостью ездил к ним, в их прекрасный дом с большим садом на Денмарк-хилле, где в теплицах вызревал прекрасный виноград, а на шпалерах — персики.

Однажды девицы Доббин любезно явились к Эмили с новостями, которые, как они были уверены, доставят ей удовольствие... нечто очень интересное, касающееся их дорогого Вильяма.

— Что такое? Не возвращается ли он домой? — спросила Эмилия, и в глазах ее блеснула радость.

О нет, совсем не то, — но у них есть основание думать, что милый Вильям скоро женится... на родственнице близкого друга Эмили, мисс Глорвине О'Дауд, сестре сэра Майкеля О'Дауда, приехавшей в гости к леди О'Дауд в Мадрас... на очень красивой и воспитанной девушке, как все говорят.

Эмилия только сказала: «О!» Какое в самом деле приятное известие. Правда, она не допускала и мысли, что эта Глорвина похожа на ее старую знакомую, женщину редкой доброты... но... но, право, она очень рада. И под влиянием какого-то необъяснимого побуждения она схватила в объятия маленького Джорджа и расцеловала его с чрезвычайной нежностью. Когда она отпустила мальчика, ее глаза были влажны и она не произнесла и двух слов во время всей прогулки... хотя, право же, была очень рада!



ГЛАВА XXXIX

Глава циническая

Но вернемся не надолго к нашим старым хемпширским знакомым, надежды которых на то, что они унаследуют имущество своей богатой родственницы, оказались так прискорбно обманутыми. Для Бьюта Кроули, рассчитывавшего на тридцать тысяч, было тяжелым ударом получить всего лишь пять. Из этой суммы, после того как были уплачены его собственные долги и долги его сына Джима в колледже, остался совершеннейший пустяк на приданое его четырем некрасивым дочерям. Миссис Бьют так никогда и не узнала, вернее — никогда не пожелала признаться себе в том, насколько ее собственное тиранство способствовало разорению мужа. Она клялась и уверяла, что сделала все, что только может сделать женщина. Разве ее вина, что она не обладает искусством низкопоклонничества, как ее лицемерный племянник Питт Кроули? Она желает ему того счастья, которого он заслужил своими бесчестными происками.

— По крайней мере деньги останутся в семье, — соизволила она заметить. — Питт ни за что не истратит их — будьте покойны, потому что большего скряги не найти во всей Англии, и он так же гадок, но только в другом роде, как и его расточительный братец, этот распутник Родон.

Таким образом, миссис Бьют после первого взрыва ярости и разочарования начала приспосабливаться, как могла, к изменившимся обстоятельствам, то есть в первую очередь принялась усердно наводить экономию и урезывать расходы. Она учила дочерей стойко переносить бедность и изобретала тысячи остроумнейших средств скрывать или обходить нужду. С энергией, достойной всяческой похвалы, она возила их на вечера и на общественные собрания и даже гораздо чаще, радушнее и любезнее угощала своих знакомых в пасторате, чем раньше, когда ей улыбалась надежда унаследовать состояние дорогой мисс Кроули. Никто не мог бы заподозрить по внешнему виду, что семья обманулась в своих ожиданиях, или, судя по ее частым появлениям в обществе, догадаться, насколько они стеснены в средствах и даже недоедают дома. Ее дочери гораздо лучше наряжались, чем раньше. Они появлялись на всех вечерах в Винчестере и Саутгемптоне, добирались даже до Кауза, чтобы попасть на балы и празднества по случаю скачек и гребных гонок, и их карета с лошадьми, выпряженными прямо из плуга, постоянно была в разгоне, пока, наконец, чуть ли не все кругом поверили, что каждой из четырех сестер досталось состояние от тетки, имя которой произносилось в семье не иначе, как с уважением и трогательной благодарностью. Я не знаю более распространенной лжи на Ярмарке Тщеславия, и всего замечательнее, что люди уважают себя за такое лицемерие и, обманывая других относительно размеров своих средств, видят в этом чуть ли не добродетель.

Миссис Бьют, конечно, считала себя одной из самых добродетельных женщин Англии, и вид ее счастливой семьи был для посторонних назидательным зрелищем. Девушки были так веселы, так любезны, так хорошо воспитаны, так скромны! Марта прелестно рисовала цветы и снабжала своими произведениями половину благотворительных базаров в графстве; Эмма была настоящим соловьем графства, и ее стихи в «Хемпширском телеграфе»

служили украшением его отдела поэзии; Фанни и Матильда пели дуэты, а мамаша аккомпанировала им на фортепьяно, между тем как две другие сестры, обнявшись, самозабвенно слушали. Никто не знал, как бедные девочки зубрили эти дуэты у себя дома, никто не видел, как мамаша муштровала их часами. Одним словом, миссис Бьют сносила с веселым лицом превратности судьбы и соблюдала внешние приличия самым добродетельным образом.

Миссис Бьют делала все, что могла сделать хорошая и почтенная мать. Она приглашала к себе яхтсменов из Саутгемптона, священников из Винчестерского собора и офицеров из местных казарм. Во время судебных сессий она пыталась заманить к себе молодых судейских и поощряла Джима приводить домой товарищей, с которыми он участвовал в охоте его величества. Чего не сделает мать для блага своих возлюбленных чад!

Понятно, что между такой женщиной и ее деверем, ужасным баронетом из замка, не могло быть ничего общего. Разрыв между братьями был полный. Да и никто из соседей теперь знать не хотел сэра Питта, ибо старый баронет стал позором для всего графства. Его отвращение к порядочному обществу увеличивалось с каждым годом, и с тех пор как Питт и леди Джейн нанесли ему свой обязательный свадебный визит, ворота его замка не открывались ни для одного господского экипажа.

Это был злосчастный, ужасный визит, о котором в семье вспоминали потом не иначе, как с содроганием. Питт с мрачным видом просил жену никогда не упоминать о нем, и только через миссис Бьют, которая попрежнему знала все, что делалось в замке, стали известны подробности приема, оказанного сэром Питтом сыну и невестке.

Пока они ехали по аллее парка в своей чистенькой, нарядной карете, Питт с негодованием и ужасом заметил большие вырубki между деревьев — его деревьев, — которые старый баронет рубил совершенно безбожно. Вид у парка был заброшенный и унылый. Проезжие аллеи содержались дурно, и нарядный экипаж тащился по грязи и проваливался в глубокие лужи, стоявшие на дороге. Большая площадка перед террасой и ступени почернели и покрылись мхом; нарядные когда-то цветочные

клумбы поросли сорной травой и заглохли. Почти по всему фасаду дома были наглухо закрыты ставни; засов у входной двери был отодвинут только после целого ряда звонков, и когда Хорокс, наконец, ввел наследника Королевского Кроули и его молодую жену в жилище предков, какое-то существо в лентах промелькнуло по почернелой дубовой лестнице и исчезло в верхних покоях. Он проводил их в так называемую «библиотеку» сэра Питта, и чем больше Питт и леди Джейн приближались к этой части здания, тем сильнее ощущали запах табачного дыма.

— Сэр Питт не совсем здоров, — сказал, извиняясь, Хорокс и намекнул на то, что он страдает прострелом.

Библиотека выходила окнами на главную аллею парка. Сэр Питт стоял у открытого окна и орал оттуда на форейтора и слугу Питта, собиравшихся, повидимому, извлечь багаж из кареты.

— Не смейте тащить их сюда! — кричал он, указывая на чемоданы трубкой, которую держал в руке. — Это только утренний визит, Такер, олух вы этакий! Господи! Отчего это такие трещины на копытах у лошадей? Неужели не нашлось никого в «Голове Короля», чтобы смазать их немного?.. Ну, как поживаешь, Питт? Как поживаете, милочка? Приехали навестить старика — так, что ли? Ба, да у вас премилая мордочка! Вы не похожи на эту старую ведьму, свою мамашу. Идите сюда и поцелуйте старого Питта, как умная девочка!

Эти нежности смутили невестку, как только могут смутить ласки небритого старого джентльмена, насквозь пропитанного табаком. Но она вспомнила, что ее брат, Саутдаун, тоже носит усы и курит сигары, и приняла эти знаки расположения как нечто должное.

— Питт потолстел, — сказал баронет после этих изъятий родственных чувств. — Читает он вам длинные проповеди? Сотый псалом, вечерний гимн — а, Питт?.. Принесите рюмку мальвазии и бисквитов для леди Джейн, Хорокс! Болван, да не стойте тут, выкатив глаза, как жирный боров!.. Я не приглашаю вас погостить у меня, милочка: вы здесь соскучитесь, да и нам с Питтом это было бы ни к чему. Я человек старый, и у меня свои слабости: трубка, триктрак по вечерам...

— Я умею играть в триктрак, сэр, — ответила, смеясь, леди Джейн. — Я играла с папа и с мисс Кроули. Не правда ли, мистер Кроули?

— Леди Джейн умеет играть в игру, к которой вы чувствуете такое пристрастие, сэр, — произнес надменно Питт.

— Ну, для этого не стоит оставаться. Нет, нет, отправляйтесь-ка лучше назад в Мадбери и осчастливьте миссис Ринсер или поезжайте обедать в пасторат к Бьюту. Он будет в восторге от вашего приезда, могу вас уверить: ведь он вам так обязан за то, что вы заполучили все старухины деньги! Ха-ха! Часть из них пойдет на ремонт замка, когда меня не будет на свете.

— Я заметил, сэр, — сказал Питт, повышая голос, — что ваши люди рубят лес.

— Да, да, погода прекрасная и как раз подходящая по времени года, — отвечал сэр Питт, внезапно оглохнув. — Я старею, Питт. Да и тебе, впрочем, недалеко уже до пятидесяти. Он хорошо сохранился, моя милочка леди Джейн, не правда ли? А все трезвость, набожность и нравственная жизнь. Взгляните на меня, мне уже скоро восемь десятков стукнет. Ха-ха! — И он засмеялся, затем взял понюшку табаку, подмигнул невестке и ущипнул ее за руку.

Питт снова перевел разговор на лес, но баронет опять прикинулся глухим.

— Стар я, что и говорить, и весь этот год жестоко мучаюсь от прострела. Но я рад, что вы приехали, невестушка. Мне нравится ваше личико. В нем нет никакого сходства с этими противными скуластыми Бинки. Я подарю вам кое-что хорошенькое, что вы можете надеть ко двору.

И он потащился через комнату к шкафу, откуда извлек старинный маленький футляр с драгоценностями.

— Возьмите это, милочка! — сказал он. — Это принадлежало моей матери, а потом первой леди Кроули. Прекрасный жемчуг... я не стал дарить его дочери железоторговца. Нет, нет! Берите и спрячьте поскорей, — сказал он, сунув невестке футляр и поспешно захлопывая дверцу шкафа в тот момент, когда в комнату вошел Хорокс с подносом и угощением.

— Что вы подарили жене Питта? — спросила особа

в лентах, когда Питт и леди Джейн уехали от старого джентльмена. Это была мисс Хорокс, дочь дворецкого, виновница пересудов, распространившихся по всему графству, — леди, почти самовластно царившая в Королевском Кроули.

Возвышение и успех вышеозначенных Лент был отмечен с негодованием всей семьей и всем графством. Ленты завели свой текущий счет в отделении сберегательной кассы в Мадбери; Ленты ездили в церковь, завладев всецело экипажем и лошадкой, которые раньше были в распоряжении замковой челяди. Многие слуги были отпущены по ее желанию. Садовник-шотландец, еще оставшийся в доме, — он гордился своими теплицами и шпалерами и действительно получал недурной доход от сада, который он арендовал и урожай с которого продавал в Саутгемптоне, — застал в одно ясное солнечное утро Ленты за истреблением персиков около южной стены; когда он стал упрекать ее за это покушение на его собственность, он был награжден пощечиной. И вот садовнику, его жене-шотландке и их шотландским ребятишкам — этим единственным почтенным обитателям Королевского Кроули — пришлось выехать со всеми своими пожитками; покинутые роскошные сады постепенно глохли и дичали, а цветочные клумбы заросли сорной травой. В розарии бедной леди Кроули царила мерзость запустения. Только двое или трое слуг дрожали еще в мрачной старинной людской. Опустевшие конюшни и службы были заколочены и наполовину развалились. Сэр Питт жил уединенно и каждый вечер пьянствовал с Хороксом — своим дворецким (или управляющим, как последний теперь начал себя называть) и потерявшими стыд и совесть Лентами. Давно прошли те времена, когда она ездила в тележке в Мадбери и величала всех мелких торговцев «сэр». Может быть, от стыда или от отвращения к соседям, но только старый циник из Королевского Кроули теперь почти совсем не выходил за ворота парка. Он заочно ссорился со своими поверенными и письменно прижимал арендаторов, проводя все дни за своей корреспонденцией. Стряпчие и бейлифы, которым нужно было с ним повидаться, могли попасть к нему только через посредство Лент; и она принимала их у двери в комнату экономки, находившуюся около черного входа. Дела баро-

нета запутывались с каждым днем, затруднения его росли и множились.

Нетрудно представить себе ужас Питта Кроули, когда слухи о старческом слабоумии отца дошли до этого образцового и корректного джентльмена. Он постоянно трепетал, что Ленты будут объявлены его второй законной махей. После первого и последнего визита новобрачных имя отца никогда не упоминалось в приличном и элегантном семействе Питта. Это была позорная семейная тайна, и все молча и с ужасом обходили ее. Графиня Саутдаун, правда, проезжая в карете, забрасывала в привратническую парка свои самые красноречивые брошюры, — брошюры, от которых у всякого нормального человека волосы становились дыбом, — да миссис Бьют в своем пасторате каждую ночь высматривала из окна, нет ли красного зарева над вязами, скрывающими замок, и не горит ли усадьба. Сэр Дж. Уопшот и сэр Х. Фадлстон, старые друзья дома, не пожелали сидеть на одной скамье с сэром Питтом во время квартальной сессии суда, и в Саутгемптоне, на Хай-стрит, величественно отвернулись от него, когда этот отщепенец протянул им грязные старческие руки. Но это мало задело его: он сунул руки в карманы и разразился хохотом, влезая обратно в свою карету, запряженную четверней; и точно так же хохотал он над брошюрами леди Саутдаун, хохотал над сыновьями, над всем светом и даже над Лентами, когда они сердились, что бывало нередко.

Мисс Хорокс водворилась в Королевском Кроули в качестве экономки и правила всеми домочадцами очень сурово и величественно. Слугам было приказано величать ее «мэм» или «мадам», а маленькая горничная, желавшая к ней подслужиться, называла ее не иначе как «миледи», не встречая возражений со стороны грозной домоправительницы.

— Бывали леди лучше меня, а бывали и хуже, Эстер, — отвечала мисс Хорокс на это обращение своей фаворитки. Так она управляла, держа в трепете всех, за исключением отца, хотя и с ним обращалась надменно, требуя, чтобы он не забывался в присутствии будущей супруги баронета. И она и в самом деле с огромным удовольствием репетировала эту лестную роль, к восторгу сэра Питта, который потешался над ее ужимками и гри-

масами и часами хохотал, глядя, как она важничает и подражает светскому обхождению. Он уверял, что это лучше всякого театра — смотреть, как она разыгрывает благородную даму. Однажды он даже заставил ее надеть придворное платье первой леди Кроули и, поклявшись, что оно удивительно к ней идет (с чем мисс Хорокс вполне согласилась), грозил, что сию же минуту повезет ее ко двору в карете четверней. Она рылась в гардеробах обеих покойных леди и перекраивала и переделывала оставшиеся наряды по своей фигуре и по своему вкусу. Ей очень хотелось завладеть также драгоценностями и безделушками, но старый баронет запер их в ящиках стола, и она не могла ни лаской, ни лестью вымолить у него ключи. Установлено, что спустя некоторое время после отъезда этой особы из Королевского Кроули была найдена принадлежавшая ей тетрадь, из которой видно было, какие она прилагала старания, чтобы научиться писать, а главное — подписывать собственное имя в качестве леди Кроули, леди Бетси Хорокс, леди Элизабет Кроули и т. д.

Хотя добрые люди из пастората никогда не заходили в замок и чуждались ужасного, выжившего из ума старика, его владельца, однако они точно знали все, что там делается, и со дня на день ожидали катастрофы, на которую уповала и мисс Хорокс. Но завистливая судьба обманула ее надежды, лишив заслуженной награды столь беспорочную любовь и добродетель.

Однажды баронет застал «ее милость», как он шуточно называл ее, восседающей в гостиной за старым расстроенным фортепьяно, к которому никто не прикасался с тех пор, как Бекки Шарп играла на нем кадрили. Она сидела в самой торжественной позе и во все горло завывала, подражая тому, что ей когда-то доводилось слышать. Маленькая горничная, желавшая выслужиться, стояла возле хозяйки и, в полном восторге от ее исполнения, кивала головой и восклицала: «Господи, мэм, как прекрасно!» — совершенно так же, как это проделывают эlegantные льстецы в великосветской гостиной.

Случай этот заставил баронета, по обыкновению, смеяться доупаду. В течение вечера он раз десять рассказывал о нем Хороксу, к величайшему неудовольствию мисс Хорокс. Он барабанил по столу, как будто по клавишам музыкального инструмента, и завывал, подражая ее

манере петь. Он клялся, что такой чудный голос надо обработать, и заявил, что наймет ей учителей пения, в чем она не нашла ничего смешного. Сэр Питт был очень в духе в тот вечер и выпил со своим приятелем дворецким непозволительное количество рома. Было очень поздно, когда верный друг и слуга отвел хозяина в спальню.

Через полчаса в доме вдруг поднялся страшный переполох. В окнах старого уединенного пустынного замка, где только две-три комнаты были заняты его владельцем, замелькали огни. Мальчик верхом на пони поскакал в Мадбери за доктором. А еще через час (и по этому мы можем судить, какие тесные отношения постоянно поддерживала превосходная миссис Бьют Кроули с господским домом) эта леди, в капоре и деревянных калошах, преподобный Бьют Кроули и его сын Джеймс Кроули дружно устремились к замку и, пробежав парком, вошли в дом через открытую парадную дверь. Миновав большой зал и маленькую дубовую гостиную, где на столе стояли три стакана и пустая бутылка из-под рома, они проникли в кабинет сэра Питта и там застали ошалевшую мисс Хорокс в ее преступных лентах, — она подбирала ключи из связки к шкафчикам и конторке. Она выронила их с криком ужаса, когда глаза маленькой миссис Бьют сверкнули на нее из-под черного капора.

— Посмотрите-ка сюда, Джеймс и мистер Кроули! — завопила миссис Бьют, указывая на черноглазую преступницу, стоявшую перед ней в полной растерянности.

— Он сам мне их дал, он сам мне их дал! — кричала она.

— Сам дал тебе, мерзкая тварь! — надрывалась миссис Бьют. — Будьте свидетелем, мистер Кроули, что мы застали эту негодную женщину на месте преступления, ворующей имущество вашего брата. Ее повесят, я всегда это говорила!

Мисс Хорокс в смертельном страхе бросилась на колени, заливаясь слезами. Но, как всем известно, ни одна поистине добрая женщина не торопится прощать, и унижение врага заставляет ликовать ее душу.

— Позвони в колокольчик, Джеймс! — сказала миссис Бьют. — Звони, пока не сбегутся люди.

Трое или четверо слуг, остававшихся в старом пустом замке, не замедлили явиться на этот голосистый и настойчивый зов.

— Посадите злодейку под замок, — приказала миссис Бьют, — мы поймали ее, когда она грабила сэра Питта. Мистер Кроули, вы составите указ о ее задержании... а вы, Бедоз, отвезете ее утром на телеге в саутгемптонскую тюрьму.

— Но, милая, — возразил судья и пастор, — ведь она только...

— Нет ли здесь ручных кандалов? — продолжала миссис Бьют, топая деревянными калошами. — Надо надеть ей наручники! Где негодный отец этой твари?

— Он дал их мне! — продолжала кричать бедная Бетси. — Разве нет, Эстер? Ты сама видела, как сэр Питт... ты знаешь, что он дал мне... уже давно, на другой день после мадберийской ярмарки; они мне не нужны. Берите их, если думаете, что они не мои!

Тут бедная злоумышленница вытащила из кармана пару больших, украшенных поддельными камнями башмачных пряжек, которые давно вызывали ее восхищение и которые она только что присвоила, достав их из книжного шкафа, где они были спрятаны.

— Как вы можете так безбожно врать, Бетси? — сказала Эстер, маленькая горничная, ее недавняя фаворитка. — И кому? — доброй, любезнейшей мадам Кроули и его преподобию! (Она присела.) Вы можете обыскать все мои ящики, мэм, сделайте одолжение, вот мои ключи; я честная девушка, хотя и дочь бедных родителей и воспитывалась в работном доме; и если вы найдете у меня хоть несчастный кусочек кружева или шелковый чулок из всего того, что *вы* натаскали, я согласна никогда больше не ходить в церковь.

— Давай ключи, негодяйка! — прошипела добродетельная маленькая леди в капоре.

— А вот и свеча, мэм; и если угодно, мэм, я могу вам показать ее комнату, мэм, и шкаф в комнате экономки, где у нее куча вещей, мэм! — кричала усердная маленькая Эстер, все время приседая.

— Сделай одолжение, придержи свой язык! Я отлично знаю комнату, которую занимает эта тварь. Миссис Браун, будьте добры пойти вместе со мной, а вы,

Бедоз, не спускайте глаз с этой женщины, — сказала миссис Бьют, схватив свечу. — Мистер Кроули, вы бы лучше отправились наверх и посмотрели, не убивают ли там вашего несчастного брата. — И капор в сопровождении миссис Браун отправился в комнату, которую, как миссис Бьют справедливо заметила, она отлично знала.

Пастор пошел наверх и нашел там доктора из Мадбери и перепуганного Хорокса, склонившихся над креслом хозяина: они пробовали пустить кровь сэру Питту Кроули.

Рано утром к мистеру Питту Кроули был послан нарочный от жены пастора, которая приняла на себя командование всем домом и всю ночь сторожила старого баронета. До некоторой степени он был возвращен к жизни; но языка он лишился, хотя, повидимому, всех узнавал. Решительная миссис Бьют ни на шаг не отходила от его постели. Казалось, эта маленькая женщина нисколько не нуждалась в сне: она ни разу не сомкнула своих черных горящих глаз, хотя даже доктор храпел, сидя в кресле. Хорокс делал отчаянные попытки вернуть свой авторитет и выручить хозяина, но миссис Бьют назвала его старым пьяницей и негодяем и запретила ему показываться в доме, иначе он будет сослан на каторгу, так же как его негодяйка дочь.

Устрашенный ее угрозами, он ускользнул вниз, в дубовую гостиную, где находился мистер Джеймс; последний, исследовав бутылку и убедившись, что в ней нет ничего, велел мистеру Хороксу достать еще бутылку рома, которую тот и принес вместе с чистыми стаканами. Пастор и его сын уселись перед нею, приказав Хороксу сейчас же выдать ключи и больше не показываться.

Окончательно спасовав перед такой твердостью, Хорокс сдал ключи и вместе с дочерью улизнул под покровом ночи, отрекшись от власти в доме Королевского Кроули.



ГЛАВА XL,

в которой Бекки признана членом семьи

Наследник старого баронета прибыл в замок, лишь только узнал о катастрофе, и с этого времени, можно сказать, воцарился в Королевском Кроули. Ибо, хотя сэр Питт прожил еще несколько месяцев, к нему уже не возвращалось полное сознание или способность речи, так что управление имением перешло в руки старшего сына. Питт нашел дела родителя в весьма беспорядочном состоянии. Сэр Питт все время то прикупал, то закладывал землю; он состоял в сношениях с десятками деловых людей и с каждым из них ссорился: ссорился и заводил тяжбы со своими арендаторами, заводил тяжбы со стряпчими, с компаниями по эксплуатации копей и доков, совладельцем которых он был, и со всеми, с кем только имел дело. Распутать все эти кляузы и очистить имение было задачей, достойной аккуратного и настойчивого дипломата из Пумперникеля, и он принялся за работу с необычайным усердием. Вся его семья переселилась в Королевское Кроули, куда прибыла, конечно, и леди Саутдаун; она под носом у пастора принялась за обращение его прихода и, к негодованию и досаде миссис Бьют, привезла с собой всё свое неправовверное духовенство. Сэр Питт не успел продать право на бенефицию с церков-

ного прихода Королевского Кроули, и ее милость предложила, когда срок кончится, взять патронатство в свои руки и представить в пасторат своего юного protégé, но Питт дипломатически промолчал на это предложение.

Намерения миссис Бьют относительно мисс Бетси Хоррокс не были приведены в исполнение, и последняя не попала в саутгемптонскую тюрьму. Она покинула замок вместе с отцом, и последний вступил во владение деревенским трактиром «Герб Кроули», который получил в аренду от сэра Питта. Таким же образом бывший дворецкий оказался обладателем клочка земли, что давало ему голос в местном избирательном округе. Другим голосом располагал пастор, и эти двое да еще четверо прихожан составляли избирательный корпус, посылавший в парламент двух членов от Королевского Кроули.

Между дамами из пастората и замка внешне установились вежливые отношения — по крайней мере между младшим поколением, потому что миссис Бьют и леди Саутдаун никогда не могли встречаться без баталий и постепенно совсем перестали видеться. Когда леди из пастората навещали своих родственников в замке, ее милость оставалась у себя в комнате, и, быть может, даже мистер Питт был не слишком этим недоволен. Он верил, что фамилия Бинки — самая знатная, умная и влиятельная на свете, и перед «ее милостью», то есть теткой, ходил по струнке; но иногда он чувствовал, что леди Саутдаун слишком уж им командует. Если вас считают молодым, это, без сомнения, лестно, но когда вам сорок шесть лет и вас третируют, как мальчишку, вам недолго и обидеться. Леди Джейн — та во всем подчинялась матери. Она только позволяла себе тайно любить своих детей, и, по счастью для нее, нескончаемые дела леди Саутдаун, совещания с духовными лицами и переписка со всеми миссионерами Африки, Азии и Австралии отнимали у досточтимой графини так много времени, что она могла посвящать внучке, маленькой Матильде, и внуку, мистеру Питту Кроули, лишь считанные минуты. Последний был слабым ребенком, и только большими дозами каломели леди Саутдаун удавалось поддерживать его жизнь.

Что касается сэра Питта, то он был удален в те самые апартаменты, где перед тем угасла леди Кроули, и здесь мисс Эстер, горничная, так стремившаяся выслужиться,

усердно и заботливо присматривала за ним. Какая любовь, какая верность, какая преданность могут сравниться с любовью, преданностью и верностью сиделок с хорошим жалованьем? Они оправляют подушки и варят кашу; они терпеливо вскакивают по ночам; они переносят жалобы и воркотню больного; они видят яркое солнце за окном и не стремятся выйти на улицу; они спят, приткнувшись на стуле, и обедают в полном одиночестве; они проводят длинные-длинные вечера ничего не делая и только следя за углями в камине и за питьем больного, закипающим в кастрюльке; они целую неделю читают еженедельный журнал, а «Строгий призыв закона» и «Долг человека» доставляют им чтение на год. И мы еще выговариваем им, когда их родные навещают их в воскресенье и приносят им небольшое количество джину в корзинке с бельем. О леди, какая любовь выдержит такую муку — ухаживать в течение целого года за предметом своей страсти! А сиделка возится с вами за какие-нибудь десять фунтов в три месяца, и мы еще считаем, что платим ей слишком много. По крайней мере мистер Кроули изрядно ворчал, когда платил половину этого мисс Эстер, неусыпно ухаживавшей за баронетом, его отцом.

В солнечные дни старого джентльмена выкатывали в кресле на террасу — в том самом кресле, которым пользовалась мисс Кроули в Брайтоне и которое было привезено сюда вместе с имуществом леди Саутдаун. Леди Джейн шла рядом с креслом старика, она явно была его любимицей, — он усердно кивал ей головой и улыбался, когда она входила, а когда удалялась, выпускал нечленораздельные жалобные стоны. Как только дверь за нею закрывалась, он начинал плакать и рыдать. В ответ на это лицо и манеры Эстер, чрезвычайно кроткой и ласковой в присутствии молодой леди, сразу же менялись, и она строила гримасы, грозила кулаком и кричала:

— Замолчи, старый болван! — и откатывала кресло больного от огня, на который он любил смотреть. Тогда он начинал плакать еще сильнее — ибо после семидесяти с лишним лет хитрости, надувательства, пьянства, интриг, греха и эгоизма теперь остался только хныкающий старый идиот, которого укладывали в постель и поднимали, умывали и кормили, как малого ребенка.

Наконец наступил день, когда обязанности сиделки

окончились. Рано утром к Питту Кроули, сидевшему над расходными книгами управляющего и дворецкого, посту- чались, и перед ним предстала Эстер, доложившая с низ- ким реверансом:

— С вашего позволения, сэр Питт, сэр Питт скон- чался нынче утром, сэр Питт. Я поджаривала ему гренки, сэр Питт, к его кашке, сэр Питт, которую он кушал каж- дое утро ровно в шесть часов, сэр Питт, и... и мне показа- лось... я услышала словно стон, сэр Питт... и... и... и... — Она опять сделала реверанс.

Отчего бледное лицо Питта багрово вспыхнуло? Не от того ли, что он сделался, наконец, сэром Питтом с местом в парламенте и с возможными почестями впереди?

«Я очищу теперь имение от долгов», — подумал он и быстро прикинул в уме, какова задолженность поместья и во что обойдутся улучшения, которые он хотел сделать. До сих пор он боялся пускать в ход тетушкины деньги, думая, что сэр Питт может поправиться, и тогда его за- траты пропали бы даром.

Все шторы были спущены в замке и в пасторате; коло- кол уныло гудел, и алтарь был задрапирован черным. Бьют Кроули не пошел на собрание по поводу скачек, а спокойно пообедал в Фадлстоне, где за портвейном поговорили об его покойном брате и о молодом сэре Питте. Мисс Бетси, которая тем временем вышла замуж за шорника в Мадбери, поплакала. Домашний доктор при- ехал выразить почтительное соболезнование и осведо- миться о здоровье уважаемых леди. О смерти этой тол- ковали в Мадбери и в «Гербе Кроули». Хозяин трактира помирился с пастором, который, как говорили, иногда захаживал в заведение мистера Хоркса отведать его лег- кого пива.

— Не написать ли мне вашему брату... или вы напи- шете сами? — спросила леди Джейн своего мужа, сэра Питта.

— Конечно, я сам напишу, — ответил сэр Питт, — и приглашу его на похороны; этого требует приличие...

— А... а... миссис Родон? — робко продолжала леди Джейн.

— Джейн! — сказала леди Саутдаун. — Как ты мо- жешь даже думать об этом?

— Конечно, необходимо пригласить и миссис Родон, — произнес решительно Питт.

— Пока я в доме, этого не будет! — заявила леди Саутдаун.

— Я прошу вашу милость вспомнить, что глава этого дома — я, — отвечал сэр Питт. — Пожалуйста, леди Джейн, напишите письмо миссис Родон Кроули и просите ее приехать по случаю печального события.

— Джейн! Я запрещаю тебе прикасаться к бумаге! — воскликнула графиня.

— Мне кажется, что глава дома — я, — повторил сэр Питт, — и как я ни сожалею о всяком обстоятельстве, которое может заставить вашу милость покинуть этот дом, я все же, с вашего разрешения, буду управлять им так, как считаю нужным.

Леди Саутдаун величественно поднялась, как миссис Сидонс * в роли леди Макбет, и приказала запрягать свою карету: если сын и дочь выгоняют ее из дому, она скроет свою скорбь где-нибудь в уединении и будет молить бога о том, чтобы он вразумил их.

— Мы вовсе не выгоняем вас из дому, мама, — умоляюще сказала робкая леди Джейн.

— Вы приглашаете сюда такое общество, с которым добрая христианка не может встречаться. Я желаю, чтобы мои лошади были поданы мне завтра утром!

— Сделайте одолжение и пишите под мою диктовку, Джейн, — заявил сэр Питт, вставая и принимая повелительную позу, как на «Портрете джентльмена» с последней выставки. — Начинайте: «Королевское Кроули, четырнадцатое сентября тысяча восемьсот двадцать второго года. Дорогой брат...»

Услыхав эти решительные и ужасные слова, леди Макбет, которая ждала какого-нибудь признака слабости или колебания со стороны зятя, поднялась и с испуганным видом покинула библиотеку. Леди Джейн посмотрела на мужа, как будто хотела пойти за матерью и успокоить ее, но Питт запретил жене двигаться с места.

— Она не уедет, — сказал он. — Она сдала свой дом в Брайтоне и истратила свой полугодовой доход. Графиня не может жить в гостинице, это неприлично. Я долго ждал случая, чтобы сделать такой... такой решительный шаг, моя дорогая: ведь вы понимаете, что в доме может быть

только один глава. А теперь, с вашего позволения, будем продолжать диктовку: «Дорогой брат! Печальное известие, которое я считаю своим долгом сообщить всем членам семьи, не явилось для нас неожиданностью...»

Словом, Питт, воцарившись в замке и прибрав к рукам благодаря удаче — или благодаря своим заслугам, как он думал, — почти все состояние, на которое рассчитывали и другие родственники, решил обращаться с ними ласково и с уважением и снова возродить Королевское Кроули. Ему льстило считать себя главою семьи. Он предполагал воспользоваться обширным влиянием, которое скоро должен был приобрести в графстве благодаря своим выдающимся талантам и положению, чтобы найти брату хорошее место и прилично пристроить кузенов. А может быть, он чувствовал легкие укоры совести, когда думал о том, что он — владетель всего богатства, на которое все они возлагали надежды. За три-четыре дня царствования тон Питта изменился и его планы вполне утвердились: он решил управлять честно и справедливо, низложить леди Саутдаун и быть по возможности в дружеских отношениях со всеми своими кровными родственниками.

Итак, он диктовал письмо брату Родону — торжественное и хорошо обдуманное письмо, содержащее глубокие замечания и составленное в напыщенных выражениях, поразивших его простодушного маленького секретаря.

«Каким оратором он будет, — думала она, — когда войдет в палату общин (об этом и о тирании леди Саутдаун Питт иногда намекал жене, лежа в постели). Как он умен и добр, какой гений мой муж! А я-то иногда считала его холодным. Нет, он добрый и гениальный!»

Дело в том, что Питт Кроули знал каждое слово этого письма наизусть, изучив его всесторонне и глубоко, словно дипломатическую тайну, еще задолго до того, как нашел нужным продиктовать его изумленной жене.

Таким образом, письмо с широкой черной каймой и печатью было отправлено сэром Питтом Кроули брату полковнику в Лондон. Родон Кроули не слишком обрадовался, получив его.

«Какая нужда нам ехать в это дурацкое место? — думал он. — Я не в состоянии оставаться с Питтом вдвоем

после обеда, а лошади туда и обратно обойдутся нам фунтов двадцать».

Родон поднялся наверх в спальню жены, как делал во всех затруднительных случаях, и отнес ей письмо вместе с шоколадом, который сам приготавливал и подавал ей по утрам. Он поставил поднос с завтраком и письмом на туалетный стол, перед которым Бекки расчесывала свои золотистые волосы. Ребекка взяла послание с траурной каймой, прочитала и, размахивая письмом над головой, вскочила с криком «урра!»

— Урра? — спросил Родон, с удивлением глядя на маленькую фигурку, прыгавшую по комнате в фланелевом капоте и с развевающимися спутанными рыжеватыми локонами. — Он нам ничего не оставил, Бекки! Я получил свою долю, когда достиг совершеннолетия.

— Ты никогда не будешь совершеннолетним, глупыш! — ответила Бекки. — Беги сейчас же к madame Брюнуа, ведь мне необходим траур. Да добудь и повяжи креп вокруг шляпы и достань себе черный жилет, у тебя ведь, кажется, нет черного. Вели прислать все это завтра, чтобы мы могли выехать в четверг.

— Неужели ты думаешь ехать? — не выдержал он.

— Конечно, думаю! Я думаю, что леди Джейн представит меня в будущем году ко двору! Я думаю, что твой брат устроит тебе место в парламенте, милый ты мой дурочок! Я думаю, что ты и он будете голосовать за лорда Стайна и что ты сделаешься министром по ирландским делам, или губернатором Вест-Индии, или казначеем, или консулом, или чем-нибудь в этом роде!

— Почтовые лошади обойдутся нам дьявольски дорого, — ворчал Родон.

— Мы можем поехать в карете Саутдауна, она, верно, будет представлять его на похоронах, ведь он родственник. Ах нет, лучше нам ехать в почтовой карете. Это им больше понравится. Это будет скромнее...

— Роди, конечно, едет? — спросил полковник.

— Ни в коем случае: зачем платить за лишнее место? Он слишком велик, чтобы втиснуть его между нами. Пускай остается здесь, в детской: Бригс может сшить ему черный костюмчик. Ну, ступай и сделай все, о чем я просила. Да скажи своему лакею Спарксу, что старый сэр Питт скончался и что ты порядочно получишь, когда все

устроится. Он передаст это Реглсу, пусть хоть это утешит беднягу, а то он все пристаёт с деньгами. — И Бекки принялась за свой шоколад.

Когда вечером явился преданный лорд Стайн, он застал Бекки с ее компаньонкою, которою была не кто иная, как наша Бригс. Обе они были очень заняты — пороли, вымеряли, кроили и прилаживали всевозможные черные лоскутки, какие им удалось разыскать по случаю печальных обстоятельств.

— Мисс Бригс и я погружены в скорбь и уныние по случаю кончины нашего папá, — заявила Ребекка. — Сэр Питт Кроули скончался, милорд! Мы все утро рвали на себе волосы, а теперь рвем наши старые платья.

— О Ребекка, как вы можете!.. — только и могла сказать Бригс, закатывая глаза.

— О Ребекка, как вы можете!.. — как эхо, отозвался милорд. — Итак, старый негодяй умер? Он мог бы быть пэром, если бы лучше сыграл свою игру. Мистер Питт чуть было не произвел его в пэры, но покойник всегда некстати изменял своей партии... Старый Силен!..

— Я могла бы быть вдовой Силена, — сказала Ребекка. — Помните, мисс Бригс, как вы подглядывали в дверь и увидели сэра Питта на коленях передо мною?

Мисс Бригс, наша старая знакомая, сильно покраснела при этом воспоминании и была рада, когда лорд Стайн попросил ее спуститься вниз и приготовить для него чашку чаю.

Бригс и была той сторожевой собакой, которую завела Ребекка для охраны своей невинности и репутации. Мисс Кроули оставила ей небольшую ренту. Она охотно согласилась бы жить в семье Кроули, при леди Джейн, которая была добра к ней — как и ко всем, впрочем, — но леди Саутдаун уволила бедную Бригс так поспешно, как только позволяли приличия, и мистер Питт (который считал себя обиженным неуместной щедростью покойной родственницы по отношению к особе, которая была всего лишь двадцать лет преданной слугой мисс Кроули) не возражал против этого распоряжения вдовствующей леди. Боулс и Феркин также получили свою долю наследства и

отставку; они поженились и, по обычаю людей их положения, открыли меблированные комнаты.

Бригс попробовала жить с родственниками в провинции, но вскоре отказалась от этой попытки, так как привыкла к лучшему обществу. Родственники, мелкие торговцы в захолустном городке, ссорились из-за ее сорока фунтов ежегодного дохода не менее ожесточенно и еще более откровенно, чем родственники мисс Кроули из-за ее наследства. Брат Бригс, шапочник и владелец бакалейной лавки, радикал, называл сестру аристократкой, кичащейся своим богатством, за то, что она не хотела вложить часть своего капитала в товар для его лавки. Она бы, вероятно, и сделала это, если бы не ее сестра, жена сапожника-диссидента *, которая была не в ладах с шапочником и бакалейщиком, посещавшим другую церковь, и которая доказала ей, что брат их на краю банкротства, и на этом основании временно завладела Бригс. Диссидент-сапожник хотел, чтобы мисс Бригс на свои средства отправила его сына в колледж и сделала из него джентльмена. Оба семейства вытянули у нее большую часть ее сбережений; и, сопровождаемая проклятиями обеих сторон, она в конце концов бежала в Лондон, решив снова искать рабства, ибо находила его менее обременительным, чем свобода. Поместив в газетах объявление, что «Благородная дама с приятными манерами, вращавшаяся в лучшем обществе, ищет...» и т. д., она поселилась у мистера Боулса на Хафмун-стрит и стала ждать результатов.

Случай столкнул ее с Ребеккой. Нарядная коляска миссис Родон, запряженная парой пони, мчалась по улице как раз в тот день, когда усталая мисс Бригс добралась до дверей миссис Боулс после утомительной прогулки в контору газеты «Таймс» в Сити, чтобы поместить в шестой раз свое объявление. Ребекка, сама правившая, сразу узнала благородную даму с приятными манерами; а поскольку Бекки, как нам известно, отличалась добродушием и питала уважение к Бригс, то она остановила пони у подъезда, передала вожжи груму и, выскочив из коляски, схватила Бригс за обе руки, прежде чем дама с приятными манерами очнулась от потрясения при виде старого друга.

Бригс расплакалась, а Бекки расхохоталась и расцеловала благородную даму, как только они вошли в коридор; оттуда они проследовали в гостиную миссис Боулс, с красными полушерстяными занавесями и зеркалом в круглой раме, с верхушки которой скованный орел устремлял взгляд на обратную сторону билетика в окне, извещавшего, что: «Сдаются комнаты».

Бригс рассказала всю свою историю, прерывая рассказ теми непрошенными всхлипываниями и восклицаниями удивления, с какими чувствительные натуры всегда приветствуют старых знакомых, увидев их на улице; ибо хотя люди встречаются друг друга каждый день, некоторые смотрят на эти встречи, как на чудо, а женщины, даже когда они не любят друг друга, начинают плакать, вспоминая и сожалея о том времени, когда они последний раз поссорились. Словом, Бригс рассказала Бекки всю свою историю, а Бекки с присущей ей безыскусственностью и искренностью сообщила приятельнице о своей жизни.

Миссис Боулс, урожденная Феркин, мрачно прислушивалась в коридоре к истерическим всхлипываниям и хихиканию, которые доносились из гостиной. Бекки никогда не была ее любимицей. Водворившись в Лондоне, супружеская чета часто навещала своих прежних друзей Реглсов и, слушая их рассказы, не могла одобрить *mé-nage*¹ полковника.

— Я не доверяю им, Рег, голубчик, — говорил Боулс.

Поэтому и жена его, когда миссис Родон вышла из гостиной, приветствовала последнюю очень кислым реверансом, и пальцы ее напоминали сосиски — так они были безжизненны и холодны, когда она протянула их миссис Родон, которая непременно захотела пожать руку отставной горничной. Бекки покатила дальше, в сторону Пикадилли, нежно улыбаясь и кивая мисс Бригс, а та, высунувшись из окна рядом с билетиком о сдаче комнат, так же кивала ей; через минуту Бекки видели уже в Парке в обществе полудюжины молодых денди, гарцовавших вокруг ее экипажа.

Узнав о положении приятельницы и о том, что она получила достаточное наследство от мисс Кроули, так что жалованье не имело большого значения для благородной

¹ Семейной жизни (франц.).

дамы, Бекки быстро составила насчет нее маленький благотельный хозяйственный план. Бригс была как раз такой компаньонкой, в какой нуждалась Бекки, и она пригласила старую знакомую к обеду в тот же вечер, чтобы показать ей свое сокровище, малютку Родона.

Миссис Боулс предостерегала свою жилицу, чтобы та не ввергалась в логовище льва.

— Вы будете раскаиваться, мисс Бригс, попомните мои слова: это так же верно, как то, что меня зовут Боулс.

И Бригс обещала быть очень осторожной. В результате этой осторожности мисс Бригс уже на следующей неделе переселилась к миссис Родон, и не прошло шести месяцев, как она ссудила Родона Кроули шестьюстами фунтами стерлингов.



ГЛАВА ХLI,

в которой Бекки вновь посещает замок предков

Когда траурное платье было готово и сэр Питт Кроули извещен о приезде брата, полковник Кроули с женой взяли два места в той самой старой карете, в которой путешествовала Ребекка в обществе покойного баронета, когда девять лет назад впервые пустилась в свет. Как ясно помнился ей постоянный двор и слуга, которому она не дала на чай, и вкрадчивый кембриджский студент, в чей плащ она куталась во время путешествия! Родон занял наружное место и с удовольствием взялся бы править, но этого не позволял траур. Он вознаграждал себя тем, что сел рядом с кучером и все время беседовал с ним о лошадях и о состоянии дороги, о содержателях постоянных дворов и лошадей для кареты, в которой он так часто ездил, когда они с Питтом были детьми и учились в Итоне. В Мадбери их ожидал экипаж с парой лошадей и кучером в трауре.

— Это тот же самый старый рыдван, Родон, — заметила Ребекка, садясь в экипаж. — Обивка сильно источена молью... а вот и пятно, из-за которого сэр Питт (ага! — железоторговец Досон открыл свое заведение)... из-за которого сэр Питт, помнишь, поднял такой скандал. А ведь это он сам разбил бутылку вишневки, за которой мы ездили в Саутгемптон для твоей тетушки. Как время-то летит! Неужели это Полли Толбойс — та рослая девушка, видишь, что стоит у ворот вместе с матерью? Я помню ее маленьким невзрачным сорванцом, она, бывало, полола сорную траву в саду.

— Славная девушка! — сказал Родон, приложив два пальца к полоске крепа на шляпе в ответ на приветствия из коттеджа. Бекки ласково кланялась и улыбалась, узнавая то тут, то там знакомые лица. Эти встречи и приветствия были ей невыразимо приятны: ей казалось, что она уже не самозванка, а по праву возвращается в дом своих предков. Родон, напротив, был несколько подавлен и смущен. Какие воспоминания о детстве и невинности проносились у него в голове? Какие смутные упреки, сомнения и стыд мучили его?

— Твои сестры уже, должно быть, взрослые барышни, — сказала Ребекка, пожалуй впервые вспомнив о девочках с тех пор, как рассталась с ними.

— Не знаю, право, — ответил полковник. — Алло, вот старая матушка Лок! Как поживаете, миссис Лок? Вы, верно, помните меня? Мистер Родон, э? Черт возьми, как эти старухи живучи! По-моему, я был еще мальчишкой, когда ей перевалило за сто.

Они подкатили к воротам парка, которые сторожила старая миссис Лок. Ребекка непременно захотела пожать ей руку, когда та открыла им скрипучие железные ворота, и экипаж проехал между двумя столбами, обросшими мхом и увенчанными змеей и голубкой.

— Отец изрядно вырубил парк, — сказал Родон, озираясь по сторонам, и надолго замолчал; замолчала и Бекки. Оба были несколько взволнованы и думали о прошлом. Он — об Итоне, о матери, которую помнил сдержанной, печальной женщиной, и об умершей сестре, которую страстно любил; о том, как он колачивал Питта, и о маленьком Роди, оставленном дома. А Ребекка думала о собственной юности, о ревниво оберегаемых тайнах тех

рано омраченных дней, о первом вступлении в жизнь через эти самые ворота, о мисс Пинкертон, о Джозе и Эмили.

Посыпанная гравием аллея и терраса содержались чисто. Большой писанный красками траурный герб уже красовался над главным подъездом, и две весьма торжественные и высокие фигуры в черном широко распахнули обе половинки дверей, едва экипаж остановился у знакомых ступенек. Родон покраснел, а Бекки немного побледнела, когда они под руку проходили через старинный холл, и Бекки даже стиснула локоть мужу, входя в дубовую приемную, где их встретили сэр Питт с женой. Сэр Питт был весь в черном, леди Джейн тоже в черном, а миледи Саутдаун в огромном черном головном уборе из стекляруса и перьев, которые развевались над головою ее милости, словно над катафалком.

Сэр Питт был прав, утверждая, что она не уедет из имения. Она довольствовалась тем, что хранила гробовое молчание в обществе Питта и его бунтовщицы-жены и пугала детей в детской зловещей мрачностью своего обращения. Только очень слабый кивок головного убора и перьев приветствовал Родона и его жену, когда эти блудные дети вернулись в лоно семьи.

Сказать по правде, эта холодность не слишком их огорчила: в ту минуту ее милость была для них особою второстепенного значения, так как они больше всего были озабочены тем, какой прием им окажут царствующий брат и невестка.

Питт, слегка покраснев, выступил вперед и пожал брату руку, потом приветствовал Ребекку рукопожатием и очень низким поклоном. Но леди Джейн схватила обе руки невестки и нежно ее поцеловала. Это объятие даже вызвало слезы на глазах нашей маленькой авантюристки, — хотя она, как мы знаем, очень редко носила это украшение. Безыскусственная доброта и доверие леди Джейн тронули и обрадовали Ребекку; а Родон, ободренный этим проявлением чувств со стороны невестки, закрутил усы и спросил разрешения приветствовать леди Джейн поцелуем, что заставило ее милость сильно покраснеть.

— Чертовски миленькая женщина эта леди Джейн, — таков был его отзыв, когда он остался наедине с женой. — Питт растолстел, но держит себя хорошо.

— Тем более что это ему недорого стоит, — заметила Ребекка и согласилась с замечанием мужа, что «теща — ужасное старое пугало, а сестры — довольно миловидные девушки».

Они обе были вызваны из школы, чтобы присутствовать на похоронах. Повидимому, сэр Питт Кроули для поддержания достоинства дома и фамилии счел необходимым собрать как можно больше народу, одетого в траур. Все слуги и служанки в доме, старухи из богадельни, у которых сэр Питт-старший обманом удерживал бóльшую часть того, что им полагалось, семья псаломщика и все особо приближенные слуги, как замка, так и пастората, облачились в траур; к ним следует еще прибавить десятка два факельщиков с плерезами на рукавах и шляпах, — во время обряда погребения они представляли внушительное зрелище. Но все это немые персонажи в нашей драме, и так как им не предстоит ни действовать, ни говорить, то им и отведено здесь очень мало места.

В разговоре с золовками Ребекка не делала попыток забыть свое прежнее положение гувернантки, а, напротив, добродушно и откровенно напоминала о нем, расспрашивала с большой серьезностью об их занятиях и клялась, что ни на минуту не забывала своих маленьких учениц и очень хотела узнать, как им живется. Можно было действительно поверить, что, расставшись со своими воспитанницами, она только о них и думала и тревожилась об их судьбе. Во всяком случае ей удалось убедить в этом как саму леди Кроули, так и ее молоденьких золовок.

— Она ничуть не изменилась за эти восемь лет, — сказала мисс Розалинда мисс Вайолет, когда они одевались к обеду.

— Эти рыжеволосые женщины всегда выглядят удивительно молодо, — отвечала другая сестра.

— У нее волосы гораздо темнее, чем были; я думаю, она красит их, — прибавила мисс Розалинда. — И вообще она пополнела и похорошела, — продолжала мисс Розалинда, которая имела расположение к полноте.

— По крайней мере она не важничает и помнит, что когда-то была у нас гувернанткой, — сказала мисс Вайолет, намекая на то, что все гувернантки должны помнить свое место, и начисто забывая, что сама она была внучкою не только сэра Уолпола Кроули, но и мистера

Досона из Мадбери, и имела на щите своего герба корзину с углем. На Ярмарке Тщеславия можно каждый день встретить милейших людей, которые отличаются такой же короткой памятью.

— Наверно, неправду говорят кузины в пасторате, будто ее мать была балетной танцовщицей...

— Человек не виноват в своем происхождении, — отвечала Розалинда, обнаруживая редкое свободомыслие. — И я согласна с братом, что, раз она вошла в нашу семью, мы должны относиться к ней с уважением. А тетушке Бьют следовало бы помолчать: сама она мечтает выдать Кэт за молодого Хупера, виноторговца, и велела ему непременно самому приходить в пасторат за заказами.

— Интересно знать, уедет ли леди Саутдаун? Она готова съесть миссис Родон, — заметила сестра.

— Вот было бы кстати: мне не пришлось бы читать «Прачку Финчлейской общины», — заявила Вайолет. Разговаривая таким образом и стараясь держаться подальше от коридора, в конце которого в запертой комнате стоял гроб, окруженный неугасимыми свечами и охраняемый двумя плакальщиками, обе молодые особы спустились вниз к семейному столу, куда их призывал обеденный колокол.

Перед обедом леди Джейн повела Ребекку в предназначенные для нее комнаты, которые, как и весь остальной дом, приняли гораздо более нарядный и уютный вид с тех пор, как Питт стал у кормила власти, и здесь, убедившись, что скромные чемоданы миссис Родон принесены и поставлены в спальне и в смежном будуаре, помогла ей снять изящную траурную шляпу и накидку и спросила, не может ли она еще чем-нибудь быть ей полезна.

— Чего мне хотелось бы больше всего, — сказала Ребекка, — это пойти в детскую посмотреть ваших милых крошек.

Обе леди очень ласково посмотрели друг на друга и рука об руку отправились в детскую.

Бекки пришла в восторг от маленькой Матильды, которой не было еще четырех лет, и объявила ее самой очаровательной малюткой на свете, а мальчика — двухлетнего малыша, бледного, большеголового, с сонными глазами — она признала совершенным чудом по росту, уму и красоте.

— Мне хотелось бы, чтобы мама меньше пичкала его

лекарствами, — со вздохом заметила леди Джейн. — Я часто думаю, что без этого все мы были бы здоровее.

Затем леди Джейн и ее новообретенный друг вступили в одну из тех конфиденциальных медицинских бесед о детях, к которым, как мне известно, питают пристрастие все матери да и большинство женщин вообще. Пятьдесят лет назад, когда пишущий эти строки был любознательным мальчиком, вынужденным после обеда удаляться из столовой вместе с дамами, разговоры их, помнится, главным образом касались всяких недугов. Недавно, беседуя об этом с двумя-тремя знакомыми дамами, я пришел к убеждению, что времена ничуть не изменились. Пусть мои прекрасные читательницы сами проверят это нынче же вечером, когда покинут после десерта столовую и перейдут священнодействовать в гостиную. Итак, через полчаса Бекки и леди Джейн сделались близкими друзьями, а вечером миледи сообщила сэру Питту, что она считает свою новую невестку доброй, отзывчивой и искренней молодой женщиной.

Завоевав, таким образом, без большого труда расположение дочери, неутомимая маленькая женщина взялась за величественную леди Саутдаун. Едва Ребекка очутилась наедине с ее милостью, как засыпала ее вопросами о детской и сообщила, что ее собственный мальчуган был спасен — буквально спасен! — неограниченными приемами каломели, когда от дорогого малютки отказались все парижские врачи. Тут же упомянула она о том, как часто ей приходилось слышать о леди Саутдаун от превосходного человека, преподобного Лоренса Грилса, священника церкви в Мейфэре, которую она посещает; о том, как сильно ее взгляды изменились под влиянием тяжелых обстоятельств и несчастий и как горячо она надеется, что ее прошлая жизнь, потраченная на светские удовольствия и заблуждения, не помешает ей подумать серьезно о жизни будущей. Она рассказала, сколь многим в прошлом была обязана религиозным наставлениям мистера Кроули, коснувшись попутно «Прачки Финчлейской общины», которую прочла с огромной для себя пользой, и осведомилась о леди Эмили, талантливой авторше этого произведения, ныне леди Эмили Хорнблоуер, в Кептауне, где ее супруг имел большие надежды сделаться епископом у кафров.

Она увенчала свои старания и утвердилась в расположении леди Саутдаун, когда после похорон, почувствовав себя расстроенной и больной, обратилась к ее милости за медицинским советом, и вдовствующая леди не только дала этот совет, но самолично, в ночном одеянии и более чем когда-либо похожая на леди Макбет, явилась в комнату Бекки с пачкой излюбленных брошюр и с лекарством собственного приготовления, которое и предложила своей пациентке выпить.

Бекки сначала взялась за брошюры и, листая их с большим интересом, завела с вдовствующей леди увлекательную беседу о содержании этих трактатов и о спасении своей души, в тайной надежде, что это избавит от врачевания ее тело. Но когда религиозные предметы были исчерпаны, леди Макбет не покидала комнаты Бекки до тех пор, пока не была опорожнена чаша с целебным питьем; и бедная миссис Родон должна была с видом величайшей благодарности проглотить лекарство под бдительным оком неумолимой старухи, которая только тогда решилась оставить свою жертву, благословив ее на сон грядущий.

Лекарство не слишком успокоило миссис Родон, и муж, войдя, нашел ее в довольно жалком состоянии. Когда же Бекки с неподражаемым юмором, — хотя в данном случае речь шла о ней самой, — описала все происшествие, в котором она сделалась жертвой леди Саутдаун, Родон, по своему обыкновению, разразился громким хохотом. Лорд Стайн и сын леди Саутдаун в Лондоне тоже немало смеялись над этой историей, ибо, когда Родон с женой вернулись в свой дом в Мейфэре, Бекки изобразила перед ними всю сцену в лицах. Нарядившись в ночной капот и чепец, она произнесла с весьма серьезным видом длинную проповедь о достоинствах лекарства, которое она заставляла принимать мнимую больную, и проявила при этом такое бесподобное искусство подражания, что можно было думать, будто гнусавит сама графиня.

— Покажите нам леди Саутдаун с ее магическим кубком! — восклицали гости в маленькой гостиной Бекки в Мейфэре. Впервые в своей жизни вдовствующая графиня Саутдаун служила поводом для веселого оживления в обществе.

Сэр Питт помнил те знаки почитания и уважения, ко-

торые Ребекка оказывала ему в прежние дни, и потому был милостиво к ней расположен. Женитьба, хотя и необдуманная, значительно исправила Родона, — это было видно из того, как изменились привычки и поведение полковника, — и разве не был этот брачный союз удачею для самого Питта? Хитрый дипломат посмеивался про себя, сознавая, что именно оплошности брата он обязан своим богатством, и понимая, что у него меньше, чем у кого бы то ни было, оснований ею возмущаться. Эту благожелательность только укрепляли в нем поведение Ребекки, ее обращение и разговоры.

Она удвоила свою почтительность, которая и раньше так очаровывала его и заставляла Питта проявлять ораторские способности, удивлявшие его самого, ибо, хотя он и всегда был высокого мнения о своих талантах, славословия Ребекки еще увеличивали в нем эту веру. Своей невестке Ребекка с полной убедительностью доказала, что миссис Бьют Кроули сама устроила их брак, а потом сделала его предметом своего злословия. Только жадность миссис Бьют, надеявшейся получить все состояние мисс Кроули и лишить Родона расположения тетки, была причиною и источником всех отвратительных сплетен, которые распускались про бедняжку Бекки.

— Она добилась того, что мы сделались нищими, — говорила Ребекка с видом ангельской кротости, — но как я могу сердиться на женщину, которая дала мне одного из лучших на свете мужей? И разве ее собственная жадность не оказалась достаточно наказанной крушением всех ее надежд и потерей состояния, на которое она так сильно рассчитывала? Мы бедны! — восклицала она. — Ах, милая леди Джейн, что значит для нас бедность? Я с детства привыкла к ней и часто думаю, как хорошо, что деньги мисс Кроули пошли на восстановление блеска благородной семьи, быть членом которой для меня такая честь. Я уверена, что сэр Питт сделает из них лучшее употребление, чем Родон.

Конечно, все эти разговоры передавались сэру Питту преданной женой и настолько увеличили приятное впечатление, произведенное Ребеккой, что на третий день после похорон, когда семья собралась за обедом, сэр Питт Кроули, разрезавший курицу, сидя во главе стола, сказал буквально следующее, обращаясь к миссис Родон:

— Гм! *Ребекка*, разрешите положить вам крылышко? — Глаза маленькой женщины засверкали от удовольствия при этом обращении.

И все время, пока *Ребекка* была увлечена своими мыслями и планами, а *Питт Кроули* занимался приготовлениями к церемониалу похорон и устройством различных других дел, связанных с его будущим величием и успехами; пока леди *Джейн* возилась в детской, насколько ей позволяла мамаша, а солнце всходило и закатывалось и колокол на башенных часах замка призывал, как обычно, к обеду и к молитве, — тело умершего владельца *Королевского Кроули* покоилось в комнате, которую он занимал при жизни, безотлучно охраняемое приглашенными для этой цели профессиональными лицами. Одна или две женщины, три-четыре факельщика, лучшие, каких только мог предоставить *Саутгемптон*, в полном трауре и с приличествующими случаю бесшумными и трагическими манерами, по очереди дежурили у гроба, а после дежурства собирались в комнате экономки, где потихоньку играли в карты и пили пиво.

Члены семьи и слуги держались в стороне от мрачного места, где останки благородного потомка древнего рода рыцарей и джентльменов дожидались последнего упокоения в фамильном склепе. Никто не оплакивал его, кроме разве бедной женщины, которая надеялась стать женой и вдовой сэра *Питта* и которая сбежала с позором из замка, где едва не сделалась признанной правительницею. Кроме нее да еще старого пойнтера, предмета нежной привязанности старика в пору его слабоумия, у сэра *Питта* не было ни одного друга, который мог бы пожалеть его, ибо за всю свою жизнь он не сделал ни малейшей попытки приобрести себе друзей. Если бы лучший и добрейший из нас, покинув землю, мог снова навестить ее, я думаю, что он или она (при условии, что какие-нибудь чувства, распространенные на *Ярмарке Тщеславия*, существуют и в том мире, куда мы все направимся) испытали бы сильное огорчение, убедившись, как скоро утешились оставшиеся в живых! Так и сэр *Питт* был забыт, подобно добрейшим и лучшим из нас... только на несколько недель раньше.

Те, кто хочет, может последовать за останками умершего до самой могилы, куда они были отнесены в назна-

ченный день с подобающими почестями. Их сопровождали: родственники в черных каретах, с носовыми платками, прижатыми к носу в ожидании слез, которые так и не появлялись; гробовщик и его факельщики с глубокой скорбью на лицах; избранные арендаторы с выражением подобострастного сочувствия к новому владельцу по случаю понесенной им утраты; приходский священник с неизменными словами «об отошедшем от нас дорогом брате». Траурный кортеж замыкали кареты соседних дворян, тащившиеся со скоростью трех миль в час, пустые, но внушавшие зрителям благоговейную печаль. Пока мы еще не расстались с телом умершего, мы разыгрываем над ним комедию Тщеславия, обставляя ее богатой бутафорией и пышными церемониями. Мы укладываем его в обитый бархатом гроб, забиваем золочеными гвоздями и в довершение всего возлагаем на могилу камень с лживой надписью. Викарий Бьюта, франтоватый молодой человек из Оксфорда, и сэр Питт Кроули вместе составили подобающую латинскую эпитафию для оплакиваемого покойного баронета; викарий произнес классическую проповедь, призывая оставшихся в живых не предаваться горю и предупреждая их в самых почтительных выражениях, что в свое время и им предстоит пройти в мрачные и таинственные врата, которые только что закрылись за останками их дорогого брата. Затем арендаторы вскочили на коней, а часть осталась подкрепиться в трактире «Герб Кроули». После завтрака, который был предложен кучерам в людской замка, помещичьи экипажи разъехались по домам. Факельщики собрали веревки, покров, бархат, страусовые перья и прочий реквизит, взгромоздились на катафалк и укатили в Саутгемптон. И как только лошади, миновав ворота, пустились рысью по большой дороге, лица факельщиков приняли обычное выражение, а вскоре стайки их тут и там усеяли чернильными пятнами крылечки трактиров, и оловянные кружки в их руках ярко заблестели на солнце. Больничное кресло сэра Питта было отправлено в сарай, где хранились садовые инструменты. Старый пойнтер первое время принимался изредка выть — и это было единственное проявление горя в замке, которым баронет сэр Питт Кроули управлял почти шестьдесят лет.

Так как в имении водилось много дичи, а охота на куропаток входит как бы в обязанность английского джентльмена с наклонностью к государственной деятельности, то, лишь только прошло первое потрясение от горя, сэр Питт Кроули, в белой шляпе с черными плерезами, начал понемногу выезжать и принимать участие в названном развлечении. Вид покрытых жнивьем и турнепсом полей, составлявших теперь его собственность, доставлял ему немало тайных радостей. Иногда в избытке смирения он не брал с собой иного оружия, как мирную бамбуковую трость, предоставляя Родону и лесничим палить из ружей. Деньги и земли Питта производили сильное впечатление на брата. Не имевший ни пенни за душой, полковник был преисполнен подобострастия к главе семьи и уже больше не презирал «мокрой курицы Питта». Сочувственно выслушивал он планы старшего брата о посадках и дренаже, давал советы относительно конюшен и рогатого скота, ездил в Мадбери осматривать верховую лошадь, которая, по его мнению, должна была подойти для леди Джейн, предлагал объездить ее и т. д. Мятежный драгун совсем присмирел, стушевался и сделался самым подлинным младшим братом. Он получал постоянные бюллетени от мисс Бригс из Лондона об оставленном там маленьком Родоне; мальчик и сам присылал известия о себе. «Я жив-здоров, — писал он. — Надеюсь, что и ты жив-здоров. Надеюсь, что и мама здорова. Пони жив-здоров. Грэй берет меня кататься в Парк. Я научился скакать галопом. Я встретил того мальчика, с которым катался верхом. Он заплакал, когда поскакал. А я не плачу».

Родон читал эти письма брату и леди Джейн, которая была в восторге от них. Баронет обещал платить за мальчика в школу, а его добросердечная жена дала Ребекке банковый билет с просьбой купить подарок от нее маленькому племяннику.

День проходил за днем; дамы в замке проводили время в тихих занятиях и развлечениях, какими обычно довольствуются женщины, живя в деревне. Колокол созывал их к молитве и к столу. Каждое утро после завтрака молодые леди упражнялись на фортепьяно, и Ребекка давала им советы и указания. Затем они надевали башмаки на толстой подошве и гуляли в парке и в роще или, выйдя за ограду, в деревню, заходили в коттеджи, раз-

давая больным лекарства и брошюры леди Саутдаун. Сама леди Саутдаун выезжала в фаэтоне; Ребекка в этих случаях занимала место рядом с вдовствующей леди и слушала с глубоким интересом ее напыщенные речи. Она пела по вечерам Генделя и Гайдна и начала вязать большую шаль из шерсти, как будто родилась для таких занятий и как будто ей предстояло продолжать их, пока она не сойдет в могилу в преклонных летах, оставив после себя безутешных родственников и большое количество процентных бумаг, — как будто не было ни забот, ни назойливых кредиторов, ни интриг, уловок и бедности, карауливших за воротами парка, чтобы вцепиться в нее, как только она покажется из них.

«Не велика хитрость быть женой помещика, — думала Ребекка. — Пожалуй, и я была бы хорошей женщиной, имей я пять тысяч фунтов в год. И я могла бы возиться в детской и считать абрикосы на шпалерах. И я могла бы поливать растения в оранжереях и обрывать сухие листья на герани. Я расспрашивала бы старух об их ревматизмах и заказывала бы им на полкроны супу на кухне для бедных. Подумаешь, какая потеря при пяти-то тысячах в год! Я даже могла бы ездить за десять миль обедать к соседям и одеваться по моде позапрошлого года. Могла бы ходить в церковь и не засыпать во время службы или, наоборот, дремала бы под защитой занавесей, сидя на фамильной скамье и опустив вуаль, — стоило бы только попрактиковаться. Я могла бы со всеми расплачиваться чистоганом — для этого нужно только иметь деньги. А здешние чудотворцы этим и гордятся. Они смотрят с сожалением на нас, несчастных грешников, не имеющих ни гроша. Они гордятся тем, что дают нашим детям банковый билет в пять фунтов, а нас презирают за то, что у нас нет его».

Кто знает, быть может Ребекка и была права в своих рассуждениях, и только деньгами и случаем определяется разница между нею и честной женщиной! Если принять во внимание силу искушения, кто может сказать, что он лучше своего ближнего? Пусть спокойное, обеспеченное положение и не делает человека честным, оно во всяком случае помогает ему сохранить честность. Какой-нибудь олдермен, возвращающийся с обеда, где его угощали черепашьим супом, не вылезет из экипажа, чтобы украсть баранью ногу; но заставьте его поголодать — и посмотрите,

не стащит ли он ковригу хлеба. Так утешала себя Бекки, соразмеряя шансы и уравнивая добро и зло в мире.

Старые любимые места, знакомые поля и леса, рощи, пруды и сады, комнаты старого дома, где некогда она провела целых два года, — все это Бекки обошла опять. Здесь она была молода, или сравнительно молода, — потому что она предала забвению то время, когда была действительно молодой, — но она помнила свои мысли и чувства семь лет тому назад и сравнивала их с теперешними, когда она уже видела свет, жила со знатными людьми и высоко поднялась по сравнению со своим первоначальным скромным положением.

«Я вырвалась из него, потому что у меня есть голова на плечах, — думала Бекки, — и потому, что мир состоит из дураков. Я не могла бы теперь вернуться назад и якшаться с людьми, с которыми встречалась в студии отца. Ко мне приезжают лорды со звездами и орденами Подвязки вместо бедных артистов с табачными крошками в кармане. У меня муж — джентльмен, у меня невестка — графская дочь, и я живу в том самом доме, где несколько лет тому назад мое положение мало чем отличалось от положения прислуги. Но лучше ли я обеспечена теперь, чем когда была дочерью бедного художника и выпрашивала чай и сахар в ближайшей лавочке? Если бы я вышла замуж за Фрэнсиса, который так любил меня, я не была бы беднее, чем сейчас. Ах, с каким удовольствием я променяла бы свое положение в обществе и все мои связи на кругленький капиталец в трехпроцентных бумагах!»

Вот каким образом воспринимала Бекки тщету человеческих дел, и вот в какой надежной пристани она мечтала бросить якорь.

Может быть, ей и приходило в голову, что если бы она была честной и скромной женщиной, выполняла свои обязанности и шла в жизни прямым путем, она достигла бы примерно того же, к чему пришла, пробираясь окольными тропами. Но как дети в Королевском Кроули обходили ту комнату, где лежало тело их отца, так и Бекки, когда эти мысли приходили ей в голову, не останавливалась на них и не вникала в них. Она избегала и презирала их, предпочитая следовать другим путем, сойти с которого представлялось ей уже невозможным. Мне лично кажется, что угрызения совести — наименее действенное из мораль-

ных чувств человека: если они и пробуждаются, подавить их легче всего, а у некоторых лиц они и вовсе не просыпаются. Мы расстраиваемся, когда нас уличают, при мысли о стыде и наказании; но само по себе чувство вины отравляет жизнь лишь очень немногим на Ярмарке Тщеславия.

Итак, Ребекка во время своего пребывания в Королевском Кроули столько приобрела себе друзей среди служителей мамоны, сколько было в ее власти. Леди Джейн и ее супруг простились с нею с самыми теплыми изъявлениями чувств. Они возлагали надежду на скорую встречу в Лондоне, когда фамильный дом на Гонт-стрит будет отремонтирован и отделан заново. Леди Саутдаун снабдила Ребекку небольшой аптечкой и послала через нее преподобному Лоренсу Грилсу письмо, в котором просила этого джентльмена спасти «подательницу сего» от вечного огня. Питт проводил их в карете четверкой до Мадбери, послав вперед на повозке их багаж вместе с запасом дичи.

— Как рады вы будете опять увидеть вашего милого мальчика! — сказала леди Джейн Кроули, прощаясь с родственницей.

— О да, так рада! — простонала Ребекка, закатывая под лоб свои зеленые глаза. Она была безмерно счастлива покинуть это место и все же с сожалением уезжала из Королевского Кроули. Правда, здесь можно пропасть от тоски, но все-таки воздух гораздо чище, чем тот, которым она привыкла дышать. Обитатели замка скучны, но каждый по-своему относился к ней хорошо.

«Это все результат длительного обладания трехпроцентными бумагами», — говорила себе Бекки; и, вероятно, была права.

Как бы то ни было, лондонские фонари весело сияли, когда пассажирская карета въехала на Пикадилли; Бриг развела чудесный огонь в камине на Керзон-стрит, и маленький Родон не ложился спать, желая встретить папу и маму.



ГЛАВА XLII,

в которой речь идет о семье Осборнов

Много лет прошло с тех пор, как мы виделись с нашим почтенным другом, старым мистером Осборном с Рассел-сквера, и нельзя сказать, чтобы за это время он чувствовал себя счастливейшим из смертных. Произошли события, которые не способствовали улучшению его характера. Далеко не всегда удавалось ему поставить на своем, а всякое противодействие столь разумному желанию воспринималось этим джентльменом как личное оскорбление и сделалось для него тем более несносным, когда подагра, старость, одиночество и горечь многих разочарований соединились вместе, чтобы придавить его своей тяжестью. Его густые темные волосы после смерти сына начали быстро седеть; его лицо стало еще краснее; руки дрожали все сильнее, когда он наливал себе стакан портвейна. Он превратил жизнь своих конторщиков в Сити в сущий ад, да и домашним его жилось не легче. Я сомневаюсь, чтобы Ребекка, которая молилась на про-

центные бумаги, променяла свою бедность вместе с отчаянным азартом и взлетами и падениями в своей жизни на деньги Осборна и на беспросветный мрак, окружавший его. Он сделал предложение мисс Суорц, но был отвергнут с презрением кликою этой леди, которая выдала ее замуж за молодого отпрыска древнего шотландского рода. В сущности Осборн не постоял бы за тем, чтобы жениться даже на женщине самого низкого звания и потом отчаянно изводил бы ее, но, как на грех, ни одной такой подходящей особы ему не подвернулось, и потому он тиранил дома свою незамужнюю дочь. У мисс Осборн был чудесный экипаж и прекрасные лошади, она сидела во главе стола, уставленного превосходнейшим серебром; у нее была своя чековая книжка, образцовый ливрейный лакей, сопровождавший ее во время прогулок, и неограниченный всюду кредит; в лавках, где она обычно забирала товар, ее встречали с поклонами, — словом, она пользовалась всеми преимуществами богатой наследницы, но жизнь у нее была жалкая. Маленькие сиротки из приюта, метельщицы на перекрестках, самая бедная судомойка в людской были счастливицами в сравнении с этой несчастной леди, теперь уже перезрелой девушкой.

Фредерик Буллок, эсквайр, из фирмы «Буллок, Халкер и К^о», женился-таки на Марии Осборн, но только после длительных торгов и брюзжания со стороны сего взыскательного джентльмена. Когда Джордж умер и был исключен из завещания отца, Фредерик настаивал, чтобы половина состояния старого коммерсанта была закреплена за Марией, и очень долго отказывался «ударить по рукам» (по собственному выражению этого джентльмена) на каких-либо иных условиях. Осборн указывал, что Фред согласился взять его дочь с приданым в двадцать тысяч и что он не считает нужным брать на себя дополнительные обязательства. Фред может получить то, что ему полагается, или отказаться, а тогда пусть убирается к черту! Фред, у которого зубы разгорелись, когда Джордж был лишен наследства, считал, что старый коммерсант бессовестно его обманул, и некоторое время делал вид, будто намерен вовсе отказаться от женитьбы. Осборн закрыл свой текущий счет у «Буллока и Халкера», ходил на биржу с хлыстом, клянясь, что огреет по спине одного негодяя, не называя его, однако, по имени, и вообще вел себя со

свойственной ему свирепостью. Джейн Осборн выражала сочувствие своей сестре Марии по поводу этой семейной распри.

— Я говорила тебе, Мария, что он любит твои деньги, а не тебя, — утешала она сестру.

— Во всяком случае, он выбрал *меня* и мои деньги, а не *тебя* и твои деньги, — отвечала Мария, вскидывая голову.

Однако разрыв был только временный. Отец Фреда и старшие компаньоны фирмы советовали ему, в расчете на будущий раздел состояния, взять Марию даже с двадцатью тысячами приданого, половина которого выплачивалась сейчас, а половина — после смерти мистера Осборна. Итак, Фред «пошел на попятную» (опять по его собственному выражению) и послал старого Халкера к Осборну с мировой. Это все его отец, уверял теперь Фред, не хотел свадьбы и чинил ему всякие затруднения, а сам он очень желает сохранить в силе их прежний уговор. Извинения жениха были угрюмо приняты мистером Осборном. Халкер и Буллок были известными фамилиями среди аристократии Сити и имели связи даже среди «вест-эндской знати». Старику было приятно, что он сможет говорить: «Мой сын, сэр, из фирмы «Халкер, Буллок и К^о», сэр; кузина моей дочери, сэр, леди Мери Мэнго, дочь достопочтенного графа Каслмоулди». Воображение уже наполняло его дом знатными гостями. Поэтому он простил молодого Буллока и согласился на свадьбу.

Это было великое событие. Родные жениха устроили у себя завтрак, так как они жили около церкви св. Георга, Ганновер-сквер, где происходило венчание. Была приглашена «вест-эндская знать», и многие из них расписались в книге. Тут были мистер Мэнго и леди Мэнго, а милые юные Гвендолина и Гуиневер Мэнго были подружками невесты; полковник Бледайер гвардейского полка (старший сын фирмы «Братья Бледайер» на Минсиг-лейн), кузен жениха, с достопочтенной миссис Бледайер; почтенный Джордж Боултер, сын лорда Леванта, с супругой, урожденной мисс Мэнго; лорд-виконт Каслтоди; достопочтенный Джеймс Мак-Мул и миссис Мак-Мул (урожденная мисс Суорц) и целый сонм знати, породнившейся с Ломбард-стрит* и в значи-

тельной степени способствовавшей облагораживанию Корнхила.

У молодой четы был дом близ Беркли-сквера и небольшая вилла в Рокемптоне, среди местной колонии банкиров. Дамы в семье Фреда считали, что он сделал мезальянс: хотя дед Буллоков воспитывался в приюте, но они через своих мужей породнились с лучшими представителями английской аристократии. И Марии пришлось, чтобы возместить недостаток происхождения, держаться особенно гордо и проявлять сугубую осторожность в составлении списка гостей; она чувствовала, что и отец с сестрою теперь не подходящая для нее компания.

Было бы нелепо предполагать, что она совершенно порвет со стариком, у которого можно было выцарапать еще несколько десятков тысяч. Фред Буллок никогда не допустил бы этого. Но она была еще молода и не умела скрывать свои чувства; и так как она приглашала своего папá и сестру на вечера третьего сорта, обращаясь с ними очень холодно, когда они приходили, и сама избегала Рассел-сквера, и бестактно просила отца покинуть эту ужасную вульгарную местность, то всем этим легкомысленно и опрометчиво поставила под сомнение свои шансы на получение наследства, — словом, так испортила дело, что его не могла поправить даже дипломатия Фреда.

— Так, значит, Рассел-сквер недостаточно хорош для миссис Марии, а? — говорил старый джентльмен, с шумом поднимая стекла в карете, когда он с дочерью отъезжал однажды вечером после обеда у миссис Фредерик Буллок. — Так она приглашает отца и сестру на другой день после своих званных обедов (черт меня возьми, если эти блюда или «онтри»¹, как она их называет, не подавались у них вчера!) вместе с купчишками из Сити и какими-то писаками, а графов, графинь и всех «достопочтенных» приберегает для себя? Достопочтенные! Черт бы побрал этих достопочтенных! Я простой английский купец, а могу купить всех этих нищих собак оптом и в розницу. Лорды, подумаешь! На одном из ее «суорей»² я видел, как один из них разговаривал с каким-то жалкой фитюлькой, с проходимцем скрипачом, на которого я и смотреть не

¹ Исковерканное французское *entrée* — блюдо, подаваемое в начале обеда.

² Исковерканное французское *soirée* — званный вечер.

стал бы. Значит, они не желают приезжать на Рассел-сквер, так, что ли? Голову прозакладываю, что у меня найдется стакан лучшего вина, и заплачено за него больше, и что я могу выставить более роскошный серебряный сервиз и подать на стол лучший обед, чем им когда-либо приходилось видеть на своих столах, — низкопоклонные льстецы, самонадеянные дураки! Джеймс, гони во весь дух! Я хочу поскорее к себе, на Рассел-сквер, ха! ха! ха! — И он откинулся в угол кареты с бешеным хохотом. Такими рассуждениями о своих заслугах и достоинстве старик нередко утешал себя.

Джейн Осборн оставалось только согласиться с этим мнением относительно поведения сестры. И когда у миссис Фредерик родился первенец — Фредерик Август Говард Стенли Девере Буллок, — старый Осборн, приглашенный на крестины в качестве крестного отца, ограничился тем, что послал младенцу золотой кубок и в нем двадцать гиней для кормилицы.

— Ручаюсь, что никто из ваших лордов не даст больше, — сказал он и отказался присутствовать при обряде.

Однако великолепие подарка произвело большое впечатление в семье Буллоков. Мария думала, что отец ею очень доволен, а Фредерик стал ожидать всяческих благ для своего маленького сына и наследника.

Можно себе представить, какие мучения испытывала мисс Осборн в своем одиночестве на Рассел-сквере, читая «Морнинг пост», где имя ее сестры постоянно встречалось в отделе «Великосветских собраний» и где она имела возможность прочесть описание туалета миссис Ф. Буллок, которая была представлена ко двору как леди Фредерик Буллок. В собственной жизни Джейн, как мы говорили, не было места такому величию. Это была ужасная жизнь! Она вставала рано в темные зимние утра, чтобы приготовить завтрак старому хмурому отцу, который разнес бы весь дом, если бы чай ему не был готов к половине девятого. Она молча сидела против него, прислушиваясь к шипению чайника и трепеща все время, пока отец читал газету и поглощал свою обычную порцию булочек к чаю. В половине десятого он вставал и отправлялся в Сити, и она была почти свободна до обеда — могла идти на кухню и браниться с прислугой; могла выезжать, заходить в

магазины, где приказчики были с ней чрезвычайно почтительны, или завозить визитные карточки, свои и от папá, в большие мрачные респектабельные дома друзей из Сити; или сидела одна на диване в огромной гостиной — в ожидании визитеров, склонившись над каким-нибудь бесконечным вязанием из шерсти и слушая, как часы с жертвоприношением Ифигении гулко и заунывно отсчитывают в мрачной комнате часы и минуты. Большое зеркало над камином и большое трюмо, стоявшее против него, по другую сторону обширной гостиной, бесконечно множили, отражаясь друг в друге, большой чехол из сурового полотна, который покрывал свисавшую с потолка люстру; эти серые мешки терялись вдаль в бесконечной перспективе, и комната, где сидела мисс Осборн, казалась центром целой системы гостиных. Когда она снимала кожаный чехол с большого фортепьяно и решалась взять на нем несколько аккордов, они звучали жалобной грустью, пробуждая в доме унылое эхо. Портрет Джорджа был вынесен в чуланчик на чердаке, и хотя воспоминание о Джордже продолжало жить в их сердцах и отец с дочерью оба инстинктивно знали, когда другой думает о нем, имя когда-то любимого храброго сына не упоминалось в доме.

В пять часов мистер Осборн возвращался к обеду, который проходил у них в полном молчании (редко нарушаемом, за исключением тех случаев, когда он бранился и бесновался, если какое-нибудь блюдо было ему не по вкусу); два раза в месяц у них обедало угрюмое общество знакомых Осборна — люди его возраста и положения. Старый доктор Галп с женою с Блумсбери-сквера; старый мистер Фраузер, адвокат с Бедфорд-роу, важная персона, вращавшаяся в силу своих профессиональных обязанностей в кругах «вест-эндской знати»; старый полковник Ливермор из Бомбея и миссис Ливермор с Апер-Бедфорд-плейс; заслуженный адвокат мистер Тофи и миссис Тофи, а иногда и старый сэр Томас Кофин и леди Кофин с Бедфорд-сквера. Сэр Томас был известен как тонкий знаток вин, и, когда он обедал, за столом у Осборна подавался особый темнокрасный портвейн.

Все эти господа и подобные им давали в свою очередь напыщенному коммерсанту с Рассел-сквера такие же напыщенные обеды. Выпив вино, они поднимались наверх

и торжественно играли в вист, а в половине одиннадцатого за ними приезжали их экипажи. Многие богатые люди, которым мы, бедняки, имеем привычку завидовать, постоянно ведут описанный выше образ жизни. Джейн Осборн почти не встречала в доме отца мужчин моложе шестидесяти лет, и, пожалуй, единственный холостяк, появлявшийся у них, был мистер Смэрк, знаменитый дамский доктор.

Я не могу сказать, чтобы монотонность этого ужасного существования ничем не нарушалась. Дело в том, что в жизни бедной Джейн была тайна, воспоминание о которой заставляло отца беситься и хмуриться еще больше, чем того требовали его характер, гордость и неумеренность в еде. Эта тайна была связана с мисс Уирт, у которой был кузен-художник, некий мистер Сми, впоследствии прославленный портретист, член Королевской академии; но было время, когда он довольствовался тем, что давал уроки рисования светским дамам. Теперь мистер Сми забыл, где находится Рассел-сквер, но в 1818 году он с удовольствием посещал его, давая уроки мисс Осборн.

Сми (ученик Шарпа с Фрит-стрит, этого беспутного, беспорядочного человека, неудачника в личной жизни, но одаренного и сведущего художника) был, как мы сказали, кузеном мисс Уирт, и она познакомила его с мисс Осборн, рука и сердце которой после нескольких неудачных романов были абсолютно свободны. Он воспылал нежностью к этой леди и, повидимому, зажег такие же чувства в ее груди. Мисс Уирт была поверенной их тайны. Не знаю, покидала ли она комнату, где учитель и ученица рисовали, чтобы дать им возможность обмениваться клятвами и признаниями, чему так мешает присутствие посторонних лиц; не знаю, надеялась ли она, что ее кузен в случае женитьбы на дочери богатого коммерсанта уделит ей часть богатства, которое она помогла ему приобрести, — достоверно только то, что мистер Осборн, проведая каким-то образом об этом, вернулся неожиданно из Сити и вошел в гостиную с бамбуковой тростью в руке, застал там учителя, ученицу и компаньонку, трясущихся и бледных, и выгнал учителя из дома, клянясь, что переломает ему все кости, а через полчаса уволил мисс Уирт, сбросив с лестницы ее чемоданы, растоптав картонки

и грозя ей вслед кулаком, пока наемная карета отъезжала от дома.

Джейн Осборн несколько дней не выходила из спальни. Ей не позволили больше держать компаньонку. Отец поклялся, что она не получит ни шиллинга, если выйдет замуж без его согласия. А так как ему необходима была женщина для ведения хозяйства, он вовсе не желал, чтобы она выходила замуж. Таким образом, ей пришлось отказаться от всяких планов насчет устройства своих сердечных дел. Пока жив был ее папá, она была обречена на образ жизни, только что описанный, и должна была удовлетворяться положением старой девы. У Марии между тем появлялись дети, каждый раз все с более звучными именами, и связь между сестрами становилась все слабее.

— Джейн и я возвращаемся в совершенно различных сферах, — говорила миссис Буллок. — Но, конечно, я смотрю на нее как на сестру.

Это значит... Впрочем, что может значить, когда леди говорит, что она смотрит на Джейн как на сестру?

Мы уже говорили, что девицы Доббин жили с отцом в прекрасном доме на Денмарк-хилле, где были чудесные теплицы с виноградом и персиковые деревья, восхищавшие маленького Джорджа Осборна. Сестры Доббин, которые часто ездили в Бромптон навещать нашу дорогую Эмилию, заезжали иногда с визитом и к своей старой знакомой, мисс Осборн, на Рассел-сквер. Я думаю, что они оказывали внимание миссис Джордж не иначе как по требованию брата, служившего майором в Индии (к которому отец их, надо сказать, питал совершенно необъяснимое, на их взгляд, пристрастие), потому что майор, как крестный отец и опекун маленького сына Эмили, все еще надеялся, что дед ребенка, может быть, смягчится и признает внука в память сына. Мисс Доббин держали мисс Осборн в курсе дел Эмили. Они рассказывали ей, как она живет с отцом и матерью, как они бедны, и упорно отказывались понять, что могли находить в этом ничтожестве мужчины, да еще такие, как их брат и дорогой капитан Осборн. Она все такая же размазня и кривляка, но сын ее действительно очаровательнейшее

создание, — ибо сердца всех женщин тают перед маленькими детьми, и даже самая кислая старая дева бывает приветлива с ними.

Однажды, после долгих просьб со стороны девиц Доббин, Эмилия позволила маленькому Джорджу поехать с ними на Денмарк-хилл и провести там весь день, а сама просидела большую часть этого дня над письмом к майору в Индию. Она поздравила его с счастливой вестью, которую его сестры ей сообщили. Она молилась о его благополучии и о благополучии невесты, которую он избрал. Она благодарила его за тысячи, тысячи услуг и доказательств его неизменной дружбы к ней в ее горе. Она сообщала ему последние новости о маленьком Джорджи и о том, что как раз сегодня он поехал на целый день к его сестрам за город. Она густо подчеркивала отдельные места и нежно подписалась его другом *Эмилией Осборн*. Она забыла, что хотела послать привет леди О'Дауд, чего раньше с ней никогда не бывало, и не назвала Глорвину по имени, а только *невестою* майора (подчеркнув это слово), на которую она призывает *благословение*. И тем не менее известие о женитьбе позволило ей отбросить ту сдержанность, какую она обычно проявляла по отношению к майору Доббину. Она была рада возможности сознаться и самой почувствовать, с какой теплотой и с какой благодарностью она вспоминает его... — а что касается ревности к Глорвине (к Глорвине, в самом деле!), то Эмилия начисто отвергла бы такое предположение, хотя бы его подсказал ей ангел небесный.

В этот вечер, когда Джорджи вернулся — к своему великому восторгу, в экипаже, запряженном пони, которыми правил старый кучер сэра Вильяма Доббина, — у мальчика на шее висела изящная золотая цепочка с часами. Он сказал, что часы подарила ему старая некрасивая леди, она все плакала и без конца целовала его. Но он ее не любит. Он очень любит виноград. И он любит одну только маму. Эмилия вздрогнула и встревожилась: в ее робкую душу закралось страшное предчувствие, когда она узнала, что родные ребенка видели его.

Мисс Осборн вернулась домой к обеду. Отцу удалось в этот день совершить удачную спекуляцию в Сити, и он был в довольно хорошем расположении духа и даже удостоил заметить волнение, в котором находилась его дочь.

— В чем дело, мисс Осборн? — соблаговолил он спросить ее.

Девушка залилась слезами.

— О сэр! — сказала она. — Я видела маленького Джорджи. Он хорош, как ангел... и так похож на него.

Старик, сидевший против нее, не произнес ни слова, а только покраснел и задрожал всем телом.



ГЛАВА XLIII,

*в которой читателя просят обогнуть
мыс Доброй Надежды*

Теперь нам придется просить изумленного читателя переправиться с нами за десять тысяч миль, на военную станцию в Бандльгандже, в Мадрасском округе индийских владений Англии, где расквартированы наши доблестные старые друзья из *** полка под командой храброго полковника, сэра Майкела О'Дауда. Время мило-стиво обошлось с этим дородным офицером, как оно обычно обходится с людьми, обладающими хорошим пищеварением и хорошим характером и не слишком переутомляющими себя умственными занятиями. Он усердно действовал вилкой и ножом за завтраком и с таким же успехом снова пускал в ход эти орудия за обедом. После обеих трапез он покуривал свой кальян и так же невозможно выпускал клубы дыма, когда его пробирала жена, как шел под огонь французов при Ватерлоо. Годы и зной не уменьшили энергии и красноречия праправнучки благородных Мелони и Молоев. Ее милость,

наша старая приятельница, чувствовала себя в Мадрасе так же хорошо, как и в Брюсселе, в военном поселке так же, как в палатке. В походе ее можно было видеть во главе полка, на спине царственного слона, — поистине величественное зрелище! Восседаая на этом животном, она участвовала в охоте на тигров в джунглях. Ее принимали у себя туземные принцы, чествуя ее и Глорвину на женской половине своего дома, доступ куда открыт немногим, и подносили ей шали и драгоценности, от которых она, к своему огорчению, принуждена была отказаться. Часовые всех родов оружия отдавали ей честь всюду, где бы она ни появлялась, и в ответ на их приветствия она важно прикасалась рукой к своей шляпе. Леди О'Дауд была одной из первых дам в Мадрасском округе. В Мадрасе всем памятна ее ссора с леди Смит, женой сэра Майноса Смита, младшего судьи, когда супруга полковника щелкнула пальцами под носом у супруги судьи и заявила, что убейте ее, а она не пойдет к обеду позади жены какого-то жалкого штафирки. Еще и сейчас, хотя с тех пор прошло двадцать пять лет, многие помнят, как леди О'Дауд плясала джигу в губернаторском доме, как она вконец умучила двух адъютантов, майора мадрасской кавалерии и двух джентльменов гражданской службы и только по настоянию майора Доббина, кавалера ордена Бани и второго по старшинству офицера *** полка, позволила увести себя в столовую, — *lassata nondum satiata recessit*¹.

Итак, Пегги О'Дауд была все та же: добрая в помыслах и на деле, неугомонного нрава, любительница покомандовать, тиран по отношению к своему Майкелу, пугало для полковых дам, родная мать для молодых офицеров; она ухаживала за ними во время болезни, защищала, когда они попадали в беду, и они платили за это леди Пегги безмерной преданностью. Жены младших офицеров и капитанов (майор был не женат) постоянно интриговали против нее. Они говорили, что Глорвина чересчур заносчива, а сама Пегги нестерпимо властолюбива. Она житья не давала маленькой пастве, которую собирала у себя миссис Кирк, и высмеивала полко-

¹ Усталая, но все еще не удовлетворенная, отступила. (Ю в е н а л, VI, 129).

вую молодежь, ходившую слушать проповеди этой дамы, заявляя, что жене солдата нечего путаться в эти дела и что лучше бы миссис Кирк чинила белье своему супругу; если же полку угодно слушать проповеди, то к его услугам лучшие в мире проповеди — ее дядюшки-декана. Она решительно прекратила ухаживанья лейтенанта своего полка, Стабла, за женой лекаря, пригрозив, что взыщет деньги, которые он у нее занял (ибо этот молодец был попрежнему довольно сумасбродного нрава), если он не оборвет сразу свой роман и не уедет на мыс Доброй Надежды, взяв отпуск по болезни. С другой стороны, она приютила и укрыла у себя миссис Поски, которая однажды ночью прибежала из своего бунгало, преследуемая разъяренным супругом, бывшим под влиянием второй бутылки бренди. Впоследствии она буквально выходила этого офицера, заболевшего белой горячкой, и отучила его от пьянства — порока, с которым тот уже бессилён был бороться. Словом, в несчастье она была лучшим утешителем, а в счастье самым несносным другом, так как всегда держалась о себе высокого мнения и всегда хотела настоять на своем.

Так и теперь она забрала в голову, что Глорвина должна выйти замуж за нашего старого друга Доббина. Миссис О'Дауд знала, какие у майора блестящие перспективы; она ценила его хорошие качества и прекрасную репутацию, какой он пользовался в полку. Глорвина, красивая молодая особа, черноволосая и голубоглазая, цветущего вида, которая прекрасно ездила верхом и могла разыграть сонату не хуже любой девицы из графства Корк, казалась ей самой подходящей кандидаткой, чтобы составить счастье Доббина, — гораздо более подходящей, чем эта маленькая слабохарактерная Эмилия, к которой он так привязался.

— Вы только посмотрите на Глорвину, когда она входит в комнату, — говорила миссис О'Дауд, — и сравните ее с этой бедной миссис Осборн, которую и курица обидит. Глорвина для вас идеальная жена, майор, — вы человек скромный, тихий, и вам нужен кто-нибудь, кто бы мог за вас заступиться. И хотя она не такого знатного рода, как Мелони или Молой, но все же смею вас заверить, она из древней фамилии и окажет честь любому дворянину, который на ней женится.

Надо сознаться, что, прежде чем прийти к решению покорить майора, Глорвина много раз испытывала свои чары на других. Она провела сезон в Дублине, не говоря уже о бесчисленных сезонах в Корке, Киларни и Мелоу, где флиртowała со всеми бракоспособными офицерами всех местных гарнизонов и холостыми помещиками из числа «подходящих женихов». У нее раз десять наклеивался жених в Ирландии, не говоря уж о пасторе в Бате, который так нехорошо поступил с ней. Всю дорогу до Мадраса она флиртowała с капитаном и старшим офицером корабля «Ремчандер» Ост-Индской компании и провела целый сезон в окружном городе с братом и миссис О'Дауд, которые оставили майора командовать полком. Все восхищались ею, все танцевали с нею, но никто, заслуживающий внимания, не делал ей предложения. Один или два чрезвычайно юных субалтерн-офицера вздыхали по ней и один-два безусых штатских, но она отвергла их, как не удовлетворяющих ее требованиям. А между тем другие, более юные девицы выходили замуж. Есть женщины, и даже красивые женщины, которым выпадает такая судьба. Они с необычайной готовностью влюбляются, катаются верхом, совершают прогулки чуть ли не с половиною наличного офицерского состава, и все же, хоть им уже под сорок, мисс О'Греди остается мисс О'Греди. Глорвина уверяла, что, не будь этой несчастной ссоры леди О'Дауд с женой судьи, она сделала бы отличную партию в Мадрасе, где старый мистер Чатни, стоявший во главе гражданского ведомства, готов был сделать ей предложение (он потом женился на мисс Долби, юной леди, всего лишь тринадцати лет от роду, только что приехавшей из Европы, где она училась в школе).

И вот, хотя леди О'Дауд и Глорвина ссорились по-многоу раз в день и почти по всякому поводу (право же, если бы Мик О'Дауд не обладал ангельским характером, две такие женщины, постоянно находившиеся около него, непременно свели бы его с ума), однако они сходились в одном пункте, — а именно в том, что Глорвина должна выйти замуж за майора Доббина, и решили не оставлять его в покое, пока не добьются своего. Глорвина, не смущаясь предыдущими сорока или пятьюдесятью поражениями, повела настоящую атаку на

майора. Она распевала ему ирландские мелодии; она так часто и с таким чувством спрашивала, не придет ли он в беседку, что надо удивляться, как мужчина, не лишенный сердца, мог устоять перед таким приглашением; она неустанно допытывалась, не омрачила ли грусть дней его юности, и готова была, как Дездемона, плакать, слушая рассказы майора об опасностях, которым он подвергался в походах. Мы уже говорили, что наш честный старый друг любил играть на флейте. Глорвина заставляла его исполнять с нею дуэты, и леди О'Дауд простодушно покидала комнату, предоставляя молодой паре без помехи предаваться этому занятию. Глорвина требовала, чтобы майор ездил с ней верхом по утрам. Весь военный поселок видел, как они вместе выезжали и возвращались. Она постоянно писала ему на дом записочки, брала у него книги и подчеркивала карандашом те чувствительные или смешные места, которые ей нравились. Она пользовалась его лошадьми, слугами, ложами и паланкином. Не мудрено, что общественная молва соединяла ее с ним и что сестры майора в Англии вообразили, что у них скоро будет невестка.

Между тем Доббин, подвергаясь такой настойчивой осаде, пребывал в состоянии самого возмутительного спокойствия. Он только смеялся, когда молодые товарищи по полку подшучивали над ним по поводу явного внимания к нему Глорвины.

— Пустяки! — говорил он. — Она просто упражняется на мне, как миссис Тозер на фортепьяно, — благо оно всегда под рукой. Что я? — дряхлый старик по сравнению с такой очаровательной молодой леди, как Глорвина.

Итак, он продолжал ездить с нею верхом, переписывал ей в альбом стихи и ноты и покорно играл с нею в шахматы. Многие офицеры в Индии этими скромными занятиями заполняют свой досуг, пока другие, не склонные к домашним развлечениям, охотятся на кабанов, стреляют бекасов, играют в азартные игры, курят манильские сигары и наливаются грогом. Что касается Майкела О'Дауда, то, хотя его супруга и сестра обе настаивали, чтобы он уговорил майора объясниться и не мучить столь бессовестно бедную невинную девушку,

старый солдат решительно отказывался от всякого участия в этом заговоре.

— Право же, майор достаточно взрослый, чтобы самому сделать выбор, — заявлял сэр Майкел, — он сам посватается, если захочет.

Или обращал дело в шутку, говоря, что Доббин еще слишком молод, чтобы обзаводиться своим домом, и что он написал домой, испрашивая разрешения у мамы.

Мало того, в частных беседах с майором он предостерегал его, шутливо говоря:

— Смотрите, берегитесь, Доб дружище! Вы знаете, какие злодейки эти дамы: моя жена только что получила целый ящик платьев из Европы, и среди них есть розовое атласное для Глорвины, — оно прикончит вас, Доб, если только женщины и атлас способны вас расшевелить!

Но все дело в том, что ни красота, ни светские моды не могли победить майора. У нашего честного друга был в голове только один женский образ, и этот образ несколько не походил на мисс Глорвину в розовом атласе. Это была изящная маленькая женщина в черном, с большими глазами и каштановыми волосами, которая сама редко говорила, разве только когда к ней обращались, и притом голосом, совсем не похожим на голос мисс Глорвины; нежная юная мать, держащая на руках ребенка и с улыбкой приглашающая майора взглянуть на милого крошку; румяная девушка, с пением вбегающая в гостиную на Рассел-сквере, преданно и влюбленно виснувшая на руке Джорджа Осборна, — только этот образ не оставлял честного майора ни днем, ни ночью и царил в его сердце. Весьма вероятно, что Эмилия и не походила на тот портрет, который рисовало воображение майора. Гостя у сестер в Англии, Вильям тихонько стащил у них из модного журнала одну картинку и даже приклеил ее на крышку своей шкатулки, усмотрев в ней некоторое сходство с миссис Осборн, хотя я видел ее и могу поручиться, что это был только рисунок платья с высокой талией и каким-то дурацким, кукольным, нелепо улыбающимся лицом над платьем. Может быть, предмет мечтаний мистера Доббина не больше походил на настоящую Эмилию, чем эта нелепая картинка, которой он так дорожил. Но какой влюбленный мужчина счел бы

себя вправе упрекнуть его? И разве он будет счастливее, если увидит и признает свое заблуждение? Доббин находился во власти таких чар. Он не надоедал друзьям и знакомым своими чувствами и не терял ни сна, ни аппетита. Его волосы слегка поседели с тех пор, как мы видели его в последний раз, и, может быть, одна или две серебряные нити вились и в ее шелковистых каштановых волосах. Но чувства его нисколько не менялись и не старели, и любовь его была так же свежа, как воспоминания взрослого мужчины о своем детстве.

Мы уже говорили, что обе мисс Доббин и Эмилия — европейские корреспондентки майора — прислали ему из Англии письма. Миссис Осборн от всего сердца поздравляла его с предстоящей женитьбой на мисс О'Дауд.

«Ваша сестра только что любезно навестила меня, — писала Эмилия, — и рассказала мне о *важном событии*, по поводу которого я прошу вас принять *мои искренние поздравления*. Я надеюсь, что юная леди, с которой вы должны соединиться браком, окажется во всех отношениях достойной того, кто сам является олицетворенной добротой и честностью. Бедная вдова может только вознести свои молитвы и пожелать вам от всей души всякого *благополучия*! Джорджи посылает привет *своему дорогому крестному* и надеется, что он не забудет его. Я сказала ему, что вы собираетесь заключить союз с особой, которая, я уверена, заслуживает *вашей любви*; но хотя такие узы и должны быть самыми прочными и самыми священными и выше *всяких других*, все же я уверена, что вдова и ребенок, которым вы покровительствовали и которых любили, всегда *найдут уголок в вашем сердце*».

Послание это, о котором мы уже упоминали, продолжалось в таком же духе, в каждой строке выражая чрезвычайную радость писавшей.

Письмо прибыло с тем же кораблем, который доставил ящик с нарядами из Лондона для леди О'Дауд (и, конечно, Доббин распечатал его раньше всех других пакетов, пришедших с этой почтой). Оно привело майора в такое состояние, что Глорвина, ее розовый атлас и все, до нее касающееся, стали ему крайне ненавистны. Майор

проклял бабьи разговоры и всю вообще женскую половину человеческого рода. Все в этот день раздражало его: и невыносимая жара, и утомительные маневры. Милосердный боже! Неужели разумный человек должен тратить всю свою жизнь день за днем на то, чтобы осматривать подсымки и портупей и проводить военные учения с какими-то болванами? Бессмысленная болтовня молодых людей в офицерской столовой больше чем когда-либо его тяготила. Какое дело ему, человеку, который приближается к сорока годам, до того, сколько бекасов подстрелил лейтенант Смит и какие фокусы выделывает кобыла прапорщика Брауна? Шутки за столом вызывали в нем чувство стыда. Он был слишком стар, чтобы слушать остроты младшего врача и жаргон молодежи, над которыми старый О'Дауд, с его лысой головой и красным лицом, только добродушно подсмеивался. Старик слышал эти шутки непрерывно в течение тридцати лет, да и Доббин слышал их уже пятнадцать лет. А после шумного и скучного обеда в офицерской столовой ссоры и пересуды полковых дам! Это было невыносимо, позорно!

«О Эмилия, Эмилия, — думал он, — ты, которой я был так предан, упрекаешь меня! Только потому, что ты не отвечаешь на мои чувства, я влачу эту скучную жизнь. И вместо награды за долгие годы преданности ты благословляешь меня на брак с развязной ирландкой!»

Горечь и отвращение томили бедного Вильяма, более чем когда-либо одинокого и несчастного. Ему хотелось покончить с жизнью, с ее суетою — такой бесцельной и бессмысленной казалась ему всякая борьба, таким безрадостным и мрачным будущее. Всю ночь он лежал без сна, томясь по родине. Письмо Эмилии поразило его, как приговор судьбы. Никакая преданность, никакое постоянство и самоотверженность не могли растопить это сердце. Она даже не замечает, что он любит ее. Ворочаясь в постели, он мысленно говорил ей:

«Боже милосердный, Эмилия! Неужели вы не понимаете, что я одну только вас люблю во всем мире... вас, которая холодна, как камень, вас, за которой я ухаживал долгие месяцы, когда вы были сражены болезнью и горем, а вы простились со мной с улыбкой на лице и забыли меня, едва за мною закрылась дверь!»

Слуги-туземцы, расположившиеся на ночь около веранды, с удивлением смотрели на взволнованного и угнетенного майора, которого они знали таким спокойным и ровным. Пожалела бы она его теперь, если бы увидела? Он снова и снова перечитывал ее письма — все, какие когда-либо получал: деловые письма относительно небольшой суммы денег, которую, по его словам, оставил ей муж, коротенькие пригласительные записочки, каждый клочок бумажки, который она когда-либо посылала ему, — как все они холодны, как любезны, как безнадёжны и как эгоистичны!

Если бы рядом с ним оказалась какая-нибудь добрая, нежная душа, которая могла бы понять и оценить это молчаливое великодушное сердце, — кто знает, может быть царству Эмилии пришел бы конец и любовь нашего друга Вильяма влилась бы в другое, более благоприятное русло! Но здесь он был близок только с Глорвиною, обладательницею черных как смоль локонов, а эта элегантная девица не была склонна любить майора, а скорее мечтала увлечь его, — совершенно невозможная и безнадёжная задача, по крайней мере с теми средствами, какие были в распоряжении бедной девушки. Она завивала волосы и показывала ему свои плечи, как бы говоря: «Видали вы когда-нибудь такие черные локоны и такое сложение?» Она улыбалась ему, чтобы он мог видеть, что все зубы у нее в порядке, — но он никогда не обращал внимания на все эти прелести. Вскоре после прибытия ящика с нарядами, а может быть, даже и в их честь, леди О'Дауд и другие дамы Королевского полка дали бал офицерам Ост-Индской компании и гражданским чинам военной станции. Глорвина нарядилась в свое ослепительное розовое платье, но майор, бывший на балу и уныло слонявшийся по комнатам, даже не заметил этого розового великолепия. Глорвина в неистовстве носилась мимо него со всеми молодыми субалтернами, а майор нимало не ревновал ее и ничуть не рассердился, когда ротмистр Бенгис повел ее к ужину. Ни кокетство, ни наряды, ни плечи не могли взволновать его, — а у Глорвины больше ничего и не было.

Итак, оба они могли служить примером суетности нашей жизни, ибо мечтали о несбыточном. Эта неудача заставила Глорвину плакать от злости. Она надеялась

на майора «больше, чем на кого-либо другого», признавалась она рыдая.

— Он разобьет мне сердце, Пегги, — жаловалась она невестке, когда не ссорилась с нею. — Мне придется ушить все мои платья: скоро я превращусь в скелет.

Но — толстая или худая, смеющаяся или печальная, верхом на лошади или на стуле за фортепьяно, — майору она была безразлична. А полковник, попыхивая трубкой и слушая ее жалобы, предлагал выписать из Лондона со следующей почтой несколько черных платьев для Глори и рассказал ей сердцещипательную историю про одну леди в Ирландии, умершую от горя при потере мужа, которого она еще не успела приобрести.

Пока майор продолжал подвергать ее мукам Тантала, не делая ей предложения и не выказывая никакого намерения влюбиться, из Европы пришел другой корабль, доставивший на своем борту письма и среди них несколько посланий для бессердечного человека. Это были письма из дому с более ранним почтовым штемпелем, чем предыдущие, и когда майор увидел на одном из них почерк сестры — той, что обычно писала «драгоценному Вильяму», исписывая четвертушку вдоль и поперек, причем собирала все, какие только могла, дурные новости, а также журила его и читала наставления с сестринской прямоотой, отравляя ему этими посланиями весь день, — то, по правде говоря, «драгоценный Вильям» не спешил взломать печать на письме дражайшей мисс Доббин, поджидая более благоприятного для этого случая и состояния духа. Две недели тому назад он написал ей, разбранив ее за то, что она наговорила всяких глупостей миссис Осборн, а также отправил ответное письмо этой леди, опровергая дошедшие до нее слухи и уверяя ее, что «пока у него нет ни малейшего намерения жениться».

Два или три дня спустя после прибытия второй пачки писем майор довольно весело провел вечер в доме леди О'Дауд, и Глорвине даже показалось, что он благосклоннее, чем обычно, слушал «У слиянья рек», «Юного менестреля» * и еще одну-две песенки, которые она ему спела (то была иллюзия, — он столько же прислушивался к пению Глорвины, сколько к вою шакалов за окнами). Сыграв затем с нею партию в шахматы (крибедж с доктором был любимым вечерним развлечением леди

О'Дауд), майор Доббин в обычный час попрощался с семьей полковника и вернулся к себе домой.

Там, на столе, красноречивым упреком лежало письмо сестры. Он взял его, пристыженный своей небрежностью, и приготовился провести неприятный часок с отсутствующей родственницей, заранее проклиная ее неразборчивый почерк...

Прошел, пожалуй, целый час после ухода майора из дома полковника; сэр Майкел спал сном праведника; Глорвина, по обыкновению, закрутила свои черные локоны в бесчисленные лоскутки бумаги; леди О'Дауд также удалилась в супружескую опочивальню в нижнем этаже и укутала пологом свои пышные формы, спасаясь от докучливых moskitov, — когда часовой, стоявший у ворот, увидел при лунном свете майора Доббина, стремительно шагавшего по направлению к дому и, по видимому, чем-то взволнованного. Миновав часового, он подошел прямо к окнам спальни полковника.

— О'Дауд... полковник! — кричал, надрываясь, Доббин.

— Господи, майор! — сказала Глорвина, высунув в окно голову в папильотках.

— В чем дело, Доб дружище? — спросил полковник, предположив, что в лагере пожар или что из штаб-квартиры полка пришел приказ о выступлении.

— Я... мне нужен отпуск. Я должен ехать в Англию по самым неотложным личным делам, — сказал Доббин.

«Боже милосердный! Что случилось?» — подумала Глорвина, трепеща всеми папильотками.

— Я должен уехать... сейчас же... ночью, — продолжал Доббин.

Полковник встал и вышел, чтобы переговорить с ним.

В приписке к посланию мисс Доббин, исчерченному вдоль и поперек, майор нашел следующие строки: «Я ездила вчера повидать твою старую *приятельницу* миссис Осборн. Жалкую местность, где они живут с тех пор, как обанкротились, ты знаешь. Мистер С., если судить по *медной* дощечке на двери их лачуги (иначе не назовешь), торгует углем. Мальчуган, твой крестник, конечно, чудесный ребенок, хотя чрезмерно развит и склонен сделаться своевольным и дерзким. Но мы старались быть к нему внимательными, как ты этого хотел, и пред-

ставили его тетушке, мисс Осборн, которой он очень понравился. Может быть, его дедушку — не того, что обанкротился, — тот почти впал в детство, но мистера Осборна с Рассел-сквера, — удастся смягчить по отношению к ребенку твоего друга, его *заблудшего и своеговольного сына*. Эмилия будет, наверно, непрочь отдать его. Вдова утешилась и собирается выйти замуж за преподобного мистера Бинни, священника в Бромптоне. Жалкая партия! Но миссис О. постарела, я видела у нее много седых волос. Она заметно повеселела. А твой маленький крестник у нас объелся. Мама шлет тебе привет вместе с приветом от любящей тебя

Энн Доббин».



ГЛАВА XLIV

Между Лондоном и Хемпширом

Фамильный дом наших старых друзей Кроули на Грейт-Гонт-стрит все еще сохраняет на фасаде траурный герб, вывешенный по случаю смерти сэра Питта Кроули; но эта геральдическая эмблема служит ему скорее великолепным и шегольским украшением, да и вообще весь дом принял более нарядный вид, чем при жизни покойного баронета. Почерневшая облицовка соскоблена с кирпичей, и стены сверкают свежей белизной, старинные бронзовые львы на дверном молотке красиво вызолочены, решетки вновь выкрашены, — словом, самый мрачный дом на Грейт-Гонт-стрит сделался самым кокетливым во всем квартале — еще до того как в Королевском Кроули зеленая листва сменила пожелтевшую листву на той аллее, по которой старый сэр Питт Кроули недавно проезжал в последний раз к месту своего упокоения.

Около этого дома нередко можно было видеть маленькую женщину в соответствующих размеров экипаже; кроме нее здесь можно было ежедневно встретить

пожилую деву в сопровождении мальчика. Это была мисс Бригс с маленьким Родоном; ей вменили в обязанность наблюдать за отделкой комнат в доме сэра Питта, надзирать за группой женщин, занятых шитьем штор и драпировок, разбирать и очищать ящики и шкафы от пыльных реликвий и хлама, накопленного совокупными трудами нескольких поколений леди Кроули, а также составлять опись фарфора, хрусталя и другого имущества, хранившегося в шкафах и кладовых.

Миссис Родон Кроули была во всех этих переустройствах главнокомандующим, с неограниченными полномочиями от сэра Питта продавать, обменивать, конфисковать и покупать все для мебелировки, и она немало наслаждалась этим занятием, которое давало простор ее вкусу и изобретательности. Решение о ремонте дома было принято, когда сэр Питт в ноябре приезжал в город, чтобы повидаться со своими поверенными, и когда он провел почти неделю на Керзон-стрит под одной крышей с нежными братом и сестрой.

Приехав, он остановился в отеле, но Бекки, как только узнала о прибытии баронета, сейчас же поехала туда приветствовать его и через час вернулась на Керзон-стрит вместе с сэром Питтом. Невозможно было отказаться от гостеприимства этого бесхитростного маленького создания, так откровенно и дружески она предлагала его и так ласково на нем настаивала. Когда сэр Питт согласился переехать к ним, Бекки в порыве благодарности схватила его руку.

— Спасибо, спасибо! — сказала она, сжимая ее и глядя прямо в глаза баронету, который сильно покраснел. — Как обрадуется Родон!

Она суежилась в спальне Питта, указывая прислуге, куда нести чемоданы, и со смехом притащила из своей собственной комнаты ведро с углем.

Огонь уже пылал в камине (кстати сказать, это была комната мисс Бригс, которую переселили на чердак в каморку горничной).

— Я знала, что привезу вас, — говорила она, глядя на него сияющими глазами. И она и вправду была счастлива, что у нее такой гость.

Раза два Бекки заставила Родона — под предлогом дел — обедать вне дома, и баронет провел эти счастли-

вые вечера наедине с нею и Бригс. Бекки спускалась вниз на кухню и сама стряпала для него вкусные блюда.

— Ну, что вы скажете о моем сальми? ¹ — говорила она. — Это я для вас так постаралась. Я могу приготовить вам еще более вкусные блюда и буду готовить, только навещайте нас почаще.

— Все, что вы делаете, вы делаете прекрасно, — отвечивал галантно баронет. — Сальми действительно превосходное!

— Жена бедного человека, — весело возразила Ребекка, — должна уметь хозяйничать.

В ответ на это деверь стал уверять, что ей пристало быть женой императора и что умение вести хозяйство только украшает женщину. С чувством, похожим на огорчение, подумал сэр Питт о леди Джейн, которая однажды захотела сама испечь пирог к обеду, — дрожь пробрала его при этом воспоминании!

Кроме сальми, приготовленного из фазанов лорда Стайна, в изобилии водившихся в его имении Стилбрук, Бекки угостила деверя бутылкой белого вина, которое Родон вывез из Франции, купив там почти за бесценок, как уверяла маленькая лгунья; в действительности это было вино марки «Белый Эрмитаж» из знаменитых погребов маркиза Стайна. От этого вина кровь прилила к бледным щекам баронета и огонь разлился по его жилам.

Когда сэр Питт осушил бутылку этого *petit vin blanc* ², она взяла его под руку и повела в гостиную, где уютно усадила на диван перед горящим камином и с нежным, ласковым вниманием стала слушать, усевшись рядом и подрубая рубашечку для своего милого мальчика. Когда миссис Родон хотела казаться особенно скромной и добродетельной, она всегда вытаскивала из рабочего ящика эту рубашку, которая, кстати сказать, стала мала Родону задолго до того, как была окончена.

Итак, Ребекка ласково внимала сэру Питту, беседовала с ним, пела, льстила и угождала, так что ему день ото дня становилось приятнее возвращаться от своих поверенных из Грейз-Инна к пылающему камину на Керзон-

¹ С а л ь м и — рагу из дичи.

² Легкого белого вина (франц.).

стрит, — радость эту разделяли и юристы, потому что разглагольствования их знатного клиента были весьма утомительны; и когда Питту пришлось уезжать, он почувствовал настоящую печаль разлуки. Как грациозно она посылала ему из коляски воздушные поцелуи и махала платочком, когда он садился в почтовую карету! Она даже приложила платок к глазам. А Питт, когда карета отъехала, нахлобучил на лоб свою котиковую шапку и, откинувшись назад, стал думать о том, как она уважает его, и как он заслуживает этого, и какой дурак и тупица Родон, — он не ценит своей жены. До чего бесцветна и невыразительна его собственная жена в сравнении с этой блестящей маленькой Бекки! Надо полагать, сама Ребекка внушила ему эти мысли, но она сделала это так деликатно и тонко, что вы ни за что не заметили бы, где и когда. Перед отъездом оба они решили, что дом в Лондоне должен быть отремонтирован к ближайшему сезону и что семьи братьев снова встретятся в деревне на рождестве.

— Жалко, что ты не перехватила у него хоть немного денег, — угрюмо сказал Родон жене, когда баронет уехал. — Мне хотелось бы заплатить что-нибудь старику Реглсу, честное слово! Нехорошо, знаешь, что мы вытянули у него все его деньги. Да и для нас это неудобно: он может сдать дом кому-нибудь другому.

— Скажи Реглсу, — отвечала Бекки, — что как только сэр Питт устроит свои дела, все будет заплачено, а пока дай ему какой-нибудь пустяк в счет долга... Вот чек, который Питт подарил Роди, — и она достала из сумочки и отдала мужу банковый билет, оставленный его братом для маленького сына и наследника младшей ветви Кроули.

По правде сказать, она сама позондировала почву, не дожидаясь советов мужа, — позондировала очень осторожно, но нашла ее неподатливой. При первом же ее слабом намеке на денежные затруднения сэр Питт насторожился и забеспокоился. Он начал пространно объяснять невестке, что он и сам стеснен в средствах, так как арендаторы не платят; дела отца и издержки по похоронам совсем его запутали, да тут еще всякие платежи, а между тем кредит его исчерпан; и в конце концов Питт Кроули отвертелся от невестки тем, что презентовал ей самую пустячную сумму для ее мальчика.

Питт знал, как беден брат и его семья. От внимания

такого холодного и опытного дипломата не могло ускользнуть, что семье Родона не на что жить, и он должен был понимать, что квартира и экипаж даются не даром. Он отлично знал, что получил, или, вернее, захватил деньги, которые, по всем расчетам, должны были достаться младшему брату, и, конечно, чувствовал иногда тайные угрызения совести, напоминавшие ему о том, что он обязан совершить акт справедливости, или, попросту говоря, компенсировать обиженных родственников. Как человек справедливый, порядочный, неглупый, как усердный христианин, знающий катехизис и всю жизнь внешне исполнявший свой долг по отношению к ближним, он не мог не сознавать, что его брат вправе рассчитывать на его помощь и что морально он должник Родона.

Когда на столбцах газеты «Таймс» время от времени приходится читать странные объявления канцлера казначейства, извещающие о получении пятидесяти фунтов от А. Б. или десяти фунтов от Т. У. — так называемые «совестные деньги» * в счет уплаты налога, причитающегося с вышеупомянутых А. Б. и Т. У., — получение коих раскаявшиеся просят достопочтенного джентльмена подтвердить через посредство печати, то, конечно, и канцлер, и читатель отлично знают, что вышеназванные А. Б. и Т. У. платят лишь ничтожную часть того, что они действительно должны государству, и что человек, посылающий двадцатифунтовый билет, очевидно, должен сотни и тысячи фунтов, в которых ему следовало бы отчитаться. Такого по крайней мере мое впечатление от этих явно недостаточных доказательств раскаяния А. Б. и Т. У. И я не сомневаюсь, что раскаяние, или, если хотите, щедрость Питта Кроули по отношению к младшему брату, благодаря которому он получил так много выгод, была лишь ничтожным дивидендом на тот капитал, который он был должен Родону. Но не всякий пожелал бы платить даже столько. Расстаться с деньгами — это жертва, почти непосильная для всякого здравомыслящего человека. Вряд ли вы найдете среди живущих кого-нибудь, кто не считал бы себя достойным всяческой похвалы за то, что он дал своему ближнему пять фунтов. Беспечный человек дает не из чувства сострадания, а ради пустого удовольствия давать. Он не отказывает себе ни в чем: ни в ложе в оперу, ни в лошади, ни в обеде, ни даже в удовольствии подать

Лазарю пять фунтов. Бережливый человек — добрый, разумный, справедливый, который никому ничего не должен, — отворачивается от нищего, торгуется с извозчиком, отрекается от бедных родственников. И я не знаю, который из двух более себялюбив. Разница лишь в том, что деньги имеют неодинаковую ценность в глазах каждого из них.

Одним словом, Питт Кроули думал было сделать что-нибудь для брата, но потом решил, что это еще успеется.

Что же касается Бекки, то она была не такой женщиной, чтобы ждать слишком многого от великодушия своих ближних, и потому была вполне довольна тем, что Питт Кроули для нее сделал. Глава семьи признал ее. Если даже он не даст ей ничего, то, надо думать, все же со временем кое-что для нее сделает. Пусть она не получила от деверя денег — она получила нечто, столь же ценное, — кредит. Реглс, видя дружеские отношения между братьями и заручившись небольшой суммой денег наличными и обещанием гораздо большей суммы в ближайшем времени, несколько успокоился. Ребекка сказала мисс Бригс, уплачивая ей перед рождеством проценты на маленькую сумму, которую та одолжила ей, и делая это с таким легким сердцем, словно у нее самой денег куры не клюют и она не чаает, как от них избавиться, — Ребекка, повторяю, сказала мисс Бригс строго доверительно, что она советовалась с сэром Питтом — как известно, опытным финансистом — специально насчет Бригс: как наиболее выгодно поместить оставшийся у нее капитал. Сэр Питт после долгих размышлений придумал очень выгодный и надежный способ помещения денег мисс Бригс. Он весьма заинтересован в том, чтобы помочь ей, как преданному другу покойной мисс Кроули и всей семьи, и перед отъездом советовал ей держать деньги наготове, чтобы в благоприятный момент можно было купить акции, которые он имел в виду. Бедная мисс Бригс была очень тронута таким вниманием сэра Питта. Сама она, говорила Бригс, ввек бы не додумалась до того, чтобы взять деньги, помещенные в государственные бумаги. Но внимание сэра Питта тронуло ее даже больше, чем оказанная им услуга. Она обещала немедленно повидаться со своим поверенным и держать наготове свой наличный капитал.

Достойная Бригс была так благодарна Ребекке за ее помощь в этом деле и за доброту полковника, своего великодушного благодетеля, что сейчас же отправилась и истратила большую часть своего полугодового дохода на покупку черного бархатного костюмчика для маленького Родона, который, кстати сказать, чересчур вырос для таких костюмчиков, и ему гораздо больше подходили бы по возрасту и росту мужская жакетка и панталоны.

Родон был красивый мальчуган, с открытым лицом, голубыми глазами и развевающимися льняными волосами, довольно крепкого сложения, с великодушным, нежным сердцем. Он горячо привязывался к каждому, кто был с ним добр, — к пони, к лорду Саутдауну, который подарил ему лошадку (он всегда краснел и вспыхивал, когда видел этого любезного джентльмена), к груму, который ухаживал за пони, к кухарке Молли, которая пичкала его на ночь страшными рассказами и угощала сладостями от обеда, к Бригс, которую он нещадно изводил, и особенно к отцу, привязанность которого к сыну было любопытно наблюдать. Когда он достиг восьми лет, этими лицами ограничивались все его привязанности. Прекрасный образ матери с течением времени поблек; на протяжении почти двух лет она едва удостаивала мальчика разговором. Она не любила его. Он хворал то корью, то коклюшем. Он надоедал ей. Как-то раз, спустившись со своего чердака, он остановился на площадке, привлеченный звуками голоса матери, которая пела в присутствии лорда Стайна; дверь гостиной внезапно распахнулась, обнаружив маленького соглядателя, восхищенно слушавшего музыку.

Ребекка выбежала из гостиной и влепила ему две звонкие пощечины. Мальчик услышал за стеной смех маркиза (которого позабавило это бесхитростное и прямолинейное проявление нрава Бекки) и бросился вниз, в кухню, к своим друзьям, обливаясь горячими слезами.

— Я не из-за того плачу, что мне больно, — оправдывался, всхлипывая, маленький Роди, — только... только... — Бурные слезы и рыдания заглушили конец фразы. Сердце мальчика обливало кровью. — Только почему мне нельзя слушать ее пение? Почему она никогда не поет мне, а поет этому плешивому с огромными зубами? —

Так в промежутках между рыданиями негодовал и жаловался бедный мальчик. Кухарка взглянула на горничную, горничная перемигнулась с лакеем,— грозная кухонная инквизиция, заседающая в каждом доме и обо всем осведомленная, в эту минуту судила Ребекку.

После этого случая нелюбовь матери возросла до ненависти; сознание, что ребенок здесь, в доме, было для нее тягостным упреком. Самый вид мальчика раздражал ее. В груди маленького Родона в свою очередь зародились сомнение, страх и протест. С того дня, как он получил пощечину, между матерью и сыном легла пропасть.

Лорд Стайн тоже терпеть не мог мальчика. Если по несчастной случайности они встречались, достойный лорд саркастически раскланивался с ним, или отпускал иронические замечания, или же глядел на него злобными глазами. Родон со своей стороны пристально смотрел ему в лицо и сжимал кулачки. Он знал своего врага,— из бывавших в доме гостей этот джентльмен больше всего раздражал его.

Как-то раз лакей застал мальчика в передней, когда тот грозил кулаком шляпе лорда Стайна. Лакей в качестве интересной шутки рассказал об этом случае кучеру лорда Стайна; тот поделился рассказом с камердинером лорда Стайна и вообще со всей людской. И вскоре после этого, когда миссис Родон Кроули появилась в Гонт-хаусе, привратник, открывавший ворота, слуги во всевозможных ливреях, толпившиеся в вестибюле, джентльмены в белых жилетах, выкрикивавшие с одной лестничной площадки на другую имена полковника Кроули и миссис Родон Кроули, уже знали о ней все или воображали, что знают. Лакей, стоявший за ее стулом, уже обсудил ее личность с другим внушительным джентльменом в холуйском наряде, стоявшим рядом с ним. *Воп Диез*¹, как ужасен этот суд прислуги! На большом вечере вы видите в роскошном зале женщину, окруженную преданными обожателями, она бросает кругом сияющие взгляды, она превосходно одета, завита, подрумянена, она улыбается и счастлива. Но вот к ней почтиительно подходит Разоблачение в виде огромного человека в пудренном парике, с толстыми икрами, разносящего

¹ Господи боже (франц.).

мороженое гостям, а за ним следует Клевета (столь же непреложная, как Истина) в виде неуклюжего молодца, разносящего вафли и бисквиты. Madame, ваша тайна сегодня же вечером станет предметом пересудов этих людей в их излюбленных трактирах! Джеймс и Чарльз, посиживая за оловянными кружками и с трубками в зубах, поделятся сведениями о вас. Многим на Ярмарке Тщеславия следовало бы завести немых слуг, немых и не умеющих писать. Если вы виноваты — трепещите. Этот молодец у вас за стулом, может быть, янычар, скрывающий петлю в кармане своих плисовых штанов. Если вы не виновны — заботьтесь о соблюдении внешних приличий, нарушение которых так же губительно, как и вина.

Виновна Ребекка или нет? Тайное судилище в людской вынесло ей обвинительный приговор!

И стыдно сказать: если бы они не верили в ее виновность, она не имела бы кредита. Именно вид кареты маркиза Стайна, стоящей у ее подъезда, и свет фонарей, светивших ему во мраке далеко за полночь, гораздо больше «поддерживал» Реглса, как он потом говорил, чем все ухищрения и уговоры Ребекки.

Итак — возможно, что и невиновная, — Ребекка карбалась и проталкивалась, чтобы завоевать себе то, что называется «положением в свете», а слуги указывали на нее, как на потерянную и погибшую. Так горничная Молли следит по утрам за пауком: он тклет свою паутину у дверного косяка и упорно взбирается вверх по ниточке, пока, наконец, ей не надоеет это развлечение; тогда она хватает половую щетку и сметает и паутину, и ткача.

За день или за два до рождества Бекки с мужем и сыном собрались ехать в Королевское Кроули, чтобы провести праздники в обители своих предков. Бекки предпочла бы оставить мальчугана дома и сделала бы это, если бы не настойчивые просьбы леди Джейн привезти мальчика и признаки недовольства со стороны Родона, возмущенного ее небрежным отношением к сыну.

— Ведь другого такого мальчика во всей Англии не сыщешь, — говорил отец с упреком, — а ты, Бекки, гораздо больше заботишься о своей болонке. Роди не

помешает тебе: он будет там в детской, подальше от тебя, а в дороге я за ним присмотрю; мы зайдем наружные места в карете.

— Куда ты сам сядишься, чтобы курить свои противные сигары,— упрекнула его миссис Родон.

— Когда-то они тебе нравились,— отвечал муж.

Бекки засмеялась: она почти всегда бывала в хорошем расположении духа.

— То было, когда я добивалась повышения, глупый! — сказала она.— Бери с собой Родона и дай и ему сигару, если хочешь.

Родон, однако, не стал таким способом согревать своего маленького сына во время их зимней поездки; он вместе с Бригс укутал ребенка шальями и шерстяными шарфами, и в таком виде, ранним утром, при свете ламп «Погребка Белого Коня», мальчуган был почтительно водворен на крышу кареты и с немалым удовольствием смотрел оттуда, как занималась заря. Он совершал свое первое путешествие в то место, которое его отец все еще называл «домом». Для мальчика эта поездка была непрерывным удовольствием: все дорожные события были ему внове. Отец отвечал на его вопросы, рассказывал ему, кто живет в большом белом доме направо и кому принадлежит парк. Мать, сидевшая вместе с горничной внутри кареты, в мехах и платках, с флакончиками нюхательной соли, проявляла столько беспокойства, как будто никогда прежде не ездила в дилижансе; никто не подумал бы, что ее высадили из этой самой кареты, чтобы освободить место для платного пассажира, когда десять лет тому назад она совершала свое первое путешествие.

Наступили уже сумерки, когда карета добралась до Мадбери, и маленького Родона пришлось разбудить, чтобы пересесть в коляску его дяди. Он сидел и с удивлением смотрел, как раскрылись большие железные ворота, как замелькали светлые стволы лип, пока лошади, наконец, не остановились перед освещенными окнами замка, приветливо сиявшими яркими рождественскими огнями.

Входная дверь широко распахнулась; в большом старинном камине холла ярко пылал огонь, а выложенный

черными плитками в шахматном порядке пол был устлан ковром.

«Это тот самый турецкий ковер, который лежал раньше в «Дамской галерее», — подумала Рэбекка, и в следующую минуту она уже целовалась с леди Джейн.

С сэром Питтом она с весьма серьезным видом обменялась таким же приветствием; но Родон, только что куривший, уклонился от поцелуя с невесткой. Дети подошли к кузену; Матильда протянула ему руку и поцеловала его, а Питт Бинки Саутдаун, сын и наследник, стоял поодаль и изучал гостя, как маленькая собачка изучает большую.

Приветливая хозяйка повела гостей в уютные комнаты, где ярко пылали камины. Затем к миссис Родон постучались обе молоденькие леди, будто бы для того, чтоб помочь ей, но в сущности им хотелось осмотреть содержимое ее картонок со шляпами и платьями, хотя и черными, но зато новейших столичных фасонов. Они рассказали ей, что в замке все переменялось к лучшему, что леди Саутдаун уехала, а Питт занял в графстве положение, какое и подобает представителю фамилии Кроули. Затем прозвучал большой колокол, и вся семья собралась к обеду, во время которого Родон-младший был посажен рядом с теткой, доброй хозяйкой дома. Сэр Питт был необыкновенно внимателен к невестке, занявшей место по правую его руку. Маленький Родон обнаружил прекрасный аппетит и вел себя, как джентльмен.

— Мне нравится обедать здесь, — сказал он тетке, когда трапеза кончилась и сэр Питт произнес благодарственную молитву. Затем в столовую ввели юного сына и наследника и посадили на высокий стул рядом с баро-нетом, а его сестренка завладела местом рядом с матерью, где ей была приготовлена рюмочка вина.

— Мне нравится здесь обедать, — повторил Родон-младший, глядя в ласковое лицо тетки.

— Почему? — спросила добрая леди Джейн.

— Дома я обедаю на кухне, — отвечал Родон-младший, — или с Бригс.

Бекки была так поглощена разговором с баро-нетом, хозяином дома, — она льстила ему, и восторгалась им, и расточала комплименты по адресу юного Питта Бинки, которого называла самым красивым, умным, благородным созданием, удивительно похожим на отца, —

что не слышала замечаний собственного отпрыска за другим концом обширного и роскошно убранного стола.

Как гостю, Родону-второму было разрешено в день приезда остаться со взрослыми до того времени, когда убрали чай и перед сэром Питтом положили на стол большую с золотым обрезом книгу; все домочадцы вошли в комнату, сэр Питт прочитал молитвы. Бедный мальчуган в первый раз присутствовал на церемонии, о которой не имел никакого понятия.

Замок приметно изменился к лучшему за короткое правление баронета; Бекки осмотрела его вместе с гостеприимным хозяином и заявила, что все здесь великолепно, очаровательно, превосходно. А маленькому Родону, который ознакомился с домом под руководством детей, он показался волшебным дворцом, полным чудес. Здесь были длинные галереи и старинные парадные опочивальни, картины, старый фарфор и оружие. Мимо комнат, где умирал дедушка, дети проходили с испуганными лицами.

— Кто был дедушка? — спросил Родон; и они объяснили ему, что дедушка был очень старый, его возили в кресле на колесиках; в другой раз ему показали это кресло, которое гнило в сарае, куда его убрали после того, как старого джентльмена увезли вон к той церкви, шпиль которой блестел над вязами парка.

Братья занимались по утрам осмотром улучшений, внесенных в хозяйство гением сэра Питта и его бережливостью. Совершая прогулки пешком или верхом и осматривая эти новшества, они могли беседовать, не слишком надоедая друг другу. Питт старался объяснить Родону, как много денег стоили все эти преобразования и как часто бывает, что человек, обладающий земельной собственностью и имеющий капитал в государственных бумагах, нуждается в каких-нибудь двадцати фунтах.

— Вот новая сторожка у ворот парка, — говорил Питт, указывая на нее бамбуковой тростью, — мне так же трудно уплатить за нее до получения январских дивидендов, как полететь.

— Я могу ссудить тебя деньгами, Питт, до января,— ответил с нескрываемой грустью Родон.

Они зашли внутрь и осмотрели преображенную сторожку, на которой был высечен в камне новый фамильный герб и где у старой миссис Лок впервые за долгие годы была плотно закрывающаяся дверь, крепкая крыша и окна без разбитых стекол.



ГЛАВА XLV

Между Хемпширом и Лондоном

Сэр Питт Кроули не ограничился починкою заборов и восстановлением развалившихся сторожек в Королевском Кроули. Как истинный мудрец, он принялся за восстановление пошатнувшейся репутации своего дома и начал заделывать бреши и трещины, оставленные на его фамильном имени недостойным и расточительным предшественником. Вскоре после смерти отца он был выбран представителем в парламент от своего избирательного местечка, и теперь, в качестве мирового судьи, члена парламента, крупнейшего землевладельца и представителя древней фамилии, считал своей обязанностью бывать в местном обществе, щедро подписывался на все благотворительные начинания, усердно навещал окрестных помещиков — словом, делал всё, чтобы занять то положение в графстве, а затем и в королевстве, какое, по его мнению, подобало ему при его исключительных талантах. Леди Джейн получила предписание быть

любезной с Фадлстонами, Уопшотами и другими благородными баронетами, их соседями. Теперь их экипажи то и дело можно было видеть на главной аллее в Королевском Кроули. Они часто бывали в замке (где обеды были так хороши, что, очевидно, леди Джейн редко прилагала к ним руку), и в свою очередь Питт с женою усердно разъезжали по обедам, невзирая на погоду и на расстояние. Ибо хотя Питт не любил застольных веселостей, так как был человеком холодным, со слабым здоровьем и плохим аппетитом, однако он решил, что гостеприимство и общительность обязательны в его положении; и каждый раз, как у него трещала голова от затянувшихся послеобеденных возлияний, он чувствовал себя жертвой долга. Он беседовал об урожае, о хлебных законах, о политике с самыми видными помещиками графства. Он (раньше склонявшийся к прискорбному свободомыслию в этих вопросах) теперь с жаром выступал против браконьерства и поддерживал законы об охране дичи. Сам он не охотился, так как не был любителем спорта, а скорее кабинетным человеком с мирными привычками. Но он считал, что следует заботиться об улучшении породы лошадей в графстве и о разведении лисиц, а потому, если его другу сэру Хадлстону Фадлстону угодно погонять лисиц на его полях и собраться с друзьями, как в былые времена в Королевском Кроули, он со своей стороны будет рад видеть их у себя вместе с другими участниками охоты. К ужасу леди Саутдаун, он с каждым днем становился правовернее в своих взглядах: так, он перестал читать публичные проповеди и ходить на религиозные собрания, начал регулярно посещать церковь, навестил епископа и все винчестерское духовенство и не возражал, когда досточтимый архиепископ Траппер предложил ему составить партию в вист. Какие муки должна была испытывать леди Саутдаун и каким погибшим человеком она должна была считать своего зятя, допускавшего в самом доме безбожные развлечения! А когда семья вернулась как-то раз домой после оратории в Винчестерском соборе, баронет объявил молоденьким леди, что на будущий год он повезет их «на бал в дворянском собрании графства». Нечего и говорить, что они с восторгом благодарили сэра Питта за его доброту. Леди Джейн, как всегда, выразила полную покорность, но, вероятно,

и сама была рада повеселиться. Вдовствующая леди послала автору «Прачки Финчлейской общины» в Кептаун самое ужасное описание поведения своей дочери, впавшей в мирскую суетность, и, воспользовавшись тем, что как раз освободился ее дом в Брайтоне, отправилась во-свояси. Преданные дети не слишком оплакивали ее отъезд. Мы думаем, что и Ребекка во время второго своего посещения Королевского Кроули не особенно грустила об отсутствии этой леди с ее аптечкой, хотя она написала ей к рождеству поздравительное письмо, где почтительно напомнила о себе леди Саутдаун, с благодарностью отзывалась о беседах с ее милостью в первый приезд, распространялась о доброте ее милости к болящей страдальце и уверяла, что все в Королевском Кроули напоминает ей об отсутствующем друге.

Эти перемены в поведении сэра Питта, его новая общительность и поиски популярности в значительной мере объяснялись советами пронырливой маленькой леди с Керзон-стрит.

— *Вы останетесь лишь баронетом... вы согласитесь быть просто помещиком?* — говорила она ему, когда он гостил у нее в Лондоне. — Нет, сэр Питт Кроули, я вас лучше знаю. Я знаю ваши таланты и ваше честолюбие. Вы воображаете, что можете скрыть то и другое, но от меня вы ничего не скроете. Я показывала лорду Стайну вашу брошюру о солоде. Представьте, он знаком с нею и говорит, что, по мнению всего кабинета, это самая серьезная работа, когда-либо написанная по этому вопросу. Министерство следит за вами, и я знаю, что вам нужно. Вам нужно отличиться в парламенте, — все говорят, что вы один из лучших ораторов Англии (ваши речи в Оксфорде до сих пор не забыты). Вам нужно сделаться представителем от графства, — при помощи своего голоса и при поддержке своего избирательного местечка вы можете добиться чего угодно. Вам нужно стать бароном Кроули из Королевского Кроули, — вы и будете им во что бы то ни стало. Я вижу все, я читаю это в вашем сердце, сэр Питт! Если бы мой муж обладал вашим умом, как он обладает вашим именем, я иногда думаю, что не была бы недостойна его, но... но... теперь я ваша родственница, — добавила она со смехом. — Бедная, незаметная родственница, однако у меня есть и собственный

маленький интерес, и — кто знает! — может быть, и мышка пригодится льву.

Питт Кроули был поражен и восхищен ее словами.

«Как эта женщина понимает меня! — думал он. — Я никогда не мог заставить Джейн прочесть и трех страниц моей брошюры о солоде. Она понятия не имеет ни о моих административных способностях, ни о моем тайном честолюбии... Значит, они помнят мои оксфордские речи, вот как! Канальи! Теперь, когда я являюсь представителем своего местечка и могу быть представителем графства, они, наконец, вспомнили обо мне! А в прошлом году на высочайшем приеме лорд Стайн не соизволил меня заметить. Теперь они начинают понимать, что Питт Кроули что-то значит. Да, но это тот же самый человек, которым они пренебрегали; нужен был только случай, и уж я им покажу, что умею не только писать, но и говорить и действовать. Ахиллес до тех пор не проявлял себя, пока его не опоясали мечом. Сейчас меч у меня в руках, и мир еще услышит о Питте Кроули!»

Вот почему этот продувной дипломат сделался таким гостеприимным, таким внимательным к больницам и ораториям, таким любезным с епископами и канониками, так щедро угощал обедами и сам принимал приглашения, так необычайно ласково обращался с фермерами в базарные дни и так интересовался делами графства. И вот почему это рождество в замке было самым веселым за много-много последних лет.

В первый день рождества собралось полностью все семейство. Все Кроули из пастората прибыли на обед. Ребекка была так откровенна и ласкова с миссис Бьют, как будто та никогда и не была ее врагом; она участливо расспрашивала о дорогих девочках и удивлялась успехам, каких они достигли в музыке. Она даже настояла на том, чтобы они повторили один дуэт из увесистого тома романсов, который бедному Джиму, несмотря на все его сопротивление, пришлось тащить подмышкой из пастората. Все это заставило миссис Бьют соблюдать приличие в обращении с маленькой авантюристкой, но, оставшись одна с дочерьми, она дала волю своему языку, удивляясь тому нелепому уважению, с каким сэр Питт относится к своей невестке. Зато Джим, сидевший за обедом рядом с Бекки, объявил, что она «молодчина», и

вся семья пастора единодушно признала, что маленький Родон — прелестный ребенок. Они уже видели в этом мальчике возможного будущего баронета: между ним и титулом стоял только болезненный, бледный, тщедушный Питт Бинки.

Дети очень подружились; Питт Бинки был слишком маленьким щенком для того, чтобы играть с такой большой собакой, как Родон. Матильда была только девочка и не годилась, конечно, в товарищи юному джентльмену, которому было почти восемь лет и которому скоро предстояло носить жакетку и панталоны. Он сразу стал во главе маленькой компании: и мальчик и девочка беспрекословно ему повиновались, когда он снисходил до того, чтобы поиграть с ними. Он чувствовал себя в деревне необыкновенно счастливым и довольным. Ему ужасно нравился огород, цветники — меньше, зато птичий двор, голубятни и конюшни, когда ему позволяли туда ходить, приводили его в полное восхищение. Он уклонялся от объятий молоденьких мисс Кроули, но леди Джейн позволял себя целовать и любил сидеть рядом с нею, когда после поданного знака дамы удалялись в гостиную, оставив мужчин за кларетом, предпочитая ее соседство соседству матери. Ребекка, видя, что здесь в ходу нежности, как-то вечером подозвала к себе Родона, наклонилась и поцеловала его в присутствии всех дам.

Мальчик посмотрел ей в лицо, весь дрожа и сильно покраснев, как всегда с ним бывало, когда он волновался.

— Дома вы никогда не целуете меня, мама, — сказал он. Ответом на это было общее молчание и неловкость и далеко не ласковый огонек в глазах Бекки.

Родон-старший любил невестку за ее внимание к его сыну. Отношения же между леди Джейн и Бекки на этот раз были не вполне так же хороши, как в первый визит, когда жена полковника прилагала все усилия ей понравиться. Слова ребенка поселили между ними холодок, да и сэр Питт, может быть, был чересчур уж внимателен к невестке.

Как и подобало его возрасту и росту, Родон предпочитал мужское общество женскому; он никогда не отказывался сопровождать отца в конюшни, куда полковник уходил курить свои сигары. Джим, сын пастора, иногда присоединялся к своему кузену в тех или других развлече-

ниях. Он и лесничий баронета были большими друзьями: их сближала общая любовь к собакам. Однажды мистер Джеймс, полковник и лесничий Хорн отправились стрелять фазанов и взяли маленького Родона с собою. В другое, еще более блаженное утро все четверо приняли участие в травле крыс в амбаре. Родон ни разу еще не видел этой благородной забавы. Они заткнули выходы нескольких дренажных труб, пустив туда с другого конца хорьков, и сами молча стали поодаль, вооружившись палками, а маленький насторожившийся терьер (Форсепс, знаменитая собака мистера Джеймса), задыхаясь от возбуждения, замер на трех лапах, прислушиваясь к слабому писку крыс. Наконец преследуемые животные осмелились в отчаянии выскочить наружу. Терьер прикончил одну крысу, лесничий — другую. Родон от волнения и возбуждения промахнулся, но зато чуть не убил хорька.

Но самым замечательным был тот день, когда охотничьи собаки сэра Хадлстона Фадлстона собрались на лужайке в Королевском Кроули.

Для маленького Родона это было необычайное зрелище. В половине одиннадцатого на аллее показался Том Муди, егерь сэра Хадлстона Фадлстона; вот он едет рысью в сопровождении породистых гончих, держащихся собранной сворой. За ним два псаря в алых кафтанах, веселые рослые парни на поджарых чистокровных лошадях. Они с необыкновенной ловкостью концами своих длинных, тяжелых бичей стегают по самым чувствительным местам тех собак, которые осмеливаются отделиться от своры или хотя бы повести мордой на выскочившего из-под самого их носа и порскнувшего в сторону зайца или кролика.

Затем подъезжает Джек, сын Тома Муди; он весит семьдесят фунтов, рост его — сорок восемь дюймов и никогда не станет больше. Он на мощном поджаром коне, наполовину закрытом объемистым седлом. Это любимая лошадь сэра Хадлстона Фадлстона — Ноб. То и дело появляются новые лошади; на них сидят маленькие грумы, в ожидании своих хозяев, которых ждут с минуты на минуту.

Том Муди подъезжает к двери замка; его приветствует дворецкий и предлагает ему выпить, но Том отказывается. Он удаляется со своей сворой на защи-

щенный уголок лужайки, где собаки начинают кататься по траве, возиться и сердито ворчать друг на друга. Иногда они поднимают отчаянную грызню, но быстро утихают под окриком Тома, непревзойденного мастера ругаться, или под жалящим концом его бича.

Прискакали юные джентльмены на породистых лошадях, забрызганных до колен грязью, они заходят в дом выпить вишневки и засвидетельствовать свое почтение дамам, а кто поскромнее и думает больше об охоте, снимает с себя покрытые грязью сапоги, пересеживается на охотничью лошадь и разогревает кровь предварительным галопом вокруг лужайки. Затем они собираются около собачьей своры и беседуют с Томом Муди о прошлой охоте, о достоинствах Плаксы и Алмаза, о состоянии полей и о том, что с выводками лисиц год от году все хуже.

Но вот появляется сэр Хадлстон верхом на красивом жеребце; он подъезжает прямо к замку, входит, учтиво приветствует дам, но, как человек, не тратающий лишних слов, сейчас же приступает к делу. Собак подводят к самому подъезду, и маленький Родон спускается к ним, возбужденный и слегка напуганный бурными проявлениями их восторга: они похлопывают его хвостами и повизгивают, оскалив зубы, и поднимают такой разногласный лай, что Тому Муди криками и с помощью бича едва удается их успокоить.

Между тем сэр Хадлстон тяжело садится на Ноба.

— Попробуйте начать с Саустеровской рощи, Том, — предлагает баронет. — Фермер Менгл говорил мне, что там видели двух лисиц.

Том трубит в рог и отъезжает рысью, сопровождаемый сворой, псарями, юными джентльменами из Винчестера, окрестными фермерами и созванными со всего прихода пешими работниками, для которых этот день — большой праздник. Сэр Хадлстон с полковником Кроули составляют арьергард, и скоро весь кортеж исчезает в конце аллеи.

Преподобный Бют Кроули не рискнул появиться на сборном пункте под самыми окнами племянника (Том Муди помнит его сорок лет назад стройным студентом богословия, скакавшим на самых диких лошадях, перепрыгивавшим широчайшие рвы и бравшим самые новые

плетни в окрестных полях), — итак, повторяю, его преподобие как бы случайно появляется из переулка, ведущего в пасторат, как раз в ту минуту, когда сэр Хадлстон проезжает мимо. Тронув рослого вороного коня, он присоединяется к почтенному баронету. Охотники и собаки исчезают, а маленький Родон еще долго остается на ступеньках подъезда, пораженный и счастливый.

Во время этих памятных святок маленький Родон если и не снискал особенной привязанности сурового и холодного дяди, вечно запиравшегося в своем кабинете и погруженного в судебные дела или в разговоры с арендаторами и бейлифами, — зато завоевал симпатии теток, как замужней, так и незамужних, обоих детей в замке и Джима из пастората, которого сэр Питт прочил в женихи одной из молоденьких леди, давая ему понять, что он может рассчитывать на получение прихода после смерти своего папаши-спортсмена. Сам Джим воздерживался от охоты на лисиц, предпочитая стрелять уток и бекасов да баловаться безобидной травлей крыс. В этих мирных занятиях он и проводил теперь рождественские каникулы, после которых ему предстояло вернуться в университет и постараться с грехом пополам сдать последние экзамены. Он уже отказался от зеленых фраков, красных галстуков и других светских украшений, готовясь к новому жизненному поприщу.

Таким дешевым и экономным способом сэр Питт старался заплатить долг своим семейным.

Еще до окончания этих веселых рождественских праздников баронет, кое-как собравшись с духом, дал брату новый чек на своих банкиров, не более не менее как на сто фунтов стерлингов! И если это решение сперва стоило сэру Питту адских мук, то с тем большим удовольствием он вспоминал потом о собственном великодушии. Родону и его сыну грустно было уезжать из замка, но Бекки и дамы, напротив, расстались с величайшей готовностью, и наша приятельница вернулась в Лондон, чтобы снова приняться за дела, за которыми мы ее застали в начале предыдущей главы. Благодаря ее заботам дом Кроули на Грейт-Гонт-стрит совершенно возродился и был готов к приему сэра Питта и его семьи, когда баронет прибыл

в Лондон, чтобы исполнять свои обязанности в парламенте и добиться того положения в графстве, которое соответствовало бы его обширным талантам.

В первую сессию этот великий притворщик тайл про себя свои планы и ни разу не открыл рта, за исключением того случая, когда подавал петицию от Мадбери. Но он усердно являлся на свое место и внимательно присматривался к парламентским делам и порядкам. Дома он занимался изучением «Синих книг» *, к беспокойству и недоумению леди Джейн, которая боялась, что он убивает себя сидением по ночам и таким чрезмерным усердием. Он завязал знакомство с министрами и лидерами своей партии, решив в ближайшие же годы завоевать место в их рядах.

Нежность и доброта леди Джейн внушали Ребекке такое презрение, что этой маленькой женщине стоило немалого труда скрывать его. Простодушие и наивность, которые отличали леди Джейн, всегда выводили из себя нашу приятельницу Бекки, и временами она не могла даже удержаться от презрительного тона в разговоре с невесткой. С другой стороны, и леди Джейн раздражало присутствие Бекки в доме. Муж постоянно беседовал с гостьей; казалось, они обмениваются какими-то знаками, понятными им одним, и Питт говорил с нею о таких вопросах, которые ему и в голову не пришло бы обсуждать с женой. Леди Джейн, быть может, и не поняла бы их, но все равно ей было обидно сидеть, сознавая, что ей нечего сказать, и слушать, как эта маленькая миссис Родон болтает обо всем на свете, находит слово для каждого мужчины и ни у кого не остается в долгу, — в молчании сидеть в собственном доме у камина совсем одной, в то время как все мужчины толпились вокруг ее соперницы.

В деревне леди Джейн часто рассказывала сказки детям, собиравшимся у ее колен (с ними всегда был и маленький Родон, очень привязанный к тетке), но когда в комнату входила Бекки и ее недобрые зеленые глаза загорались насмешкой, бедная леди Джейн сейчас же замолкала под этим презрительным взглядом. Простые, несложные фантазии испуганно разлетались, как феи в волшебных сказках перед могучим злым духом. Она не могла бороться с мыслями и рассказывать дальше, хотя Ребекка с неуловимым сарказмом в голосе просила ее про-

должать эту очаровательную сказку. Добрые мысли и тихие удовольствия были противны миссис Бекки: они раздражали ее; она ненавидела людей, которым это нравилось; она не выносила детей и тех, кто любит их.

— Я не люблю ничего пресного, — заявила она лорду Стайну, передразнивая леди Джейн и ее манеры.

— Как некая особа не любит ладана, — отвечал его милость с поклоном и, сделав гримасу, хрипло захохотал.

Итак, обе леди не слишком часто видались друг с другом, за исключением тех случаев, когда жене младшего брата нужно было что-нибудь от невестки, — тогда она ее навещала. Они называли друг друга «милочка» и «душечка», хотя заметно сторонились одна другой. Между тем сэр Питт, несмотря на свои многочисленные занятия, ежедневно находил время заехать к невестке.

В день, когда он впервые присутствовал на обеде в честь спикера, сэр Питт воспользовался случаем показаться невестке во всем параде — в старом мундире дипломата, который он носил, когда был атташе при пумперникельском посольстве.

Бекки наговорила ему кучу комплиментов по поводу его костюма и почти так же восхищалась им, как его жена и дети, когда он зашел к ним перед отъездом из дому. Бекки сказала, что только чистокровный дворянин может решиться надеть этот придворный костюм. Только люди древнего рода умеют носить *culotte courte*¹. Питт с удовлетворением посмотрел на свои ноги, которые, по правде сказать, не отличались большей правильностью линий и форм, чем хлипкая придворная шпага, болтавшаяся у него на боку, — итак, Питт посмотрел на свои ноги и решил в глубине души, что он неотразим.

Как только он ушел, Бекки нарисовала на него карикатуру и показала лорду Стайну, когда тот приехал. Его милость, восхищенный точно переданным сходством, взял набросок с собой. Он сделал сэру Питту Кроули честь встретиться с ним в доме миссис Бекки и был очень любезен с новым баронетом и членом парламента. Питт был поражен той почтительностью, с какой знатный пэр обращался с его невесткой, легкостью и блеском ее разговора и восхищением, с каким все мужчины слушали ее.

¹ Короткие панталоны (франц.).

Лорд Стайн высказал уверенность, что баронет только начинает свою общественную карьеру, и жаждал послушать его как оратора. Так как они были близкие соседи (ибо Грейт-Гонт-стрит выходит на Гонт-сквер, где Гонт-хаус, как всем известно, занимает целый квартал), милорд выразил надежду, что, как только леди Стайн приедет в Лондон, она будет иметь честь познакомиться с леди Кроули. Через день или через два лорд Стайн завез визитную карточку своему соседу, хотя его предшественнику он никогда не оказывал такого внимания, несмотря на то, что они целый век жили рядом.

Среди этих интриг, аристократических собраний и блестящих персонажей Родон с каждым днем чувствовал себя все более одиноким. Ему не возбранялось целые дни просиживать в клубе, обедать с холостыми приятелями, приходить и уходить когда вздумается. Он и Родон-младший не раз отправлялись на Гонт-стрит и проводили время с миледи и детьми, между тем как сэр Питт навещал Ребекку по пути в парламент или возвращаясь оттуда.

Отставной полковник молча просиживал целые часы в доме брата, почти ничего не делая и ни о чем не думая. Он был рад, если ему давали какое-нибудь поручение: сходить узнать что-нибудь про лошадь или про прислугу или разрезать жареную баранину за детским столом. Выбитый из седла и усмирленный, он стал лентяем и совершенным тюфяком. Далила лишила его свободы и обрезала ему волосы. Смелый и беспечный гуляка, каким он был десять лет тому назад, теперь стал ручным и превратился в вялого, послушного толстого пожилого джентльмена.

Бедная леди Джейн чувствовала, что Ребекка пленила ее супруга; но все же она и миссис Родон при встрече продолжали называть друг друга «душечкой» и «милочкой».



ГЛАВА XLVI

Невзгоды и испытания

Между тем наши друзья в Бромптоне встречали рождество по-своему и не слишком весело.

Из ста фунтов, составлявших весь ее годовой доход, вдова Осборна обычно отдавала около трех четвертей отцу с матерью в уплату за содержание свое и Джорджи. С прибавлением ста двадцати фунтов, которые присылал Джоз, вся семья, состоявшая из четырех человек, при единственной девушке-ирландке, обслуживавшей также и Клепа с женою, могла жить скромно, но прилично, не падая духом после перенесенных недавно невзгод и разочарований, и даже приглашать изредка к чаю кого-либо из друзей. Седли все еще сохранял свой авторитет в семье мистера Клепа, своего бывшего подчиненного. Клеп помнил те годы, когда, сидя на кончике стула за богатым столом коммерсанта на Рассел-сквере, он выпивал стаканчик за здоровье миссис Седли, мисс Эмми и мистера Джозефа в Индии. Время усилило великолепие этих воспоминаний, и каждый раз, когда почтенный конторщик приходил из своей кухни-приемной наверх в гостиную и пил с мистером Седли чай или прог, он говорил:

— Это не то, к чему вы когда-то привыкли, сэр, — и так же серьезно и почтительно пил за здоровье обеих леди, как в дни их наибольшего процветания. Он находил, что мисс Эмилия играет божественно и считал ее самой изящной леди. Он никогда не садился при Седли даже в клубе и не позволял никому из членов общества непочтительно отзываться об этом джентльмене. Когда-то он видел, какие важные люди в Лондоне пожимали руку мистеру Седли.

— Я знал его в те времена, — говорил он, — когда его можно было встретить на бирже вместе с Ротшильдом, и лично я всем ему обязан.

Клеп со своей прекрасной репутацией и хорошим почерком вскоре же после разорения хозяина нашел себе другое место. Один из бывших компаньонов Седли был очень рад воспользоваться услугами мистера Клепа и положил ему приличное жалованье.

— Такая мелкая рыбешка, как я, может плавать и в лоханке, — говорил старый конторщик. И если Седли по-немногу растерял всех богатых друзей, то этот бывший его подчиненный остался попрежнему верен и предан ему.

Эмилия со всей энергией и бережливостью, на какую она была способна, старалась из той небольшой доли своего дохода, которую она удерживала лично для себя, одевать своего дорогого мальчика так, как подобало сыну Джорджа Осборна, и оплачивать издержки на школу, куда, после долгих опасений и колебаний, после тайных страхов и мучительных сомнений, решила отдать сына. Она просиживала ночи за уроками, путаясь в дебрях грамматики и географии, чтобы учить потом Джорджи. Она даже принялась за латынь и прошла все склонения и спряжения, мечтая быть ему полезной в преодолении всех этих премудростей. Расставаться с ним на целый день, отдавать его на произвол учительской трости и грубости школьных товарищей — для этой слабой, трепещущей и чувствительной матери было почти то же, что снова отнимать его от груди. А между тем Джорджи с величайшей радостью убегал в школу. Он жаждал перемены. Эта детская радость ранила сердце матери, которая так страдала от разлуки. Пожалуй, ей хотелось бы, чтобы он был больше огорчен; но она сейчас же начинала глубоко

раскаиваться в своем эгоизме, в том, что желала огорчения своему милому сыночку.

Джорджи делал большие успехи в школе, которой заведовал приятель неизменного поклонника его матери — преподобного мистера Бинни. Он приносил домой бесчисленные награды и похвальные отзывы о своих способностях. Каждый вечер он рассказывал матери бесконечные истории про своих школьных товарищей. Какой молодец Лайонс и какой трус Снифин; отец Стила в самом деле поставляет в училище мясо, а мать Голдинга каждую субботу приезжает за ним в карете; у Нита панталоны со штрипками, нельзя ли и ему пришить штрипки? Бул-старший так силен (по крайней мере по Евтропию *), что мог бы забить самого мистера Уорда, помощника учителя. Так Эмилия перезнакомилась со всеми мальчиками в школе и знала их не хуже самого Джорджи. По вечерам она помогала ему делать письменные упражнения и так усердствовала над его уроками, как будто сама должна была утром отвечать учителю. Однажды, после драки с мистером Смитом, Джордж вернулся к матери с синяком под глазом и ужасно хвастался перед нею и перед восхищенным старым дедушкой своими заслугами на поле брани, на котором он показал себя, говоря по правде, далеко не героем и потерпел решительное поражение. Эмилия до сих пор не может простить этого Смиту, хоть он теперь служит мирным аптекарем близ Лестерсквера.

В таких тихих занятиях и безобидных хлопотах проходила жизнь кроткой вдовы; годы отметили свое течение двумя-тремя серебряными нитями в ее волосах да провели чуть заметную морщинку на ее чистом лбу. Но она с улыбкой смотрела на эти отпечатки времени. «Какое значение это имеет для такой старухи, как я?» — говорила она. Все ее надежды были сосредоточены на сыне, который должен стать взрослым, знаменитым, прославленным человеком, как он того заслуживает. Она хранила его тетради, его рисунки и сочинения и показывала их в своем маленьком кругу, словно они были чудом гениальности. Некоторые из них она доверила мисс Доббин, чтобы показать их мисс Осборн, тетке Джорджа, и даже самому мистеру Осборну: может быть, старик раскиснет в своем жестокосердии и недоброжелательстве по отношению к

тому, кого уже нет на свете. Все ошибки и недостатки своего мужа она похоронила вместе с ним. Она помнила только возлюбленного, который женился на ней, пожертвовав всем, благородного, прекрасного и храброго супруга, который обнимал ее в то утро, когда уходил сражаться и умирать за своего короля. И она верила, что герой улыбается, глядя с небес на это чудо в образе мальчика, оставленного ей на радость и утешение.

Мы видели, что один из дедушек Джорджа (мистер Осборн), восседая в своих удобных креслах на Рассел-сквере, день ото дня становился все несдержаннее и раздражительнее, а дочь его, несмотря на свой прекрасный экипаж и прекрасных лошадей, несмотря на то, что ее имя значилось в половине списков благотворительных обществ столицы, была несчастной, одинокой, угнетенной старой девой. Снова и снова возвращалась она мыслью к прелестному мальчику, сыну своего брата. Ей страшно хотелось подъехать в своем прекрасном экипаже к дому, где он жил, и каждый день, одиноко катаясь по Парку, она смотрела по сторонам в надежде встретить его. Ее сестра, супруга банкира, иногда устаивала навестить свой старый дом на Рассел-сквере и свою подругу детства. Она привозила с собой двух хилых детей в сопровождении чопорной няньки и жеманным голосом, хихикая, тараторила о светских знайомах, о том, что ее маленький Фредерик — портрет лорда Клода Лопипопа, а ее милую Марию заметила сама баронесса, когда они катались в Рокемптоне в колясочке, запряженной осликом. Она просила сестру уговорить папá сделать что-нибудь для ее дорогих малюток. Ей хотелось, чтобы Фредерик пошел в гвардию: и если ему придется быть старшим в роде (мистер Буллок положительно во всем себе отказывает, из кожи лезет, чтобы купить поместье), то чем же будет обеспечена ее дорогая девочка?

— Я надеюсь на *тебя*, милочка, — говорила миссис Буллок, — потому что моя доля папиного наследства перейдет, как ты понимаешь, к главе семьи. Милейшая Рода Мак-Мул вызовет в наследство Каслтоди, как только умрет бедный милый лорд Каслтоди, у которого настоящие припадки эпилепсии, и маленький Мекдаф Мак-Мул будет виконтом Каслтоди. Оба мистера Бледайера с Минсиг-лейн закрепили свои состояния за маленьким сыном

Фанни Бледайер. Ты понимаешь, как это важно, чтобы и мой крошка Фредерик был старшим в роде... и... и... попроси папá перенести свой текущий счет к нам на Ломбард-стрит. Хорошо, дорогая? Неловко, что у него счет у Стампи и Роди.

После такой беседы, где светская болтовня смешивалась с грубой корыстью, и после поцелуя, похожего на прикосновение устрицы, миссис Фредерик Буллок забирала своих накрахмаленных птенцов и, все так же тара-торя и хихикая, усаживалась в карету.

Каждый визит, который эта представительница хорошего тона наносила своим родным, только портил дело: отец увеличивал свои вложения у Стампи и Роди. Ее покровительственная манера становилась все более невыносимой. Бедная вдова в маленьком коттедже в Бромптоне, охраняя свое сокровище, не подозревала, что кто-то зарится на него.

В тот вечер, когда Джейн Осборн сказала отцу, что видела его внука, старик ничего не ответил, но он не рассердился и, уходя к себе, довольно ласково пожелал ей доброй ночи. Вероятно, он размышлял о том, что она сказала, а может быть и навел некоторые справки у Доббинов об ее визите, ибо недели через две после этого он спросил, где ее французские часики с цепочкой, с которыми она обычно не расставалась.

— Я купила их на собственные деньги, сэр, — испуганно ответила мисс Джейн.

— Закажи себе другие такие же или еще лучше, если найдутся, — сказал старый джентльмен и погрузился в молчание.

За последнее время обе мисс Доббин несколько раз упрашивали Эмилию отпустить к ним Джорджа: он очень понравился тетке; может быть, и дедушка, намекали они, тоже решит, наконец, сменить гнев на милость, — Эмилия, конечно, не захочет мешать счастьем сына.

Нет, этого Эмилия не хотела, но она с тяжелым сердцем и большой опаской принимала их приглашения, положительно места себе не находила в отсутствие ребенка и встречала его, когда он возвращался, с таким чувством, словно он избавился от какой-то опасности. Он привозил домой деньги и игрушки, на которые вдова смотрела

с беспокойством и ревностью. Она всегда спрашивала, не видал ли он там незнакомого старого джентльмена. Только старого сэра Вильяма, который катал его в фэтоне, отвечал мальчик, да еще мистера Доббина, он приехал на своей прекрасной гнедой после полудня, в зеленом фраке с розовым галстуком и с хлыстиком с золотым набалдашником; мистер Доббин обещал показать ему лондонский Тауэр * и взять на охоту с сэррейскими гончими.

Но однажды, возвратившись, он сказал:

— Был старый джентльмен с густыми бровями, в широкополой шляпе и с толстой цепочкой с перчатками. (Мистер Осборн приехал как раз в то время, когда кучер катал Джорджа на сером пони вокруг лужайки.) Он очень долго смотрел на меня и весь дрожал. После обеда меня заставили прочитать: «Зовут меня Норвал» *. Тетя заплакала, она всегда плачет. — Таков был отчет Джорджа в этот вечер.

Эмилия поняла, что мальчик видел деда, и с стесненным сердцем стала ожидать предложений с его стороны, уверенная в том, что они должны последовать. И действительно, через несколько дней ее предчувствия сбылись. Мистер Осборн совершенно официально предлагал взять мальчика к себе и сделать его наследником всего состояния, которое раньше предназначалось его отцу. Он обязывался пожизненно выплачивать миссис Джордж Осборн сумму, достаточную, чтобы обеспечить ей приличное существование. Если миссис Джордж Осборн предполагает вторично выйти замуж, — мистер Осборн слышал, что таково было ее намерение, — выплата ей обеспечения не будет прекращена. Но он ставил непременно условием, чтобы ребенок поселился с ним на Расселсквере или в каком-либо другом месте по его выбору. Мальчику будет позволено время от времени навещать миссис Джордж Осборн в месте ее жительства. Письмо с этим сообщением было ей доставлено, когда матери не было дома, а отец, по обыкновению, ушел в Сити.

Эмилия очень редко сердила, быть может два-три раза за свою жизнь, — и вот поверенному мистера Осборна посчастливилось увидеть ее во время одного из таких приступов гнева. Она поднялась, сильно покраснев и вся дрожа, лишь только мистер По прочел письмо и

протянул его ей; она разорвала письмо на мелкие кусочки и растоптала их.

— Чтобы я вторично вышла замуж? Чтобы я взяла деньги за разлуку с сыном? Какое ужасное оскорбление! Скажите мистеру Осборну, что это — подлое письмо, сэр... подлое письмо! Я не отвечу на него. До свиданья, сэр! — И она отпустила меня кивком головы, словно королева в какой-нибудь трагедии, — рассказывал потом поверенный.

Родители даже не заметили ее волнения в тот день, и она не стала передавать им свой разговор с поверенным. У них были свои дела, немало их заботившие, дела, которые самым непосредственным образом касались интересов этой невинной и ничего не подозревавшей леди. Старый джентльмен, ее отец, всегда был занят какими-нибудь спекуляциями. Мы видели, как он прогорел на торговле вином и углем. Но, шныряя усердно и неутомимо по Сити, он опять набрел на какую-то аферу и так увлекся ею, несмотря на предостережения мистера Клепа, что потом и не смел признаться, как далеко он зашел в этом предприятии. А так как у мистера Седли было правило не говорить о денежных делах с женой и дочерью, то они и не подозревали, какое бедствие грозит им, пока злополучный старый джентльмен не вынужден был постепенно во всем признаться.

Прежде всего это сказалось на мелких хозяйственных счетах, которые уплачивались каждую неделю. «Перевод из Индии еще не пришел», — с расстроенным лицом говорил мистер Седли жене. И так как она всегда аккуратно платила по счетам, то один или два торговца, к которым бедная леди должна была обратиться с просьбой об отсрочке, приняли это с большим неудовольствием, хотя были приучены к таким просьбам другими, менее аккуратными покупателями. Взнос, который Эмми делала вперед, всегда с веселым лицом и без всяких вопросов, дал возможность семье продержаться на половинном пайке. И первые шесть месяцев прошли сравнительно легко, — старый Седли все еще верил, что его акции должны подняться и что все устроится.

Однако в конце полугодия необходимых шестидесяти фунтов, чтобы пополнить нехватки в хозяйстве, так и не нашлось, и оно все больше приходило в упадок. Миссис

Седли, сильно состарившаяся и потерявшая бодрость духа, молчала или уходила на кухню к миссис Клеп — поплакать. Мясник смотрел в сторону, бакалейщик дерзил. Раза два маленький Джордж ворчал по поводу обеда, и Эмилия, которая сама удовольствовалась бы ломтиком хлеба, не могла не заметить, что о сыне ее мало заботятся, и прикупала кое-что на свои личные небольшие средства, только бы мальчик был здоров.

Наконец родители сказали ей все, или, вернее, рассказали нечто маловразумительное и путаное, как вообще рассказывают о себе люди, попавшие в затруднительное положение. Когда пришли ее собственные деньги, Эмилия, собираясь заплатить родителям, хотела удержать некоторую часть, так как заказала новый костюм для Джорджи.

Тут выяснилось, что Джоз им больше не помогает и что на хозяйство не хватает денег, — как Эмилия и сама должна была бы видеть, говорила мать, но ведь она ни о чем и ни о ком не думает, кроме Джорджи. Тогда Эмилия молча протянула через стол все свои деньги и ушла к себе в комнату, чтобы там выплакаться. Но особенно грустно было отказываться от костюмчика, который она с такой радостью готовила для рождественского подарка сыну и покрой и фасон которого долго обсуждала с скромной портнихой, своей приятельницей.

Труднее же всего ей было сказать об этом Джорджи, который заявил шумный протест. У всех будут новые костюмы к рождеству. Мальчики будут смеяться над ним. Ему нужен новый костюм. Ведь она обещала. У бедной вдовы нашлись в ответ ему только поцелуи. Со слезами она стала чинить его старый костюм. Потом порылась среди своих немногочисленных нарядов — нельзя ли что-нибудь продать, чтобы приобрести желанную обновку, и наткнулась на индийскую шаль, которую прислал ей Доббин. Она вспомнила, как в былые дни ходила с матерью в прекрасную лавку с индийскими товарами на Ладгет-хилле, где такие вещи можно было не только купить, но и продать и сдать на комиссию. Щеки ее разрумянились и глаза загорелись при этой мысли, и, весело улыбаясь, она расцеловала Джорджа перед его уходом в школу. Мальчик понял, что его ждет что-то очень хорошее.

Завязав шаль в платок (тоже подарок доброго

майора), она спрятала сверток под накидкой и прошла пешком, покрасневшись и горя нетерпением, всю дорогу до Ладгет-хилла; она так быстро шла вдоль ограды парка и так проворно перебегала через площади, что мужчины оборачивались, когда она спешила мимо, и заглядывались на ее хорошенькое разгоряченное личико. Эмилия высчитывала, как ей истратить деньги, которые она выручила от продажи шали: кроме костюмчика, она может купить книги, о которых Джорджи мечтал, и заплатить за учебу в школе за полгода. Хватит и на то, чтобы подарить отцу новый плащ вместо его единственной старой шинели. Она не ошиблась в ценности подарка майора: шаль была прекрасная и очень тонкая, и купец сделал весьма выгодную покупку, заплатив ей двадцать гиней.

Эмилия побежала, восхищенная и взволнованная своим богатством, в магазин Дартона, у собора св. Павла, и купила там сборничек «Помощник отцу»* и «Историю Сендфорда и Мертон»*, о которых мечтал Джорджи, затем села в омнибус со своим пакетом и приехала, возбужденная, домой. Там она, присев за стол, с особым удовольствием вывела на первом листке каждого тома своим изящным мелким почерком: «Джорджу Осборну рождественский подарок от любящей матери». Томики эти с красивой аккуратной надписью сохранились до сих пор.

Она только что вышла из своей комнаты с книжками в руках, чтобы положить их на стол, где сын должен был их найти по приходе из школы, как в коридоре встретила с матерью. Семь маленьких томиков в тисненых золотом переплетах бросились в глаза старой леди.

— Это что? — спросила она.

— Книги для Джорджи, — отвечала Эмилия краснея. — Я... я... обещала подарить ему на рождество.

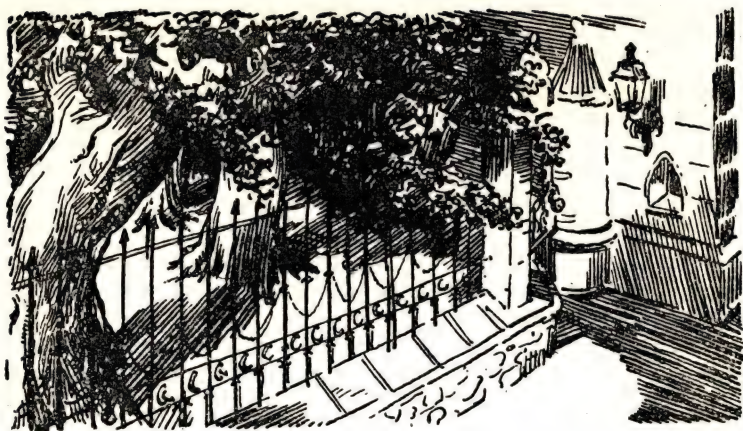
— Книжки! — воскликнула старая леди с негодованием. — Книжки, когда вся семья сидит без хлеба! Книжки! Когда, для того чтобы содержать тебя и твоего сына в довольстве и спасти от тюрьмы твоего дорогого отца, я продала все до одной безделушки и индийскую шаль со своих плеч! Все, и даже ложки, лишь бы поставщики не могли оскорблять нас, и мистер Клеп, который имеет на это право, получил свою плату; потому что он не какой-нибудь сквалыга-хозяин, а добрейший человек и отец семейства. Эмилия, тырываешь мне сердце

своими книжками и своим сыном, которого губишь, потому что не хочешь с ним расстаться! О Эмилия, я молю бога, чтобы он послал тебе более почтительного ребенка, чем мои дети. Джоз бросает отца на старости лет, а тут еще Джордж, который мог бы быть богатым и обеспеченным, ходит в школу, как лорд, с золотыми часами и цепочкой, тогда как у моего милого, дорогого старого мужа нет и... и... шиллинга!

Истерические всхлипывания и крики прервали речь миссис Седли; они, как эхо, разнеслись по всем комнатам маленького дома, обитатели которого слышали каждое слово этого разговора.

— О маменька! маменька! — воскликнула бедная Эмилия, обливаясь слезами. — Вы мне ничего не говорили. Я... я обещала ему книги. Я... я только сегодня утром продала свою шаль. Возьмите деньги... возьмите все! — И дрожащими пальцами она вынула серебро и соверены — свои драгоценные золотые соверены! — она совала их в руки матери, где они не поместились, а рассыпались и покатались вниз по лестнице.

Затем она убежала к себе в комнату и опустилась на кровать в величайшем горе и отчаянии. Теперь она поняла. Она приносила мальчика в жертву своему эгоизму. Если бы не она, ее сыну досталось бы богатство, положение, образование; он мог бы занять место своего отца — то место, которого старший Джордж лишился из-за нее. Стоит ей сказать слово, и ее старый отец получит средства к жизни, а мальчик — целое состояние. Каково нежному раненому сердцу это сознавать!



ГЛАВА XLVII

Гонт-хаус

Кто не знает, что городской дворец лорда Стайна помещается на Гонт-сквере, от которого идет Грейт-Гонт-стрит — та самая улица, куда мы в свое время, еще при жизни покойного сэра Питта Кроули, отвезли Ребекку. Загляните сквозь решетку, и за темными деревьями, в глубине сада, вы увидите нескольких жалких гувернанток, прогуливающихся с бледными питомцами по дорожкам вокруг унылого газона, в центре коего возвышается статуя лорда Гонта, сражавшегося при Миндене, — он в парике с тремя косичками, но в одежде римского императора. Гонт-хаус занимает почти целиком одну сторону сквера. Остальные состоят из особняков, знававших когда-то лучшие дни, — это высокие темные дома с каменными оконницами, окрашенными в более светлые тона. За этими узкими неудобными окнами царят, вероятно, потемки. Гостеприимство отошло от этих дверей, как отошли времена расшитых галуном лакеев и мальчишек-проводников, которые гасили свои факелы в начищенных до блеска железных гасильниках, до сих пор сохранившихся возле фонарей у подъезда. Ныне в сквер

проникли медные дверные дощечки: «Доктор», «Западное отделение Мидлсекского банка», «Англо-Европейское общество» и т. д. Все это являет мрачное зрелище — да и дворец милорда Стайна не менее мрачен. Я видел его только снаружи — высокую ограду, тянущуюся на целый квартал, с грубыми колоннами у массивных ворот, в которые иногда выглядывает старый привратник с толстой и угрюмой красной физиономией, а над оградой — чердак и окна спален да трубы, из которых ныне редко вьется дым, ибо теперешний лорд Стайн живет в Неаполе, предпочитая вид залива, Капри и Везувия мрачному зрелищу ограды на Гонт-сквере.

В нескольких десятках ярдов дальше по Нью-Гонт-стрит, там, куда выходят службы Гонт-хауса, прячется маленькая скромная боковая дверь; вы едва отличите ее от дверей конюшни, но немало изящных закрытых экипажей останавливалось в былые времена у этого порога, как сообщил мне мой осведомитель, маленький Том Ивз, который все решительно знает и который показывал мне эти места.

В эту дверь не раз входили и выходили принц и Пердита *, докладывал он мне. Здесь бывала с герцогом Марианна Кларк *. Эта дверь ведет в знаменитые *petits appartements* ¹ лорда Стайна; одна комната там вся отделана слоновой костью и белым атласом, другая — черным деревом и черным бархатом: там есть маленькая банкетная зала, скопированная с дома Салюстия в Помпее и расписанная Козуэем *, и игрушечная кухонька, где все кастрюли из серебра, а вертелы из золота. Здесь Эгалите, герцог Орлеанский *, жарил куропаток в ту ночь, когда они с маркизом Стайном выиграли сто тысяч фунтов в ломбер у некоей высокопоставленной особы. Часть этих денег пошла на французскую революцию, часть — на покупку лорду Гонту титула маркиза и ордена Подвязки, а остальное... но в наши планы не входит сообщать о том, на что пошло остальное, хотя Том Ивз, который знает все чужие дела, мог бы дать нам отчет в каждом шиллинге.

Кроме этого дворца в столице, маркиз владел в различных частях трех королевств многими замками и двор-

¹ Интимные апартаменты (франц.).

нами, описание которых можно найти в путеводителях: замок Стронгбоу с лесами на берегу Шеннона; Гонт-касл в Кармартеншире, где был взят в плен Ричард II; Гонтлихолл в Йоркшире, где хранились, как мне рассказывали, двести серебряных чайников для гостей, с соответствующей великолепной сервировкой, не говоря уж о Стилбруке в Хемпшире — ферме милорда, этой сравнительно скромной резиденции, где стояла памятная нам всем мебель, — она продавалась с аукциона после смерти милорда знаменитым, ныне тоже умершим, аукционером.

Маркиза Стайн происходила из древнего и прославленного рода Керлайон, маркизов Камелот, которые сохраняли свою старую веру еще со времен обращения в христианство досточтимого друида, их предка, и род которых был известен в Англии задолго до прибытия на наши острова короля Брута *. Титул старших сыновей в этом доме — Пендрагон. Сыновья с незапамятных времен носили имена Артуров, Утеров, Карадоков. Многие из них сложили головы в верноподданнических заговорах. Елизавета предала казни современного ей Артура, который был камергером Филиппа и Марии * и отвозил письма шотландской королевы * ее дядьям Гизам *. Его младший сын был офицером великого герцога *, одним из деятельных участников знаменитой Варфоломеевской ночи. Во время заключения королевы Марии фамилия Камелотов непрерывно устраивала заговоры в ее пользу. Она понесла большие имущественные потери как снаряжая войска против испанцев во времена Армады *, так и подвергаясь денежным штрафам и конфискациям по распоряжению Елизаветы — за укрывательство католических священников, за упорный нонконформизм и за папистские злодеяния. Один малодушный представитель этой семьи, живший во времена короля Иакова *, отрекся было от своей веры под влиянием доводов этого великого богослова, и имущественное положение рода несколько восстановилось вследствие такого отступничества. Но уже следующий граф Камелот, живший в царствование Карла *, вернулся к вере отцов, и фамилия продолжала сражаться за нее и разорялась до тех пор, пока оставался в живых хоть один Стюарт, способный встать во главе восстания или подстрекать к нему.

Леди Мери Керлайон воспитывалась в одном из парижских монастырей, дофина Мария-Антуанетта * была ее крестной матерью. В самом расцвете красоты ее выдали замуж — продали, как говорят, лорду Гонту, бывшему тогда в Париже и выигрывавшему огромные суммы у брата этой леди на банкетах Филиппа Орлеанского. Знаменитую дуэль графа Гонта с графом де ля Маршем, офицером «серых мушкетеров», молва приписывала в то время притязаниям этого офицера (бывшего пажем и оставшегося любимцем королевы) на руку красавицы леди Мери Керлайон. Она вышла замуж за лорда Гонта, когда граф еще не оправился от полученных ранений, поселилась в Гонт-хаусе и одно время была украшением блестящего двора принца Уэльского. Фокс провозглашал тосты в ее честь, Моррис и Шеридан воспевали ее в своих стихах; Малмсбери отвешивал ей самые изящные свои поклоны; Уолпол называл ее очаровательной; Девоншир чуть ли не ревновал ее. Но ее пугали буйные развлечения и пиры общества, в которое она попала, и, родив двух сыновей, она замкнулась в благочестивой и уединенной жизни. Не удивительно, что лорда Стайна, любившего удовольствия и веселье, не часто видели после их свадьбы в обществе этой трепещущей, молчаливой, суеверной и несчастной леди.

Упомянутый раньше Том Ивз (который не имеет никакого отношения к нашему рассказу, за исключением того, что знает весь лондонский свет, а также историю и тайны всех знатных фамилий) сообщил мне дальнейшие сведения относительно миледи Стайн, возможно достоверные, а возможно и выдуманные.

— Унижения, которым подвергалась эта леди у себя в доме, — рассказывал Том, — были ужасны. Лорд Стайн заставлял ее садиться за стол с такими женщинами, что я скорее умер бы, чем позволил миссис Ивз встречаться с ними, — с леди Крекенбери, с миссис Чипенхем, с мадам де ля Крюшкассе, женой французского секретаря (от любой из этих дам Том Ивз, — который с наслаждением пожертвовал бы для них собственной женой, — был бы счастлив получить поклон или приглашение на обед), одним словом, со всеми царствовавшими фаворитками. И неужели вы думаете, что эта леди из такой фамилии, не уступающей в гордости самим Бурбонам, для которой

Стайны просто лакеи, выскочки (ибо это в сущности не старинные Гонты, а младшая, сомнительная ветвь дома), — неужели вы думаете, говорю я (читатель не должен забывать, это говорит Том Ивз), что маркиза Стайн, самая надменная женщина в Англии, согнулась бы так покорно перед супругом, если бы на то не было особых причин? Вздор! Поверьте мне, есть *тайные* причины! И я скажу вот что: эмигрировавший сюда аббат де ля Марш, участвовавший в киберонском деле * вместе с Пюизе и Тентаньяком, был тот самый полковник «серых мушкетеров», с которым Стайн дрался на дуэли в восемьдесят шестом году, и вот... он снова встретился с маркизой. После того как преподобный полковник был убит в Бретани, леди Стайн предалась той набожной жизни, которую ведет до сих пор; она каждый день запирается со своим духовником и каждое утро посещает богослужение на Испанской площади. Я выследил ее там, — то есть случайно встретил, — и будьте уверены, тут непременно скрывается тайна. Люди не бывают так несчастны, если им не в чем раскаиваться, — добавил Том Ивз, глубоко-мысленно покачивая головою, — будьте уверены, эта женщина никогда не была бы так покорна, если бы у маркиза не было меча, занесенного над ее головой.

Итак, если сведения мистера Ивза правильны, то этой леди, невзирая на ее высокое положение, приходилось выносить немало личных унижений и под наружным спокойствием скрывать много тайного горя. Так давайте же, братья мои, чьи имена не вписаны в Красную книгу *, давайте утешаться приятной мыслью, что и стоящие выше нас бывают несчастны, что у Дамокла, сидящего на атласных подушках и обедающего на золоте, висит над головой грозный меч — в виде судебного пристава, наследственной болезни или фамильной тайны; этот меч, как некое привидение, то и дело выглядывает из-за вышитых занавесей и в один прекрасный день обрушится и срязит несчастного.

И если сравнивать положение бедняка с положением знатного вельможи (опять-таки по словам Ивза), то первый всегда найдет себе какой-то источник утешения. Поскольку вы не ждете наследства и никто не ждет его от вас, вы можете быть в наилучших отношениях с вашим отцом и сыном; а между тем наследник такого высокород-

ного вельможи, как милорд Стайн, не может не злиться, ибо он чувствует себя в некотором роде отрешенным от власти и, следовательно, смотрит на своего соперника далеко не дружелюбным взглядом.

— Считайте за правило,— говорит мистер Ивз, этот старый циник,— что все отцы и старшие сыновья знатных фамилий ненавидят друг друга. Наследный принц всегда находится в оппозиции к короне или нетерпеливо протягивает к ней руки. Шекспир знал свет, дорогой мой сэр, и когда он изображает, как принц Хел * (которого семья Гонтов числит своим предком, хотя они имеют не больше отношения к Джону Гонту, чем вы)... как принц Хел примеряет отцовскую корону, он дает вам верное изображение всякого законного наследника. Если бы вы были наследником герцогства и тысячи фунтов в день, неужели вы не пожелали бы овладеть ими? Вздор! И совершенно понятно, что всякий знатный человек, испытывавший эти чувства по отношению к отцу, отлично знает, что сын его питает те же чувства по отношению к нему самому; не удивительно, что они всегда относятся друг к другу недоверчиво и враждебно.

— То же самое в отношении старшего сына к младшим. Вам должно быть как нельзя лучше известно, любезный сэр, что каждый старший брат смотрит на младших в доме, как на естественных врагов, лишаящих его наличных денег, которые должны по праву принадлежать ему. Я часто слышал, как Джордж Мак-Турк, старший сын лорда Баязета, говорил, что если бы это зависело от него, он, получив титул, сделал бы то, что делают султаны: очистил бы имение, сразу отрубив головы всем младшим братьям. И все они так думают. Уверяю вас, каждый из них — турок в душе. Да, сэр, они знают свет!

В эту минуту проходил какой-то знатный вельможа,— шляпа Тома Ивза слетела с головы, и он бросился вперед с поклоном и улыбкой. Это доказывало, что и он тоже знает свет, — по-своему, по том-ивзовски, конечно. Вложив все свое состояние до единого шиллинга в ежегодную ренту, Том мог без злобы относиться к своим племянникам и племянницам, а по отношению к выше стоящим не питал других чувств, кроме постоянного и бескорыстного желания у них пообедать.

Между маркизой и естественным, нежным отношением матери к детям стояла суровая преграда в виде различия вероисповеданий. Самая ее любовь к своим сыновьям только увеличивала горе и страх этой набожной леди. Ее отделяла от детей роковая бездна. Она не могла протянуть свои слабые руки через эту бездну, не могла перетаскивать своих детей на тот ее край, где их, как она верила, ждало спасение. Пока сыновья еще были молоды, лорд Стайн, ученый человек и любитель казуистики, устраивал у себя в имении по вечерам, после обеда, за стаканом вина веселое развлечение, скармливая воспитателя своих сыновей, преподобного мистера Трейла (ныне милорда епископа Илингского) с духовником миледи, отцом Мо-лем, и напуская Оксфорд на Сен-Ашель *.

— Браво, Лэтимер *! Хорошо сказано, Лойола *! — восклицал он по очереди.

Он обещал сделать Моля епископом, если тот перейдет в англиканство, и клялся употребить все свое влияние, чтобы добыть Трейлу кардинальскую шапку, если он отступит от своей веры. Но ни один из богословов не сдавался. И хотя любящая мать надеялась, что ее младший и любимый сын вернется в лоно истинной церкви, церкви его матери, — ужасное, горькое разочарование ожидало набожную леди — разочарование, которое казалось возмездием за греховность ее замужества.

Лорд Гонт женился, как известно всякому, кто возвращается в обществе пэров, на леди Бланш Тислвуд, дочери благородной фамилии Бейракрсов, упоминавшихся уже в этой правдивой повести. Молодой чете был отведен флигель в Гонт-хаусе: ибо глава дома хотел властвовать и, пока царил, — царить безраздельно. Его сын и наследник мало жил дома, не ладил с женой, занимал столько денег — с обязательством заплатить по получении наследства, — сколько ему было необходимо сверх тех скромных сумм, которые отец милостиво выдавал ему. Маркизу были хорошо известны все долги сына до последнего шиллинга. После его безвременной кончины оказалось, что маркиз был владельцем многих векселей своего наследника, скупленных его милостью и завещанных детям младшего сына.

К огорчению милорда Гонта и к злобной радости его естественного врага — отца, леди Гонт была бездетна;

лорду Джорджу Гонту было предписано вернуться из Вены, где он был занят дипломатией и вальсами, и вступить в брачный союз с достопочтенной Джоаной, единственной дочерью Джона Джонса, только что пожалованного барона Хельвелина и главы банкирской фирмы «Джонс, Браун и Робинсон» на Треднидл-стрит. От этого союза произошли несколько сыновей и дочерей, жизнь и деяния которых не входят в нашу повесть.

На первых порах это был счастливый и благополучный брак. Милорд Джордж Гонт умел не только читать, но и сравнительно правильно писать. Он довольно бегло говорил по-французски и был одним из лучших танцоров Европы. Нельзя было сомневаться, что, обладая такими талантами и таким положением на родине, его милость достигнет на своем поприще высших ступеней. Миледи, его жена, чувствовала себя созданной для придворной жизни; ее средства давали ей возможность устраивать роскошные приемы в тех европейских городах, куда призывали мужа его дипломатические обязанности. Шли толки о назначении его посланником, у «Путешественников» * держали даже пари, что он вскоре будет послом, когда вдруг разнесся слух о странном поведении секретаря посольства: на большом дипломатическом обеде у главы посольства он вдруг вскочил и заявил, что *pâte de foie gras*¹ был отравлен. Затем он явился на бал в дом баварского посланника, графа Шпрингбок-Гогенлауфена, с бритой головой и в костюме капуцина. А между тем это был отнюдь не костюмированный бал, как потом уверяли.

— Тут что-то неладно, — шептала молва. — С его делом было то же самое. Это у них фамильное.

Его супруга и дети вернулись на родину и поселились в Гонт-хаусе. Лорд Джордж оставил свой пост на европейском континенте и был послан, как извещала «Газета», в Бразилию. Но людей не обманешь: он никогда не возвращался из поездки в Бразилию, никогда не умирал там, никогда не жил там и даже никогда там не был. Его в сущности нигде не было: он исчез.

— Бразилия, — передавал с усмешкою один сплетник другому, — Бразилия — это Сен-Джонская роща. Рио-де-

¹ Паштет из гусиной печени (франц.).

Жанейро — это домик, окруженный четырьмя стенами; и Джордж Гонт аккредитован при надзирателе, который удостоил его ордена Смирительной рубашки.

Таковыми эпитафиями устаивают друг друга люди на Ярмарке Тщеславия.

Два или три раза в неделю, рано утром, бедная мать, казнясь за грехи, ездила навещать беднягу. Иногда он смеялся при виде ее (и этот смех был для матери горше слез). Иногда она заставляла этого блестящего денди, участника Венского конгресса, за тем, что он носился с детской игрушкой или нянчил куклу маленькой дочки надзирателя. Иногда он узнавал свою мать и отца Моля, ее духовника и спутника; но чаще он забывал о ней, как забыл жену, детей, любовь, честолюбие, тщеславие. Зато он помнил час обеда и обычно ударялся в слезы, если его вино слишком разбавляли водой.

В его крови гнездилась таинственная отравка: бедная мать принесла ее из своего древнего рода. Зло это уже дважды заявляло о себе в семье ее отца, задолго до того, как леди Стайн согрешила и начала искупать свои грехи постом, слезами и молитвами. Гордость рода была сражена, подобно первенцу фараона. Темное пятно роковой гибели легло на этот порог — высокий старинный порог, осененный коронами и резными гербами.

Между тем дети отсутствующего лорда беспечно росли, не ведая, что и над ними тяготеет рок. Первое время они говорили об отце и строили планы о его возвращении. Затем имя живого мертвеца стало упоминаться все реже, пока не было забыто совсем. Но убитая горем бабушка трепетала при мысли, что эти дети станут наследниками отцовского позора, так же как и его почестей, и с болью ожидала того дня, когда и на них обрушится ужасное проклятье предков.

Такое же мрачное предчувствие преследовало и лорда Стайна. Он пытался потопить в Красном море вина и веселья ужасный призрак, стоявший у его ложа; иногда ему удавалось ускользнуть от него в толпе, потерять его в вихре удовольствий. Но призрак неизменно возвращался, стоило лорду Стайну остаться одному, и с каждым годом, казалось, становился неотвязнее.

«Я взял твоего сына, — говорил он. — Почему я не могу взять тебя? Я могу заключить тебя в тюрьму, как твоего

сына Джорджа. Завтра же я могу прикоснуться к твоей голове — и тогда пропали все удовольствия и почести, пиры, красота, друзья, льстецы, французские повара, прекрасные лошади, дома,— вместо этого тебе дадут тюрьму, сторожа и соломенный тюфяк, как Джорджу Гонту». И тогда милорд бросал вызов грозившему ему призраку; ибо ему было известно средство, как обмануть врага.

Итак, роскошь и великолепие царили за резными порталами Гонт-хауса с его закоптелыми коронами и вензелями, но счастья там не было. Здесь давались самые роскошные в Лондоне пиры, но удовольствие они доставляли только гостям, сидевшим за столом милорда. Если бы он не был таким знатным вельможей, очень немногие посещали бы его, но на Ярмарке Тщеславия снисходительно смотрят на грехи великих особ, *Nous regardons à deux fois*¹ (как говорила одна дама француженка), прежде чем осудить такую особу, как милорд. Некоторые записные критики и придирчивые моралисты бранили лорда Стайна, но, несмотря на это, всегда рады были явиться, когда он приглашал их.

— Лорд Стайн действительно очень дурной человек,— говорила леди Слингстон,— но все у него бывают, и я, конечно, слежу за моими девочками, чтобы с ними там ничего не случилось.

— Я обязан его милости всем в жизни,— говорил предподобный доктор Трейл, думая о том, что архиепископ сильно сдал, а миссис Трейл со своими юными дочерьми скорее пропустит службу в церкви, чем хотя бы один из вечеров его милости.

— У этого человека нет ничего святого,— говорил маленький лорд Саутдаун сестре, которая обратилась к нему с кротким увещанием, так как мать передавала ей страшные рассказы о том, что творится в Гонт-хаусе,— но у него, черт возьми, подается самое лучшее в Европе сухое силери.

Что касается сэра Питта Кроули, баронета, то сэру Питту, этому образцу порядочности, сэру Питту, который вел миссионерские собрания, ни на минуту не приходило в голову отказываться от посещений Гонт-хауса.

¹ Мы еще очень и очень подумаем (франц.).

— Там, где вы встречаетесь с такими особами, как епископ Илингский и графиня Слингстон, там, будьте уверены, Джейн,— говорил баронет,— не может быть задета наша честь. Высокий ранг и положение лорда Стайна дают ему право властвовать над людьми нашего положения. Лорд — наместник графства, уважаемое лицо, дорогая моя. Кроме того, мы когда-то дружили с Джорджем Гонтом; я был первым, а он вторым атташе при пумперникельском посольстве.

Одним словом, все бывали у этого великого человека,— все, кого он приглашал. Точно так же и вы, читатель (пожалуйста, не отнекивайтесь), и я, автор, отправились бы туда, если бы получили приглашение.



ГЛАВА XLVIII,

в которой читатель вводится в высшее общество

Наконец любезность и внимание Бекки к главе семьи ее мужа увенчались чрезвычайной наградой, — наградой хотя, конечно, и не материальной, но которой маленькая женщина добивалась с большей страстностью, чем каких-нибудь осязаемых благ. Если она и не питала склонности к добродетельной жизни, то желала пользоваться репутацией добродетельной особы, а мы знаем, что в светском обществе ни одна женщина не достигнет этой желанной цели, пока не украсит себя шлейфом и перьями и не будет представлена ко двору своего монарха. С этого августейшего свиданья она уходит с печатью честной женщины. Лорд-камергер выдает ей свидетельство о добродетели. И как сомнительные товары или письма проходят в карантине сквозь печь, после чего их опрыскивают ароматическим уксусом и объявляют очищенными, так и многие леди, имеющие сомнительную репутацию и разносящие заразу, пройдя через целительное горнило королевского

присутствия, выходят оттуда как стеклышко, без малейшего пятна.

Пусть миледи Бейракс, миледи Тафто, миссис Бьют Кроули в своем Хемпшире и другие подобные им леди, лично знавшие миссис Родон Кроули, кричат: «Позор!» — при мысли о том, что эта мерзкая авантюристка склонится в реверансе перед монархом, и пусть заявляют, что, будь жива добрая королева Шарлотта, она никогда не потерпела бы такой испорченной особы в своей целомудренной гостиной. Но если мы примем в соображение, что миссис Родон подверглась испытанию в присутствии первого джентльмена Европы и выдержала, так сказать, экзамен на репутацию, то, право же, будет явным нарушением верноподданнических чувств сомневаться и дальше в ее добродетели. Я с своей стороны с любовью и благоговением оглядываюсь на эту великую историческую личность. И как же высоко мы ценим на Ярмарке Тщеславия благородное звание джентльмена, если это высокочтимое августейшее лицо по единодушному решению лучшей и образованнейшей части населения было облечено титулом «Первого Джентльмена» своего королевства. Помнишь ли, дорогой М., о друг моей юности, как в некий счастливый вечер, двадцать пять лет тому назад, когда на сцене шел «Тартюф» в постановке Элистана и с Дотоном и Листоном в главных ролях, два мальчика получили от верноподданных учителей разрешение уйти из школы Слотера, где они учились, чтобы присоединиться к толпе на сцене Друри-лейнского театра, собравшейся приветствовать короля. *Короля?* Да, это был он. Лейб-гвардейцы стояли перед высочайшей ложей; маркиз Стайн (лорд Пудреной комнаты *) и другие государственные сановники толпились за его креслом, а *он* сидел толстый, румяный, увешанный орденами, в пышных локонах. Как мы пели «Боже, храни короля!» Как все здание сотрясилось и гремело от великолепной музыки! Как все надрывались, кричали «ура!» и махали носовыми платками! Леди плакали, матери обнимали детей, некоторые падали в обморок от волнения. Народ задыхался в партере, крик и стон стояли над волнующейся, кричащей толпой, выражавшей такую готовность — и чуть ли не в самом деле готовой — умереть за него. Да, мы видели его. *Этого* судьба не отнимет у нас! Другие видели Наполеона. На

свете живут люди, которые видели Фридриха Великого, доктора Джонсона, Марию-Антуанетту и им подобных. Так скажем своим детям без ложного хвастовства, что мы видели Георга Доброго, Великолепного, Великого...

Итак, в жизни миссис Родон Кроули настал счастливый день, когда этот ангел был допущен в придворный рай, о котором он так мечтал. Невестка была как бы ее крестной матерью. В назначенный день сэр Питт с женой в большой фамильной карете (недавно заказанной по случаю ожидаемого получения баронетом высокой должности шерифа в своем графстве) подкатили к маленькому домику на Керзон-стрит, в назидание Реглсу, который, наблюдая из своей зеленой, увидел роскошные перья внутри кареты и огромные бутоньерки на груди лакеев в новых ливреях.

Сэр Питт в блестящем мундире, со шпагой, болтающейся между ног, вышел из кареты и направился в дом. Маленький Родон прильнул лицом к стеклу окна гостиный и, улыбаясь, кивал изо всех сил тетушке, сидевшей в карете. Вскоре Питт снова появился, ведя леди в пышных перьях на голове, закутанную в белую шаль и изящно поддерживающую свой шлейф из великолепной парчи. Она вошла в карету, словно принцесса, привыкшая всю жизнь ездить ко двору, и улыбнулась милостиво лакею, распахнувшему перед ней дверцы, и сэру Питту, который сел вслед за ней.

Затем появился Родон в своем старом гвардейском мундире, который уже порядочно поистрепался и был ему слишком тесен. Он должен был замыкать процессию и был ему слишком тесен. Он должен был замыкать процессию и прибыть с визитом к своему монарху в наемном экипаже, но добрая невестка настояла на том, что они все поедут по-семейному: карета просторная, дамы не слишком полные и могут держать шлейфы на коленях, — в конце концов все четверо отбыли вместе. Их карета скоро присоединилась к веренице верноподданных экипажей, двигавшихся по Пикадилли и Сент-Джеймс-стрит по направлению к старому кирпичному дворцу, где «Брауншвейгская Звезда» * готовился к приему своего дворянства и знати. Бекки готова была из окна кареты благословлять всех прохожих: в таком приподнятом состоянии духа находилась она, и так сильно было в ней сознание того

высокого положения, какого она, наконец, достигла. Увы, даже у нашей Бекки были свои слабости. Как часто люди гордятся именно такими качествами, которых другие не замечают в них! Например, Комус твердо убежден, что он самый великий трагик в Англии; Браун, знаменитый романист, мечтает прославиться не как видный писатель, а как светский человек; Робинсон, известный юрист, несколько не дорожит своей репутацией в Вестминстер-холле, но считает себя несравненным спортсменом и наездником. Так и Бекки — поставила себе целью в жизни быть и считаться респектабельной женщиной и добивалась этой цели с удивительной настойчивостью, находчивостью и успехом. Как уже говорилось, временами она готова была и сама вообразить себя светской леди, забывая, что дома у нее в шкатулке нет ни гроша, что кредиторы толпятся у ворот, поставщиков приходится уговаривать и умасливать, — словом, что у нее нет твердой почвы под ногами. Так и сейчас, отправляясь в карете ко двору — в фамильной карете! — она приняла такой величественный, самодовольный, непринужденный и внушительный вид, что это вызвало улыбку даже у леди Джейн. Она вошла в королевские покои, высоко подняв голову, как подобало бы королеве; и если бы Бекки сделалась королевой, я не сомневаюсь, она бесподобно сыграла бы свою роль.

Мы можем сказать с полной ответственностью, что *costume de cour*¹ миссис Родон Кроули по случаю ее представления ко двору был чрезвычайно элегантен и блестящ. Многие леди, которых мы видим, — мы, кто носит ленты и звезды и присутствует на сент-джеймских приемах, или же мы, кто топчется в грязных сапогах по тротуарам Пель-Мель и заглядывает в окна проезжающих карет, глаза на нарядную публику в шелках и перьях, — многие светские леди, повторяю, которых мы видим в дни утренних приемов около двух часов пополудни, когда оркестр лейб-гвардии в расшитых галуном мундирах играет триумфальные марши, сидя на своих табуретах, словно на буланых скакунах, — многие леди вовсе не восхищаются своей красотой в это раннее время дня. Какая-нибудь расплывшаяся графиня шестидесяти лет, декольтированная,

¹ Придворный туалет (франц.).

подкрашенная, морщинистая и нарумяненная до самых отвислых век, со сверкающими брильянтами в парике, представляет скорее полезное и поучительное, чем привлекательное зрелище. Взгляд у нее тусклый, как освещение на Сент-Джеймс-стрит ранним утром, когда половина фонарей погасла, а другая половина пугливо мерцает, словно духи, приготовившиеся бежать перед рассветом. Такие прелести, какие наш взгляд улавливает в проезжающей мимо карете ее милости, должны были бы показываться на улице только ночью. Если днем даже Цинтия * кажется бледной,— ибо именно такой приходилось нам наблюдать ее в нынешнем зимнем сезоне, когда Феб, появляясь на противоположной стороне неба, заставлял ее меняться в лице,— то как же может леди Каслмоулди высоко держать голову, когда солнце глядит в окно кареты, беспощадно выводя на свет божий все морщины и гусиные лапки, которыми время избороздило ее лицо? Нет, в придворных гостиных нужно устраивать приемы в ноябре или в любой туманный день; а может быть, престарелые султанши нашей Ярмарки Тщеславия должны передвигаться в закрытых носилках, выходить из них закутанными и делать свои реверансы монарху под защитой полумрака.

Однако наша милая Ребекка не нуждалась в таком благодетельном освещении, которое выгодно оттеняло бы ее красоту; цвет лица у нее еще не боялся яркого солнечного света, а ее платье — правда, любой современной даме на Ярмарке Тщеславия оно показалось бы самым нелепым и фантастическим одеянием, какое только можно вообразить, но тогда, двадцать пять лет назад, этот наряд в ее глазах и глазах остального общества казался столь же восхитительным, как и самый блестящий туалет прославленной красавицы нынешнего сезона... Пройдет десятка два лет, и это чудесное произведение портнихи отойдет в область предания вместе со всякой другой суетой сует, предшествовавшей ей во времени... Но мы слишком отклонились в сторону. Туалет миссис Родон в знаменательный день ее представления ко двору был признан *charmant*¹. Даже добрая леди Джейн должна была с этим согласиться, когда смотрела на свойственницу и с грустью

¹ Очаровательным (франц.).

признавалась себе, что в ее собственном наряде гораздо меньше вкуса, чем в наряде миссис Бекки.

Она и не догадывалась, как много стараний, размышлений и выдумки затратила миссис Родон на этот туалет. У Ребекки был вкус не хуже, чем у лучшей портнихи в Европе, и такое необычайное умение устраиваться в жизни, о каком леди Джейн не имела представления. Последняя тотчас же заметила великолепную парчу на шлейфе у Бекки и роскошные кружева на ее платье.

Парча — это старый остаток, сказала Бекки, а кружева — необыкновенно удачное приобретение, они лежали у нее сто лет.

— Милая моя миссис Кроули, ведь они должны стоить целое маленькое состояние, — сказала леди Джейн, глядя на свои собственные кружева, которые были далеко не так хороши. Затем, исследовав качество старинной парчи, из которой был сшит придворный туалет миссис Родон, она хотела сказать, что не решилась бы сделать себе такое роскошное платье, но подавила в себе это желание, как недоброе.

Но если бы леди Джейн знала все, я думаю, что даже ее обычная кротость изменила бы ей. Дело в том, что, когда миссис Родон приводила в порядок дом сэра Питта, она нашла кружева и парчу — эту собственность прежних хозяек дома — в старых гардеробах и украдкой унесла эти сокровища домой, чтобы украсить ими собственную персону. Бригс видела, как Бекки их взяла, но не задавала вопросов и не поднимала шума; я думаю, она даже посочувствовала ей, как посочувствовали бы многие честные женщины.

А брильянты...

— Откуда, черт возьми, у тебя эти брильянты, Бекки? — спросил ее муж, восхищаясь драгоценностями, которых он никогда не видел раньше и которые ярко сверкали у нее в ушах и на шее.

Бекки слегка покраснела и пристально взглянула на него. Питт Кроули также слегка покраснел и уставился в окно. Дело в том, что он сам подарил Бекки часть этих драгоценностей — прелестный брильянтовый фермуар, которым было застегнуто ее жемчужное ожерелье, — и как-то упустил случай сказать об этом обстоятельстве жене.

Бекки посмотрела на мужа, потом с видом дерзкого торжества — на сэра Питта, как будто хотела сказать: «Выдать вас?»

— Отгадай! — ответила она мужу. — Ну, глупыш ты мой! — продолжала она. — Откуда, ты думаешь, я их достала — все, за исключением фермуара, который давно подарил мне один близкий друг? Конечно, взяла напрокат. Я взяла их у мистера Полониуса на Ковентри-стрит. Неужели ты думаешь, что все брильянты, какие появляются при дворе, принадлежат владельцам, как эти прекрасные камни у леди Джейн, — они, конечно, гораздо красивее моих.

— Это фамильные драгоценности, — произнес сэр Питт, опять почувствовав себя неловко.

Пока продолжалась эта семейная беседа, карета катила по улице и, наконец, освободилась от своего груза у подъезда дворца, где монарх восседал уже в полном параде.

Брильянты, возбудившие восторг Родона, не вернулись к мистеру Полониусу на Ковентри-стрит, да этот джентльмен и не требовал их возвращения. Они вернулись в маленькое тайное хранилище, в старинную шкатулку — давнишний подарок Эмилии Седли, где Бекки хранила немало полезных, а может быть, и ценных вещей, о которых муж ничего не знал. Ничего не знать или знать очень мало — это участь многих мужей. А скрывать — в характере скольких женщин? О дамы! кто из вас не скрывает от мужей счета своих модисток? У скольких из вас есть наряды и браслеты, которые вы не смеете показывать или носите с трепетом? С трепетом и улыбками ласкаетесь вы к мужу, который сидит рядом с вами и не может отличить новое бархатное платье от вашего старого или новый браслет от прошлогоднего и не имеет никакого представления о том, что похожий на тряпочку желтый кружевной шарф стоит сорок гиней и что от *madame* Бобино приходят каждую неделю настойчивые письма с требованием денег!

Так и Родон ничего не знал ни о прекрасных брильянтовых серьгах, ни о брильянтовом фермуаре, украшавшем грудь жены. Но лорд Стайн, который в качестве лорда Пудреной комнаты и одного из важнейших сановников и славных защитников английского трона присут-

ствовал здесь среди других государственных вельмож во всем блеске своих звезд, орденов и прочих регалий и явно выделял эту маленькую женщину из числа других, отлично знал, откуда у нее эти драгоценности и кто платил за них.

Наклонившись к ней с улыбкой, он процитировал всем известные прекрасные стихи из «Похищения локона» * о брильянтах Белинды, которые «еврей лобзать бы стал, и обожать — неверный».

— Но, я надеюсь, ваша милость — правоверный? — сказала маленькая леди, вскинув голову.

Многие леди кругом нее шушукались и судили, а многие джентльмены кивали головой и перешептывались, видя, какое явное внимание оказывает маленькой авантюристке этот знатный дворянин.

Нет, наше слабое и неопытное перо не в силах передать подробности свидания Ребекки Кроули, урожденной Шарп, с ее царственным повелителем! Ослепленные глаза зажимаются при одной мысли об этом величии. Верноподданнические чувства не позволяют нам даже мысленно бросить слишком пылкий и смелый взор в священный зал аудиенций, но заставляют быстро и почти-тельно отступить, в благоговейном молчании отвешивая августейшему величеству низкие поклоны.

Достаточно сказать, что после этого свидания во всем Лондоне не нашлось бы более верноподданнического сердца, чем сердце Бекки. Имя короля было постоянно у нее на устах, и она заявляла, что он очаровательнейший из смертных. Она отправилась в магазин Кольнаги и заказала прекраснейший его портрет, какой только могло создать искусство и какой можно было достать в кредит, — знаменитый портрет, где лучший из монархов, в кафтане с меховым воротником, в коротких панталонах и в шелковых чулках, изображен сидящим на софе и глупо ухмыляющимся из-под своего кудрявого каштанового парика. Она заказала себе брошку с миниатюрой короля и носила ее. Она забавляла своих знакомых и даже несколько надоела им постоянными разговорами о его любезности и красоте. Кто знает, может быть маленькая женщина мечтала играть роль Ментенон * или Помпадур *.

Но интереснее всего было послушать после представления ко двору ее разговоры о добродетели. У Ребекки было

несколько знакомых дам, которые, надо сознаться, пользовались не слишком высокой репутацией на Ярмарке Тщеславия. И вот теперь, сделавшись, так сказать, честной женщиной, Бекки не хотела поддерживать знакомство с этими сомнительными особами: она не ответила леди Крекенбери, когда последняя кивнула ей из своей ложи, а встретив миссис Вашингтон-Уайт на кругу в Парке, и вообще от нее отвернулась.

— Необходимо, мой милый, дать им почувствовать, кто я такая,— говорила она,— я не могу показываться с сомнительными людьми. Мне от души жаль леди Крекенбери, да и миссис Вашингтон-Уайт очень добрая женщина. Ты можешь ездить к ним и обедать у них, если тебе хочется сделать свой роббер. Но я не могу и не хочу у них бывать. И, пожалуйста, будь добр, скажи Смиту, что меня ни для кого из них нет дома.

Описание туалета Бекки появилось в газетах—перья, кружева, роскошные брильянты и все прочее. Миссис Крекенбери с горечью прочитала эту заметку и пустилась в рассуждения со своими поклонниками о том, какую важность напускает на себя эта женщина. Миссис Бьют Кроули и ее юные дочери в Хемпшире, получив из города номер «Морнинг пост», также дали волю своему благородному негодованию.

— Если бы у тебя были рыжие волосы, зеленые глаза и ты была дочерью французской канатной плясуньи,— говорила миссис Бьют старшей дочери (которая, напротив, была смуглой, низенькой и курносой девицей),— у тебя, разумеется, были бы роскошные брильянты и тебя представила бы ко двору твоя кузина леди Джейн. Но ты всего только родовитая дворянка, мое бедное дорогое дитя. В твоих жилах течет благороднейшая кровь Англии, а твое приданое— всего лишь добрые принципы и благочестие. Я сама— жена младшего брата баронета, а ведь мне никогда и в голову не приходило представляться ко двору,— да и другим не пришло бы это в голову, если бы жива была добрая королева Шарлотта.

Таким образом достойная пасторша утешала себя, а ее дочери вздыхали и весь вечер просидели над Книгой пэров.

Через несколько дней после знаменитого представления ко двору добродетельная Бекки удостоилась другой

великой чести: к подъезду Родона Кроули подкатила карета леди Стайн, и выездной лакей, вместо того чтобы разнести двери, как можно было подумать по его громкому стуку, сменил гнев на милость и только вручил Смиту две визитные карточки, на которых были выгравированы имена маркизы Стайн и графини Гонт. Если бы эти кусочки картона были прекрасными картинами или если бы на них было намотано сто ярдов малинских кружев *, стоящих вдвое большее число гиней, Бекки не могла бы рассматривать их с большим удовольствием. Могу вас уверить, что они заняли видное место в китайской вазе на столе в гостиной, где хранились карточки ее посетителей. Боже! боже! Как быстро бедные карточки миссис Вашингтон-Уайт и леди Крекенбери, которым несколько месяцев тому назад наша маленькая приятельница была так рада и которыми глупенькое созданище так гордилось — боже! боже! — говорю я, — как быстро эти бедные двойки очутились в самом низу колоды при появлении знатных фигурных карт. Стайн! Бейракрс! Джонс Хельвелин и Керлайон Камелот! Можете быть уверены, что Бекки и Бригс отыскали эти высокие фамилии в Книге пэров и проследили эти благородные династии во всех разветвлениях генеалогического древа.

Часа через два приехал милорд Стайн; оглядевшись и все рассмотрев по обыкновению, он увидел карточки своих дам, разложенные наверху рукою Бекки, словно козыри в ее игре. Старый циник, как всегда, усмехнулся при таком наивном проявлении человеческой слабости. Бекки тотчас спустилась к нему; всякий раз, когда эта дорогая малютка ожидала его милость, ее туалет бывал безукоризнен, волосы в совершенном порядке и платочки, переднички, шарфики, маленькие сафьяновые туфельки и прочие мелочи женского туалета в надлежащем виде; она сидела в изящной непринужденной позе, готовая принять его; если же он являлся неожиданно, она, конечно, спешила в свою комнату, чтобы бросить быстрый взгляд в зеркало, и потом уже сбегала вниз приветствовать знатного пэра.

Она застала его в гостиной, стоящего с усмешкой подле ее вазочки. Ее поймали, и она слегка покраснела.

— Благодарю вас, *monseigneur*, — сказала Ребекка. — Вы видите, что ваши леди были здесь. Как вы добры! Я не могла выйти раньше: я занималась пудингом на кухне.

— Я это знаю: я видел вас в подвальном окне, когда подъехал к дому, — отвечал старый джентльмен.

— Вы все видите, — сказала она.

— Кое-что я вижу, но этого я не мог видеть, моя прелесть, — ответил он добродушно. — Ах вы, маленькая выдумщица! Я слышал, как вы ходили в спальне над моей головой, и, не сомневаюсь, вы слегка подрумянились... Вы должны дать немного ваших румян леди Гонт: у нее отвратительный цвет лица... Потом я слышал, как дверь спальни отворилась и вы спустились вниз по лестнице.

— Разве это преступление — повертеться перед зеркалом, когда вы приходите ко мне? — жалобно ответила миссис Родон и потерла щеку носовым платком, словно хотела показать, что на ней совсем нет краски, а только естественный скромный румянец. (Кто может сказать, так ли это? Я знаю, есть румяна, которые не сходят, если их потереть платком, а некоторые так прочны, что даже слезы их не смывают.)

— Ну, — сказал старый джентльмен, играя карточкой своей жены, — вы, значит, собираетесь сделаться светской дамой. Вы мучаете мою бедную старость, заставляя вводить вас в свет. Все равно вы там не удержитесь, маленькая вы глупышка, — у вас нет денег!

— Вы нам достанете место, — быстро вставила Бекки, — и чем скорее, тем лучше.

— У вас нет денег, а вы хотите тягаться с теми, у кого они есть. Вы, жалкий глиняный горшочек, хотите плыть по реке вместе с большими медными котлами. Все женщины одинаковы: все они жаждут того, чего не стоит и добиваться... Вчера я обедал у короля, и нам подавали баранину с репой. Обед из зелени часто бывает лучше, чем самая сочная говядина... Вы попадете в Гонт-хаус. Вы покою не дадите бедному старику, пока не попадете туда! А ведь там и вполонину не так уютно, как здесь. Вы соскучитесь. Я скучаю. Моя жена весела, как леди Макбет, а мои дочери жизнерадостны, как Регана и Гонерилья *. Я не решаюсь спать в так называемой моей опочивальне: кровать похожа на балдахин в соборе святого Петра, а картины наводят на меня тоску. У меня в гардеробной есть маленькая бронзовая кроватка и маленький волосной матрац анахорета. Я — отшельник. Хо! Хо! Вы полу-

чите приглашение к обеду на будущей неделе. Но *gare aux femmes!*¹ Будьте начеку! Как вас будут донимать женщины!

Это была очень длинная речь для немногоречивого лорда Стайна; и это не в первый раз он поучал Ребекку.

Бригс подняла голову из-за своего рабочего столика, за которым сидела в соседней комнате, и издала глубокий вздох; когда услышала, как легкомысленно маркиз отзывается о представительницах ее пола.

— Если вы не прогоните эту отвратительную овчарку, — сказал лорд Стайн, бросая через плечо яростный взгляд, — я отравлю ее.

— Я всегда кормлю собаку из собственной тарелки, — сказала Ребекка, задорно смеясь.

Выждав некоторое время и насладившись неудовольствием милорда, который ненавидел бедную Бригс за то, что она нарушала его *tête-à-tête* с прелестной женой полковника, миссис Родон, наконец, сжалась над своим поклонником и, подозвав Бригс, похвалила погоду и попросила ее погулять с малышом.

— Я не могу прогнать ее прочь, — помолчав немного, сказала Бекки печальным голосом; ее глаза наполнились слезами, и она отвернулась.

— Вы, наверно, задолжали ей жалованье? — спросил пэр.

— Хуже того, — сказала Бекки, не поднимая глаз, — я разорила ее.

— Разорили? Почему же вы не выгоните ее? — спросил джентльмен.

— Только мужчины могут так рассуждать, — с горечью ответила Бекки. — Женщины не так злы. В прошлом году, когда у нас вышли все деньги, она отдала нам свои сбережения и теперь не оставит нас, пока и мы в свою очередь не разоримся, что, повидимому, недалеко, — или пока я не выплачу ей все, до последнего фартинга.

— Черт возьми! Сколько же вы ей задолжали? — спросил пэр, и Бекки, приняв в соображение материальные возможности своего собеседника, назвала сумму, почти вдвое большую, чем та, которую она заняла у мисс Бригс.

Это заставило лорда Стайна снова произнести корот-

¹ Берегитесь женщин! (франц.).

кое и энергичное слово для выражения своего гнева, отчего Ребекка еще ниже опустила голову и горько заплакала.

— Я не виновата. У меня не было другого выхода,— сказала она.— Я не смею сказать мужу: он убьет меня, если узнает, что я натворила. Я первому вам это говорю... и то вы меня принудили. Ах, что мне делать, лорд Стайн? Я очень, очень несчастна!

Лорд Стайн не отвечал ни слова и только барабанил по столу и кусал ногти. Наконец он нахлобучил шляпу и выбежал из комнаты.

Ребекка сидела все в той же печальной позе, пока внизу не хлопнула дверь и не послышался шум отъезжавшего экипажа. Тогда она встала, и в ее глазах сверкнуло странное выражение удовлетворенной злобы. Раза два или три она принималась хохотать, сидя за работой. Потом, усевшись за фортепьяно, разразилась такой торжествующей импровизацией, что прохожие останавливались под окном, прислушиваясь к ее блистательной игре.

В тот же вечер маленькой женщине были доставлены два письма из Гонт-хауса. В одном было приглашение на обед от лорда и леди Стайн на следующую пятницу, а в другом находился листок сероватой бумаги с подписью лорда Стайна — на имя господ Джонса, Брауна и Робинсона на Ломбард-стрит.

Ночью Родон раза два слышал, как Бекки смеялась: она предвкушает удовольствие побывать в Гонт-хаусе и встретиться с тамошними леди, пояснила она. Но в сущности ее занимало множество других мыслей: расплатиться ли ей со старой Бригс и отпустить ее? Или удивить Реглса и уплатить ему по счетам? Лежа в постели, она перебирала все эти мысли; и на другое утро, когда Родон пошел, по обыкновению, в клуб, миссис Кроули (в скромном платье и под вуалью) поехала в наемной карете в Сити. Остановившись возле банка господ Джонса и Робинсона, она предъявила документ сидевшему за конторкой служащему, который спросил ее, в каком виде она хочет получить деньги. Она скромно сказала, что ей хотелось бы получить «сто пятьдесят фунтов мелкими купюрами, а остальное одним банкнотом».

Затем, проходя по улице Сент-Полс-Черчъярд, она заглянула в магазин и купила для Бригс превосходное

черное шелковое платье, которое с поцелуем и нежными словами презентовала простодушной старой деве.

После этого она отправилась к мистеру Реглсу, ласково расспросила его о детях и вручила ему пятьдесят фунтов в счет уплаты долга. Оттуда она пошла к содержателю конюшен, у которого брала напрокат экипажи, и вознаградила его такой же суммой.

— Я надеюсь, это послужит вам уроком, Спевин, — сказала она, — и к следующему приему во дворце моему брату сэру Питту не придется ехать вчетвером в одной карете из-за того, что *мой* экипаж не был подан.

Ребекка намекала на прискорбное недоразумение, вследствие которого полковнику едва не пришлось явиться к своему монарху в наемном кебе.

Устроив все эти дела, Бекки поднялась наверх навестить упомянутую выше шкатулку, которую Эмилия Седли подарила ей много-много лет назад и в которой хранилось немало полезных и ценных вещей; в это секретное хранилище она спрятала банковый билет, который выдал ей кассир господ Джонса и Робинсона.



ГЛАВА XLIX,

*в которой мы наслаждаемся тремя переменами
блюд и десертом*

Когда дамы Гонт-хауса сидели в то утро за ранним завтраком, лорд Стайн (он вкушал шоколад у себя и редко беспокоил женское население своего дома, встречаясь с ними разве только в дни приемов, или в вестибюле, или в опере, когда он из своей ложи в партере созерцал их в ложе бельэтажа) — так вот, его милость появился среди дам и детей, собравшихся за чаем с гренками; и тут разыгралась генеральная баталия из-за Ребекки.

— Миледи Стайн, — сказал он, — мне хотелось бы взглянуть на список приглашенных к обеду в пятницу и вместе с тем попросить вас послать приглашение полковнику Кроули и миссис Кроули.

— Приглашения пишет Бланш... леди Гонт, — смущенно произнесла леди Стайн.

— Этой особе я писать не буду, — сказала леди Гонт, высокая статная дама, и, подняв на мгновение свой взор,

опустила его. Неприятно было встречаться глазами с лордом Стайном тем, кто перечил ему.

— Вышлите детей из комнаты. Ступайте!— распорядился лорд Стайн, дернув за шнурок звонка.

Мальчуганы, очень боявшиеся деда, удалились. Их мать хотела было последовать за ними.

— Нет,— сказал лорд Стайн.— Останьтесь здесь. Миледи Стайн, я еще раз спрашиваю: не угодно ли вам подойти к этому столу и написать пригласительную записку на обед в пятницу?

— Милорд, я не буду на нем присутствовать,— сказала леди Гонт,— я уеду к себе домой.

— Прекрасно, сделайте одолжение! И можете не возвращаться. В Бейраксе бейлифы будут для вас очень приятной компанией, а я избавлюсь от необходимости ссужать деньгами ваших родственников, а заодно и от вашей трагической мины, которая мне давно осточертела. Кто вы такая, чтобы командовать здесь? У вас нет денег, не достает и ума. Вы здесь для того, чтобы рожать детей, а у вас их нет и не предвидится. Гонту вы надоели, и жена Джорджа — единственное в семье лицо, которое не хочет вашей смерти. Гонт женился бы вторично, если бы вы умерли.

— Я бы рада была умереть,— отвечала ее милость со слезами ярости на глазах.

— Рассказывайте! Вы корчите из себя добродетель, а между тем моя жена, эта непорочная святая, которая, как каждому известно, ни разу не оступилась на стезе добродетели, ничего не имеет против того, чтобы принять моего молодого друга, миссис Кроули. Миледи Стайн знает, что иногда о самых лучших женщинах судят на основании ложной видимости и что людская молва часто клеймит самых чистых и непорочных. Не угодно ли, сударыня, я расскажу вам несколько анекдотов про леди Бейракс, вашу матушку?

— Вы можете ударить меня, сэр, или бесчеловечно мучить... — произнесла леди Гонт.

Но страдания жены и невестки всегда приводили лорда Стайна в превосходное расположение духа.

— Милая моя Бланш,— сказал он,— я джентльмен и никогда не позволю себе коснуться женщины иначе, как

с лаской. Мне только хотелось указать вам на кое-какие прискорбные недостатки в вашем характере. Вы, женщины, не в меру горды, и вам очень не хватает чувства смирения, как, конечно, сказал бы леди Стайн патер Моль, будь он здесь. Не советую вам слишком заноситься, ибо вы должны быть кротки и скромны, мои драгоценные! Как известно леди Стайн, эта несправедливо оклеветанная, простая, добрая и веселая миссис Кроули ни в чем не повинна, — она, может быть, невиннее самой леди Стайн. Репутация ее супруга нехороша, но она, право, не хуже, чем у Бейракрса, который поигрывал немного, но зато, проигрывая, очень часто не платил и оттягал единственное ваше наследство, оставив вас у меня на руках совсем нищей. Да, миссис Кроули не из очень знатного рода, но она не ниже знаменитого предка нашей Фанни, первого де ля Джонса.

— Деньги, принесенные мною в семью, сэр... — воскликнула леди Джордж.

— Вы приобрели благодаря им кое-какие надежды на право наследования в будущем, — мрачно заметил маркиз. — Если Гонт умрет, ваш супруг может вступить в его права; ваши сыновья могут унаследовать ваши деньги и, пожалуй, еще что-нибудь впридачу. А пока, дорогие мои, гордитесь и величайтесь своими добродетелями, но только не здесь, и не напускайте на себя важности передо мною. Что же касается доброго имени миссис Кроули, то я не стану унижать ни себя, ни эту безупречную и ни в чем не повинную даму, допуская хотя бы намек на то, что ее репутация нуждается в защите. Будьте же любезны принять ее с величайшим радушием, наравне со всеми теми, кого я ввожу в этот дом. В этот дом? — Он рассмеялся. — Кто здесь хозяин? И что такое этот дом? Этот Храм добродетели принадлежит мне. И если я приглашу сюда весь Ньюгет * или весь Бедлам *, то и тогда, черт возьми, вам придется оказать им гостеприимство!

После этой энергической речи — одной из тех, какими лорд Стайн угощал свой «гарем», едва лишь в его семействе обнаруживались признаки неповиновения, — приунывшим женщинам оставалось только подчиниться. Леди Гонт написала приглашение, которого требовал лорд Стайн, после чего, затаив в душе горечь и обиду, самолично поехала в сопровождении свекрови завезти миссис

Родон карточки, доставив этим означенной невинной даме огромное удовольствие.

В Лондоне были семьи, которые пожертвовали бы годовым доходом, лишь бы добиться такой чести от столь знатных дам. Например, миссис Фредерик Буллок проползла бы на коленях от Мейфэра до Ломбард-стрит, если бы леди Стайн и леди Гонт ждали ее в Сити, чтобы поднять с земли и сказать: «Приезжайте к нам в будущую пятницу», — не на один из тех многолюдных и пышных балов в Гонт-хаусе, где бывают все, а на священный, недоступный, таинственный и восхитительный интимный прием, приглашение на который считалось завидной привилегией, честью и, разумеется, блаженством.

Строгая, безупречная красавица леди Гонт занимала самое высокое положение на Ярмарке Тщеславия, и изысканная вежливость в обращении с нею лорда Стайна приводила в восхищение всякого, кто его знал, заставляя даже самых придирчивых критиков соглашаться с тем, что он безукоризненный джентльмен и, что ни говори, сердце у него благородное.

Чтобы дать отпор общему врагу, дамы Гонт-хауса призвали к себе на помощь леди Бейракс. Одна из карет леди Гонт отправилась на Хилл-стрит за матушкой миледи, так как все экипажи этой дамы были в руках бейлифов, и даже драгоценности и гардероб ее, по слухам, были захвачены неумолимыми израильтянами. Им принадлежал также и замок Бейракс с его знаменитыми картинами, обстановкой и редкостями: великолепными Ван-Дейками, благородными полотнами Рейнольдса; блестящими и бьющими на внешний эффект портретами Лоренса, которые тридцать лет тому назад считались не менее драгоценными, чем произведения истинного гения; несравненною «Пляшущею нимфою» Кановы, для которой позировала сама леди Бейракс в молодости — леди Бейракс, в то время ослепительная красавица, окруженная ореолом богатства и знатности, теперь — беззубая и облысевшая старуха, жалкий, изношенный доскут от некогда пышного одеяния. Ее супруг, на портрете Лоренса той же эпохи, размахивающий саблей перед фасадом Бейракского замка в форме полковника Тислвудского ополчения, был теперь высохшим, тощим стариком в длин-

нополом сюртуке и парике à la Brutus¹, которого можно было видеть по утрам слоняющимся чаще всего около Грейз-Инна * и одиноко обедающим в клубах. Он не любил теперь обедать со Стайном. В молодости они соперничали в погоне за развлечениями с неизменным преимуществом для Бейраккса. Но Стайн оказался крепче, и в конце концов победителем вышел он. Сейчас маркиз был в десять раз могущественнее того молодого лорда Гонта, каким он был в 1785 году; а Бейраккс уже сошел со сцены — старый, поверженный, разоренный и раздавленный. Он задолжал Стайну слишком много денег, чтобы находить удовольствие в частых встречах со старым приятелем. А тот, когда ему хотелось позабавиться, насмешливо осведомлялся у леди Гонт, отчего отец не навещает ее. «Он не был у нас уже четыре месяца, — говаривал лорд Стайн. — Я всегда могу сказать по своей чековой книжке, когда мне нанесли визит гости из Бейраккса. Как это удобно, миледи: я банкир тестя одного из моих сыновей, а тесть другого сына — мой банкир».

О других именитых особах, с которыми Бекки имела честь встретиться во время своего первого выезда в большой свет, историку, составителю настоящей книги, незачем особенно распространяться. Там был его светлость князь Петроварадинский с супругою — туго перетянутый вельможа с широкой солдатской грудью, на которой великолепно сверкала звезда его ордена, и с красной лентой Золотого Руна на шее. Князь был владельцем бесчисленных стад баранов. «Взгляните на его лицо. Можно подумать, что он сам ведет свой род от барана», — шепнула Бекки лорду Стайну. И в самом деле: лицо у его светлости было длинное, важное, белое, и украшение вокруг шеи еще усиливало его сходство с мордой почтенного барана, ведущего за собою стадо.

Был там и мистер Джон Поль Джеферсон Джонс, номинально состоявший при американском посольстве, корреспондент газеты «Нью-йоркский демагог», который, желая доставить обществу удовольствие, во время паузы в обеденной беседе осведомился у леди Стайн, нравится ли его дорогому другу Джорджу Гонту Бразилия: они с Джорджем очень подружились в Неаполе и вместе под-

¹ В подражание Бруту (его прическе) (франц.).

нимались на Везувий. Мистер Джонс составил об этом обеде подробный и обстоятельный отчет, который в должное время появился в «Демагоге». Он упомянул фамилии и титулы всех гостей, приведя краткие биографические сведения о наиболее важных особах. С большим красноречием описал он наружность присутствовавших дам, сервировку стола, рост и ливреи лакеев, перечислил подававшиеся за обедом блюда и вина, упомянул об украшениях на буфете и подсчитал вероятную стоимость столового серебра. По его вычислениям, такой обед не мог обойтись дешевле пятнадцати или восемнадцати долларов на человека. С той поры и до самого последнего времени мистер Джонс взял себе в обычай направлять своих protégés с рекомендательными письмами к нынешнему маркизу Стайну, поощряемый к тому дружбою, которою его дарил покойный лорд. Мистер Джонс очень возмущался, что какой-то ничтожный аристократишка, граф Саутдаун, перебил ему дорогу, когда вся процессия двинулась в столовую. «В ту минуту, когда я выступил вперед, чтобы предложить руку чрезвычайно приятной и остроумной светской даме, блестящей и несравненной миссис Родон Кроули,— писал он,— юный патриций втерся между мною и леди и увлек мою Елену, даже не извинившись. Мне пришлось идти в арьергарде с полковником, супругом этой дамы, рослым и краснолицым воином, отличившимся в сражении при Ватерлоо, где ему повезло больше, чем некоторым из его собратий-красномундирников * под Новым Орлеаном».

При вступлении в это изысканное общество физиономия полковника покрылась таким же густым румянцем, какой заливает лицо шестнадцатилетнего юноши, когда он попадает в компанию школьных подруг своей сестры. Здесь уже упоминалось, что честный Родон ни в молодости, ни позже не имел случая привыкнуть к дамскому обществу. С мужчинами в клубе или в офицерском собрании он чувствовал себя прекрасно и мог ездить верхом, биться об заклад, курить или играть на бильярде наравне с самыми бойкими из них. В свое время он завязывал знакомства и среди женщин, но то было двадцать лет назад, и эти леди были того же общественного положения, что и

девушки, с которыми умел обращаться Младший Марло в известной комедии, до того как был повергнут в смущение появлением мисс Хардкасл *. Время нынче такое, что никто не дерзает и словом упомянуть о той особой среде, с которою тысячи наших молодых людей на Ярмарке Тщеславия общаются ежедневно, представительницы которой каждый вечер наполняют казино и о существовании которой столь же хорошо известно, как о существовании Ринга в Хайд-парке * или паствы сент-джемского прихода, но которую самое чопорное — если и не самое нравственное — общество в мире твердо решило не замечать. Словом, хотя полковнику Кроули было уже от роду сорок пять лет, ему не привелось встретиться на своем веку и с пятью-шестью порядочными женщинами, если не считать его образцовой жены. Все женщины до единой, кроме Ребекки и его доброй невестки леди Джейн, чей кроткий нрав покорила и приручила достойного полковника, пугали его. И потому на первом обеде в Гонт-хаусе никто не слышал от него ни единого слова, если не считать краткого замечания о том, что погода стоит очень жаркая. Говоря по правде, Бекки охотно оставила бы его дома, но светские приличия требовали, чтобы супруг находился подле нее и служил охраной и защитой для робкого, смущенного маленького создания при его первом появлении в свете.

Как только Бекки вошла, лорд Стайн направился к ней, пожал ей руку, любезно приветствовал гостью и представил леди Стайн и их милостям, ее дочерям. Их милости сделали три глубоких реверанса, и старшая из дам даже удостоила гостью рукопожатием, но рука леди Стайн была холодна и безжизненна, как мрамор.

Однако Бекки пожала эту руку с чувством величайшей признательности и, делая реверанс, который оказал бы честь лучшему балетмейстеру, как бы склонилась к ногам леди Стайн со словами, что его милость был давним другом и покровителем ее отца и что она, Бекки, привыкла с самого нежного возраста почитать и благословлять семейство Стайнов. Лорд Стайн и в самом деле однажды приобрел две-три картины у покойного Шарпа, и признательная сиротка не могла забыть этого благодеяния.

Затем Бекки была представлена леди Бейракрс, причем и перед нею супруга полковника присела весьма

почтительно. Высокородная дама ответила ей поклоном, исполненным сурового достоинства.

— Я имела удовольствие познакомиться с вашей милостью в Брюсселе десять лет тому назад,— сказала Бекки самым пленительным тоном. — Я имела счастье встретиться с леди Бейракс на балу у герцогини Ричмонд, накануне сражения при Ватерлоо. И я помню, как ваша милость и миледи Бланш, ваша дочь, сидели в карете под воротами гостиницы, дожидаясь лошадей. Надеюсь, брильянты вашей милости уцелели?

Все переглянулись. На пресловутые брильянты был наложен наделавший много шума арест, о котором Бекки, конечно, ничего не знала. Родон Кроули и лорд Саутдаун отошли к окну, причем последний залился неудержимым смехом, когда Родон рассказал ему историю о том, как леди Бейракс не могла достать лошадей и «спасовала» перед миссис Кроули. «Пожалуй, мне нечего бояться этой женщины», — подумала Бекки. Действительно, леди Бейракс обменялась с дочерью испуганным и сердитым взглядом и, ретировавшись к столу, принялась весьма усердно рассматривать гравюры.

Когда появилась владетельная особа с берегов Дуная, разговор перешел на французский язык, и тут леди Бейракс и младшие дамы, к своему великому огорчению, убедились, что миссис Кроули не только гораздо лучше их владеет этим языком, но что и выговор у нее гораздо правильнее. Бекки в бытность свою во Франции в 1816—1817 годах встречалась с другими венгерскими магнатами. Она с большим интересом стала расспрашивать о своих друзьях. Знатные иностранцы решили, что она какая-нибудь видная аристократка, и князь и княгиня с живейшим интересом осведомились у лорда Стайна и у маркизы, когда шествовали с ними к столу, кто эта *petite dame*, которая так прекрасно говорит по-французски.

Наконец, когда процессия сформировалась в том порядке, как описал ее американский дипломат, гости проследовали в зал, где было сервировано пиршество. А так как я обещал, что читатель останется им доволен, то предоставляю ему полную свободу заказывать все в соответствии с собственными вкусами и желаниями.

Но вот дамы остались одни, и Бекки поняла, что сейчас начнутся военные действия! И действительно, тут ма-

ленькая женщина оказалась в таком положении, что была вынуждена по достоинству оценить всю правильность предупреждения лорда Стайна — остерегаться общества женщин, стоящего выше ее среды. Говорят, что самые ярые ненавистники ирландцев — сами же ирландцы; точно так же и жесточайшие мучители женщин — сами женщины. Когда бедная маленькая Бекки, оставшись одна с дамами, подошла к камину, где расположились знатные леди, — знатные леди немедленно отошли и завладели столом с гравюрами. Когда же Бекки последовала за ними к столу с гравюрами, они одна за другой опять отхлынули к камину. Она попыталась заговорить с маленьким Джорджем Гонтом (Ребекка на людях чувствовала большую нежность к детям), но маменька сейчас же отозвала его к себе. В конце концов самозванку стали третировать так жестоко, что сама леди Стайн сжалась над нею и подошла поговорить с бедной, всеми покинутой женщиной.

— Лорд Стайн рассказывал мне, — начала ее милость, причем ее поблекшие щеки окрасились румянцем, — что вы отлично поете и играете, миссис Кроули. Пожалуйста, спойте нам что-нибудь.

— Я сделаю все, что может доставить удовольствие лорду Стайну или вам, — сказала Ребекка с искренней благодарностью и, усевшись за фортепьяно, принялась петь.

Она спела несколько духовных песнопений Моцарта, которые в давние времена любила леди Стайн, и пела с такой нежностью и чувством, что хозяйка дома, сперва в нерешительности остановившаяся у фортепьяно, села возле инструмента и слушала, пока на глазах у нее не показались слезы. Правда, оппозиционно настроенные дамы, собравшиеся на другом конце комнаты, непрерывно перешептывались и громко разговаривали, но леди Стайн не слышала посторонних звуков. Снова она была ребенком — и опять, после сорокалетних скитаний в пустыне, очутилась в саду родного монастыря. Это были те самые мелодии, которые слышались ей тогда в раскатах органа, сестра-органистка, любимая ее наставница, разучивала их с ней в те далекие счастливые дни. Снова она была девочкой, и на какой-нибудь миг снова расцвела краткая пора ее счастья. Она вздрогнула, когда скрипучие двери

распахнулись и веселая компания мужчин вошла в комнату под громкий смех лорда Стайна.

С первого же взгляда он понял, что произошло в его отсутствие, и впервые почувствовал благодарность к жене. Он подошел к ней, заговорил и назвал ее по имени, что опять зажгло румянцем ее бледные щеки.

— Моя жена говорит, что вы пели, как ангел, — сказал он Бекки.

Но ангелы бывают двух сортов, и оба они, как говорят, очаровательны — каждый по-своему.

Какова бы ни была первая часть вечера, конец его превратился для Бекки в триумф. Она пела, как никогда, и пение ее было так восхитительно, что все мужчины до одного столпились вокруг фортепьяно. Женщины, ее враги, остались в полном одиночестве. И мистер Джон Поль Джеферсон Джонс, решив снискать расположение леди Гонт, подошел к ней и расхвалил первоклассное пение ее очаровательной приятельницы.



ГЛАВА I

содержит рассказ об одном тривиальном происшествии

Пусть муза, кто бы она ни была, вдохновляющая автора этого комического повествования, теперь покинет аристократические выси, где она парила, и соблаговолит опуститься на низкую кровлю Джона Седли в Бромптоне и описать, какие события там происходят. И здесь также, в этом скромном жилище, обитают заботы, недоверие и горе. Миссис Клеп, оставшись на кухне вдвоем со своим супругом, ворчит из-за просроченной квартирной платы и подстрекает этого добрейшего человека восстать против старого друга и патрона, а ныне — жильца. Миссис Седли перестала посещать свою квартирную хозяйку в нижних сферах дома и, собственно говоря, находится в таком положении, когда уже нельзя больше обращаться с миссис Клеп покровительственно: как можно снисходить к даме, которой вы задолжали сорок фунтов и которая постоянно делает вам намеки насчет этих денег? Прислуга-ирландка все так же ласкова и почтительна, но миссис

Седли чудится, что она становится дерзкой и неблагодарной; и как вору в каждом кусте мерещится полицейский, так и ей во всех речах и ответах девушки слышатся вызывающие нотки и неприятные намеки. Мисс Клеп, уже превратившуюся во взрослую девушку, раздражительная старая леди считает несносной и нахальной вертушкой. Миссис Седли не в состоянии постичь, как это Эмилия может так любить ее, так часто пускать к себе в комнату и постоянно ходить с нею гулять. Горечь бедности отравила жизнь этой когда-то веселой и добродушной женщины. Она не чувствует к Эмилиии никакой благодарности за ее неизменно кроткое обращение, придирается к ней, когда та старается ей чем-нибудь помочь или услужить, бранит за то, что она глупо гордится своим ребенком, и упрекает за пренебрежение к родителям. Дома у Джорджи не очень весело с тех пор, как дядя Джоз перестал им помогать, и маленькое семейство живет почти что впроголодь.

Эмилия все думает, все ломает себе голову над тем, как бы увеличить жалкие доходы, на которые еле-еле существует семья. Не может ли она давать какие-нибудь уроки? расписывать веера для визитных карточек? заняться вышиванием? Но она видит, что женщины, которые шьют лучше ее, работают не разгибая спины за два пенса в день. Эмилия покупает в художественном магазине два листа бристольского картона с золотым обрезом и расписывает их в меру своего умения: на одном изображается румяный улыбающийся пастушок в пунцовом камзоле на фоне живописного пейзажа, на другом — пастушка, переходящая через мостик, с собачкой, очень тонко заштрихованной. Рассматривая эти беспомощные произведения искусства, приказчик художественного хранилища и бромптонского склада изящных искусств (где она купила экраны, в тщетной надежде, что он приобретет их обратно, когда она разукрасит их своею рукой) не может скрыть презрительной усмешки. Искося взглянув на дожидаящуюся ответа даму, он заворачивает картон в оберточную бумагу и вручает их бедной вдове и мисс Клеп, которая никогда в жизни не видела ничего прекраснее и была совершенно уверена в том, что торговец заплатит за экраны по меньшей мере две гиней. Затем, еще теша себя слабой надеждой, они пробуют

обратиться в другие магазины в центре Лондона. «Не нужно!» — говорят в одном магазине. «Уходите!» — грубо отвечают в другом. Три шиллинга и шесть пенсов истрачены впустую. Экраны попадают в спальню мисс Клеп, которая продолжает считать их прелестными.

Потратив немало времени на составление текста и черновик, Эмилия пишет самым своим красивым почерком изящное объявление, извещающая публику, что: «Леди, имеющая в своем распоряжении несколько свободных часов, желает заняться воспитанием девочек, которым она могла бы преподавать английский и французский языки, географию, историю и музыку. — Обращаться к Э. О., по адресу мистера Брауна». Это объявление Эмилия вручает джентльмену в художественном хранилище, соблаговолившему дать разрешение положить его на прилавок, где оно постепенно покрывается пылью и засиживается мухами. Эмилия много раз печально проходит мимо дверей хранилища — в надежде, что мистер Браун сообщит ей какие-нибудь приятные известия, но он никогда не приглашает ее в магазин. Когда она заходит туда за какими-нибудь мелкими покупками, никаких новостей для нее не оказывается. Бедная, скромная женщина, нежная и слабая, — тебе ли бороться с жестокой и беспощадной нуждой?

С каждым днем заботы и горе гнетут ее все сильнее; она не спускает с сына тревожного взора, значения которого мальчик не может понять. Она вскакивает по ночам и украдкой заглядывает в его комнату, чтобы удостовериться, что он спит и его не похитили. Сама она спит теперь мало. Ее мучают неотвязные думы и страхи. Как она плачет и молится в долгие безмолвные ночи! Как старается скрыть от себя самой мысль, которая снова и снова к ней возвращается, — мысль, что она должна расстаться с мальчиком, что она — единственная преграда между ним и его благополучием! Она не может, не может! Во всяком случае, не теперь; когда-нибудь в другое время. О, слишком тяжело думать об этом, и вынести это невозможно!

Ей приходит в голову одна мысль, от которой она краснеет и смущается: пусть ее пенсия остается родителям; младший священник женится на ней, — он даст приют ей и ребенку. Но портрет Джорджа и память о нем всегда с ней и горько ее упрекают. Стыд и любовь отвергают

такую жертву. Эмилия вся сжимается, как от нечистого прикосновения, и эти мысли не находят себе пристанища в ее чистом и нежном сердце.

Борьба, которую мы описываем в нескольких фразах, длилась в сердце бедной Эмилии много недель. И все это время она никому не поверяла своих сомнений. Она не могла этого сделать, как не могла допустить и мысли о возможности капитуляции, хотя все больше отступала перед врагом, с которым ей приходилось биться. Одна истина за другой молчаливо надвигались на нее и уже не отступали. Бедность и нужда для всех, нищета и унижение для родителей, несправедливость по отношению к мальчику — один за другим падали форты ее маленькой цитадели, где бедняжка ревниво охраняла единственную свою любовь и сокровище.

В начале этой борьбы Эмилия написала брату в Калькутту, слезно умоляя его не отнимать поддержки, которую он оказывал родителям, и в простых, но трогательных словах описывая их беспомощное и бедственное положение. Она не знала жестокой правды: пособие от Джоза выплачивалось попрежнему регулярно, но деньги получал один из ростовщиков в Сити. Старик Седли продал пособие сына, чтобы иметь средства для осуществления своих безрассудных планов. Эмми с нетерпением высчитывала время, которое должно пройти, пока письмо ее будет получено и на него придет ответ. Она отметила в своей записной книжечке день отсылки письма. Опекуну своего сына, доброму майору в Мадрасе, она не сообщала ни о каких своих огорчениях и заботах. Она не писала ему с тех пор, как послала письмо с поздравлением по поводу предстоящего брака. С тоской и отчаянием думала она о том, что этот друг — единственный друг, который питал к ней такую привязанность, — теперь для нее потерян.

Однажды, когда им приходилось особенно туго, — когда кредиторы наседали, мать от горя совсем потеряла голову, отец был мрачнее обыкновенного, члены семейства избегали друг друга и каждый втайне терзался своими собственными несчастьями и обидами, — отец с дочерью случайно остались вдвоем, и Эмилия, чтобы утешить старика, рассказала ему о своем поступке: она написала письмо Джозефу; ответ должен притти через три или четыре месяца. Джоз был всегда великодушен, хотя и

не проявлял сыновней заботы. Он не может отказать, когда узнает, в каком стесненном положении находятся его родители.

Тогда несчастный старик открыл Эмилии всю правду: его сын попрежнему присылает деньги, но он лишился их по собственному своему безрассудству. Он не посмел рассказать об этом раньше. Он решил, что полный отчаяния и ужаса взгляд, который Эмилия устремила на него, когда он трепетным, виноватым голосом пролепетал свое признание, таит в себе укор за его скрытность.

— Ну вот, — произнес он дрожащими губами, отворачиваясь от нее, — ты теперь презираешь своего старого отца!

— О папа, нет! Не в этом дело! — воскликнула Эмилия, бросаясь ему на шею и целуя его. — Ты хороший и добрый. Ты хотел, чтобы всем нам было лучше. Я не из-за денег; это... О боже мой, боже мой! Сжался надо мной и дай мне силу перенести это испытание! — И она опять бурно поцеловала отца и выбежала из комнаты.

Но отец не понял ни смысла этих слов, ни взрыва отчаяния, с каким бедная женщина покинула его. Дело было в том, что она почувствовала себя побежденной. Приговор был произнесен: ребенок должен уехать от нее... к другим, забыть ее. Ее сердце, ее сокровище, ее радость, надежда, любовь, ее кумир — почти ее бог! Она должна отказаться от него, а потом... потом она уйдет к Джорджу; и они вместе будут охранять ребенка и ждать его, пока он не придет к ним на небеса.

Едва сознавая, что делает, Эмилия надела шляпу и отправилась бродить по переулкам, по которым Джорджи возвращался из школы и куда она часто выходила навстречу ему. Был май, уроки в школе кончались рано. Деревья уже покрывались листвой, погода стояла чудесная. Румяный, здоровенький мальчик подбежал к матери, напевая что-то; пачка учебников висела у него на ремне. Вот он! Обеими руками она обняла его. Нет, это невозможно. Неправда, что они должны расстаться!

— Что случилось, мама? — спросил мальчик. — Ты такая бледная.

— Ничего, дитя мое, — ответила она, наклонилась и поцеловала сына.

В тот вечер Эмилия заставила мальчика прочесть ей

историю пророка Самуила: о том как Анна, мать его, отняв ребенка от груди, принесла его к первосвященнику Илии для посвящения ребенка богу. И Джорджи прочел благодарственную песнь, которую пела Анна и в которой говорится о том, кто делает нищим и обогащает, унижает и возвышает, и еще — что бедный будет поднят из праха и что не силою крепок человек. Затем мальчик прочел, как мать Самуила шила ему «одежду малую» и приносила ее ему ежегодно, приходя в храм для принесения положенной жертвы. А потом мать Джорджи бесхитростно и простодушно пояснила ему эту трогательную историю. «Анна, — говорила она, — хотя и сильно любила своего сына, но рассталась с ним, потому что дала такой обет. И она всегда думала о нем, когда сидела далеко от него у себя дома и шила ему «одежду малую». И Самуил, конечно, никогда не забывал своей матери. А как она, должно быть, была счастлива, когда наступило время ее встречи с сыном (ведь годы проходят быстро), и каким он стал большим, добрым и умным!»

Эту маленькую проповедь Эмилия произнесла тихим, проникновенным голосом и с сухими глазами, и только когда она дошла до рассказа о встрече матери с сыном, речь ее вдруг прервалась, нежное сердце переполнилось; прижав мальчика к груди, она качала его на руках и молча лила над ним слезы в святой своей скорби.

Придя к окончательному решению, вдова начала принимать меры, которые казались ей необходимыми для скорейшего достижения цели. Однажды мисс Осборн на Рассел-сквере (Эмилия десять лет не писала ни этого названия, ни номера дома, и ее юность, ее ранние годы вспомнились ей, когда она надписывала адрес) — однажды мисс Осборн получила от Эмилии письмо, при виде которого она сильно покраснела и бросила взгляд на отца, мрачно сидевшего на своем обычном месте на другом конце стола.

В простых выражениях Эмилия излагала причины, побудившие ее изменить свои прежние намерения относительно сына. Отца ее постигли новые злоключения, разорившие его вконец. Ее собственные средства так малы, что их едва хватит на жизнь родителям, а Джорджу она не

сможет дать воспитания, какое ему подобает. Как ни тяжело ей будет расстаться с сыном, но с божьей помощью она все вынесет ради мальчика. Она знает, что те, к кому он уедет, сделают все возможное, чтобы составить его счастье. Она описала характер мальчика, каким он ей представлялся: живой, нетерпеливый, не выносящий резкого и властного обращения, но податливый на ласку и нежность. В заключение она ставила условием получение письменного обещания, что ей будет позволено видаться с мальчиком так часто, как она этого пожелает, — иначе она с ним не расстанется.

— Что? Выходит, госпожа гордячка взялась за ум? — сказал старик Осборн, когда мисс Осборн прочла ему это письмо дрожащим, взволнованным голосом. — Подтянуло от голода живот, а? Ха-ха-ха! Я так и знал, что этим кончится.

Он сделал попытку сохранить свое достоинство и заняться, по обыкновению, чтением газеты, но это не удавалось ему. Прикрывшись газетным листом, он самодовольно посмеивался и ругался вполголоса. Наконец он отложил газету и, хмуро взглянув на дочь, как это вошло у него в привычку, удалился в соседний кабинет, откуда сейчас же вышел снова, с ключом в руке. Он швырнул его мисс Осборн.

— Приготовьте комнату над моей спальней... его прежнюю комнату... — сказал он.

— Хорошо, сэр! — ответила дочь, дрожа всем телом.

Это была комната Джорджа. Ее не открывали больше десяти лет. В ней до сих пор еще оставались его носильные вещи, бумаги, носовые платки, хлыстики, фуражки, удочки, спортивные принадлежности. Список чинов армии 1814 года с именем Джорджа на обложке, маленький словарь, которым он пользовался, когда писал, и библия, подаренная ему матерью, лежали на каминной доске вместе со шпорами и высохшей чернильницей, покрытой десятилетней пылью. Сколько дней и людей кануло в вечность с той поры, когда чернила в ней были еще свежи! На пропускной бумаге бювара, лежавшего на столе, сохранились следы строк, написанных рукою Джорджа.

Мисс Осборн сильно волновалась, когда впервые вошла в эту комнату в сопровождении служанок. С побледневшим лицом она опустила на узкую кровать.

— Слава богу, мэм, слава богу! — сказала экономка. — Старое доброе время опять возвращается, мэм. Милый мальчик! Как он будет счастлив! Но кое-кто в Мейфэре, мэм, не очень-то будет доволен! — И, отодвинув оконный засов, она впустила в комнату свежий воздух.

— Надо послать этой женщине денег, — сказал мистер Осборн перед уходом. — Она не должна нуждаться. Пошли ей сто фунтов.

— И завтра мне можно съездить ее навестить? — спросила мисс Осборн.

— Это твое дело. Только помни, чтобы сюда она не показывалась! Ни в каком случае! Ни за какие деньги в Лондоне! Но нуждаться она теперь не должна. Так что смотри, чтобы все было как следует.

Произнеся эту краткую речь, мистер Осборн распростился с дочерью и отправился своим обычным путем в Сити.

— Вот, папа, немного денег, — сказала в этот вечер Эмилия, целуя старика, и вложила ему в руку стофунтовый банковый билет. — И... и, пожалуйста, мама, не будьте строги с Джорджи. Ему... ему уже недолго остается побыть с нами.

Больше она не могла ничего произнести и молча удалилась в свою комнату. Закроем за нею двери и предоставим ее молитвам и печали. Лучше нам не распространяться о такой великой любви и о таком горе.

Мисс Осборн приехала к Эмили на следующий день, как и обещала в своей записке. Встретились они дружески. Бедной вдове достаточно было взглянуть на мисс Осборн и обменяться с ней несколькими словами, чтобы понять, что уж эта-то женщина во всяком случае не займет первого места в сердце ее сына, — она неглупая и незлая, но холодная. Быть может, матери было бы большее, будь ее соперница красивее, моложе, ласковее, сердечнее. С другой стороны, мисс Осборн подумала о старых временах, вспомнила о былом и не могла не растрогаться при виде жалкого положения бедной Эмили; она была побеждена и, сложив оружие, смиренно покорилась. В этот день они совместно выработали предварительные условия капитуляции.

На другой день Джорджа не посылали в школу, и он увиделся со своей теткой. Эмилия оставила их вдвоем, а сама ушла к себе в комнату. Она репетировала разлуку: так бедная нежная леди Джейн Грэй * ощупывала лезвие топора, который должен был, опустившись, оборвать ее хрупкую жизнь. Несколько дней прошло в переговорах, визитах, приготовлениях. Вдова очень осторожно сообщила великую новость Джорджу; она ждала, что он будет огорчен. Но он скорее обрадовался, чем опечалился, и бедная женщина грустно отошла от него. В тот же день мальчик уже хвастался перед своими товарищами по школе: он сообщил им, что будет теперь жить у своего дедушки, отца его папы, а не того, который приходит иногда в школу; что он будет очень богатый и у него будет свой экипаж и пони; что он перейдет в гораздо лучшую школу, а когда разбогатеет, то купит у Лидера пенал и уплатит свой долг пирожнице. «Мальчик — вылитый отец», — думала любящая мать.

Нет, лишь только я подумаю о нашей бедной Эмилии, перо валится у меня из рук и духу не хватает описать последние дни, проведенные Джорджем дома.

Наконец настал решительный час: подъехала карета, маленькие, скромные свертки с вещественными знаками любви и внимания были уже давно готовы и вынесены в прихожую. Джорджи был в новом костюмчике, для которого портной несколько дней тому назад приходил снимать с него мерку. Мальчик вскочил чуть свет и нарядился в новое платье. Из соседней комнаты, где мать его лежала без сна, в безмолвной тоске, она слышала его возню. Уже за много дней перед тем она стала готовиться к концу: накупила всякой всячины для мальчика, переметила белье, надписала книги, беседовала с ним и подготавливала его к предстоящей перемене в жизни, безрассудно воображая, что он нуждается в такой подготовке.

А ему было все равно, он страстно ждал одного — перемены. Не уставая болтать о том, что он станет делать, когда будет жить с дедушкой, мальчик показывал бедной вдове, как мало беспокоила его мысль о разлуке. Он будет часто приезжать на пони к своей мамочке, говорил Джордж, он будет заезжать за ней в коляске, они будут ездить кататься в Парк, и он подарит ей все, чего она только пожелает. Бедной матери приходилось доволь-

ствоваться такими себялюбивыми доказательствами сыновней привязанности, и она пыталась убедить себя, что сын искренне ее любит. Конечно, он ее любит! Все дети одинаковы, его влечет к себе новизна... нет, нет, он не эгоист, просто ему многого хочется. У него должны быть свои радости, свои честолюбивые стремления. Это она сама, по своему эгоизму и безрассудной любви к сыну, до сих пор отказывала мальчику в том, что принадлежало ему по праву.

Я не знаю ничего трогательнее такого боязливого самоунижения женщины. Как она твердит, что это она виновата, а не мужчина! Как принимает всю вину на себя! Как домогается примерного наказания за преступления, которых она не совершала, и упорно выгораживает истинного виновника! Жесточайшие обиды наносят женщинам те, кто больше всего видит от них ласки; это — прирожденные трусы и тираны, и они терзают тех, кто всех смиреннее им подчиняется.

Так бедная Эмилия, затаив свое горе, собирала сына в дорогу и провела много-много долгих одиноких часов в приготовлениях к концу. Джорджи беззаботно взирал на хлопоты матери. Слезы капали в его ящики и картонки; в его любимых книгах подчеркивались карандашом наиболее интересные места; старые игрушки, реликвии, сокровища откладывались в сторону и упаковывались заботливо и тщательно, — всего этого мальчик не замечал. Ребенок уходит от матери улыбаясь, тогда как материнское сердце разрывается от муки. Честное слово, грустно смотреть на безответную любовь женщин к детям на Ярмарке Тщеславия!

Прошло еще несколько дней, и роковое событие в жизни Эмилии совершилось. Никакой ангел не вмешался. Ребенок отдан на заклатие и принесен в жертву судьбе. Вдова осталась в полном одиночестве.

Разумеется, мальчик часто ее навещает. Он приезжает верхом на пони, в сопровождении конюха, к восхищению своего старого дедушки Седли, который гордо шествует по улице рядом с ним. Эмилия видается с сыном, но он уже больше не ее мальчик. Ведь он приезжает повидаться и с мальчиками в маленькой школе, где он раньше учился, чтобы покрасоваться перед ними своим новым богатством и великолепием. В два дня он усвоил слегка повелитель-

ный тон и покровительственные манеры. «Он рожден повелевать, — думает она, — таким же был и его отец».

Наступила чудесная погода. По вечерам, в те дни, когда Эмилия не ждет мальчика к себе, она совершает далекие прогулки пешком в город — доходит до самого Рассел-сквера и садится на камень у решетки сада против дома Осборна. Там так приятно и прохладно! Можно поднять голову и увидеть освещенные окна гостиной, а около девяти часов — комнаты в верхнем этаже, где спит Джорджи. Она знает: он рассказал ей. Когда в этом окне гаснет свет, она молится — молится, смиряясь сердцем, и идет домой, погруженная в свои думы. Домой она приходит очень усталая. Наверно, она лучше уснет после такой длинной, утомительной прогулки, и может быть... может быть, ей приснится Джорджи.

Однажды, в воскресенье, когда в церквях звонили во все колокола, она гуляла по Рассел-скверу, в некотором отдалении от дома мистера Осборна (однако же так, чтобы не терять этот дом из глаз), и видела, как Джордж с теткой вышли из подъезда и направились в церковь. Какой-то маленький нищий попросил милостыню, и лакей, несший молитвенники, хотел прогнать его. Но Джорджи остановился и подал нищему монету. Да благословит бог мальчика! Эмми обежала кругом сквера и, подойдя к нищему, подала ему и свою лепту. Праздничные колокола звонили, и Эмилия, следом за теми двумя, направилась к церкви Воспитательного дома, куда и вошла. Там она заняла место, откуда могла видеть голову сына у подножья статуи, воздвигнутой в память его отца. Сотни чистых детских голосов звучали там и пели хвалу всевышнему; и душа маленького Джорджи трепетала от восторга при звуках торжественных песнопений. Некоторое время мать не могла его разглядеть сквозь пелену, заставшую ее взор.



ГЛАВА II,

*где разыгрывается шарада, которая, быть может,
поставит, а быть может, и не поставит
читателя в тупик*

После появления Бекки на интимных и изысканных приемах у лорда Стайна права этой достойной женщины в отношении света были утверждены, и перед нею распахнулись некоторые из самых огромных и самых величественных дверей в столице — дверей столь огромных и величественных, что любезному читателю и автору сей книги нечего и надеяться когда-либо в них войти. Дорогие братья, остановимся в трепете перед этими священными вратами! Я представляю себе, что их охраняют лакеи с пылающими серебряными трезубцами, которыми они пронзают всех тех, у кого не имеется разрешения на вход. Говорят, что честный малый, присланный из газеты, чтобы сидеть у подножия лестницы и записывать имена всех великих людей, допускаемых к этим пиршествам, спустя короткое время умирает: он не в состоянии долго

выносить ослепительный блеск большого света, опаляющий его, подобно тому как появление Юпитера в полном парадном облачении испепелило бедную, неразумную Семелу *, эту легкомысленную бабочку, которая погубила себя, когда отважилась покинуть отведенные ей пределы. Многим из нас, и в Тайберне * и в Бельгрейвии *, следовало бы призадуматься над этим мифом, а, может, также и над историей Бекки. Ах, милые дамы! Спросите у преподобного мистера Терифера: разве Бельгрейвия не медь звенящая, а Тайберния не кимвал бряцающий? Все это суета. А она пройдет! Наступит день (слава богу, мы не доживем до него!), когда цветники Хайд-парка будут так же мало известны, как и знаменитые садоводства в пригородах Вавилона, а Бельгрейв-сквер станет таким же безлюдным, как Бейкер-стрит или как затерянный в пустыне Тадмор *.

Милые дамы, известно ли вам, что на Бейкер-стрит жил великий Питт? Чего бы только не дали ваши бабушки за приглашение на прием у леди Эстер * в этом ныне запущенном особняке! Я сам обедал там, — да, *moi qui vous parle* ¹. Я населил комнату призраками великих мертвецов. И тени усопших явились и заняли свои места вокруг мрачного стола, за которым сидели мы, люди нынешнего века, и скромно потягивали красное вино. Кормчий, выдержавший немало бурь, одним глотком осушал большие стаканы призрачного портвейна; призрак Дандаса бросало в дрожь от тени недопитого стакана; Эдингтон, кривясь в замогильной усмешке, самодовольно кивал головой и не отставал от других, когда бутылка бесшумно ходила вкруговую; Скотт * шурился из-под мохнатых бровей на фикцию старого вина. Уилберфорс сидел, подняв глаза к потолку, и, казалось, сам не знал, каким образом стакан попадает ему в рот полным и опускается на стол пустым, — сидел, подняв глаза к тому самому потолку, который был над нами только вчера и на который смотрели все великие люди последнего времени. Теперь в этом доме сдаются меблированные комнаты. Да, леди Эстер жила когда-то на Бейкер-стрит и покоится непробудным сном в пустыне. Эотен * видел ее там — не на Бейкер-стрит, а в другом ее уединенном убежище.

¹ Я, говорящий с вами (франц.).

Все это, конечно, суета; но кто не признается в том, что в небольших дозах она приятна? Хотелось бы мне знать, какому разумному человеку не нравится ростбиф только потому, что он не вечен? Это тоже суета; но дай бог каждому из моих читателей, хотя бы их было пятьсот тысяч, всю свою жизнь съедать в обед хорошую порцию ростбифа. Садитесь, джентльмены, не стесняйтесь, желаю вам приятного аппетита. Вот с жирком, вот попостнее, вот подливка, а не угодно ли и хрену — не церемоньтесь. Еще стаканчик винца, мой милый Джонс, еще кусочек понежнее! Будем досыта вкушать от всего суетного и будем благодарны за это! И примем также с лучшей стороны великосветские развлечения Бекки, ибо и они, подобно всем другим радостям смертных, тоже преходящи!

Следствием приглашения Ребекки к лорду Стайну было то, что его сиятельство князь Петроварадинский воспользовался случаем возобновить свое знакомство с полковником Кроули, когда они встретились на следующий день в клубе, и приветствовал миссис Кроули в Хайд-парке, почтительно сняв перед нею шляпу. Бекки и ее супруг были немедленно приглашены на один из интимных вечеров князя в Левант-хаусе, в котором проживал тогда его высочество, поскольку благородный владелец дома находился в отлучке за пределами Англии. После обеда Бекки пела самому избранному кругу гостей. Присутствовал и маркиз Стайн, отечески наблюдавший за успехами своей питомицы.

В Левант-хаусе Бекки встретилась с одним из самых блестящих джентльменов и величайших дипломатов, каких когда-либо порождала Европа, — с герцогом де ля Жаботьером, в то время посланником христианнейшего короля *, а впоследствии министром того же монарха. Честное слово, я готов лопнуть от гордости, когда пишу эти прославленные имена. Подумайте, в каком блестящем обществе вращается моя дорогая Бекки! Она сделалась желанною гостьей во французском посольстве, где ни один прием не считался удавшимся без очаровательной мадам Родон Кроули.

Оба атташе посольства, господы де Трюфиньи (родом

из Перигора) и Шампиньяк, были сражены чарами прекрасной полковницы, и оба заявляли, как свойственно их нации (ибо видел ли кто француза, вернувшегося из Англии, который не оставил бы там десяток обманутых мужей и не увез с собою в бумажнике столько же разбитых сердец?), — оба они, говорю я, заявляли, что были *au mieux*¹ с очаровательной мадам Родон.

Но я сомневаюсь в правильности этого утверждения. Шампиньяк увлекался экарте и целые вечера проводил с полковником за картами, в то время как Бекки пела лорду Стайну в соседней комнате. Что же касается Трюфиньи, то всем прекрасно известно, что он не смел показываться в «Клубе Путешественников», где задолжал лакеям, и, не будь у него дарового стола в посольстве, этому достойному джентльмену грозила бы голодная смерть. Поэтому, повторяю, я сомневаюсь, чтобы Бекки могла оказать кому-либо из этих молодых людей свое особое расположение. Они были у нее на побегушках, покупали ей перчатки и цветы, залезали в долги, платя за ее логи в оперу, и угождали ей на тысячу ладов. По-английски они объяснялись с обворожительной наивностью, и Бекки, к неизменной потехе лорда Стайна, передразнивала того и другого прямо в лицо и тут же с самым серьезным видом говорила им комплименты насчет их успехов в английском языке, чем приводила в восторг своего язвительного покровителя. Чтобы завоевать симпатии наперсницы Бекки — Бригс, Трюфинья подарил ей шаль, а затем попросил ее передать письмо, но простодушная старая дева вручила его при всех той особе, которой оно было адресовано. Произведение это весьма позабавило каждого, кто читал его. Читал его и лорд Стайн; читали все, кроме честного Родона: сообщать ему обо всем, что происходило в мейфэрском домике, не считалось обязательным.

Вскоре Бекки начала принимать у себя не только «лучших иностранцев» (как говорится на нашем благородном светском жаргоне), но и лучших представителей английского общества. Я не разумею под этим людей наиболее добродетельных или даже наименее добродетельных, или самых умных, или самых глупых, самых богатых, или самых родовитых, но просто «лучших» — сло-

¹ В наилучших отношениях (*франц.*).

вом, людей, о которых не может быть никаких разговоров: таких, например, как знатная леди Фиц-Уилис, эта святая женщина, патронесса Олмека*; знатная леди Слоубор, знатная леди Гризель Макбет (урожденная леди Г. Глаури, дочь лорда Грэя Глаури) и тому подобные особы. Когда графиня Фиц-Уилис (ее милость принадлежит к семейству с Кинг-стрит, — смотри справочники Дебрета и Берка*) благоволит к кому-нибудь, то предмет ее расположения, будь то мужчина или женщина, уже вне опасности. О них уже не может быть никаких разговоров. Не потому, чтобы миледи Фиц-Уилис была чем-либо лучше всякой другой женщины, — наоборот: это увядшая особа, пятидесяти семи лет от роду, некрасивая, небогатая и незанимательная; но все согласны в том, что она принадлежит к категории «лучших», — а значит, те, кто у нее бывает, тоже принадлежат к «лучшим». И, вероятно, из-за старой вражды к леди Стайн (ибо в давние времена, когда ее милость, дочь графа Портеншери, любимца принца Уэльского, была еще юной Джорджиной Фредерикой, она сама мечтала стать леди Стайн), эта знатная руководительница светского общества соблаговолила признать миссис Родон Кроули. Она сделала ей изысканнейший реверанс на многолюдном собрании, которое возглавляла, и не только поощряла своего сына, Сент-Китса (получившего должность стараниями лорда Стайна), посещать дом миссис Кроули, но пригласила ее к себе и во время обеда на глазах у всех дважды удостоила ее разговором. Этот важный факт в тот же вечер стал известен всему Лондону. Люди, отзывавшиеся о миссис Кроули пренебрежительно, умолкли: Уэнхем, остряк, поверенный и правая рука лорда Стайна, повсюду расхваливал Бекки. Многие из тех, кто до сих пор колебался, стали ее горячими сторонниками: так, маленький Том Тоди, который раньше не советовал Саутдауну бывать у женщины с столь сомнительной репутацией, теперь сам добивался чести быть ей представленным. Словом, Бекки была допущена в круг «лучших» людей. Ах, мои возлюбленные читатели и братья, не завидуйте бедной Бекки раньше времени: говорят, такая слава мимолетна. Ходит упорный слух, что даже в самых избранных кругах люди ничуть не счастливее, чем бедные скитальцы, которым нет туда доступа. И Бекки, проникшая в самое сердце светского

общества и видевшая лицом к лицу великого Георга IV, признавалась потом, что и там тоже были Суэта и Тщеславие.

Нам приходится быть краткими в описании этой части ее карьеры. Подобно тому как я не берусь описывать франкмасонские таинства, — хотя и твердо убежден, что это чепуха, — так непосвященный пусть лучше не берется за изображение большого света и держит свое мнение при себе, каково бы оно ни было.

Бекки в последующие годы часто говорила о той поре своей жизни, когда она вращалась в самых высоких кругах лондонского света. Ее успехи радовали ее, кружили ей голову, но потом наскучили. Сперва для нее не было более приятного занятия, чем придумывать и раздобывать (замечу кстати, что при тех ограниченных средствах, какими располагала миссис Родон Кроули, последнее было нелегким делом и требовало большой изобретательности) — раздобывать, говорю я, новые наряды и украшения; ездить на обеды в изысканное общество, где ее гостеприимно встречали великие мира сего, а с пышных обедов спешить на пышные вечера, куда являлись те же самые лица, с которыми она обедала, которых встречала накануне вечером и увидит завтра, — безукоризненно одетые молодые люди, с красиво повязанными галстуками, в блестящих сапогах и белых перчатках; пожилые, солидные толстяки, с медными пуговицами, с благородной осанкой, вежливые и прозаические; девицы, белокурые, робкие, все в розовом; мамыши, разодетые, торжественно-важные, в брильянтах. Они беседовали по-английски, а не на скверном французском языке, как в романах. Они беседовали о своих домах, о поведении и о семействах своих ближних: совершенно так же, как Джонсы говорят о Смидах. Прежние знакомые Бекки ненавидели ее и завидовали ей, а бедная женщина сама зевала от скуки. «Хоть бы покончить со всем этим, — думала она. — Лучше бы мне быть замужем за священником и обучать детей в воскресной школе, чем вести такую жизнь; или же быть женой какого-нибудь сержанта и разъезжать в полковой фуре; или... всего веселее было бы надеть усыпанный блестками костюм и танцевать на ярмарке перед балаганом!»

— У вас это отлично бы вышло, — сказал со смехом

лорд Стайн. Бекки простодушно поверяла великому человеку свои *ennuis*¹ и заботы; это забавляло его.

— Из Родона получился бы очень хороший шталмейстер... церемониймейстер... как это называется?... такой человек в больших сапогах и мундире, который ходит по арене и пощелкивает бичом. Он рослый, дородный, и выправка у него военная. Помню, — продолжала Бекки задумчиво, — когда я была еще ребенком, отец как-то повез меня в Брук-Грин на ярмарку. После этого я смастерила себе ходули и отплясывала в отцовской мастерской на удивление всем ученикам.

— Хотелось бы мне на это поглядеть! — сказал лорд Стайн.

— Хотелось бы мне так поплясать теперь, — подхватила Бекки. — Вот удивилась бы леди Блинки, вот ужаснулась бы леди Гризель Макбет! Тс! тише! Паста сейчас будет петь.

Бекки взяла себе за правило быть особо вежливой по отношению к профессиональным артисткам и артистам, выступавшим на этих аристократических вечерах; она отыскивала их по углам, где они молча сидели, пожимала им руки и улыбалась на виду у всех. Ведь она сама артистка, замечала она, — и совершенно справедливо: в манере, с какой она признавалась в своем происхождении, чувствовались откровенность и скромность, которые возмущали, обезоруживали или забавляли зрителей, смотря по обстоятельствам. «Какое бесстыдство проявляет эта женщина, — говорили одни, — какой напускает на себя независимый вид, когда ей следовало бы сидеть смиренненько и быть благодарной, что с ней разговаривают!» — «Что за честное и добродушное создание!» — говорили другие. «Какая хитрая кривляка!» — говорили третьи. Все они, вероятно, были правы; но Бекки поступала по-своему и так очаровывала артистов, что те, позабыв о своих надорванных глотках, выступали у нее на приемах и даром давали ей уроки.

Да, Бекки устраивала приемы в маленьком доме на Керзон-стрит. Десятки карет, сверкая фонарями, забивали улицу, к неудовольствию дома № 200, который не знал покоя от громкого стука в двери, и дома № 202, который не

¹ Докуки (франц.).

мог уснуть от зависти. Рослые выездные лакеи гостей не поместились бы в маленькой прихожей Бекки, поэтому их расквартировывали по соседним питейным заведениям, откуда посыльные мальчики вызывали их по мере надобности, отрывая от пива. Первейшие лондонские денди, сталкиваясь нос к носу на тесной лестнице, смеясь спрашивали друг друга, как они здесь очутились; и много безупречных и тонных дам сиживало в маленькой гостиной, слушая пение профессиональных певцов, которые, по своему обыкновению, пели так, словно им хотелось, чтобы из оконных рам повылетели стекла. А на следующий день в газете «Морнинг пост» среди описания светских réunions¹ появлялась заметка такого содержания:

«Вчера у полковника и миссис Кроули в их доме в Мейфэре состоялся званый обед для избранного общества. Присутствовали их сиятельства князь и княгиня Петроварадинские, его превосходительство турецкий посланник Папуш-паша (в сопровождении Кибоб-бея, драгомана посольства), маркиз Стайн, граф Саутдаун, сэр Питт и леди Джейн Кроули, мистер Уэг и т. д. После обеда у миссис Кроули состоялся раут, который посетили: герцогиня (вдовствующая) Стилтон, герцог де ля Грюйер, маркиза Чеширская, маркиз Алессандро Стракино, граф де Бри, барон Шапцугер, кавалер Тости, графиня Слингстоун и леди Ф. Македем, генерал-майор и леди Г. Макбет и две мисс Макбет; виконт Педингтон, сэр Хорес Фоги, почтенный Бедвин Сендс, Бобачи Беховдер и т. д.». Читатель может продолжать этот список по своему усмотрению еще на десяток строк убористой печати.

В своих сношениях с великими людьми наша приятельница обнаруживала то же прямодушие, каким отличалось ее обращение с людьми, ниже стоящими. Раз как-то, будучи в гостях в одном очень знатном доме, Ребекка (вероятно, не без умысла) беседовала на французском языке со знаменитым тенором-французом, а леди Гризель Макбет хмуро глядела через плечо на эту парочку.

— Как отлично вы говорите по-французски, — сказала леди Макбет, сама говорившая на этом языке с весьма своеобразным эдинбургским акцентом.

— Это не удивительно, — скромно ответила Бекки, по-

¹ Собраний (франц.).

тупив глазки.—Я преподавала французский язык в школе, и моя мать была француженкой.

Леди Гризель была побеждена ее смиренностью, и чувства ее по отношению к маленькой женщине смягчились. Она приходила в ужас от пагубных веяний нашего века, когда стираются все грани и люди любого класса получают доступ в высшее общество; однако же не могла не признать, что данная особа по крайней мере умеет себя вести и никогда не забывает своего места. Леди Гризель была очень хорошей женщиной — доброй по отношению к бедным, глупой, безупречной, доверчивой. Нельзя ставить в вину ее милости то, что она считает себя лучше нас с вами: в течение долгих веков люди целовали край одежды ее предков; говорят, еще тысячу лет тому назад лорды и советники покойного Дункана лобызали клетчатую юбочку главы ее рода, когда сей славный муж стал королем Шотландии.

После сцены у рояля сама леди Стайн не устояла перед Бекки и, быть может, даже почувствовала к ней некоторую симпатию. Младших дам дома Гонтов тоже принудили к повиновению. Раз или два они напускали на Бекки своих приспешников, но потерпели неудачу. Блестящая леди Станингтон попробовала было померяться с нею силами, но была разбита наголову бесстрашной маленькой Бекки. Когда на нее нападали, Бекки ловко принимала вид застенчивой *ingénue*¹ и под этой маской была особенно опасна: она отпускала ядовитейшие замечания самым естественным и непринужденным тоном, а потом простодушно просила извинения за свои промахи, тем самым доводя их до сведения всех и каждого.

Однажды вечером, по наущению дам, в атаку на Бекки двинулся мистер Уэг, прославленный остряк, прихлебатель лорда Стайна. Покосившись на своих покровительниц и подмигнув им, как бы желая сказать: «Сейчас начнется потеха», он напал на Бекки, которая беззаботно наслаждалась обедом. Маленькая женщина, всегда бывшая во всеоружии, мгновенно приняла вызов, отпарировала удар и ответила таким выпадом, что Уэга даже в жар бросило от стыда. После чего она продолжала есть суп с полнейшим спокойствием и с тихой улыбкой на устах.

¹ Простушки (франц.).

Беликий покровитель Уэга, кормивший его обедами и иногда ссужавший ему немного денег за хлопоты по выборам и по газетным и иным делам, бросил на несчастного такой свирепый взгляд, что Уэг едва под стол не свалился и не расплакался. Он жалобно поглядывал то на милорда, который за весь обед не сказал ему ни единого слова, то на дам, которые, разумеется, отступились от него. В конце концов сама Бекки сжалась над ним и попыталась вовлечь его в разговор. После этого Уэга не приглашали обедать в течение шести недель; и Фичу, доверенному лицу милорда, за которым Уэг, конечно, усердно ухаживал, было приказано довести до его сведения, что если он еще раз посмеет сказать миссис Кроули какую-нибудь дерзость или сделать ее мишенью своих глупых шуток, то милорд передаст юристу для взыскания все его векселя, и тогда пусть не ждет пощады. Уэг разрыдался и стал молить своего дорогого друга Фича о заступничестве. Он написал поэму в честь миссис Р. К. и напечатал ее в ближайшем номере журнала «Набор слов», который сам же издавал. При встречах с Бекки на вечерах он всячески к ней подлизывался. Он раболепствовал и заискивал в клубе перед Родоном. Спустя некоторое время ему было разрешено вновь появиться в Гонт-хаусе. Бекки была всегда добра к нему, и всегда весела, и никогда не сердилась.

Мистер Уэнхем, великий визирь и главный доверенный его милости (имевший прочное место в парламенте и за обеденным столом милорда), был гораздо благоразумнее мистера Уэга как по своему поведению, так и по образу мыслей. При всей своей ненависти ко всяким парвеню (сам мистер Уэнхем был непреклонным тори, отец же его — мелким торговцем углем в Северной Англии), этот адъютант маркиза не обнаруживал никаких признаков враждебности по отношению к новой фаворитке. Напротив, он донимал ее вкрадчивой любезностью и лукавой и почти-тельной вежливостью, от которых Бекки порою ежилась больше, чем от явного недоброжелательства других людей.

Каким образом чета Кроули добывала средства на устройство приемов для своих великосветских знакомых, было тайной, в свое время возбуждавшей немало толков и, может быть, придававшей этим маленьким раутам известный оттенок пикантности. Одни уверяли, что сэр

Питт Кроули выдает своему брату порядочную субсидию; если это верно, то, значит, власть Бекки над баронетом была поистине огромна и его характер сильно изменился с возрастом. Другие намекали, что у Бекки вошло в привычку взимать контрибуцию со всех друзей своего супруга: к одному она являлась в слезах и рассказывала, что в доме описывают все имущество, перед другим падала на колени, заявляя, что все семейство вынуждено будет идти в тюрьму или же кончить жизнь самоубийством, если не будет оплачен такой-то и такой-то вексель. Говорили, что лорд Саутдаун, тронутый столь жалкими словами, дал Ребекке не одну сотню фунтов. Юный Фельтем *** драгунского полка (сын владельца фирмы «Тайлер и Фельтем», шапочники и поставщики военного обмундирования), которого Кроули ввели в фешенебельные круги, также упоминался в числе данников Бекки; ходили слухи, что она брала деньги у разных доверчивых людей, обещая выхлопотать им ответственный пост на государственной службе. Словом, каких только историй не рассказывалось о нашем дорогом и невинном друге! Верно лишь одно: если бы у Ребекки были все те деньги, которые она будто бы выклянчила, заняла или украла, то она могла бы составить себе капитал и вести честную жизнь до могилы, между тем как... но мы забегаем вперед.

Правда и то, что при экономии и умении хозяйничать, скупко расходуя наличные деньги и почти не платя долгов, можно ухитриться, хотя бы короткое время, вести жизнь на широкую ногу при очень ограниченных денежных средствах. И вот нам кажется, что пресловутые вечера Бекки, — которые она в конце концов устраивала не так уж часто, — стоили этой леди немногим больше того, что она платила за восковые свечи, освещавшие ее комнаты. Стилбрук и Королевское Кроули снабжали ее в изобилии дичью и фруктами. Погреба лорда Стайна были к ее услугам, а знаменитые повара этого вельможи вступали в управление ее маленькой кухней или же, по приказу милорда, посылали ей редчайшие деликатесы собственного изготовления. Я считаю, что очень стыдно порочить простое, бесхитростное существо, как современники порочили Бекки, и предупреждаю публику, чтобы она не верила и одной десятой доле всего того, что болтали об этой женщине. Если мы вздумаем изгонять из общества вся-

кого, кто залезает в долги и не может их платить, если мы начнем заглядывать в личную жизнь каждого, проверять его доходы и отворачиваться от него, чуть только нам не понравится, как он тратит деньги, то какой же мрачной пустыней и несносным местопребыванием покажется нам Ярмарка Тщеславия! Каждый будет тогда готов поднять руку на своего ближнего, дорогой мой читатель, и со всеми благами цивилизации будет покончено. Мы будем ссориться, поносить друг друга, избегать всякого общения. Наши дома превратятся в пещеры, и мы начнем ходить в лохмотьях, потому что всем будет на всех наплевать. Арендная плата за дома понизится. Не будет больше званых вечеров. Все городские торговцы разорятся. Вино, восковые свечи, сласти, румяна, кринолины, брильянты, парики, безделушки в стиле Людовика XIV, старый фарфор, верховые лошади и великолепные рысак — одним словом, все радости жизни — полетят к черту, если люди будут руководствоваться своими глупыми принципами и избегать тех, кто им не нравится и кого они бранят. Тогда как при некоторой любви к ближнему и взаимной снисходительности все идет как по маслу: мы можем ругать человека, сколько нашей душе угодно, и называть его величайшим негодяем, по котором плачет веревка, — но разве мы хотим, чтобы его и вправду повесили? Ничуть не бывало! При встречах мы пожимаем ему руку. Если у него хороший повар, мы прощаем ему и едем к нему на обед, рассчитывая, что и он поступит так же по отношению к нам. Таким образом, торговля процветает, цивилизация развивается, все живут в мире и согласии, еженедельно требуются новые платья для новых приемов и вечеров, а прошлогодний сбор лафитовского винограда приносит обильный доход почтенному владельцу, насадившему эти лозы.

Хотя в ту эпоху, о которой мы пишем, на троне был великий Георг и дамы носили рукава *gigots*¹, а в прическах — огромные гребни наподобие черепаховых лопат, вместо простеньких рукавов и изящных веночков, которые сейчас в моде, однако нравы высшего света, сколько я понимаю, не отличались существенно от нынешних, и развлечения его были примерно те же, что и теперь. Нам,

¹ Жиго (окорока) (франц.).

сторонним наблюдателям, глазеющим через плечи полицейских на ослепительных красавиц, когда те едут ко двору или на бал, они кажутся какими-то неземными созданиями, наслаждающимися небывалым счастьем, для нас недостижимым. Для утешения этих завистников мы и рассказываем о борьбе и триумфах нашей дорогой Бекки, а также о разочарованиях, выпавших на ее долю наравне с другими достойными особами.

В то время мы только что позаимствовали из Франции веселое развлечение — разыгрывание шарад. Оно было довольно модным у нас в Англии, так как давало возможность многим нашим дамам, наделенным красотой, выступать в выгодном свете свои прелести, а немногим, наделенным умом, — обнаруживать свое остроумие. Бекки, вероятно считавшая, что она обладает обоими названными качествами, уговорила лорда Стайна устроить в Гонт-хаусе вечер, в программу которого входило несколько таких маленьких драматических представлений. Мы будем иметь удовольствие ввести читателя на это блестящее *réunion*, причем отметим с грустью, что оно будет одним из самых последних великосветских собраний, какие нам удастся ему показать.

Часть великолепной залы — картинной галереи Гонт-хауса — была приспособлена под театр. Ею пользовались для театральных представлений еще в царствование Георга III, и до сих пор сохранился портрет маркиза Гонта с напудренными волосами и розовой лентой на римский манер, как тогда говорили, — в роли Катона * в одноименной трагедии мистера Аддисона, разыгранной в присутствии их королевских высочеств принца Уэльского, епископа Оснабрюкского и принца Вильяма Генри в бытность их всех детьми примерно того же возраста, что и сам актер. Кой-какую старую бутафорию извлекли с чердаков, где она валялась еще с того времени, и заново освежили для предстоящих торжеств.

Распорядителем праздника был молодой Бедвин Сендс, в ту пору блестящий денди и путешественник по Востоку. В те дни путешественников по Востоку уважали, и отважный Бедвин, выпустивший *in quartc* ¹ описание своих стран-

¹ В четвертую долю листа (лат.).

ствий и проведший несколько месяцев в палатке в пустыне, был особой немаловажной. В книге было помещено несколько портретов Сендса в различных восточных костюмах, а путешествовал он с черным слугой самой отталкивающей наружности, совсем как какой-нибудь Бриан де Буа Гильбер. Бедвин, его костюмы и черный слуга были восторженно встречены в Гонт-хаусе, как весьма ценное приобретение.

Бедвин открыл вечер шарад. Военного вида турок с огромным султаном из перьев (считалось, что янычары до сих пор существуют, и потому феска еще не вытеснила старинного и величественного головного убора правоверных) возлежал на диване, делая вид, что пускает клубы дыма из кальяна, в котором, однако, из уважения к дамам курилась только ароматическая лепешка. Агá зевает, проявляя все признаки скуки и лени. Он хлопает в ладоши, и появляется нубиец Мезрур, с запястьями на обнаженных руках, с ятаганами и всевозможными восточными украшениями, — жилистый, рослый и безобразный. Он почтительно приветствует своего господина.

Дрожь ужаса и восторга охватывает собрание. Дамы перешептываются. Этот черный раб был отдан Бедвину Сендсу одним египетским пашой в обмен на три дюжины бутылок мараскина. Он зашил в мешок и спихнул в Нил не меньшее количество одалисок.

«Введите торговца невольниками», — говорит турецкий сластолюбец, делая знак рукой. Мезрур вводит торговца невольниками; тот ведет с собой закутанную в покрывало женщину. Торговец снимает покрывало. Зал разражается громом аплодисментов. Это миссис Уинкворт (урожденная мисс Авессалом), черноокая красавица с прекрасными волосами. Она в роскошном восточном костюме: черные косы перевиты бесчисленными драгоценностями, платье сверкает золотыми пиастрами. Гнусный магометанин говорит, что он очарован ее красотой. Она падает перед ним на колени, умоляя отпустить ее домой, в родные горы, где влюбленный в нее черкес все еще оплакивает разлуку со своей Зулейкой. Но никакие мольбы не могут растрогать черствого Гасана. При упоминании о женихе-черкесе он разражается смехом. Зулейка закрывает лицо руками и опускается на пол в позе самого очаровательного отчаяния. Повидимому, ей

уже не на что надеяться, как вдруг... как вдруг появляется Кизляр-ага.

Кизляр-ага привозит письмо от султана. Гасан берет в руки и возлагает на свою голову грозный фирман*. Смертельный ужас охватывает его, а лицо негра (это опять Мезрур, уже успевший переменить костюм) озаряется злобной радостью.

— Пошады, пошады! — восклицает паша, а Кизляр-ага со страшной улыбкой достает... шелковую удавку.

Занавес падает в тот момент, когда нубиец уже собирается пустить в ход это ужасное орудие смерти. Гасан из-за сцены кричит:

— Первые два слога!

И миссис Родон Кроули, которая тоже будет участвовать в шараде, подходит к миссис Уинкворт и осыпает ее комплиментами, восторгаясь изумительным изяществом и красотой ее костюма.

Начинается вторая часть шарады. Действие снова происходит на Востоке. Гасан, уже в другом костюме, сидит в нежной позе рядом с Зулейкой, которая совершенно с ним примирилась. Кизляр-ага превратился в смиренного черного раба. Восход солнца в пустыне; турки обращают свои взоры к востоку и кланяются до земли. Верблюдов под рукой не имеется, поэтому оркестр весело играет «А вот идут дромадеры». Огромная голова египтянина появляется на сцене. Голова эта обладает музыкальными способностями и, к удивлению восточных путешественников, исполняет куплеты, написанные мистром Уэгом. Восточные путешественники пускаются в пляс, подобно Папагено и мавританскому королю в «Волшебной флейте».

— Последние два слога! — кричит голова.

Разыгрывается последнее действие. На сей раз это греческий шатер. Какой-то рослый мужчина отдыхает в нем на ложе. Над ним висят его шлем и щит. Они ему больше не нужны. Илион пал. Ифигения убита. Кассандра в плену и находится где-то во внешних покоях. Владыка мужей, «анакс андрон» (это полковник Кроули, который, конечно, не имеет никакого представления ни о разграблении Илиона, ни о пленении Кассандры), спит в своей опочивальне в Аргосе. Светильник отбрасывает на стену огромную колеблющуюся тень спящего воина; поблески-

вают в полумраке троянский меч и щит. Оркестр играет грозную и торжественную музыку из «Дон Жуана» перед появлением статуи командора.

В шатер входит на цыпочках бледный Эгист*. Чье это страшное лицо мрачно следит за ним из-за полога? Эгист поднимает кинжал, чтобы поразить спящего, который поворачивается на постели и словно подставляет под удар свою широкую грудь. Но он не может нанести удар спящему военачальнику! Клитемнестра*, словно привидение, быстро проскальзывает в опочивальню; ее белые руки обнажены, золотистые волосы рассыпались по плечам, лицо смертельно бледно, а глаза сияют такой страшной улыбкой, что у зрителей сжимается сердце.

Трепет пробегает по зале.

— Великий боже! — произносит кто-то, — это миссис Родон Кроули!

Презрительным жестом она вырывает кинжал из рук Эгиста и приближается к ложу. Клинок сверкает у нее над головой в мерцании светильника; светильник гаснет, раздается стон — и все погружается во мрак.

Темнота и самая сцена напугали публику. Ребекка сыграла свою роль так хорошо и так натурально, что зрители онемели. Но вот снова загорелись сразу все лампы, и тут разразилась буря восторгов. «Браво! браво!» — заглушал все голоса резкий голос старого Стайна. «Черт подери, она и правда способна на такую штуку!» — пробормотал он сквозь зубы. Исполнителей вызывал весь зал, гремевший криками: «Режиссера! Клитемнестру!» Агамемнон не пожелал показаться на люди в своей классической тунике и держался на заднем плане вместе с Эгистом и другими исполнителями. Мистер Бедвин Сендс вывел вперед Зулейку и Клитемнестру. Некий член королевской фамилии потребовал, чтобы его представили очаровательной Клитемнестре.

— Ну что? Пронзили его насквозь? Теперь можно выйти замуж за кого-нибудь другого? — таково было удачное замечание, сделанное его королевским высочеством.

— Миссис Родон Кроули была неподражаема, — заметил лорд Стайн.

Бекки засмеялась, бросила на него веселый и дерзкий взгляд и сделала очаровательный реверанс.

Слуги внесли подносы, уставленные прохладительными лакомствами, и актеры скрылись, чтобы подготовиться ко второй шараде.

Три слога этой шарады изображались как три действия одной пьесы, и представление было разыграно в таком виде:

Первый слог. Полковник и кавалер ордена Бани Родон Кроули, в шляпе с широкими полями и в длинном плаще, с посохом и с фонарем, взятым для этого случая из конюшни, проходит через сцену, громко выкрикивая что-то, как бы оповещаая жителей о позднем часе. В окне нижнего этажа видны два странствующих торговца, видимо играющие в крибедж и усердно зевающие за игрой. К ним подходит некто, смахивающий на коридорного (почтенный Дж. Рингвуд), — каковую роль молодой джентльмен провел в совершенстве, — и стаскивает с них сапоги. Появляется служанка (достопочтенный лорд Саутдаун) с двумя подсвечниками и грелкой. Служанка поднимается в верхний этаж и согревает постель. С помощью этой же грелки она отваживает не в меру любезных торговцев. Служанка уходит. Торговцы надевают ночные колпаки и опускают шторы. Выходит коридорный и закрывает ставни на окнах нижнего этажа. Слышно, как он изнутри задвигает засовы и закрывает дверь на цепочку. Все огни гаснут. Музыка играет «*Dormez, dormez, chers Amours!*»¹. Голос из-за занавеса говорит:

— Первый слог.

Второй слог. Лампы сразу загораются. Музыка играет старую мелодию из «Иоанна Парижского»: «*Ah, quel plaisir d'être en voyage!*»². Декорация та же. На фасаде дома, между первым и вторым этажами, вывеска, на которой нарисован герб Стайнов. По всему дому беспрерывно звонят звонки. В нижнем помещении один человек показывает другому длинную полосу бумаги; тот машет кулаком, грозит и клянется, что это грабеж. «Конюх, подавайте мою коляску!» — кричит кто-то третий у дверей. Он треплет горничную (достопочтенного лорда Саутдауна) по подбородку; та, повидимому, горюет, провожая его, как горевала Калипсо, провожая другого

¹ «Спите, спите, дорогие!» (франц.).

² «О, как приятно быть в пути!» (франц.).

знаменитого путешественника, Улисса. Коридорный (почтенный Дж. Рингвуд) проходит с деревянным ящиком, в котором стоят серебряные жбаны, и выкрикивает: «Кому пива?» — так смешно и естественно, что вся зала разражается аплодисментами и актеру бросают букет цветов. За сценой раздаётся щелканье бича. Хозяин, горничная, слуга бросаются к дверям. Но в тот момент, когда подъезжает какой-то именитый гость, занавес падает, и невидимый режиссер спектакля кричит:

— Второй слог!

— Мне кажется, это означает «отель», — говорит лейб-гвардеец капитан Григ.

Общий хохот: капитан очень не далек от истины.

Пока идет подготовка к третьему слогу, оркестр начинает играть морское попури: «Весь в Даунсе флот на якорь стал», «Уймись, Борей суровый», «Правь, Британия», «Там, в Бискайском заливе, эй!» Ясно, что будут происходить какие-то события на море. Звонит колокол, занавес раздвигается. «Джентльмены, сейчас отчаливаем!» — восклицает чей-то голос. Люди начинают прощаться. Они со страхом указывают на тучи, которые изображаются темным занавесом, и боязливо качают головами. Леди Сквимс (достопочтенный лорд Саутдаун) со своей собачкой, сундуками, ридикулями и супругом занимает место и крепко вцепляется в какие-то канаты. Очевидно, это корабль.

Входит капитан (полковник и кавалер ордена Бани Кроули), в треугольной шляпе, с подозрной трубой; придерживая шляпу, он смотрит вдаль; фалды его мундира развеваются, как бы от сильного ветра. Когда он отнимает от шляпы руку, чтобы взять подозрную трубу, шляпа с него слетает под гром аплодисментов. Ветер крепчает. Музыка гремит и свистит все громче и громче. Матросы ходят по сцене пошатываясь, словно корабль страшно качает. Стюард (почтенный Дж. Рингвуд), едва держась на ногах, приносит шесть тазиков. Быстро подставляет один тазик лорду Сквимсу. Леди Сквимс дает пинка собаке, поднимающей жалобный вой, прикладывает к лицу носовой платок и стремительно убегает как бы в каюту. Музыка изображает высшую степень бурного волнения, и третий слог заканчивается.

В то время был в моде небольшой балет «Le

Rossignol»¹ (в котором отличались Монтесю и Нобле). Мистер Уэг переделал его в оперу для английской сцены, сочинив к прелестным мелодиям балета свои стихи, на что был великий мастер. Опера шла в старинных французских костюмах, и на этот раз изящный лорд Саутдаун появился преображенный в старуху, ковылявшую по сцене с самой настоящей клюкой в руке.

Из маленькой картонной хижины, увитой розами и плющом, доносятся рулады и трели. «Филомела, Филомела *!» — кричит старуха. И появляется Филомела.

Взрыв аплодисментов: это миссис Родон Кроули — восхитительная маркиза в пудренном парике и с мушками.

Смеясь и напевая, входит она, порхает по сцене со всей невинностью театральной юности, делает реверанс. «Мама» ей говорит: «Дитя мое, ты, как всегда, смеешься и распеваешь?» И она поет «Розу у балкона»:

Пунцовых роз душистый куст у моего балкона
Безлиствен был все дни зимы и ждал: когда весна?
Ты спросишь: что ж он рдеет так и дышит так
влюбленно?
То солнце на небо взошло, и песня птиц слышна.

И соловей, чья трель звенит все громче и чудесней,
Безмолвен был в нагих ветвях под резкий ветра свист.
И если, мама, спросишь ты причину этой песни:
То солнце на небо взошло, и зелен каждый лист.

Так, мама, все нашли свое: певучий голос — птицы,
А роза, мама, — алый цвет к наряду своему;
И в сердце, мама, у меня веселый луч денницы,
И вот я рдею и пою, — ты видишь, почему?²

В промежутках между куплетами этого романса добродушная особа, которую певица называла мамой и у которой из-под чепца выглядывали пышные бакенбарды, очень старалась выказать свою материнскую любовь, заключив в объятия невинное создание, исполнявшее роль дочери. Каждую такую попытку публика встречала взрывами сочувственного смеха. Когда певица кончила и оркестр заиграл симфонию, изображая как бы щебетанье бесчисленной стаи птичек, вся зала единодушно потребо-

¹ «Соловей» (франц.).

² Перевод М. Л. Лозинского.

вала повторения номера. Аплодисментам и букетам цветов не было конца. Лорд Стайн кричал и аплодировал громче всех. Бекки—соловей—подхватила цветы, которые он ей бросил, и прижала их к сердцу с видом заправской актрисы. Лорд Стайн был вне себя от восторга. Его гости дружно ему вторили. Куда девалась черноокая гурия, появление которой в первой шараде вызвало такое восхищение! Она была вдвое красивее Бекки, но та совершенно затмила ее своим блеском. Все голоса были отданы Бекки. Стефенс, Карадори, Ронци де Бенъис — публика сравнивала ее то с одной из них, то с другой и приходила к единодушному выводу — вероятно, вполне основательно, — что, будь Бекки артисткой, ни одна из этих прославленных певиц не могла бы ее превзойти. Бекки достигла вершины своего торжества, ее звонкий голосок высоко и радостно взлетал над бурей похвал и рукоплесканий. После спектакля начался бал, и все устремились к Бекки, как к самой привлекательной женщине в этой огромной зале. Особа королевской фамилии клятвенно заверяла, что Бекки — совершенство, и снова и снова вступала с нею в разговор. Осыпаемая этими почестями, маленькая Бекки задыхалась от гордости и счастья: она видела перед собой богатство, славу, роскошь. Лорд Стайн был ее рабом; он ходил за нею по пятам и почти ни с кем, кроме нее, не разговаривал, оказывая ей самое явное предпочтение. Она все еще была одета в костюм маркизы и протанцевала менуэт с господином де Трюфиньи, атташе господина герцога де ля Жаботьера. И герцог, верный традициям прежнего двора, заявил, что мадам Кроули вполне могла бы учиться у Вестри или блистать на балах в Версале. Только чувство собственного достоинства, подагра и строжайшее сознание долга удержали его светлость от намерения самому потанцевать с Бекки. И он провозгласил во всеуслышание, что дама, которая умеет так говорить и танцевать, как миссис Родон, достойна быть посланницей при любом европейском дворе. Он успокоился, только когда услышал, что она по рождению наполовину французка. «Никто, кроме моей соотечественницы, — объявил его светлость, — не мог так исполнить этот величественный танец».

Затем Бекки выступила в вальсе с господином Клингеншпором, двоюродным братом и атташе князя Петро-

варадинского. Восхищенный князь, обладавший меньшей выдержкой, чем его французский коллега — дипломат, тоже пожелал пригласить очаровательное создание на тур вальса и кружился с Бекки по зале, теряя брильянты с кисточек своих сапог и гусарского ментика, пока совсем не запыхался. Сам Папуш-паша был бы непрочь поплясать с Бекки, если бы такое развлечение допускалось обычаями его родины. Гости образовали круг и аплодировали Бекки так неистово, словно она была какой-нибудь Нобле или Тальони. Все были в полном восторге, не исключая, разумеется, и самой Бекки. Она прошла мимо леди Станингтон, смерив ее презрительным взглядом. Она покровительственно разговаривала с леди Гонт и с ее изумленной и насмерть разобиженной невесткой, она буквально сокрушила всех своих соперниц. Что же касается бедной миссис Уинкворт и ее длинных кос и больших глаз, имевших такой успех в начале вечера, то куда она девалась теперь? Она осталась за флагом. Она могла бы вырвать все свои длинные волосы и выплакать свои большие глаза, и ни один человек не обратил бы на это внимания и не посочувствовал бы ей.

Самый большой триумф ждал Бекки за ужином. Ее посадили за особый стол вместе с его королевским высочеством — тем самым членом царствующего дома, о котором мы уже упоминали, — и прочими знатными гостями. Ей подавали яства на золотых блюдах. Как новая Клеопатра, она могла бы повелеть, чтобы в ее бокале с шампанским растворили жемчуг, а владетельный князь Петроварадинский отдал бы половину брильянтов, украсивших его ментик, за ласковый взгляд ее сверкающих глаз. Жаботьер написал о Бекки своему правительству. Дамы за другими столами, где ужин подавался на серебре, заметили, какое внимание лорд Стайн оказывает Бекки, и в один голос заявили, что такое ослепление с его стороны чудовищно и оскорбительно для всякой женщины благородного происхождения. Если бы сарказм мог убивать, леди Станингтон сразила бы Бекки на месте.

Родона Кроули эти триумфы пугали. Казалось, они все больше отдаляли от него жену. С чувством, очень близким к боли, он думал о том, как ему далеко до Бекки.

Когда настал час разъезда, целая толпа молодых людей вышла провожать Бекки до кареты, вызванной для нее

лакеями; крик лакеев был подхвачен дежурившими за высокими воротами Гонт-хауса слугами, которые желали счастливого пути каждому гостю, выезжавшему из ворот, и выражали надежду, что его милость приятно провел время.

Карета миссис Родон Кроули после должных выкриков подъехала к воротам, прогреготала по освещенному двору и подкатила к крытому подъезду. Родон усадил жену в карету, и она уехала. Самому полковнику мистер Уэнхем предложил идти домой пешком и угостил его сигарой.

Они закурили от фонаря одного из слуг, стоявших за воротами, и Родон зашагал по улице рядом со своим другом Уэнхемом. Два каких-то человека отделились от толпы и последовали за обоими джентльменами. Пройдя несколько десятков шагов от Гонт-сквера, один из этих людей приблизился и, дотронувшись до плеча Родона, сказал:

— Простите, полковник: мне нужно поговорить с вами по секретному делу.

В ту же минуту спутник Родона громко свистнул, и по его сигналу к ним быстро подкатил кеб — из тех, что стояли у ворот Гонт-хауса. Адъютант лорда Стайна обежал кругом и занял позицию перед полковником Кроули.

Бравый офицер сразу понял, что с ним приключилось: он попал в руки бейлифов. Он сделал шаг назад — и налетел на того человека, который первым тронул его за плечо.

— Нас трое: сопротивление бесполезно, — сказал тот.

— Это вы, Мос? — спросил полковник, очевидно узнавший своего собеседника. — Сколько надо платить?

— Чистый пустяк, — шепнул ему мистер Мос с Керситор-стрит, Чансери-лейн, чиновник мидльсекского шерифа. — Сто шестьдесят шесть фунтов шесть шиллингов и восемь пенсов по иску мистера Натана.

— Ради бога, одолжите мне сто фунтов, Уэнхем, — сказал бедняга Родон. — Семьдесят у меня есть дома.

— У меня нет за душой и десяти, — ответил бедняга Уэнхем. — Спокойной ночи, мой милый.

— Спокойной ночи, — уныло произнес Родон.

И Уэнхем направился домой, а Родон Кроули докурил свою сигару, когда кеб уже оставил позади фешенебельные кварталы и въехал в Сити.



ГЛАВА III,

*в которой лорд Стайн показывает себя
с самой привлекательной стороны*

Когда лорд Стайн бывал к кому-нибудь расположен, он ничего не делал наполовину, и его любезность по отношению к семейству Кроули свидетельствовала о величайшем такте в проявлении такой благосклонности. Его милость распространил свое благоволение и на маленького Родона: он указал родителям мальчика на необходимость помещения его в закрытую школу; Родон уже достиг того возраста, когда соревнование, начатки латинского языка, бокс и общество сверстников могут принести ему величайшую пользу. Отец возражал, что он не настолько богат, чтобы отдать ребенка в хорошую закрытую школу; мать указывала, что Бригс — отличная воспитательница для мальчика и достигла с ним замечательных успехов (так оно и было в действительности) в английском языке, основах латинского и других предметах. Но все эти возражения

не могли сломить великодушной настойчивости маркиза Стайна. Его милость был одним из попечителей знаменитого старого учебного заведения, носившего наименование «Уайтфрайерс» *. В давние времена, когда на поле Смитфильд еще устраивались турниры, рядом находился цистерцианский* монастырь. Сюда привозили закоренелых еретиков, которых удобно было сжигать по соседству, все на том же Смитфильде. Генрих VIII, защитник веры, захватил монастырь со всеми его угодьями и перевешал и замучил тех из монахов, которые не могли приспособиться к темпу его реформ. В конце концов какой-то крупный купец купил здание монастыря и прилегавшие к нему земли и при содействии других богатых людей, жертвовавших землю и деньги, основал там знаменитый приют-богадельню для стариков и детей. При этом почти монашеском учреждении выросло потом училище, существующее до сих пор и сохранившее свои средневековые одеяния и обычаи. Все цистерцианцы молятся об его дальнейшем процветании.

Попечителями этого знаменитого учреждения состоят некоторые из знатнейших английских вельмож, прелатов и сановников; и так как мальчики живут там с большими удобствами, хорошо питаются и обучаются и впоследствии получают стипендии в университетах и церковные бенефиции, то многих маленьких джентльменов посвящают духовной профессии с самого нежного возраста, и добиться зачисления в эту школу не так-то легко. Первоначально она предназначалась для сыновей бедных и заслуженных духовных особ или мирян, но многие из знатных ее попечителей, благосклонность которых проявлялась в более широких размерах или, пожалуй, носила более капризный характер, выбирали и другого рода объекты для своей щедрости. Бесплатное образование и гарантия обеспеченного существования и верной карьеры в будущем были так заманчивы, что этим не гнушались и многие богатые люди. И не только родственники великих людей, но и сами великие люди посылали своих детей в эту школу. Прелаты посылали туда своих родственников или сыновей подчиненного им духовенства, а с другой стороны, некоторые высокопоставленные особы не считали ниже своего достоинства оказывать покровительство детям своих доверенных слуг; таким образом, мальчик, поступавший

в это заведение, оказывался членом очень разношерстного общества.

Хотя сам Родон Кроули за всю жизнь не изучил ни одной книги, кроме Календаря скачек, и хотя его воспоминания о школе связывались главным образом с порками, которые он получал в Итоне в ранней юности, однако он, подобно всем английским джентльменам, искренне уважал классическое образование и радовался при мысли, что его сын будет обеспечен, а может быть, даже станет ученым человеком. И хотя мальчик был его единственной отрадой и верным товарищем, хотя их связывали тысячи невидимых уз, о которых Родон предпочитал не разговаривать с женой, всегда выказывавшей полнейшее равнодушие к сыну, все же Родон сразу согласился на разлуку с ним и ради блага мальчугана отказался от своего величайшего утешения. Он и сам не знал, как дорог ему ребенок, пока не пришлось с ним расстаться. Когда мальчик уехал, Родон тосковал больше, чем мог бы в этом признаться, — гораздо больше самого мальчика, который даже радовался вступлению в новую жизнь и обществу сверстников. Бекки разражалась громким смехом, когда полковник пытался, как всегда неуклюже и бессвязно, выразить свою скорбь по поводу отъезда сына. Бедняга чувствовал, что у него отнимают самую его большую радость, самого дорогого друга. Он печально поглядывал на пустую кровать, стоявшую в его туалетной, где обычно спал ребенок. Он больно чувствовал его отсутствие по утрам и во время своих одиноких прогулок по Парку. Пока не уехал сынишка, Родон не знал, как он одинок. Он полюбил тех, кто был расположен к мальчику, и целыми часами просиживал у своей ласковой невестки, леди Джейн, беседуя с нею о хорошем характере мальчика, о его красоте и прочих достоинствах.

Тетка юного Родона очень его любила, так же как и ее дочурка, которая горько плакала, провожая кузена в школу. Старший Родон был благодарен матери и дочери за их любовь. Самые лучшие и благородные чувства обнаруживались в безыскусственных излияниях отцовской любви, к которым поощряло его сочувствие леди Джейн и ее дочери. Он снискал не только любовь леди Джейн, но и ее искреннее уважение за проявленные им чувства,

которых он не мог обнаружить перед собственной женой. Две эти дамы встречались как можно реже. Бекки ядовито насмехалась над чувствительностью и мягкосердечием Джейн, а та, при своей доброте и кротости, не могла не возмущаться черствостью невестки.

Это отдаляло Родона от жены больше, чем он сам себе в том признавался. Жену такое отчуждение ничуть не огорчало. Родон был ей глубоко безразличен. Она смотрела на него, как на своего посыльного или как на покорного раба. Каким бы он ни был мрачным или печальным, Бекки не обращала на это внимания или только насмехалась над ним. Она думала лишь о своем положении, о своих удовольствиях и успехах в обществе. Поистине, она была достойна занять в нем видное место!

Укладкой скромного багажа, который мальчику нужно было взять в училище, занялась честная Бригс. Горничная Молли рыдала в коридоре, когда мальчик уезжал, — добрая, верная Молли, которой уже давно не платили жалованья. Миссис Бекки не позволила мужу взять ее карету, чтобы отвезти мальчика в училище. Гонять лошадей в Сити! Неслыханная вещь! Пусть наймут кеб. Бекки даже не поцеловала сына на прощанье; да и он не выразил желания обнять ее, но зато поцеловал старую Бригс (перед которой обычно стеснялся выражать свои чувства) и утешил ее, сказав, что будет приезжать домой по субботам и это даст ей возможность видаться с ним. Когда кеб покатиł по направлению к Сити, карета Бекки помчалась в Парк. Бекки болтала и смеялась с толпой молодых денди на берегу Серпентайна, когда отец с сыном въезжали в старые ворота училища, где Родон оставил мальчика и откуда ушел с таким чувством в сердце, печальнее и чище которого этот несчастный, никчемный человек не знал, вероятно, с тех пор, как сам вышел из детской.

Весь путь домой он проделал пешком, в очень грустном настроении, и пообедал вдвоем с Бригс. Он был очень ласков с нею и поблагодарил ее за любовь к мальчику и заботы о нем. Совесть мучила его за то, что он взял у Бригс деньги взаймы и помог обмануть ее. Они беседовали о маленьком Родоне долго, потому что Бекки вернулась домой только для того, чтобы переодеться и уехать на званый обед. А затем, не находя себе места, он отпра-

вился к леди Джейн пить чай и сообщить ей обо всем происшедшем: что маленький Родон расстался с ним молодым, что он будет теперь носить мантию и штанишки до колен и что юный Блекбол, сын Джека Блекбола, прежнего товарища по полку, взял мальчика под свою защиту и обещал не обижать его.

В первую же неделю юный Блекбол сделал маленького Родона своим фагом *, заставлял чистить ему сапоги, поджаривать гренки на завтрак, посвятил его в таинства латинской грамматики и раза три-четыре вздул, но не очень жестоко. Славная, добродушная мордочка мальчугана вызывала к нему невольные симпатии. Били его не больше, чем то было для него полезно. Что же касается чистки сапог, поджаривания гренков и вообще исполнения обязанностей фага, то разве эти обязанности не считаются необходимой частью воспитания каждого английского джентльмена?

В нашу задачу не входит писать о втором поколении и о школьной жизни юного Родона, иначе мы бы никогда не закончили эту повесть. Полковник, спустя короткое время, отправился проведать сына и нашел мальчугана достаточно здоровым и счастливым, — одетый в форменную черную мантию и короткие брючки, он весело смеялся и болтал.

Отец предусмотрительно задобрил Блекбола, вручив ему соверен, и обеспечил доброе расположение этого юного джентльмена к своему фагу. Вероятно, школьные власти также были склонны относиться к ребенку достаточно внимательно, как к *protégé* знатного лорда Стайна, племяннику члена парламента и сыну полковника и кавалера ордена Бани, чье имя появлялось на столбцах «Морнинг пост» в списках гостей, присутствующих на самых фешенебельных собраниях. У мальчика было вдоволь карманных денег, которые он тратил с королевской щедростью на угощение своих товарищей пирогами с малиной. Его часто отпускали по субботам домой к отцу, и тот всегда устраивал в этот день настоящий праздник. Если он бывал свободен, он водил мальчика в театр, а не то посылал его туда с лакеем. По воскресеньям маленький Родон ходил в церковь с Бригс, леди Джейн и ее детьми. Полковник с увлечением слушал рассказы мальчика о школе, о драках и о заботах фага. Очень скоро он

не хуже сына знал фамилии всех учителей и наиболее замечательных школьников. Он брал к себе из школы одноклассника маленького Родона и после театра закармливал обоих детей пирожными и устрицами с портером. Он с видом знатока разглядывал латинскую грамматику, когда маленький Родон показывал ему, «докуда» они прошли в школе по латинскому языку.

— Старайся, милый мой, — говаривал он сыну с большой серьезностью. — Нет ничего лучше классического образования... ничего!

Презрение Бекки к супругу росло с каждым днем.

— Делайте, что хотите: обедайте, где угодно, наслаждайтесь имбирным пивом и опилками у Эстли * или пойте псалмы с леди Джейн, — только не ждите *от меня*, чтобы я возилась с мальчишкой. Мне нужно заботиться о ваших делах, раз вы не можете сами о них позаботиться. Интересно знать, где бы вы сейчас были и в каком вращались бы обществе, если бы я за вами не смотрела?

Следует сказать, что никто не интересовался бедным старым Родоном на тех званных вечерах, которые посещала Бекки. Ее теперь часто приглашали без него. Ребекка говорила о великих людях так, словно Мейфэр был ее вотчиной; а когда при дворе объявляли траур, она всегда одевалась в черное.

Пристроив маленького Родона, лорд Стайн, проявлявший такой родственный интерес к делам этого милого бедного семейства, решил, что Кроули могут сильно сократить свои расходы, отказавшись от услуг мисс Бригс, и что Бекки достаточно сметлива, чтобы самостоятельно вести свое домашнее хозяйство. В одной из предыдущих глав было рассказано о том, как благосклонный вельможа дал своей protégée денег для уплаты ее маленького долга мисс Бригс, которая, однако, попрежнему осталась жить у своих друзей. Из этого милорд вывел прискорбное заключение, что миссис Кроули употребила доверенные ей деньги на какую-то иную цель. Однако лорд Стайн не был так груб, чтобы поделиться своими подозрениями на этот счет с самой миссис Бекки, чувства которой могли быть больно задеты всякими разговорами о деньгах; у

нее могло быть множество прискорбных причин для того, чтобы иначе распорядиться щедрой ссудой милорда. Но он решил выяснить истинное положение дел и предпринял необходимое расследование в самой осторожной и деликатной форме.

Прежде всего он при первом же удобном случае расспросил мисс Бригс. Это была нетрудная операция: самого ничтожного поощрения бывало достаточно, чтобы заставить эту достойную женщину говорить безустали и выкладывать все, что было у нее на душе. И вот однажды, когда миссис Родон уехала кататься (как легко узнал доверенный слуга его милости мистер Фич на извозчиьем дворе, где Кроули держали свой экипаж и лошадей, или, лучше сказать, где содержатель двора держал экипаж и лошадей для мистера и миссис Кроули), милорд заехал в дом на Керзон-стрит, попросил Бригс угостить его чашкой кофе, сообщил, что имеет хорошие вести из школы о маленьком Родоне, и через пять минут выведал у экономки, что миссис Родон ничего ей не дала, кроме черного шелкового платья, за которое мисс Бригс бесконечно ей благодарна.

Лорд Стайн смеялся про себя, слушая этот бесхитростный рассказ. Дело в том, что наш дорогой друг Ребекка преподнесла ему самый обстоятельный доклад о том, как счастлива была Бригс, получив свои деньги — тысячу сто двадцать пять фунтов, и в какие процентные бумаги она их обратила. И как жалко было самой Бекки выпустить из рук столько денег. «Как знать, — вероятно, думала при этом милая женщина, — быть может, он мне еще что-нибудь прибавит?» Однако милорд не сделал плутовке никакого такого предложения, по всей вероятности считая, что и так уже проявил достаточную щедрость.

Затем он любопытствовал, в каком состоянии находятся личные дела мисс Бригс, и та чистосердечно рассказала его милости все: как мисс Кроули оставила ей наследство; как Бригс отдала часть его своим родственникам; как полковник Кроули забрал другую часть, поместив деньги под вернейшее обеспечение и хорошие проценты; и как мистер и миссис Родон любезно взялись договориться с сэром Питтом, который позаботится наиболее выгодным помещением остальных ее денег, когда у него будет время. Милорд спросил, какую сумму полковник

уже поместил от ее имени, и мисс Бригс правдиво поведала ему, что сумма эта составляет шестьсот с чем-то фунтов.

Но, рассказав о своих делах, болтливая Бригс тотчас раскаялась в своей откровенности и начала умолять милорда не сообщать мистеру Кроули о сделанных ею признаниях. Полковник был так добр... Мистер Кроули может обидеться и вернуть деньги, а тогда она уж нигде больше не получит за них таких хороших процентов.

Лорд Стайн со смехом обещал сохранить их беседу втайне, а когда они с мисс Бригс расстались, он посмеялся еще веселее.

«Вот чертенок! — думал он. — Какая замечательная актриса и какой делец. На днях она едва не вытянула у меня еще такую же сумму своими уловками. Она оставляет за флагом всех женщин, каких я знавал за всю свою с толком прожитую жизнь. Они просто дети по сравнению с нею! Я и сам перед нею молокосос и дурак, старый дурак! Лжет она неподражаемо!» Преклонение его милости перед Бекки неизмеримо выросло после такого доказательства ее ловкости. Получить деньги нетрудно, но получить вдвое больше, чем ей было нужно, и никому не заплатить — вот это мастерской ход! А Кроули, думал милорд, Кроули уж вовсе не такой дурак, каким он выглядит и прикидывается. Он тоже ловко обделал это дельце! Никто бы не заподозрил по его лицу и поведению, что ему хоть что-нибудь известно об этой афере, а ведь это он научил жену и деньги, конечно, сам растратил. Мы знаем, что милорд ошибался, придерживаясь такого мнения, но оно сильно повлияло на его отношение к полковнику Кроули, с которым он начал обходиться даже без того подобия уважения, какое выказывал ему раньше. Покровителю миссис Кроули и в голову не приходило, что маленькая леди могла сама прикарманить денежки; и весьма возможно, если уж говорить правду, что лорд Стайн судил о полковнике Кроули по своему опыту с другими мужьями, которых он знавал в течение долгой и содержательной жизни, познакомившей его со многими слабостями человеческого рода. Милорд купил на своем веку столько мужей, что, право, его нельзя винить, если он предположил, будто узнал цену и этому.

Он пожурил Бекки, когда встретился с нею наедине,

и добродушно поздравил ее с блестящим умением получать больше денег, чем ей нужно. Бекки смутилась только на мгновение. Кривить душой было не в обычае этого милого создания, если ее не принуждала к тому крайняя необходимость, но в таких чрезвычайных обстоятельствах она врала без зазрения совести. И вот в один миг у нее была готова новая, вполне правдоподобная и обстоятельная история, которую она и преподнесла своему покровителю. Да, все, что она ему рассказывала раньше, — выдумка, злостная выдумка! Она в этом признается. Но кто заставил ее лгать?

— Ах, милорд, — говорила она, — вы не знаете, сколько мне приходится молча переносить и терпеть. Вы видите меня веселой и счастливой, когда я с вами... но какие муки я терплю, когда рядом со мной нет моего покровителя! Муж угрозами и грубейшим обхождением заставил меня обратиться к вам с просьбой о тех деньгах, относительно которых я вас обманула. Это он, предвидя, что меня могут спросить о назначении этих денег, заставил меня придумать объяснение, которое я вам дала. Он взял деньги. Он сказал мне, что уплатил долг мисс Бригс. Я не считала возможным, я не смела не поверить ему! Простите зло, которое должен был причинить вам человек, дошедший до отчаяния, и пожалейте жалкую, жалкую женщину. — И она залилась слезами. Никогда еще гонимая добродетель не являла такого обворожительно скорбного вида!

Между ними произошел долгий разговор, пока они круг за кругом катались по Риджентс-парку в карете миссис Кроули, — разговор, подробности которого нам незачем повторять. Но результатом его явилось то, что, вернувшись домой, Бекки с сияющим лицом бросилась к своей милой, дорогой Бригс и объявила, что хочет сообщить ей очень хорошие вести. Лорд Стайн поступил в высшей степени благородно и великодушно. Он всегда только и думает о том, как бы сделать кому-нибудь добро. Теперь, когда маленький Родон уехал в школу, ей, Бекки, уже больше не нужна ее дорогая помощница и подруга. Она горюет свыше всякой меры при мысли о разлуке с Бригс, но их средства требуют строжайшей экономии, а печаль миссис Кроули смягчается сознанием, что ее щедрый покровитель может устроить дорогую Бригс

гораздо лучше, чем она в своем скромном доме. Миссис Пилкингтон, экономка в Гонтли-холле, совсем одряхла, ослабела и страдает ревматизмом, она уже не в состоянии справляться с работой по управлению таким огромным домом, поэтому приходится подыскивать ей преемницу. Это блестящее положение! Семейство лорда наезжает в Гонтли не чаще одного раза в два года. Все остальное время экономка — первый человек в этом великолепном дворце. Четыре раза в день ей подается отменная еда, ее посещают духовные особы и самые уважаемые люди графства, — в сущности она хозяйка Гонтли. И две последние экономки, служившие до миссис Пилкингтон, вышли замуж за пасторов в Гонтли. Сама миссис Пилкингтон не могла последовать их примеру, будучи теткой нынешнего пастора. Место это еще не закреплено за мисс Бригс, но она может съездить туда, навестить миссис Пилкингтон и посмотреть, подойдет ли ей эта должность.

Какими словами можно описать восторженную благодарность Бригс! Она поставила только одно условие: чтобы маленькому Родону было разрешено приезжать к ней в Гонтли-холл погостить. Бекки обещала это... все что угодно. Она выбежала навстречу мужу, когда тот вернулся домой, и сообщила ему радостную новость. Родон обрадовался, чертовски обрадовался: с его совести свалился тяжелый камень — вопрос о деньгах бедной Бригс. Во всяком случае, она теперь устроена, но... но на сердце у Родона скребли кошки. Что-то здесь было неладно. Он рассказал о предложении лорда Стайна молодому Саутдауну, и тот смерил его очень странным взглядом.

Полковник рассказал и леди Джейн об этом новом проявлении щедрости лорда Стайна, и она тоже посмотрела на Родона как-то странно и тревожно. Так же отнесся к его сообщению и сэр Питт.

— Она слишком умна и... бойка, чтобы позволить ей разъезжать по званым вечерам без компаньонки, — заявили оба супруга. — Ты должен выезжать с нею, Родон, всюду и *должен* иметь кого-нибудь при ней... ну, скажем, одну из девочек из Королевского Кроули, хотя это и довольно легкомысленные телохранительницы!

Кто-то должен был быть при Бекки. Но вместе с тем было ясно, что достойной Бригс не следует упускать случая прожить в довольстве остаток своих дней. И вот

она собралась, уложила чемоданы и отправилась в путь. Таким образом двое из наружных часовых Родона оказались в руках неприятеля.

Сэр Питт побывал у невестки и попытался вразумить ее относительно отставки Бригс и других щекотливых семейных дел. Тщетно Бекки доказывала ему, что покровительство лорда Стайна необходимо ее бедному супругу и что с их стороны было бы жестоко лишать Бригс предложенного ей места. Заискивание, лесть, улыбки, слезы — ничто не могло убедить сэра Питта, и между ним и Бекки, которой он некогда так восхищался, произошло нечто очень похожее на ссору. Он заговорил о семейной чести, о незапятнанной репутации фамилии Кроули, с негодованием отметил, что Бекки напрасно принимает у себя этих молодых французов — распутную светскую молодежь, да и самого лорда Стайна, карета которого всегда стоит у дверей Бекки, который ежедневно проводит с нею по несколько часов и своим постоянным пребыванием в ее доме вызывает в обществе разные толки. В качестве главы рода он умоляет Ребекку быть более благоразумной. Общество уже отзывается о ней неуважительно. Лорд Стайн хотя и вельможа и обладает выдающимися талантами, но это человек, внимание которого может скомпрометировать любую женщину; сэр Питт просит, умоляет, настаивает, чтобы его невестка была осмотрительнее при встречах с этим сановником.

Бекки пообещала Питту все, чего тому хотелось, но лорд Стайн все так же часто посещал ее дом; и гнев сэра Питта разгорался все сильнее. Не знаю, сердилась или радовалась леди Джейн, видя, что ее супруг, наконец, нашел недостатки у своей любимицы Ребекки! Поскольку визиты лорда Стайна продолжались, его собственные прекратились; и жена его готова была отказаться от всякого дальнейшего общения с этим сановником и отклонить приглашение на вечер с шарадами, которое прислала ей маркиза. Но сэр Питт решил, что это приглашение необходимо принять, так как на вечере будет присутствовать его королевское высочество.

Хотя сэр Питт был на упомянутом вечере, но он покинул его очень рано, да и жена его была рада поскорее уехать. Бекки почти не разговаривала с Питтом и едва замечала невестку. Питт Кроули заявил, что поведение

Бекки в высшей степени непристойно, и в резких выражениях осуждал театральные представления и маскарады, как совершенно неподобающее времяпрепровождение для англичанки. По окончании шарад он задал жестокий нагоняй своему брату Родону за то, что тот и сам выступал в таких неприличных игрищах и позволил жене принять в них участие.

Родон сказал, что она больше никогда не будет участвовать в подобных забавах. Быть может, под влиянием внушений со стороны старшего брата и невестки, он уже и так стал примерным семьянином. Он забросил клубы и бильярдные. Никогда никуда не выезжал один. Ездил кататься вместе с Бекки; усердно посещал с нею все званые вечера. Когда бы ни приезжал к ним лорд Стайн, полковник всегда оказывался дома. А когда Бекки предполагала выехать куда-нибудь без супруга или же получала приглашения только для себя, он решительно требовал, чтобы она отказывалась от них, — и в тоне нашего джентльмена было что-то такое, что внушало повиновение. Маленькая Бекки, надо отдать ей справедливость, была очарована галантностью Родона. Он иногда бывал не в духе, зато Бекки всегда была весела. И при гостях, и наедине с мужем у Бекки неизменно находилась для него ласковая улыбка, всегда она заботилась о его удобствах и удовольствиях. Словно вернулись первые дни их брачной жизни: то же отличное расположение духа, *grévenances*¹, приветливость, безискусственная откровенность и внимание.

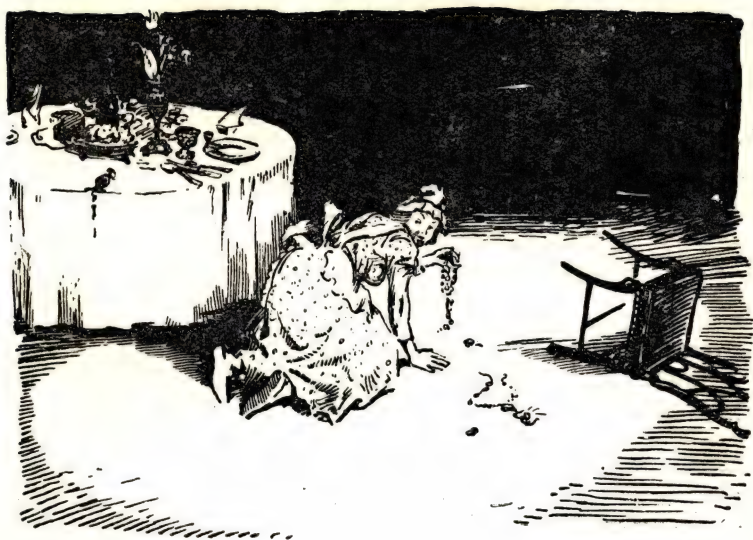
— Насколько же приятнее, — говорила Бекки, — когда рядом со мной в карете сидишь ты, а не эта глупая старуха Бригс! Давай, дорогой Родон, будем и впредь так жить! Как это было бы чудесно, какое это было бы счастье, будь только у нас деньги!

После обеда Родон засыпал, сидя в кресле; он не видел лица сидевшей против него жены — хмурого, измученного и страшного. Когда Родон просыпался, оно озарялось свежей, невинной улыбкой. Жена весело его целовала. Полковник изумлялся, как это у него могли возникнуть подозрения! Нет, у него никогда и не было никаких подозрений: эти смутные опасения и предчувствия, смущав-

¹ Предупредительность (франц.).

шие его, — все это было просто беспричинной ревностью. Бекки любит его, она всегда его любила. А если она блистает в высшем свете, в том нет ее вины! Она создана, чтобы блистать. Какая другая женщина умеет так говорить, так петь или вообще делать что-либо так, как Бекки? Если бы только она любила сынишку! Так думал Родон. Но мать и сын никогда не могли ужиться.

И в то самое время, когда Родон терзался такими сомнениями и недоуменными вопросами, произошел случай, о котором мы рассказали в предыдущей главе, и несчастный полковник оказался пленником вдали от дома.



ГЛАВА III

Спасение и катастрофа

Наш друг Родон подкатил к особняку мистера Моса на Керситор-стрит и был должным образом введен под гостеприимные своды этого мрачного убежища. Стук колес пробудил эхо на Чансери-лейн, над веселыми крышами которой уже занималось утро. Заспанный мальчишка-еврей с золотисто-рыжей, как утренняя заря, шевелюрой отпер дверь, и мистер Мос — провожатый и хозяин Родона — любезно пригласил полковника в покои нижнего этажа и осведомился, не пожелает ли он выпить после прогулки стаканчик чего-нибудь горяченького.

Полковник был не так удручен, как был бы удручен иной смертный, который, покинув дворец и *placens iuxta*¹, оказался бы запертым в долговой тюрьме, — ибо, сказать по правде, Родону уже приходилось раза два гостить

¹ Милую сердцу супругу (Гораций, Оды, II, 14, 21—22).

в учреждении мистера Моса. Мы не считали необходимым в предшествующих главах этой повести упоминать о таких мелких домашних инцидентах, но заверяем читателя, что они неизбежны в жизни человека, живущего неизвестно на что.

В первый раз полковник, тогда еще холостяк, был освобожден из дома мистера Моса благодаря щедрости тетки. Во второй раз малютка Бекки с величайшим присутствием духа и любезностью заняла некоторую сумму денег у лорда Саутдауна и уговорила кредитора своего мужа (это, к слову сказать, был ее поставщик шалей, бархатных платьев, кружевных носовых платочков, безделушек и побрякушек) удовольствоваться частью требуемой суммы и взять на остальную обязательство Родона уплатить деньги в определенный срок. Таким образом, в обоих этих случаях все заинтересованные стороны проявили величайшую деликатность и предупредительность, и поэтому мистер Мос и полковник находились в наилучших отношениях.

— Вам приготовлена ваша старая кровать, полковник, со всеми удобствами, — заявил мистер Мос, — могу вас в этом заверить по совести. Вы не сомневайтесь, мы ее постоянно проветриваем и предоставляем только людям из самого лучшего общества. Прошлую ночь на ней почивал достопочтенный капитан Фемиш пятидесятого драгунского полка. Мамаша выкупила его через две недели, говорит — это ему просто для острстки. Но, видит бог, уж и дал он острстку моему шампанскому! И каждый-то вечер у него гости — все такие козыри, из клубов да из Вест-энда: капитан Рег, почтенный Дьюсис, что живет в Темпле, и другие, которые тоже понимают толк в добром стакане вина! Честное слово! Наверху у меня помещается доктор богословия, и пятеро джентльменов — в общей столовой. Миссис Мос кормит за табльдотом в половине шестого, а после устраиваются разные развлечения — картишки или музыка. Будем весьма счастливы, если и вы придете.

— Я позвоню, если мне что-нибудь понадобится, — сказал Родон и спокойно направился в свою спальню.

Как мы уже говорили, он был старый солдат и не смущался, когда судьба угошала его щелчками. Более слабый человек тут же послал бы письмо жене. «Но

зачем смущать ее ночной покой? — подумал Родон. — Она не будет знать, у себя я или нет. Успею написать, когда она выспится, да и я тоже. Речь идет всего о каких-то ста семидесяти фунтах, черт побери, неужели мы этого не осилим?» И вот, с думами о маленьком Родоне (полковнику было бы очень тяжело, если бы мальчик узнал, в каком странном месте он находится), он улегся в постель, которую еще недавно занимал капитан Фемиш, и крепко уснул. Было десять часов, когда он проснулся, и рыжеволосый юнец с нескрываемой гордостью поставил перед ним прекрасный серебряный туалетный прибор, с помощью которого Родон мог совершить церемонию бритья. Вообще дом мистера Моса был хотя и грязноват, но зато обставлен великолепно. На буфете стояли *en regimence*¹ грязные подносы и ведерки с остатками льда; на забранных решетками окнах, выходивших на Керситор-стрит, висели огромные грязные золоченые карнизы с грязными желтыми атласными портьерами; из широких грязных золоченых рам смотрели картины духовного содержания или сцены из охотничьей жизни, — все они принадлежали кисти величайших мастеров и высоко оценивались при вексельных операциях, во время которых они многократно покупались и продавались. Завтрак был подан полковнику также в нечищенной, но великолепной посуде. Мисс Мос, черноглазая девица в папильотках, явилась с чайником и, улыбаясь, осведомилась у полковника, как он почивал. Она принесла ему и номер газеты «Морнинг пост» с полным списком именитых гостей, присутствовавших накануне на званом вечере у лорда Стайна. В газете содержался также отчет об этом блестящем празднестве и о замечательном исполнении прекрасной и талантливой миссис Родон Кроули сыгранных ею ролей.

Поболтав с хозяйской дочкой (которая уселась на край сервированного для завтрака стола в самой непринужденной позе, выставляя напоказ спустившийся чулок и бывший когда-то белым атласный башмачок со стоптанным каблуком), полковник Кроули потребовал перьев, чернил и бумаги. На вопрос, сколько ему надо листов, он ответил: «Только один», каковой мисс Мос и принесла ему, зажав между большим и указательным перстами. Много

¹ Постоянно (*франц.*).

таких листков приносила эта темноглазая девица; много несчастных узников царапали и марали на них торопливые строчки с мольбами о помощи и расхаживали по этой ужасной комнате, пока посланный не приносил им ответа. Бедные люди всегда прибегают к услугам посыльных, а не почты. Кто из нас не получал писем с еще сырой облаткой и с сообщением, что человек в прихожей ожидает ответа!

В успехе своего обращения Родон не сомневался.

«Дорогая Бекки! — писал он. — Надеюсь, ты спала хорошо. Не пугайся, что не я подаю тебе твой кофий. Вчера вечером, когда я возвращался домой покурывая, со мной случился акцидент. Меня сцапал Мос с Керситор-стрит — в его позолоченной и пышной гостиной я и пишу это письмо, — тот самый, который уже забирал меня ровно два года тому назад. Мисс Мос подавала мне чай; она очень растолстела, и, как всегда, чулки свалеваются у нее до пяток.

Это по иску Натана — сто пятьдесят фунтов, а с издержками — сто семьдесят. Пожалуйста, пришли мне мой письменный прибор и немного платья — я в бальных башмаках и белом галстуке (он уже похож на чулки мисс Мос), — у меня там семьдесят фунтов. Как только получишь это письмо, поезжай к Натану, предложи ему семьдесят пять фунтов и попроси перепесать вексель на остальную сумму. Скажи, что я возьму вина, — нам все равно надо покупать к обеду херес; но картин не бери — они слишком дороги.

Если он заупрямится, возьми мои часы и те из своих безделушек, без которых ты можешь обойтись, и отошли в ломбард — мы должны, канечно, получить деньги еще до вечера. Нельзя откладывать это дело, завтра воскресенье; кровати здесь не очень чистые, да и, кроме того, против меня могут возбудить еще новые дела. Радуюсь, что Родон не дома в эту субботу. Да благословит тебя бог.

Очень спешу.

Твой Р. К.

Поторопись и приезжай!»

Это письмо, запечатанное облаткой, было отправлено с одним из посыльных, постоянно болтающихся около вла-

дений мистера Моса. Убедившись, что письмо отослано, Родон вышел во двор и выкурил сигару в довольно сносном состоянии духа, несмотря на решетку над своей головой, — ибо двор мистера Моса загорожен со всех сторон решетками, как клетка, чтобы джентльменам, проживающим у него, не пришла, чего доброго, фантазия покинуть его гостеприимный кров.

Три часа, рассчитывал Родон, это самый большой срок, который потребуется, чтобы Бекки приехала и вызволила его из тюрьмы. И он совсем недурно провел это время в курении, чтении газеты и в беседе в общей столовой с одним знакомым, капитаном Уокером, который тоже оказался тут и с которым Родон несколько часов играл в карты по шести пенсов, с переменным успехом.

Но время шло, а посыльный не возвращался; не приезжала и Бекки. «Табльдот» мистера Моса был сервирован точно в свое время — в половине шестого. Те из проживавших в доме джентльменов, которые были в состоянии платить за угощение, уселись за стол в описанной нами выше парадной гостиной, с которой сообщалось временное жилище мистера Кроули. Мисс М. (мисс Хем, как называл ее папаша) явилась к обеду уже без папилюток; миссис Хем предложила вниманию собравшихся отличную баранью ногу с репой. Полковник ел без особого аппетита. На вопрос, не поставит ли он бутылку шампанского для всей компании, Родон ответил утвердительно, и дамы выпили за его здоровье, а мистер Мос учтивейшим образом с ним чокнулся.

Но вот в середине обеда зазвонил колокольчик у входных дверей. Рыжий отпрыск Моса поднялся из-за стола с ключами и пошел открывать; вернувшись он сообщил полковнику, что посланный прибыл с чемоданом, письменной шкатулкой и письмом, которое юноша и передал Родону.

— Без церемоний, полковник, прошу вас, — сказала миссис Мос, делая широкий жест рукой, и Родон с легким трепетом вскрыл письмо. Это было чудесное письмо, сильно надушенное, на розовой бумаге и с светлозеленой печатью.

«Mon pauvre cher petit ¹, — писала миссис Кроули. —

¹ Мой бедный малыш! (франц.).

Я не могла уснуть *ни на одно мгновение*, думая о том, что случилось *с моим противным старым чудовищем*, и забылась сном только утром, после того как послала за мистером Бленчем (меня лихорадило), и он дал мне успокоительную микстуру и оставил Финет указание, чтобы меня не будили *ни под каким видом*. Поэтому посыльный моего бедного старичка, — у этого посыльного, по словам Финет, *bien mauvaise mine*¹ и *il sentait le Genièvre*², — присидел в прихожей несколько часов в ожидании моего звонка. Можешь представить себе мое состояние, когда я прочитала твоё милое бедное безграмотное письмо!

Хотя мне нездоровилось, я сейчас же вызвала карету и, как только оделась (я не могла выпить и капли шоколада, — уверяю тебя, не могла, потому что мне принес его не мой *monstre*³), помчалась *ventre à terre*⁴ к Натану. Я видела его... молила... плакала... припадала к его гнусным стопам. Ничто не могло смягчить этого ужасного человека. Либо подавай ему все деньги, сказал он, либо мой бедный муженек останется в тюрьме. Я поехала домой с намерением нанести *une triste visite chez mon oncle*⁵ (все мои безделушки будут отданы в твоё распоряжение, хотя за них не выручишь и ста фунтов; часть из них, как ты знаешь, уже находится у *se cher oncle*⁶) и застала у нас милорда вместе с болгарским старым чудовищем, которые приехали поздравить меня со вчерашним успехом. Приехал и Педингтон и, как всегда, мямлил, сюсюкал и дергал себя за волосы. Затем явился Шампиньяк со своим шефом — все с *foison*⁷ комплиментов и прекрасных речей — и мучили меня, бедную, а я только о том и мечтала, как бы поскорее избавиться от них, и *ни на минуту* не переставала думать о *mon pauvre prisonnier*⁸.

Когда они уехали, я бросилась на колени перед милордом, рассказала ему, что мы собираемся все заложить, и просила и молила его дать мне двести фунтов. Он яростно фыркал и шипел, заявил мне, что закладывать

¹ Довольно подозрительный вид (франц.).

² От него несло джином (франц.).

³ Чудовище (франц.).

⁴ Во весь дух (франц.).

⁵ Печальный визит моему дяде (т. е. ростовщику) (франц.).

⁶ Этого дорогого дяди (франц.).

⁷ Изобильем (франц.).

⁸ Моем бедном пленнике (франц.).

вещи глупо, и сказал, что посмотрит, не может ли он одолжить мне денег. Наконец он уехал, пообещав прислать деньги утром, и тогда я привезу их моему бедному старому чудовищу с поцелуем от его любящей

Бекки.

Я пишу в постели. О, как у меня болит голова и как ноет сердце!»

Когда Родон прочел это письмо, он так покраснел и насупился, что общество за табльдотом легко догадалось: полковник получил дурные вести. Все подозрения, которые он гнал от себя, вернулись. Она даже не могла съездить и продать свои безделушки, чтобы освободить мужа! Она может смеяться и болтать, выслушивать комплименты, в то время как он сидит в тюрьме. Кто посадил его туда? Уэнхем шел вместе с ним. Не было ли здесь... Но Родон не мог допустить даже мысли об этом. Он поспешно оставил комнату и побежал к себе, открыл письменный прибор, торопливо набросал две строчки, адресовал их сэру Питту или леди Кроули и велел посыльному не медля доставить письмо на Гонт-стрит, — пусть наймет кеб, и гинею на чай, если через час вернется с ответом.

В записке он умолял дорогих брата и сестру, ради господ бога, ради маленького Родона и ради его собственной чести, приехать к нему и выручить его из беды. Он в тюрьме; ему нужно сто фунтов, чтобы выйти на свободу, — он умоляет и заклинает приехать к нему.

Отправив посыльного, полковник вернулся в столовую и потребовал еще вина. Он смеялся и болтал с каким-то странным оживлением, как показалось собеседникам. Время от времени он, словно безумный, хохотал над своими собственными опасениями и еще целый час продолжал пить, все время прислушиваясь, не подъезжает ли карета, которая должна была привезти решение его судьбы.

По истечении этого времени у ворот послышался шум колес. Молодой привратник пошел отворять. Прибыла леди, которую он и впустил в дверь.

— К полковнику Кроули, — сказала дама с сильной дрожью в голосе.

Юноша, оценив посетительницу опытным взглядом, закрыл за ней входную дверь, затем отпер и раскрыл внут-

ренную дверь и, крикнув: «Полковник, вас спрашивают!», провел даму в заднюю гостиную, которую занимал Кроули.

Родон вышел из столовой, где остальные продолжали бражничать; луч слабого света проник вслед за ним в помещение, где дама ждала его, все еще сильно волнуясь.

— Это я, Родон, — застенчиво сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал весело. — Это я, Джейн!

Родон был потрясен этим ласковым голосом и появлением невестки. Он бросился к ней, обнял ее, бормоча какие-то бессвязные слова благодарности, и чуть не расплакался у нее на плече. Она не поняла причины его волнения.

Векселя мистера Моса были быстро погашены, возможно к разочарованию этого джентльмена, рассчитывавшего, что полковник пробудет у него в гостях по меньшей мере все воскресенье, и Джейн, сияя счастливой улыбкой, увезла с собой Родона из дома бейлифа в том самом кебе, в котором она поспешила к нему на выручку.

— Питта не было дома, когда принесли ваше письмо, — сказала Джейн, — он на обеде с другими членами парламента; поэтому, милый мой Родон, я... я поехала сама.

И она вложила в его руку свою нежную ручку. Быть может, для Родона Кроули и лучше было, что Питт поехал на этот обед. Родон благодарил свою невестку с таким жаром, что эта мягкосердечная женщина была расстрогана и даже встревожена.

— О вы... вы не знаете, — сказал он, как всегда грубовато и простодушно, — до чего я переменялся с тех пор, как узнал вас и... и полюбил маленького Роди! Мне... хотелось бы начать другую жизнь. Знаете, я хочу... я хочу... быть...

Он не закончил фразы, но Джейн поняла смысл его слов. И в тот вечер, расставшись с Родоном и сидя у кровати своего маленького сына, она смиренно помолилась за этого бедного, заблудшего грешника.

Простившись с невесткой, Родон быстро зашагал домой. Было девять часов вечера. Он пробежал по улицам и широким площадям Ярмарки Тщеславия и, наконец,

едва переводя дух, остановился у своего дома. Он поднял голову — и в испуге, весь дрожа, отступил к решетке: окна гостиной были ярко освещены, а Бекки писала, что она больна и лежит в постели! Родон несколько минут простоял на месте; свет из окон падал на его бледное лицо.

Он достал из кармана ключ от входной двери и вошел в дом. Из верхних комнат до него донесся смех. Родон был в бальном костюме, — в том виде, в каком его арестовали в прошлую ночь. Он медленно поднялся по лестнице и прислонился к перилам верхней площадки. Никто во всем доме не пошевелинулся, — все слуги были отпущены со двора. Родон услышал в комнатах хохот... хохот и пение. Бекки запела отрывок из песенки, которую исполняла накануне; хриплый голос закричал: «Браво! браво!» Это был голос лорда Стайна.

Родон открыл дверь и вошел. Маленький стол был накрыт для обеда — на нем поблескивало серебро и графины. Стайн склонился над софой, на которой сидела Бекки. Негодная женщина была в вечернем туалете, ее руки и пальцы сверкали браслетами и кольцами, на груди были брильянты, подаренные ей Стайном. Милорд держал ее за руку и наклонился, чтобы поцеловать ей пальчики, как вдруг Бекки слабо вскрикнула и вскочила — она увидела бледное лицо Родона. В следующее мгновение она попыталась улыбнуться, как бы приветствуя вернувшегося супруга, — ужасная то была улыбка; Стайн выпрямился, бледный, скрипя зубами и с яростью во взоре. Он в свою очередь сделал попытку засмеяться и шагнул вперед, протягивая руку.

— Как! Вы уже вернулись?.. Здравствуйте, Кроули! — произнес он, и рот у него перекосился, когда он попробовал улыбнуться непрощенному гостю.

Что-то в лице Родона заставило Бекки кинуться к мужу.

— Я невинна, Родон! — сказала она. — Клянусь богом, невинна! — Она цеплялась за его сюртук, хватала его за руки. Ее руки были сплошь покрыты змейками, кольцами, безделушками. — Я невинна! Скажите же, что я невинна! — взмолилась она, обращаясь к лорду Стайну.

Тот решил, что ему подстроена ловушка, и ярость его обрушилась на жену так же, как и на мужа.

— Это вы-то невинны, черт вас возьми! — завопил он. — Вы невинны! Да каждая побрякушка, что на вас надета, оплачена мною! Я передавал вам тысячи фунтов, которые тратил этот молодец и за которые он вас продал. Невинны, дьявол... Вы так же невинны, как ваша танцовщица-мать и ваш буян-супруг. Не думайте меня запугать, как вы запугивали других... С дороги, сэр! Дайте пройти! — И лорд Стайн схватил шляпу и, с бешеной злобой глянув в лицо своему врагу, двинулся прямо на него, ни на минуту не сомневаясь, что тот даст ему дорогу.

Но Родон Кроули прыгнул и схватил его за шейный платок. Полузадушенный Стайн корчился и извивался под его рукой.

— Лжешь, собака! — кричал Родон. — Лжешь, трус и негодяй! — И он дважды ударил пэра Англии по лицу всей ладонью и швырнул его, окровавленного, на пол.

Все это произошло раньше, чем Ребекка могла вмешаться. Она стояла подле, трепеща всем телом. Она любовалась своим супругом, сильным, храбрым — победителем!

— Подойди сюда! — приказал он.

Она подошла к нему.

— Сними с себя это.

Вся дрожа, она начала неверными руками стаскивать браслеты с запястий и кольца с трясущихся пальцев и подала все мужу, вздрагивая и робко поглядывая на него.

— Брось все здесь, — сказал тот, и она выпустила драгоценности из рук.

Родон сорвал у нее с груди брильянтовое украшение и швырнул его в лорда Стайна. Оно рассекло ему лысый лоб. Стайн так и прожил с этим шрамом до могилы.

— Пойдем наверх! — приказал Родон жене.

— Не убивай меня, Родон! — взмолилась она.

Он злобно захохотал.

— Я хочу убедиться, лжет ли этот человек насчет денег, как он налгал на меня. Он давал тебе что-нибудь?

— Нет, — отвечала Ребекка, — то есть...

— Дай мне ключи, — сказал Родон. И оба супруга вышли.

Ребекка отдала мужу все ключи, кроме одного, в надежде, что Родон этого не заметит. Ключ этот был от

маленькой шкатулки, которую ей подарила Эмилия в их юные годы и которую Бекки хранила в укромном месте. Но Родон вскрыл все ящики и гардеробы, вышвырнул из них на пол горы пестрых тряпок и, наконец, нашел шкатулку. Ребекка вынуждена была ее отпереть. Там хранились документы, старые любовные письма, всевозможные мелкие безделушки и женские реликвии. А кроме того, там лежал бумажник с кредитными билетами. Некоторые из них были тоже десятилетней давности, но один был совсем еще новенький — банкнот в тысячу фунтов, подаренный Бекки лордом Стайном.

— Это от него? — спросил Родон.

— Да, — ответила Ребекка.

— Я отошлю ему деньги сегодня же, — сказал Родон (потому что уже занялся новый день: обыск тянулся несколько часов), — заплачу Бригс, которая была так ласкова с мальчиком, и покрою еще некоторые долги. Ты мне укажешь, куда тебе послать остальное. Ты могла бы уделить мне сотню фунтов, Бекки, из стольких-то денег, — я всегда с тобой делился.

— Я невинна, — повторила Бекки. И муж оставил ее, не сказав больше ни слова.

О чем она думала, когда он оставил ее? После его ухода прошло несколько часов, солнце заливало комнату, а Ребекка все сидела одна на краю постели. Все ящики были открыты, и содержимое их разбросано по полу: платья и перья, шарфы и драгоценности — обломки крушения тщеславных надежд! Волосы у Бекки рассыпались по плечам, платье разорвалось, когда Родон срывал с него брильянты. Она слышала, как он спустился по лестнице и как за ним захлопнулась дверь. Она знала: он не вернется. Он ушел навсегда. «Неужели он убьет себя? — подумала она. — Нет, разве что после дуэли с лордом Стайном...» Она задумалась о своей долгой жизни и о всех печальных событиях ее. Ах, какой она показалась Бекки унылой, какой жалкой, одинокой и неудачной! Не принять ли ей опиум и тоже покончить с жизнью — покончить со всеми надеждами, планами, триумфами и долгами? В таком положении и застала ее француженка-горничная: Ребекка сидела как на пожарище, стиснув руки, с сухими

глазами. Горничная была ее сообщницей и состояла на жалованье у Стайна.

— Mon Dieu, madame! Что случилось? — спросила она.

Да, что случилось? Была она виновна или нет? Бекки говорила — нет, но кто мог бы сказать, где была правда в том, что исходило из этих уст, и было ли на сей раз чисто это порочное сердце? Столько лжи и выдумки, столько эгоизма, изворотливости, ума — и такое банкротство! Горничная задернула занавеси и просьбами и показной лаской убедила хозяйку лечь в постель. Затем она отправилась вниз и подобрала драгоценности, валявшиеся на полу с тех пор, как Ребекка бросила их там по приказу мужа, а лорд Стайн удалился.



ГЛАВА LIV

Воскресенье после битвы

Особняк сэра Питта Кроули на Грейт-Гонт-стрит только что начал совершать свой утренний туалет, когда Родон в бальном костюме, который был на нем уже двое суток, напугав своим видом служанку, мывшую крыльцо, прошел мимо нее прямо в кабинет к брату. Леди Джейн уже встала и сидела в утреннем капоте наверху в детской, наблюдая за одеванием детей и слушая, как малышки, прижавшись к ней, читают утренние молитвы. Каждое утро она и дети исполняли этот долг у себя, до публичного церемониала, который возглавлял сэр Питт и на котором полагалось присутствовать всем домашним. Родон опустился в кресло в кабинете перед столом баронета, где были в образцовом порядке разложены Синие книги, письма, аккуратно помеченные счета и симметрически сложенные брошюры, а запертые на замочек счетные книги, письменные приборы и ящики с депешами,

библия, журнал «Трехмесячное обозрение» и «Придворный справочник» выстроились в ряд, как солдаты в ожидании начальника.

Сборник семейных проповедей, — сэр Питт преподносил их своему семейству по утрам в воскресенье, — лежал в полной готовности на столе, дожидаясь, чтобы его владелец выбрал в нем нужные страницы. А рядом со сборником проповедей лежал номер газеты «Наблюдатель», еще сырой и аккуратно сложенный, предназначенный для личного пользования сэра Питта. Один лишь камердинер позволял себе просматривать газету, прежде чем положить ее на хозяйский стол. В это утро, перед тем как отнести газету в кабинет, он прочитал красочный отчет о «празднествах в Гонт-хаусе» с перечислением всех именитых особ, приглашенных маркизом Стайном на вечер, удостоенный присутствия его королевского высочества. Обсудив это событие с экономкой и ее племянницей, с которыми он рано утром пил чай и ел горячие гренки с маслом в комнате названной леди, и выразив удивление, каким это образом справляются Родоны Кроули со своими делами, камердинер подержал газету над паром и снова сложил ее, так чтобы к приходу хозяина дома она имела совершенно свежий и нетронутый вид.

Бедный Родон взял газету и попробовал было заняться чтением, но строчки прыгали у него перед глазами, и он не понимал ни единого слова. Правительственные известия и назначения (сэр Питт, как общественный деятель, был обязан их просматривать, иначе он ни за что не потерпел бы у себя в доме воскресных газет), театральная критика, состязание на приз в сто фунтов между «Баркингским мясником» и «Любимцем Татбери», даже хроника Гонт-хауса, содержащая самый похвальный, хотя и сдержанный отчет о знаменитых шарадах, в которых отличалась миссис Бекки, — все это проплыло в какой-то дымке перед Родоном, пока он сидел в ожидании главы рода Кроули.

Едва кабинетные часы черного мрамора начали резко отзванивать девять, появился сэр Питт, свежий, аккуратный, гладко выбритый, с чистым желтоватым лицом, в тугом воротничке, с зачесанными и напомаженными остатками волос; он величественно спустился с лестницы,

в накрахмаленном галстуке и сером фланелевом халате, полируя на ходу ногти и являя собою образец подлинного английского джентльмена старых времен, образец опрятности и всяческой благопристойности. Он вздрогнул, когда увидел у себя в кабинете бедного Родона, в измятом костюме, растрепанного, с налитыми кровью глазами. Питт подумал, что брат находится в нетрезвом состоянии и провел всю ночь в какой-нибудь оргии.

— Милосердный боже, Родон! — сказал он в изумлении. — Что привело тебя сюда в такой ранний час? Почему ты не дома?

— Дома? — произнес Родон с горьким смехом. — Не пугайся, Питт. Я не пьян. Закрой дверь: мне надо поговорить с тобой.

Питт закрыл дверь, затем, подойдя к столу, опустился в другое кресло, — в то самое, которое было поставлено здесь для приемов управляющего, агента или какого-нибудь доверенного посетителя, приходившего побеседовать с баронетом по делу, — и стал еще усерднее подчищать ногти.

— Питт, я конченный человек, — сказал полковник, немного помолчав. — Я погиб.

— Я всегда говорил, что так и будет! — раздраженно воскликнул баронет, отбивая такт своими аккуратно подстриженными ногтями. — Я предупреждал тебя тысячу раз. Не могу больше ничем тебе помочь. Все мои деньги рассчитаны до последнего шиллинга. Даже те сто фунтов, которые Джейн отвезла тебе вчера, были обещаны моему поверенному на завтрашнее утро, и отсутствие их создаст для меня большие затруднения. Не хочу сказать, что я вовсе отказываю тебе в помощи. Но уплатить твоим кредиторам сполна я не могу, так же, как не могу уплатить национальный долг. Ждать этого от меня — безумие, чистейшее безумие! Ты должен пойти на сделку. Для семьи это тягостно, но все так поступают. Вот, например, Джордж Кайтли, сын лорда Регленда, судился на прошлой неделе и вышел, как они, кажется, называют это, обеленным. Лорд Регленд не дал бы ему и шиллинга и...

— Мне не деньги нужны, — перебил его Родон. — Я пришел говорить не о себе. Не важно, что будет со мной...

— Тогда в чем же дело? — сказал Питт с некоторым облегчением.

— Мой мальчик... — произнес Родон хриплым голосом. — Я хочу, чтобы ты обещал мне, что будешь о нем заботиться, когда меня не станет. Твоя милая, добрая жена всегда относилась к нему хорошо, он любит ее гораздо больше, чем свою... Нет, к черту! Слушай, Питт... Ты знаешь, что я должен был получить деньги мисс Кроули. Меня воспитывали не так, как воспитывают младших братьев, и всегда поощряли быть сумасбродом и лодырем. Не будь этого, я мог бы стать совсем другим человеком. Я уж не так плохо исполнял свой служебный долг в полку. Ты знаешь, почему деньги уплыли от меня и кто их получил.

— После всех жертв, принесенных мною, и той поддержки, которую я тебе оказал, я считаю подобного рода упреки излишними, — сказал сэр Питт. — Не я же тебя толкал на этот брак.

— С ним теперь покончено! — ответил Родон. Эти слова вырвались у него с таким стоном, что сэр Питт вздрогнул и выпрямился.

— Боже мой! Она умерла? — воскликнул он голосом, полным неподдельной тревоги и жалости.

— Хотел бы я сам умереть! — отвечал Родон. — Если бы не маленький Родон, я сегодня утром перерезал бы себе горло... да и этому негодяю тоже.

Сэр Питт мгновенно угадал всю правду и сообразил, на чью жизнь готов был покуситься Родон. Полковник кратко и несвязно изложил старшему брату все обстоятельства дела.

— Она была в сговоре с этим негодяем, — сказал он. — На меня напустили бейлифов, меня схватили, когда я выходил из его дома. Когда я попросил ее достать денег, она написала, что лежит больная в постели и выручит меня на другой день. А когда я пришел домой, то застал ее в брильянтах, наедине с этим мерзавцем.

Затем он в нескольких словах описал свое столкновение с лордом Стайном. В делах такого рода, сказал он, существует только один выход. И после беседы с братом он предпримет необходимые шаги для устройства дуэли, которая должна воспоследовать.

— И так как я не знаю, останусь ли я в живых,— произнес Родон упавшим голосом,— а у моего мальчика нет матери, то мне приходится оставить его на попечение твое, Питт, и Джейн... только у меня будет спокойнее на душе, если ты пообещаешь быть ему другом.

Старший брат был очень взволнован и пожал Родону руку с сердечностью, которую редко обнаруживал. Родон провел рукой по своим густым бровям.

— Спасибо, брат,— сказал он.— Я знаю, что могу верить твоему слову.

— Клянусь честью, я исполню твою просьбу! — ответил баронет. И таким образом между ними без лишних слов состоялся этот уговор.

Затем Родон извлек из кармана маленький бумажник, обнаруженный им в шкатулке Бекки, и вынул пачку кредитных билетов.

— Здесь шестьсот фунтов,— сказал он,— ты и не знал, что я так богат. Я хочу, чтобы ты вернул деньги Бригс, которая дала их нам взаймы... Она была так добра к мальчику... и мне всегда было стыдно, что мы забрали деньги у бедной старухи. Вот еще деньги,— я оставляю себе всего несколько фунтов, а это надо отдать Бекки на прожитье.

И с этими словами он достал из бумажника еще несколько кредиток, чтобы отдать их брату, но руки у него дрожали, и он был так взволнован, что уронил бумажник, и из него вылетел тысяchefунтовый билет — последнее приобретение злополучной Бекки.

Питт, изумленный таким богатством, нагнулся и подобрал деньги с пола.

— Нет, эти не тронь. Я надеюсь всадить пулю в человека, которому они принадлежат.— Родону представлялось, что это будет славная месть — завернуть пулю в билет и убить ею Стайна.

После этого разговора братья еще раз пожали друг другу руку и расстались. Леди Джейн услышала о приходе полковника и, чуя женским сердцем беду, дождалась своего супруга рядом, в столовой. Дверь в столовую случайно осталась открытой, и, конечно, леди вышла оттуда, как раз когда братья показались на пороге кабинета. Джейн протянула Родону руку и выразила удовольствие, что он пришел к утреннему завтраку, хотя

по измученному, небритому лицу полковника и мрачному виду мужа она могла заметить, что им обоим было не до завтрака. Родон пробормотал какую-то отговорку насчет важного дела и крепко стиснул робкую ручку, которую ему протянула невестка. Ее умоляющие глаза не могли прочесть у него на лице ничего, кроме горя, но он ушел, не сказав ей больше ни слова. Сэр Питт тоже не удостоил ее никакими объяснениями. Дети подошли к нему поздороваться, и он поцеловал их холодно, как всегда. Мать привлекла обоих детей к себе и держала их за ручки, когда они преклоняли колени во время молитв, которые сэр Питт читал членам семьи и слугам, чинно сидевшим рядами, в праздничных платьях и ливреях, на стульях, поставленных по другую сторону стола с кипевшим на нем большим чайником. Завтрак так запоздал в этот день вследствие неожиданной помехи, что семья еще сидела за столом, когда зазвонили в церкви. Леди Джейн сказала слишком нездоровой, чтобы идти в церковь, но и во время семейной молитвы мысли ее были совсем не о божественном.

Между тем Родон Кроули уже оставил позади Грейт-Гонт-стрит и, ударив молоточком по голове большой бронзовой медузы, стоявшей на крыльце Гонт-хауса, вызвал краснорожего Силена в малиновом жилете с серебром, исполнявшего в этом дворце должность швейцара. Швейцар тоже испугался, увидев полковника в таком растрепанном виде и преградил ему дорогу, словно боясь, что тот ворвется в дом силой. Но полковник Кроули только достал свою карточку и особо наказал швейцару передать ее лорду Стайну — заметить написанный на ней адрес и сказать, что полковник Кроули будет весь день после часу в Риджентс-клубе на Сент-Джеймс-стрит, а не у себя дома.

Жирный, краснолицый швейцар удивленно посмотрел вслед Родону, когда тот зашагал прочь; оглядывались на него и прохожие в праздничном платье, вышедшие на улицу спозаранок, приютские мальчуганы с дочиста отмытыми лицами, зеленщик, прислонившийся к дверям своей лавки, и владелец питейного заведения, закрывавший на солнышке ставни, ибо в церквях уже начиналась служба. Зеваки, собравшиеся у извозчичьей биржи, отпустили не одну шутку по поводу наружности полковника,

когда тот нанимал экипаж и давал вознице адрес — Найтсбриджские казармы.

Воздух гудел от колокольного звона, когда Родон приехал на место. Если бы он выглянул из экипажа, он мог бы увидеть свою старую знакомую, Эмилию, шедшую из Бромптона к Рассел-скверу. Целые отряды школьников направлялись в церковь, чисто подметенные тротуары и наружные места карет были заполнены людьми, спешившими на воскресную прогулку. Но полковник был слишком занят своими думами, чтобы обращать на все это внимание, и, прибыв в Найтсбридж, быстро поднялся в комнату своего старого друга и товарища капитана Макмердо, которого, к своему удовольствию, и застал дома.

Капитан Макмердо, старый служака, участник сражения при Ватерлоо, большой любимец полка, в котором он только из-за недостатка средств не мог достигнуть высших чинов, наслаждался утренним покоем в кровати. Накануне он был на веселом ужине, устроенном капитаном Джорджем Синкбарсом в своем доме на Бромптон-сквере для нескольких молодых офицеров и большого количества дам из кордебалета, и старый Мак, который чувствовал себя отлично с людьми всех возрастов и рангов и водился с генералами, собачниками, танцовщицами, боксерами — словом, со всякими решительно людьми, отдыхал после ночных трудов и, не будучи дежурным, лежал в постели.

Его комната была сплошь увешана картинами, посвященными боксу, балету и спорту и подаренными ему товарищами, когда те выходили в отставку, женились и переходили к спокойному образу жизни. И так как капитану было теперь лет пятьдесят и двадцать четыре из них он провел на военной службе, то у него подобрался своеобразный музей. Он был одним из лучших стрелков в Англии и одним из лучших, для своего веса, наездников. Они с Кроули были соперниками, когда тот служил в полку. Короче сказать, мистер Макмердо лежал в постели, читая в «Белловой жизни» отчет о том самом состязании между «Любимцем Татбери» и «Баркингским мясником», о котором мы упоминали выше. Это был почтенный вояка, с маленькой коротко остриженной седой головой в шелковом ночном колпаке, румяный и красносный, с длинными крашеными усами.

Когда Родон сообщил капитану, что нуждается в друге, тот отлично понял, какого рода дружеская услуга от него требуется. Ему довелось провести для своих знакомых десятки таких дел весьма осмотрительно и искусно. Его королевское высочество, незабвенной памяти покойный главнокомандующий, питал за это величайшее уважение к Макмердо, и капитан был всеобщим прибежищем для джентльменов в беде.

— Ну, в чем дело, мой милый Кроули? — спросил старый вояка. — Еще какая-нибудь картежная история? Вроде той, когда мы ухлопали капитана Маркера, а?

— Нет, теперь это... теперь это из-за моей жены, — отвечал Кроули, потупив взор и сильно покраснев.

Тот только свистнул.

— Я всегда говорил, что она тебя бросит, — начал он (и действительно, в полку и в клубах заключались пари насчет того, какая участь ожидает полковника Кроули, — такого невысокого мнения были его товарищи и свет о добродетельности миссис Кроули), но, увидев, каким свирепым взглядом Родон отвечал на его замечание, Макмердо счел за благо не развивать эту тему.

— И что же, неужели другого выхода нет, мой милый? — продолжал капитан серьезным тоном. — Что это, только, понимаешь, подозрение или... или что еще? Какие-нибудь письма? Нельзя ли уладить все спокойно? Лучше не поднимать шума из-за такой истории, если это возможно!

«Здорово! Он, значит, только теперь ее раскусил», — подумал капитан и вспомнил сотни интимных разговоров в офицерской столовой, когда имя миссис Кроули смешивалось с грязью.

— Выход только один, — отвечал Родон, — и одному из нас придется отправиться этим выходом на тот свет. Понимаешь, Мак, меня устранили с дороги, арестовали; я застал их вдвоем. Я сказал ему, что он лжец и трус, сбил его с ног и вздул.

— Так ему и надо, — сказал Макмердо. — Кто это? Родон ответил, что это лорд Стайн.

— Черт! Маркиз! Говорят, он... то есть, говорят, ты...

— Какого дьявола ты ямлишь? — взревел Родон. — Ты хочешь сказать, что тебе уже приходилось слышать

какие-то намеки по адресу моей жены и ты не сообщил мне об этом?

— Свет любит позлословить, старина, — отвечал тот. — Ну к чему я стал бы тебе рассказывать о том, что болтают разные дураки?

— Черт возьми, Мак, это было не по-приятельски, — сказал Родон, совсем подавленный, и, закрыв лицо руками, дал волю своему волнению, зрелище которого глубоко тронуло сидевшего против него грубого старого служаку.

— Держись, старина! — сказал он. — Важный он человек или не важный, мы всадим в него пулю, черт его побери! А что касается женщин, так они все одинаковы.

— Ты не знаешь, как я любил эту женщину, — сказал Родон, едва выговаривая слова. — Ведь я ходил за нею по пятам, как лакей. Я отдал ей все, что у меня было. Я нищий теперь, потому что женился на ней. Клянусь тебе, я закладывал часы, чтобы купить ей, что ей хотелось. А она... она все это время копила деньги для себя и пожалела сто фунтов, чтобы вызволить меня из каталажки.

Тут он горячо и несвязно, с волнением, в каком его друг никогда его не видел, рассказал Макмердо все обстоятельства дела. Последний ухватился за некоторые неясные черточки в рассказе.

— А может быть, она и вправду невинна? — сказал он. — Она это утверждает. Стайн и прежде сотни раз оставался наедине с нею в вашем доме.

— Может быть и так, — сумрачно отвечал Родон, — но вот это выглядит не очень невинно, — и он показал капитану тысячефунтовый билет, найденный в бумажнике Бекки. — Вот что он дал ей, Мак, а она от меня это утаила. И, имея такие деньги дома, отказалась выручить меня, когда я очутился под замком.

Капитан не мог не согласиться, что с деньгами получилось некрасиво.

Пока шло это совещание, Родон отправил слугу капитана Макмердо на Керзон-стрит с приказом своему лакею выдать чемодан с платьем, в котором полковник сильно нуждался. А за время отсутствия слуги Родон и его секундант с величайшим трудом и с помощью джонсоновского словаря, сослужившего им большую службу,

составили письмо, которое Макмердо должен был послать лорду Стайну. Капитан Макмердо имеет честь от лица полковника Родона Кроули свидетельствовать свое почтение маркизу Стайну и доводит до его сведения, что он уполномочен полковником предпринять любые шаги для встречи, требовать которой, он в том не сомневается, входит в намерения его милости и которую обстоятельства сегодняшнего утра делают неизбежной. Капитан Макмердо в самой учтивой форме просил лорда Стайна указать с своей стороны какого-нибудь друга, с которым он (капитан М.) мог бы снестись, и высказывал пожелание, чтобы встреча произошла по возможности без промедлений. В постскриптуме капитан сообщал, что в его распоряжении находится банковый билет на крупную сумму, причем полковник Кроули имеет основания предполагать, что эти деньги являются собственностью маркиза Стайна. И ему, по поручению полковника, желательно было бы передать билет его владельцу.

К тому времени, как это письмо было составлено, слуга капитана вернулся с Керзон-стрит, но без саквояжа и чемодана, за которыми его посылали,— вид у него был очень растерянный и смущенный.

— Там ничего не желают выдавать,— доложил он.— В доме сущий кавардак, все перевернуто вверх дном. Явился домохозяин и завладел всем. Слуги пьянствуют в гостиной. Они говорят... они говорят, что вы сбежали со столовым серебром, полковник,— добавил слуга, помолчав немного.— Одна из горничных уже съехала. А Симпсон, ваш лакей, очень шумел и притом, совершенно пьяный, твердит, что не даст ничего вынести из дому, пока ему не заплатят жалованья.

Отчет об этой маленькой революции в Мейфэре изумил их и внес некоторое веселье в весьма печальный доселе разговор. Оба офицера расхохотались над поражением, постигшим Родона.

— Я рад, что мальчугана нет дома,— сказал Родон, кусая ногти.— Ты помнишь, Мак, как я приводил его в манеж? Каким молодцом он сидел на коне, а?

— Да, он у тебя молодец! — подтвердил добродушный капитан.

В это время маленький Родон сидел в часовне школы «Уайтфрайерс», среди пятидесяти таких же наряженных

в мантии мальчиков, и думал не о проповеди, а о поездке домой в ближайшую субботу, когда отец, наверное, подарит ему что-нибудь, а может быть, даже поведет в театр.

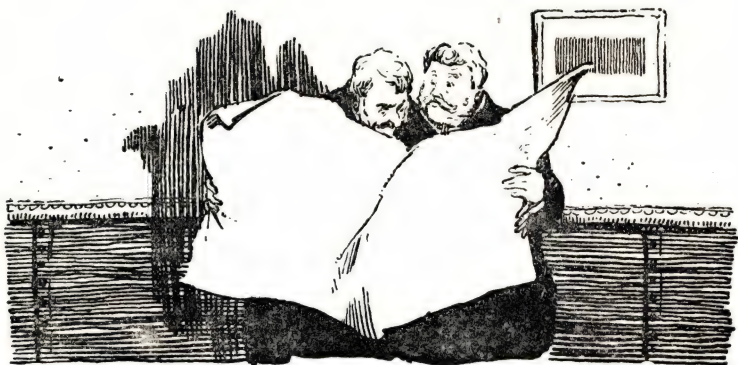
— Он у меня молодчина, — продолжал Родон, все еще думая о сыне. — Вот что, Мак, если случится какая-нибудь беда... если меня ухлопают... мне хотелось бы, чтобы ты... знаешь, навестил его и передал ему, что я очень его любил, ну, и так далее!.. И еще... фу ты, напасть!.. отдай ему, старый дружище, вот эти золотые запонки: это все, что у меня осталось.

Он закрыл лицо грязными руками, слезы покатались по ним, оставляя белые полосы. Макмердо тоже пришлось снять шелковый ночной колпак и протереть им глаза.

— Ступайте вниз и закажите нам чего-нибудь позавтракать, — приказал он своему слуге громким и бодрым голосом. — Что ты хочешь, Кроули? Скажем, почки под острым соусом и селедку? И еще, Клей, достаньте полковнику что-нибудь из платья. Мы с тобой всегда были почти что одинакового роста, милый мой Родон, и ни одному из нас уже не скакать с той легкостью, которой мы отличались, когда поступали в полк.

С этими словами Макмердо оставил полковника совершать туалет, а сам повернулся лицом к стене и продолжал читать «Беллову жизнь», пока его приятель не оделся, после чего и сам капитан мог приступить к одеванию.

Эта операция была проведена с особой тщательностью, так как капитану Макмердо предстояло свидание с лордом. Он нафабрил усы, приведя их в состояние полнейшего блеска, и надел крахмальный галстук и нарядный жилет кофейного цвета. Вследствие этого все молодые офицеры в столовой, куда капитан вошел вскоре после своего друга, встретили его громкими приветствиями и спрашивали, уж не к венцу ли он собрался.



ГЛАВА LV,

в которой развивается та же тема

Бекки очнулась от оцепенения и растерянности, в которые ее бесстрашный дух был повергнут событиями минувшей ночи, только когда колокола церкви на Керзон-стрит зазвонили к послеполуденной службе. Поднявшись с постели, она тоже принялась усиленно звонить в колокольчик, призывая к себе француженку-горничную, оставившую ее за несколько часов перед тем.

Миссис Родон Кроули звонила долго и тщетно, и хотя в последний раз она позвонила с такою силою, что оборвала шнурок звонка, однако *mademoiselle* Фифин не соизволила появиться, — не появилась она и тогда, когда ее госпожа, с сонеткой в руках и с рассыпавшимися по плечам волосами, в гневе выбежала на площадку лестницы и стала приывать к себе камеристку громкими криками.

Дело в том, что та уже несколько часов как скрылась, позволив себе удалиться «на французский манер», как это у нас называется. Подобрал в гостиной драгоценности, *mademoiselle* поднялась к себе наверх, уложила и перевязала чемоданы, сбегала за кебом, собственноручно снесла вниз свои пожитки, даже не прибегнув к помощи других слуг, которые, вероятно, отказались бы ей помочь,

потому что ненавидели ее от всего сердца, и, ни с кем не попрощавшись, покинула дом на Керзон-стрит.

По ее мнению, игра в этом уютном семейном мирке была окончена. Фифин укатила в кебе, как поступали в подобных обстоятельствах и более высокопоставленные ее соотечественники; но более, чем они, предусмотрительная, или более счастливая, она забрала не только свои собственные вещи, но и кое-что из хозяйских (если, впрочем, про эту леди можно сказать, что у нее была какая-либо собственность), — и увезла не только упомянутые выше драгоценности и несколько платьев, на которые давно уже зарилась: нет, вместе с *mademoiselle* Фифин из дома на Керзон-стрит исчезли также четыре позолоченных подсвечника в стиле Людовика XIV, шесть золоченых альбомов, кипсеков и книг с портретами красавиц, золотая эмалированная табакерка, принадлежавшая когда-то мадам Дюбарри, чудеснейшая маленькая чернильница и перламутровый бювар, которыми пользовалась Бекки, составляя свои изящные розовые записочки, а кстати и все серебро, какое было на столе по случаю маленького *festin*¹, прерванного появлением Родона. Серебряную посуду *mademoiselle* оставила на месте, вероятно как слишком громоздкую; и, несомненно, по той же причине она не взяла каминных щипцов, зеркал и маленького фортепьяно палисандрового дерева.

Впоследствии какая-то дама, очень на нее похожая, держала модную мастерскую на улице Гельдер в Париже, где она жила в большом почете, пользуясь покровительством милорда Стайна. Особа эта всегда отзывалась об Англии, как о самой предательской стране в мире, и рассказывала своим молодым ученицам, что она была *affreusement volée*² обитателями этого острова. Очевидно, именно из сострадания к таким несчастьям достойной *madame de Saint-Amaranthe* маркиз Стайн и осыпал ее своими милостями. Да процветает она и впредь, как того заслуживает, — она уже не появится на тех дорогах Ярмарки Тщеславия, по которым мы бродим.

Услышав снизу гул голосов и возню и негодуя на бесстыдство слуг, не отвечавших на ее зов, миссис Кроули

¹ Пиршества (*франц.*).

² Зверски обворована (*франц.*).

накинула капот и величественно спустилась в столовую, откуда доносился этот шум.

Там на прекрасной, обитой кретоном софе восседала чумазая кухарка рядом с миссис Реглс и потчевала ее мараскином. Паж с блестящими пуговицами, разносивший розовые записочки Бекки и с такой резвостью прыгавший около ее изящной кареты, теперь упоенно макал пальцы в блюдо с кремом; лакей беседовал с Реглсом, лицо которого выражало смущение и горе; однако, хотя дверь стояла открытой и Бекки громко взывала к слугам раз пять, находясь от них на расстоянии нескольких шагов, никто не повиновался ее призыву!

— Выпейте рюмочку, миссис Реглс, сделайте милость,— говорила кухарка в тот момент, как Бекки в развевающемся белом кашемировом капоте вошла в гостиную.

— Симпсон! Тротер! — закричала хозяйка дома в страшном гневе. — Как вы смеете торчать здесь, когда слышите, что я вас зову? Как вы смеете сидеть в моем присутствии? Где моя горничная?

Паж, на мгновение испугавшись, вынул пальцы из рта, но кухарка взяла рюмку мараскина, от которой отказалась миссис Реглс, и, нагло взглянув на Бекки через край позолоченной рюмки, выпила ее до дна. Как видно, напиток придал смелости гнусной мятежнице.

— Вот и сидим, софа-то не ваша! — сказала кухарка. — Я сижу на софе миссис Реглс. Не трогайтесь с места, миссис Реглс, мэм. Я сижу на софе мистера и миссис Реглс, которую они купили на свои кровные денежки и при этом заплатили хорошую цену, да! И если я буду сидеть здесь, пока мне не заплатят жалованья, то придется мне просидеть тут довольно-таки долго, миссис Реглс; и буду сидеть... ха-ха-ха!

С этими словами она налила себе вторую рюмку ликера и выпила ее с отвратительной насмешливой гримасой.

— Тротер! Симпсон! Гоните эту нахальную пьяницу вон! — взвизгнула миссис Кроули.

— И не подумаю,— отвечал лакей Тротер,— сами гоните. Заплатите нам жалованье, а тогда гоните, и меня тоже. Нам-то что, мы уйдем с большим удовольствием!

— Вы что же, собрались здесь, чтобы оскорблять

меня? — закричала Бекки в бешенстве. — Вот вернется полковник Кроули, тогда я...

При этих словах слуги разразились грубым хохотом, к которому, однако, не присоединился Реглс, попрежнему сохранявший самый меланхолический вид.

— Он не вернется, — продолжал мистер Тротер. — Он присылал за своими вещами, а я не позволил ничего взять, хотя мистер Реглс и собирался выдать. Да и полковник он, скорее всего, такой же, как я. Он сбежал, и вы, наверно, тоже за ним последуете. Оба вы жулики, и больше ничего. Не орите на меня! Я этого не потерплю. Заплатите нам жалованье, вот что. Жалованье нам заплатите!

По раскрасневшейся физиономии мистера Тротера и нетвердой интонации его речи было ясно, что он тоже почерпнул храбрость на дне стакана.

— Мистер Реглс, — сказала Бекки, уязвленная до глубины души, — неужели вы позволите этому пьянице оскорблять меня?

— Перестаньте шуметь, Тротер, довольно! — произнес паж Симпсон. Он был тронут жалким положением хозяйки, и ему удалось удержать лакея от грубого ответа на эпитет «пьяница».

— Ох, сударыня, — сказал Реглс, — не думал я, что мне придется дожить до такого дня! Я знаю семейство Кроули с тех пор, как себя помню. Я служил дворцом у мисс Кроули тридцать лет, и мне и в голову не приходило, что один из членов этого семейства разорит меня... да, разорит, — произнес несчастный со слезами на глазах. — Вы мне-то думаете заплатить или нет? Вы прожили в этом доме четыре года. Вы пользовались моим имуществом, посудой и бельем. Вы задолжали мне по счету за молоко и масло двести фунтов, а еще требовали у меня яиц из-под кур, для разных ваших яичниц, и сливок для болонки!

— Ей и горя было мало, что ест и пьет ее собственная кровь и плоть, — вмешалась кухарка. — Он двадцать раз помер бы с голоду, кабы не я.

— Он теперь приютский мальчик, — сказал мистер Тротер с пьяным хохотом.

А честный Реглс продолжал, чуть не плача, перечислять свои беды. Все, что он говорил, было правдой. Бекки

и ее супруг разорили его. На следующей неделе ему нужно платить по срочным векселям, а платить нечем. Все пойдет с молотка, его выгонят вон из лавки и из дома, а все потому, что он доверился семейству Кроули. Его слезы и причитания еще больше раздосадовали Бекки.

— Кажется, вы все против меня,— сказала она с горечью.— Что вам надо? Я не могу расплатиться с вами в воскресенье. Приходите завтра, и я уплачу вам все сполна. Я думала, что полковник Кроули уже рассчитался с вами. Ну, значит, рассчитается завтра. Заверяю вас честным словом, что он сегодня утром ушел из дому с полутора тысячами фунтов в бумажнике. Меня он оставил без гроша. Обратитесь к нему. Принесите мне шляпу и шаль и дайте только съездить за ним и отыскать его. Мы с ним сегодня повздорили. Повидимому, вам всем это известно. Даю вам слово, что вам всем будет уплачено. Полковник получил хорошее место. Дайте мне только съездить за ним и отыскать его.

Это смелое заявление заставило Реглса и других удивленно переглянуться. На этом Бекки их и покинула. Она поднялась вверх и оделась, на сей раз без помощи француженки-горничной, затем прошла в комнату Родона и увидела там уложенный чемодан и саквояж, а при них записку с указанием, чтобы их выдали по первому требованию. После этого она поднялась на чердак, где помещалась француженка: там все было чисто, все ящики опорожнены. Бекки вспомнила о драгоценностях, брошенных на полу, и у нее не осталось сомнений, что горничная сбежала.

— Боже мой! Кому еще так не везет, как мне! — воскликнула она.— Быть так близко к цели и все потерять! Неужели уже слишком поздно?

Нет, один шанс еще оставался.

Она оделась и вышла из дому — на этот раз без всяких помех, но одна. Было четыре часа. Бекки быстро прошла ряд улиц (у нее не было денег, чтобы нанять экипаж), нигде не останавливаясь, пока не очутилась у подъезда сэра Питта Кроули на Грейт-Гонт-стрит. Где леди Джейн Кроули? Она в церкви. Бекки не опечалилась. Сэр Питт был у себя в кабинете и приказал, чтобы его не беспокоили. Но она должна его видеть! Ребекка бы-

стро проскользнула мимо часового в ливрее и очутилась в комнате сэра Питта раньше, чем изумленный баронет успел отложить газету.

Он покраснел и, отшатнувшись от Ребекки, устремил на нее взгляд, полный тревоги и отвращения.

— Не смотрите на меня так! — сказала она. — Я невинна, Питт, дорогой мой Питт! Когда-то вы были мне другом. Клянусь богом, я невинна! Хотя видимость против меня... Все против меня. И, ах! в такую минуту! Как раз когда все мои надежды начали сбываться, как раз когда счастье уже улыбалось нам!

— Значит, это правда, что я прочел в газете? — спросил сэр Питт. Одно газетное сообщение в этот день весьма удивило его.

— Правда! Лорд Стайн сообщил мне это в пятницу вечером, в день этого рокового бала. Ему уже полгода обещали какое-нибудь назначение. Мистер Мартир, министр колоний, передал ему вчера, что все устроено. Тут произошел этот несчастный арест, эта ужасная встреча. Я виновата только в слишком большой преданности служебным интересам Родона. Я принимала лорда Стайна наедине сотни раз и до того. Сознаюсь, у меня были деньги, о которых Родон ничего не знал. А разве вы не знаете, как он беспечен? Так могла ли я решиться доверить их ему?

Таким образом, у нее начала складываться вполне связная история, которую она и преподнесла своему озадаченному родственнику.

Дело якобы обстояло так: Бекки признавала с полной откровенностью, но с глубоким раскаянием, что, заметив расположение к себе со стороны лорда Стайна (при упоминании об этом Питт вспыхнул) и будучи уверена в своей добродетели, она решила обратить привязанность знатного пэра на пользу себе и своему семейству.

— Я добивалась звания пэра для вас, Питт, — сказала она (деверь опять покраснел). — Мы беседовали об этом. При вашем таланте и при посредничестве лорда Стайна это было бы вполне возможно, если бы страшная беда не положила конец всем нашим надеждам! Но прежде всего, признаюсь, целью моей было спасти моего дорогого супруга, — я люблю его, несмотря на дурное обра-

шение и ничем не оправданную ревность, — избавить его от бедности и нищеты, грозящих нам. Я видела расположение лорда Стайна ко мне, — сказала она, потупив глазки. — Признаюсь, я делала все, что было в моей власти, чтобы понравиться ему и, насколько это возможно для честной женщины, обеспечить себе его... его уважение. Только в пятницу утром было получено известие о смерти губернатора острова Ковентри *, и милорд немедленно закрепил это место за моим дорогим супругом. Было решено, что ему будет устроен сюрприз: он должен был прочесть об этом в газетах сегодня. Даже после того как произошел этот ужасный арест (все издержки по которому лорд Стайн великодушно предложил взять на себя, так что мне в некотором роде помешали броситься выручать моего мужа), милорд смеялся надо мной и говорил, что драгоценный мой Родон, сидя в этой отвратительной яме... в доме бейлифа, утешится, когда прочтет в газете о своем назначении. А затем... затем... он вернулся домой. У него пробудились подозрения... и страшная сцена произошла между милордом и моим жестоким, жестоким Родоном... и, боже мой, боже мой, что же теперь будет? Питт, дорогой Питт! Пожалейте меня и помирите нас! — С этими словами она бросилась на колени и, заливаясь слезами, схватила Питта за руку и начала ее страстно целовать.

В этой самой позе и застала баронета и его невестку леди Джейн, которая, вернувшись из церкви и услышав, что миссис Родон Кроули находится в кабинете у ее мужа, сейчас же туда побежала.

— Я поражаюсь, как у этой женщины хватает смелости входить в наш дом, — сказала леди Джейн, трепеща всем телом и смертельно побледнев. (Ее милость сейчас же после завтрака послала горничную расспросить Реглса и прислугу Родона Кроули, которые рассказали ей все, что знали, да притом еще немало присочинили, сообщив попутно и некоторые другие истории.)

— Как смеет миссис Кроули входить в дом... в дом честной семьи?

Сэр Питт отступил на шаг, изумленный таким энергичным выпадом. Бекки все стояла на коленях, крепко уцепившись за руку сэра Питта.

— Скажите ей, что она не все знает. Скажите, что я невинна, дорогой Питт, — простила она.

— Честное слово, моя дорогая, мне кажется, ты несправедлива к миссис Кроули, — сказал сэр Питт. При этих словах Бекки почувствовала большое облегчение. — Я со своей стороны убежден, что она...

— Что она? — воскликнула леди Джейн, и ее звонкий голос задрожал, а сердце страшно забилося. — Что она гадкая женщина... бессердечная мать, неверная жена? Она никогда не любила своего славного мальчика, он сколько раз прибегал сюда и рассказывал мне о ее жестоком обращении. Она во всякую семью, с которой соприкасалась, приносила несчастье, делала все, чтобы расшатать самые священные чувства своей преступной лестью и ложью. Она обманывала своего мужа, как обманывала всех! У нее черная, суетная, тщеславная, преступная душа. Я вся дрожу, когда она близко. Я стараюсь, чтобы мои дети ее не видели. Я...

— Леди Джейн! — воскликнул сэр Питт, вскакивая с места. — Право, такие выражения...

— Я была вам верной и честной женой, сэр Питт, — бесстрашно продолжала леди Джейн, — я соблюдала свой брачный обет, данный перед богом, и была послушной и кроткой, как подобает жене. Но всякое повиновение имеет свои пределы, и я заявляю, что не потерплю, чтобы эта... эта женщина опять была под моим кровом: если она войдет сюда, я уеду и увезу детей. Она недостойна сидеть вместе с христианами. Вам... вам придется выбирать, сэр, между ею и мною. — И с этими словами миледи, трепеща от собственной смелости, стремительно вышла из комнаты, а изумленный сэр Питт остался один с Ребеккой.

Что касается Бекки, то она не обиделась; напротив, она была довольна.

— Это все из-за брильянтовой застешки, которую вы мне подарили, — сказала она сэру Питту, протягивая ему руку. И, прежде чем она покинула его (можете быть уверены, что леди Джейн дожидалась этого события у окна своей туалетной комнаты в верхнем этаже), баронет обещал отправиться на поиски брата и всячески постараться склонить его к примирению.

В полковой столовой Родон застал несколько моло-

дых офицеров, и те без особого труда уговорили его разделить с ними трапезу и подкрепиться цыпленком с перцем и содовой водой, которыми угощались эти джентльмены. Затем они повели беседу, приличествующую времени года и своему возрасту: о предстоящей стрельбе по голубям в Бетерси с заключением пари в пользу Роса или Осбальдистона; о mademoiselle Ариан из Французской оперы, о том, кто бросил ее и как она утешилась с Пентером Каром; о состязании между «Мясником» и «Любимцем» и о возможности допущенного при этом плутовства. Молодой Тендимен, семнадцатилетний герой, усердно старавшийся отрастить усы, сам видел это состязание и говорил о схватке и о качествах боксеров в самых ученых выражениях. Это он привез «Мясника» на место состязания в своем экипаже и провел вместе с ним всю минувшую ночь. Если бы тут не было подвоха, «Мясник» непременно победил бы! Там все эти жулики спелись между собой, и он, Тендимен, не станет платить... нет, черт возьми, платить он не станет! Всего лишь год тому назад сей юный корнет, ныне специалист по боксу и страстный поклонник Криба *, сосал леденцы и подвергался в Итоне сечению розгами.

Так они продолжали беседовать о танцовщицах, состязаниях, выпивке и дамах сомнительного поведения, пока в столовую не сошел Макмердо и не присоединился к их разговорам. Повидимому, он не задумывался над тем, что их юному возрасту следовало бы оказывать уважение: старый служака сыпал такими анекдотами, за которыми не угнаться было и самому юному из собравшихся тут повес; ни его седые волосы, ни их безусые лица не останавливали его. Старый Мак славился своими анекдотами. Строго говоря, он не был светским кавалером; иными словами, мужчины предпочитали приглашать его обедать к своим любовницам, а не к матерям. Можно, пожалуй, сказать, что он вел самый низменный образ жизни, но он был вполне доволен своей судьбой и жил, никому не желая зла, просто и скромно.

Когда Мак окончил свой обильный завтрак, большинство офицеров уже вышло из-за стола. Юный лорд Веринес курил огромную пенковую трубку, а капитан Юз занялся сигарой; неугомонный чертенок Тендимен, зажав между коленями своего маленького бультерьера, с вели-

ким азартом играл в орлянку (этот молодец вечно во что-нибудь играл) с капитаном Дьюсисом, а Мак и Родон отправились в клуб, за все время ни единым намеком не коснувшись вопроса, занимавшего их умы. Напротив, оба они довольно весело участвовали в общей беседе, да и к чему было расстраивать ее? Пирь, попойки, разгул и смех идут рука об руку со всеми другими занятиями на Ярмарке Тщеславия. Народ толпами валил из церквей, когда Родон и его приятель проходили по Сент-Джеймстрит и поднимались на крыльцо своего клуба.

Старые щеголи и *habitués*¹, которые часами простаивают у огромного окна клуба, глядя на улицу, еще не заняли своих постов; в читальне почти никого не было. Одного из джентльменов, сидевших там, Родон не знал, с другим у него были небольшие расчеты по висту, и, следовательно, полковник не чувствовал особого желания с ним встречаться; третий читал за столом воскресную газету «Роялист» (славившуюся своей скандальной хроникой и приверженностью церкви и королю). Взглянув на Кроули с некоторым интересом, этот последний сказал:

— Поздравляю вас, Кроули!

— С чем это? — спросил полковник.

— Об этом уже напечатано в «Наблюдателе», а также и в «Роялисте», — сказал мистер Смит.

— Что такое? — воскликнул Родон, сильно покраснев. Он подумал, что история с лордом Стайном уже попала в газеты. Смита и удивило и позабавило, с каким волнением полковник схватил дрожащей рукой газету и стал читать.

Мистер Смит и мистер Браун (тот джентльмен, с которым у Родона были не закончены карточные расчеты) беседовали о полковнике перед его приходом в клуб.

— Это подоспело в самый раз! — говорил Смит. — У Кроули, насколько мне известно, нет ни гроша за душой.

— Это для всех удачно, — сказал мистер Браун. — Он не может уехать, не заплатив мне двадцати пяти фунтов, которые он мне должен.

— Какое жалованье? — спросил Смит.

— Две или три тысячи фунтов, — отвечал Браун. —

¹ Завсегдатя (франц.).

Но климат там такой паршивый, что это удовольствие не надолго. Ливерсидж умер через полтора года, а его предшественник, я слышал, протянул всего шесть недель.

— Говорят, его брат очень умный человек. Мне он всегда казался нудной личностью, — заявил Смит. — Впрочем, у него, должно быть, хорошие связи. Вероятно, он и устроил полковнику это место.

— Он? — воскликнул Браун с усмешкой. — Чепуха! Это лорд Стайн ему устроил.

— То есть как?

— Добродетельная жена — клад для своего супруга, — отвечал собеседник загадочно и погрузился в чтение газет.

В «Роялисте» Родон прочитал следующее поразительное сообщение:

«Пост губернатора на острове Ковентри.»

Корабль его величества «Йеллоуджек» (капитан Джандерс) доставил письма и газеты с острова Ковентри. Его превосходительство сэр Томас Ливерсидж пал жертвой лихорадки, свирепствующей в Суомптоне. Процветающая колония скорбит об этой утрате. Мы слышали, что пост губернатора предложен полковнику Родону Кроули, кавалеру ордена Бани, отличившемуся в сражении при Ватерлоо. Для управления нашими колониями нам нужны люди не только признанной храбрости, но и наделенные административными талантами. Мы не сомневаемся, что джентльмен, выбранный министерством по делам колоний для замещения вакансии, освободившейся на острове Ковентри вследствие столь плачевного события, как нельзя лучше подходит для ответственной должности, которая ему предназначена».

— Остров Ковентри! Где он находится? Кто указал на твою кандидатуру правительству? Возьми меня к себе в секретари, дружище! — сказал Макмердо со смехом.

И пока Кроули и его друг сидели; озадаченные прочитанным сообщением, и дивились ему, клубный лакей подал полковнику карточку, на которой стояло имя мистера Уэнхема, и доложил, что этот джентльмен желает видеть полковника Кроули.

Полковник и его адъютант вышли навстречу Уэнхему, в полной уверенности, что тот явился эмиссаром от лорда Стайна.

— Как поживаете, Кроули? Рад вас видеть, — произнес мистер Уэнхем с мягкой улыбкой и сердечно пожал Родону руку.

— Я полагаю, вы пришли от...

— Совершенно верно, — ответил мистер Уэнхем.

— В таком случае, вот мой друг, капитан Макмердо лейб-гвардии Зеленого полка.

— Очень счастлив познакомиться с капитаном Макмердо, — сказал мистер Уэнхем и протянул руку секунданту с такой же обворожительной улыбкой, как перед тем — его принципалу. Мак протянул мистеру Уэнхему один палец, обтянутый замшевой перчаткой, и очень холодно поклонился ему, едва нагнув голову над своим крахмальным галстуком. Вероятно, он был недоволен, что ему приходится иметь дело с «штафиркой», и считал, что лорду Стайну следовало прислать к нему по меньшей мере полковника.

— Так как Макмердо действует от моего имени и знает, чего я хочу, — сказал Кроули, — мне лучше удалиться и оставить вас вдвоем.

— Конечно, — подтвердил Макмердо.

— Ни в коем случае, дорогой мой полковник! — сказал мистер Уэнхем. — Свидание, о котором я имел честь просить, должно быть у меня лично с вами, хотя общество капитана Макмердо не может не быть также чрезвычайно для меня приятно. Иными словами, капитан, я надеюсь, что наша беседа приведет к самым отрадным результатам, весьма отличным от тех, которые, повидимому, имеет в виду мой друг полковник Кроули.

— Гм! — произнес капитан Макмердо. «Черт бы побрал этих штатских! — подумал он про себя. — Вечно они говорят сладкие слова и стараются все уладить».

Мистер Уэнхем сел в кресло, которого ему не предлагали, вынул из кармана газету и начал:

— Вы видели это лестное сообщение в сегодняшних газетах, полковник? Правительство приобрело для себя очень ценного слугу, а вам обеспечивается прекраснейшее место, если вы, в чем я не сомневаюсь, примете предлагаемую вам должность. Три тысячи в год, восхитительный климат, отличный губернаторский дворец, полная самостоятельность и верное повышение в чине. Поздравляю вас от всего сердца! Смею думать, вам известно,

джентльмены, кому мой друг обязан таким покровительством?

— Понятия не имею! — сказал капитан; принципал же его страшно покраснел.

— Одному из самых великодушных и добрых людей на свете, и к тому же из самых знатных, — моему превосходящему другу, маркизу Стайну.

— Будь я проклят, если приму от него место! — закричал Родон.

— Вы раздражены против моего благородного друга, — спокойно продолжал мистер Уэнхем. — А теперь, во имя здравого смысла и справедливости, скажите мне: почему?

— *Почему?* — воскликнул изумленный Родон.

— Почему? Черт подери! — повторил и капитан, стукнув тростью об пол.

— Хорошо, пусть будет «черт подери», — сказал мистер Уэнхем с самой приятной улыбкой. — Но взгляните на дело, как человек светский... как честный человек, и посмотрите, не ошиблись ли вы. Вы возвращаетесь домой из поездки и застаете — что?.. Милорд Стайн ужинает с миссис Кроули в вашем доме на Керзон-стрит. Что это, какое-нибудь странное или необычайное происшествие? Разве он и раньше не бывал у вас сотни раз при таких же точно обстоятельствах? Клянусь честью, даю вам слово джентльмена (здесь мистер Уэнхем положил руку на жилет жестом парламентария), что ваши подозрения чудовищны, совершенно необоснованны и оскорбительны для достойного джентльмена, доказавшего свое расположение к вам тысячью благодеяний, и для безупречной, совершенно невинной леди.

— Не хотите же вы сказать, что... что Кроули ошибся? — спросил мистер Макмердо.

— Я убежден, что миссис Кроули так же невинна, как и моя жена, миссис Уэнхем, — заявил мистер Уэнхем весьма энергически. — Я убежден, что наш друг, ослепленный безумной ревностью, наносит удар не только немошному старику, занимающему высокое положение, своему неизменному другу и благодетелю, но и своей жене, собственной чести, будущей репутации своего сына и собственному преуспеянию в жизни.

— Я сообщу вам, что произошло, — продолжал мистер

Уэнхем с большой торжественностью. — Сегодня утром за мной послали от милорда Стайна, и я застал его в плачевном состоянии, — мне едва ли нужно осведомлять полковника Кроули, что в таком состоянии окажется всякий пожилой и немощный человек после личного столкновения с мужчиной, наделенным вашей силой. Скажу вам прямо: вы поступили жестоко, воспользовавшись преимуществом, которое дает вам такая сила, полковник Кроули! Не только телу моего благородного и превосходного друга была нанесена рана, но и сердце его, сэр, сочилось кровью! Человек, которого он осыпал благодеяниями, к которому питал приязнь, подверг его столь позорному оскорблению. Разве назначение, опубликованное сегодня в газетах, не является свидетельством его доброты к вам? Когда я приехал к его милости сегодня утром, я застал его поистине в плачевном состоянии, больно было на него смотреть. И он, подобно вам, жаждал отомстить за нанесенное ему оскорбление — смыть его кровью. Вам, полковник Кроули, я полагаю, известно, что милорд на это способен?

— Он храбрый человек, — заметил полковник. — Никто никогда не говорил, что он трус.

— Его первым приказом мне было написать вызов и передать его полковнику Кроули. «Один из нас, — сказал он, — не должен остаться в живых после того, что произошло минувшей ночью».

Кроули утвердительно кивнул головой.

— Вы подходите к сути дела, Уэнхем, — сказал он.

— Я приложил все старания, чтобы успокоить лорда Стайна. «Боже мой, сэр! — сказал я. — Как я сожалею, что миссис Уэнхем и я сам не приняли приглашения миссис Кроули отужинать у нее!»

— Она приглашала вас к себе на ужин? — спросил капитан Макмердо.

— После оперы. Вот пригласительная записка... стойте... нет, это другая бумага... я думал, что захватил ее с собой; но это не имеет значения, — заверяю вас честным словом, что я ее получил. Если бы мы пришли, — а нам помешала только головная боль миссис Уэнхем: моя жена страдает головными болями, в особенности весной, — если бы мы пришли, а вы вернулись домой, то не было бы никакой ссоры, никаких оскорблений, никаких

подозрений. И, таким образом, исключительно из-за того, что у моей бедной жены болела голова, вы хотите подвергнуть смертельной опасности двух благородных людей и погрузить два знатнейших и древнейших семейства в королевстве в пучину горя и бесчестья.

Мистер Макмердо взглянул на своего принципала с видом человека, глубоко озадаченного, а Родон почувствовал глухую ярость при мысли, что добыча ускользает от него. Он не поверил ни единому слову во всей этой истории, но как опровергнуть ее?

Мистер Уэнхем продолжал все с тем же неудержимым красноречием, к которому он так часто прибегал во время своих выступлений в парламенте.

— Я просидел у ложа лорда Стайна целый час, если не больше, убеждая, умоляя лорда Стайна отказаться от намерения требовать поединка. Я указывал ему, что обстоятельства дела, в сущности говоря, подозрительны, — они действительно возбуждают подозрение. Я признаю это, всякий мужчина на вашем месте мог обмануться. Я сказал, что человек, охваченный ревностью, — тот же сумасшедший, и на него так и следует смотреть, что дуэль между вами должна повести к бесчестию для всех заинтересованных сторон, что человек, занимающий столь высокое положение, как его милость, не имеет права итти на публичный скандал в наши дни, когда среди черни проповедуются самые свирепые революционные принципы и опаснейшие уравнилельные доктрины, и что, хотя он ни в чем не виноват, молва будет упорно его порочить. В конце концов я умолил его не посылать вызова.

— Я не верю ни одному слову из всей этой истории, — сказал Родон, скрежеща зубами. — Я убежден, что это бессовестная ложь и вы помогли ее состряпать, мистер Уэнхем. Если я не получу вызова от лорда Стайна, я сам его вызову, черт подери!

Мистер Уэнхем побледнел как полотно при этом яростном выпаде полковника и стал поглядывать на дверь.

Но он обрел себе помощника в лице капитана Макмердо. Джентльмен этот поднялся с места и, крепко выругавшись, упрекнул Родона за такой тон.

— Ты поручил свое дело мне, ну и води себя, как я

считаю нужным, а не как тебе хочется! Ты не имеешь никакого права оскорблять мистера Уэнхема подобными словами, черт возьми! Мистер Уэнхем, мы должны просить у вас извинения. А что касается вызова лорду Стайну, то ищи кого-нибудь другого, — я ничего не стану передавать! Если милорд, получив трепку, предпочитает сидеть смиренно, то и черт с ним! А что касается истории с... миссис Кроули, то вот мое твердое убеждение: ничего ровно не доказано. Жена твоя невинна, как и сказал мистер Уэнхем. И во всяком случае дурак ты будешь, если не возьмешь предложенного места и не станешь держать язык за зубами!

— Капитан Макмердо, вы говорите как разумный человек! — воскликнул мистер Уэнхем, чувствуя, что у него отлегло от сердца. — Я готов забыть все слова, сказанные полковником Кроули в минуту раздражения.

— Я был в этом уверен, — сказал Родон с злобной усмешкой.

— Помалкивай, старый дуралей, — произнес добродушно капитан. — Мистер Уэнхем не станет драться, и к тому же он совершенно прав.

— Я считаю, — воскликнул эmissар Стайна, — что это дело следует предать глубочайшему забвению. Ни одно слово о нем не должно выйти за пределы этого дома! Я говорю в интересах как моего друга, так и полковника Кроули, который упорно продолжает считать меня своим врагом.

— Лорд Стайн едва ли будет болтать об этом, — сказал капитан Макмердо, — да и нам оно ни к чему. История эта не из красивых, как на нее ни посмотри, и чем меньше о ней говорить, тем будет лучше. Поколотили вас, а не нас. И если вы удовлетворены, то к чему же нам искать удовлетворения?

Тут мистер Уэнхем взялся за шляпу, а капитан Макмердо пошел его проводить и затворил за собой дверь, предоставив Родону побушевать в одиночестве. Когда оба джентльмена очутились за дверью, Макмердо в упор посмотрел на посланца лорда Стайна, и в эту минуту его круглое приветливое лицо выражало что угодно, но только не почтение.

— Вы не смущаетесь из-за пустяков, мистер Уэнхем, — сказал он.

— Вы льстите мне, капитан Макмердо, — отвечал тот с улыбкой. — Но я заверяю вас по чести и совести, что миссис Кроули приглашала нас на ужин после оперы.

— Разумеется! И у миссис Уэнхем разболелась голова... Вот что: у меня есть билет в тысячу фунтов, который я передам вам, если вы сообразоволяете выдать мне расписку. Я вложу билет в конверт для лорда Стайна. Мой друг не будет с ним драться. Но брать его деньги мы не желаем.

— Это все недоразумение, дорогой сэр, только недоразумение, — отвечал Уэнхем самым невинным тоном, и капитан Макмердо с поклоном проводил его до клубной лестницы, как раз в ту минуту, когда по ней поднимался сэр Питт Кроули. Оба эти джентльмена были немного знакомы, и капитан, направляясь вместе с баронетом обратно в ту комнату, где оставался его брат, сообщил сэру Питту, что ему удалось уладить дело между лордом Стайном и полковником.

Сэр Питт, разумеется, был очень обрадован этим известием и горячо поздравил брата с мирным исходом дела, присовокупив соответствующие нравственные замечания касательно зла, приносимого дуэлями, и порочности такого способа улаживать споры.

А после этого вступления он пустил в ход все свое красноречие, чтобы добиться примирения между Родон и его женой. Он повторил все, что говорила Бекки, указал на правдоподобность ее слов и подчеркнул, что сам твердо уверен в ее невинности.

Но Родон ничего не хотел слушать.

— Она прятала от меня деньги целых десять лет, — твердил он. — Она еще вчера клялась, что не получала денег от Стайна. Когда я их нашел, она сразу поняла, что все кончено. Даже если она мне не изменяла, Питт, от этого не легче. И я не хочу ее видеть, не хочу!

Голова его поникла на грудь, горе совсем его сломило.

— Бедняга! — сказал Макмердо и покачал головой.

Сперва Родон Кроули и думать не хотел о том, чтобы занять пост, на который его устроил столь гнусный покровитель, и даже собирался взять сына из школы, в которую мальчик был помещен стараниями лорда Стайна.

Однако брат и Макмердо уговорили его принять эти благодеяния. Больше всего подействовали на него доводы капитана, предложившего ему вообразить, в какую ярость придет Стайн при мысли, что его враг обязан карьерой его же содействию!

Когда маркиз Стайн поправился настолько, что стал выезжать из дому, министр по делам колоний встретил его однажды и с поклоном благодарил от своего имени и от имени министерства за такое замечательное назначение. Можно себе представить, как приятно было лорду Стайну выслушивать эти комплименты!

Тайна ссоры между ним и полковником Кроули была предана глубочайшему забвению, как сказал Уэнхем, то есть ее предали забвению секунданты и их доверители. Но в тот же вечер о ней судили и рядили за пятьюдесятью обеденными столами на Ярмарке Тщеславия. Один маленький Кеклби побывал на семи званых вечерах и всюду рассказывал эту историю с подобающими поправками и дополнениями. Как упивалась ею миссис Вашингтон Уайт! Супруга епископа Илингского не находила слов, чтобы выразить свое возмущение. Епископ в тот же день поехал с визитом в Гонт-хаус и начертал свое имя в книге посетителей. Маленький Саутдаун был огорчен; огорчилась и сестра его, леди Джейн, — очень огорчилась, уверяю вас. Леди Саутдаун написала обо всем своей другой дочери, на мыс Доброй Надежды. По крайней мере три дня об этой истории говорил весь город, и в газеты она не попала только благодаря стараниям мистера Уэга, действовавшего по наущению мистера Уэнхема.

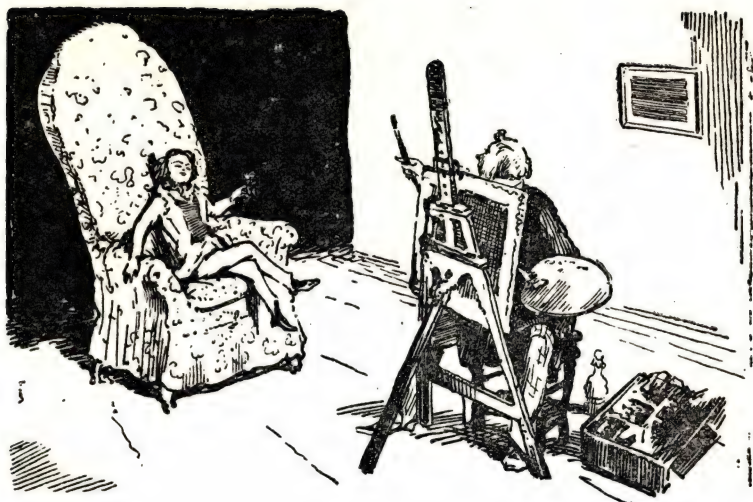
Судебные исполнители и маклеры наложили арест на имущество бедного Реглса на Керзон-стрит, а куда девалась прелестная нанимательница этого скромного особняка? Кто скажет? Кому спустя несколько дней еще было до нее дело? Была ли она виновна? Нам всем известно, как снисходителен свет и каков бывает приговор Ярмарки Тщеславия в сомнительных случаях. Некоторые говорили, что Ребекка уехала в Неаполь вдогонку за лордом Стайном; другие утверждали, что его милость, услышав о приезде Бекки, покинул этот город и бежал в Палермо; кто-то передавал, что она проживает в Бир-

штадте и сделалась *dame d'honneur*¹ королевы болгарской; иные говорили, что она в Булони, а некоторые, что она живет в меблированных комнатах в Челтенхеме.

Родон определил ей сносное ежегодное содержание; а Бекки была из тех женщин, что умеют извлечь много даже из небольшой суммы денег. Он уплатил бы все свои долги при отъезде из Англии, согласись хоть какое-нибудь страховое общество застраховать его жизнь, но климат острова Ковентри настолько плох, что полковник не мог занять под свое жалованье ни гроша. Впрочем, он аккуратнейшим образом переводил деньги брату и писал своему сынишке с каждой почтой. Он снабжал Макмердо сигарами и присылал леди Джейн огромное количество раковин, кайенского перцу, крепких пикулей, варенья из гуайявы и разных колониальных товаров. Он присылал своему брату в Англию «Суомптонскую газету», восхвалявшую нового губернатора в самых восторженных выражениях, тогда как «Суомптонский часовой» (жена его не была приглашена в губернаторский дом) объявлял, что его превосходительство — тиран, в сравнении с которым Нерона можно назвать просвещенным филантропом. Маленький Родон любил брать эти газеты и читать об его превосходительстве.

Мать не делала никаких попыток повидаться с сыном. На воскресенье и на каникулы мальчик приезжал к тетке; скоро он уже знал все птичьи гнезда в Королевском Кроули и выезжал на охоту с гончими сэра Хадлстона, которыми так восхищался во время своего первого памятного пребывания в Хемпшире.

¹ Придворной дамой (франц.).



ГЛАВА LVI

Из Джорджи делают джентльмена

Джорджи Осборн прочно обосновался в особняке деда на Рассел-сквере, занимал отцовскую комнату в доме и был признанным наследником всех тамошних великолепий. Привлекательная внешность, смелый и бойкий нрав и джентльменские манеры мальчика завоевали сердце мистера Осборна. Он так же гордился внуком, как некогда старшим Джорджем.

Ребенок видел больше роскоши и баловства, чем в свое время его отец. Торговля Осборна процветала за последние годы, его богатство и влияние в Сити сильно возросли. В былые дни он радовался возможности поместить старшего Джорджа в хорошую частную школу, а приобретение для сына чина в армии было для него источником немалой гордости. Но для маленького Джорджи старик метил значительно выше! Он сделает из мальчика настоящего джентльмена, — так постоянно говорил мистер Осборн о маленьком Джорджи. Мысленно он видел его студентом, членом парламента, быть может

даже баронетом. Старик считал, что умрет спокойно, если будет знать, что его внук находится на пути к достижению таких почестей. Для воспитания мальчика он не хотел приглашать никого, кроме первоклассного преподавателя с университетским образованием, — не каких-то там шарлатанов и самозванцев, нет, нет! Когда-то он яростно поносил всех священников, ученых и тому подобных людишек, уверял, что это шайка обманщиков и шарлатанов, способных зарабатывать себе кусок хлеба только зубрежкой латыни да греческого; свора надменных псов, взирающих свысока на британских купцов и джентльменов, хотя те могут покупать их сотнями. Теперь же он сетовал на то, что его самого учили плохо и мало, и постоянно обращался к Джорджи с напыщенными тирадами на тему о необходимости и преимуществах классического образования.

Когда они встречались за обедом, дед расспрашивал мальчугана о его чтении и занятиях и с большим интересом слушал рассказы внука, делая вид, что понимает все, что говорит ему маленький Джорджи. Но он допускал сотни промахов и не раз обнаруживал свое невежество. Это не содействовало уважению к нему со стороны ребенка. Быстрый ум и превосходство в образовании очень скоро показали Джорджи, что его дед — тупица, и он начал помыкать им и смотреть на него свысока, ибо прежнее воспитание мальчика, как ни было оно скромно и ограничено, помогло сделать из него джентльмена больше, чем любые планы дедушки. Джорджи воспитала добрая, слабая и нежная женщина, которая если и гордилась чем-нибудь, то только своим сыном; чье сердце было так чисто, а поведение так скромно, что уже это одно делало ее настоящей леди. Она жила для других, исполняла свой долг тихо и незаметно, и если никогда не высказывала никаких блестящих мыслей, то зато никогда не говорила и не думала ничего плохого. Простодушная и бесхитростная, любящая и чистая — могла ли наша бедная маленькая Эмилия не быть настоящей благородной женщиной?

Юный Джорджи властвовал над этой мягкой и податливой натурой. И контраст между ее простотой и деликатностью и грубой напыщенностью тупого старика, с которой мальчику вскоре пришлось столкнуться, сделал

его властелином и над дедом. Будь он даже принцем королевской крови, и тогда ему не могли бы внушить более высокого мнения о самом себе!

Пока его мать тосковала и думала о нем целыми днями (а вероятно, и в долгие, унылые часы одиноких ночей), этот юный джентльмен среди удовольствий и развлечений, доставлявшихся ему во множестве, весьма легко переносил разлуку с Эмилией. Маленькие мальчики, с ревом отправляющиеся в школу, ревут потому, что едут в очень неприятное место. Лишь немногие плачут потому, что расстаются с домом. И если вспомнить, что в детстве у вас высыхали слезы при виде куска имбирного пряника, а пирог с черносливом служил утешением за муки расставания с матерью и сестрами, то выходит, что и вам, мой друг и брат, не следует слишком уверенно рассуждать о своих тонких чувствах.

Итак, мистер Джордж Осборн пользовался всеми удобствами и роскошью, которыми считал нужным окружать его богатый и щедрый дедушка. Кучеру было приказано приобрести для мальчика самого красивого пони, какого только можно было найти за деньги. И на этой лошадке Джорджи сперва обучался ездить верхом в манеже, а затем, после удовлетворительной сдачи испытания в езде без стремян и прыжках через барьер, был допущен к катанию в Риджентс-парке и, наконец, в Хайд-парке, где он появлялся во всем параде, в сопровождении грума. Старик Осборн, который был теперь меньше занят в Сити, где он предоставил ведение дел младшим совладельцам фирмы, часто выезжал на прогулку вместе с мисс Осборн, следуя по тому же модному маршруту. И когда маленький Джорджи подъезжал к ним галопом, с замашками настоящего денди, оттянув пятки вниз, дед подталкивал локтем Джейн и говорил: «Посмотри-ка, мисс О.!» Он хохотал, лицо у него краснело от удовольствия, и он кивал мальчику из окна кареты; грум раскладывался с экипажем, а лакей отвешивал поклон мистеру Джорджу. Здесь же во время катания другая тетка мальчика, миссис Фредерик Буллок (чья карета с гербами, изображавшими золотых быков, и с тремя маленькими бледными Буллоками в кокардах и перьях, глазающими из окон, ежедневно появлялась в Хайд-парке) — миссис Фредерик Буллок, говорю я, метала на маленького

выскачку взоры, исполненные лютой ненависти, когда тот проезжал мимо, подбоченясь и заломив шляпу набекрень, с гордым видом заправского лорда.

Хотя мистеру Джорджу было от роду не больше одиннадцати лет, однако он уже носил штрипки и чудеснейшие сапожки, как взрослый мужчина. У него были позолоченные шпоры, хлыстик с золотой ручкой, дорогая булавка в шейном платке и самые изящные лайковые перчатки, какие только могли выйти из мастерской Лема на Кондуит-стрит. Мать дала ему с собой два шейных платка и сама сшила и выстрочила ему несколько рубашечек. Но когда ее маленький Самуил приехал повидаться с вдовой, эти рубашки были заменены более тонким бельем. На пластроне батистовой рубашки блестели пуговицы из драгоценных камней. Скромные подарки Эмили были отложены в сторону, — кажется, мисс Осборн отдала их сыну кучера. Эмилия старалась убедить себя, что ей приятна такая перемена. Право же, она была очень счастлива, что сын у нее такой красавчик!

У Эмили был маленький силуэт сына, сделанный за шиллинг; он висел над ее постелью рядом с другим дорогим портретом. Однажды мальчик приехал навестить ее, — как всегда, он проскакал галопом по узенькой бромптонской улице, где все жители бросались к окнам, чтобы полюбоваться его великолепием, — и торопливо, с улыбкой торжества, вытащив из кармана шинельки (премиленькой белой шинельки с капюшоном и бархатным воротником) красный сафьяновый футляр, подал его матери.

— Я купил это на собственные деньги, мама, — сказал он. — Я думаю, тебе понравится.

Эмилия раскрыла футляр и, вскрикнув от восторга, обняла мальчика и стала осыпать его несчетными поцелуями. В футляре оказался миниатюрный портрет самого Джорджи, очень мило исполненный (хотя на самом деле Джорджи вдвое красивее, — так, конечно, подумала вдова). Дедушка пожелал заказать портрет внука одному художнику, работы которого, выставленные в витрине магазина на Саутгемптон-роу, обратили на себя внимание старого джентльмена. Джордж, у которого денег было много, решил спросить у художника, сколько будет стоить копия портрета, заявив, что уплатит собст-

венными деньгами и что он хочет преподнести подарок матери. Восхищенный живописец сделал копию за небольшую плату. А старик Осборн, узнав об этом, зарычал от удовольствия и подарил мальчику вдвое больше соверенов, чем тот заплатил за миниатюру.

Но что значило удовольствие деда по сравнению с иступленным восторгом Эмили? Подобное доказательство любви к ней мальчика привело ее в полнейшее восхищение, и она решила, что во всем мире нет другого такого доброго ребенка, как ее сын. В течение многих недель она была счастлива мыслью о такой его любви и доброте. Она крепче спала, когда портрет лежал у нее под подушкой, а сколько, сколько раз она целовала его, плакала и молилась над ним! Самая незначительная ласка со стороны тех, кого она любила, всегда наполняла это робкое сердце благодарностью. Со времени своей разлуки с Джорджем она еще не испытывала такой радости, такого утешения.

В своем новом доме мистер Джордж был полным властелином; за обедом он с необычайным хладнокровием предлагал дамам вина и сам лихо пил шампанское, тем приводя старого мистера Осборна в полный восторг.

— Поглядите-ка на него, — говаривал старик, весь раскрасневшись от гордости и подталкивая локтем соседа, — видели вы такого молодца? Да он, того и гляди, купит себе туалетный прибор и заведет бритвы, ей-богу!

Однако друзья мистера Осборна отнюдь не разделяли его восхищения по поводу кривлянья мальчика. Судья Кофин не испытывал никакого удовольствия, когда Джорджи вмешивался в разговор и не давал досказать до конца начатую историю. Полковнику Фоги не интересно было смотреть на подвыпившего мальчугана. Супруга адвоката Тофи не испытала чувства особой благодарности, когда Джорджи, задев локтем стакан, пролил портвейн на ее желтое атласное платье и весело расхохотался над ее несчастьем. Не очень понравилось ей и то, как Джорджи «отдубасил» на Рассел-сквере ее третьего сына (юного джентльмена, годом старше Джорджи, приехавшего домой погостить на праздники из училища доктора Тикльюса в Илинге). Зато дедушка Джорджи, восхищенный этим подвигом, подарил внуку два соверена и пообещал и впредь награждать его вся-

кий раз, как он поколотит мальчика выше себя ростом и старше годами. Трудно сказать, что хорошего видел старик в подобных битвах. Ему смутно представлялось, что драки закаляют мальчиков, а тиранство — полезная наука, которой им следует обучаться. Так воспитывалась английская молодежь с незапамятных времен, и среди нас есть сотни тысяч людей, оправдывающих и приветствующих несправедливость, грубость и жестокость, которые мы так часто видим в отношениях между детьми.

Упоенный похвалами и победой над мистером Тофи, Джорджи, вполне естественно, пожелал продолжать и далее свои военные подвиги, и вот однажды, когда он спесиво щеголял около церкви св. Панкратия своим франтовским новым костюмчиком, мальчишка из булочной отпустил несколько язвительных замечаний насчет его внешности. Наш юный патриций с большим воодушевлением скинул с себя свою щегольскую курточку и, отдав ее на сохранение сопровождавшему его другу (мистеру Тоду, с Грейт-Корем-стрит, Рассел-сквер, сыну младшего компаньона фирмы «Осборн и К°»), попробовал «отдубасить» маленького пекаря. Но на этот раз военное счастье ему не благоприятствовало, и маленький пекарь «отдубасил» Джорджи. Он вернулся домой со здоровым фонарем под глазом, и вся грудь его тонкой рубашки была залита кровью, хлынувшей из его собственного носа. Он рассказал дедушке, что сражался с каким-то великаном, и напугал свою бедную мать в Бромптоне подробным, но отнюдь не достоверным отчетом о битве.

Упомянутый выше юный Тод, с Корем-стрит, Рассел-сквер, был большим другом и поклонником мистера Джорджа. Оба они любили рисовать театральных героев, лакомиться леденцами и пирогами с малиной, кататься на санках и на коньках в Риджентс-парке и на Серпентайне, если позволяла погода, и ходить в театр, куда их частенько водил по распоряжению мистера Осборна Роусон, личный слуга и телохранитель мистера Джорджа, с которым они устраивались с большим удобством в задних рядах партера.

В сопровождении этого джентльмена они посетили все главнейшие театры столицы; они знали по фамилии всех актеров от Друри-лейн до Седлерс-Уэлс и, разумеется, представляли в склеенном из картона театрик

многие из виденных пьес семейству Тодов и своим юным друзьям. Лакей Роусон, человек с широкими замашками, когда бывал при деньгах, частенько после представления угощал своего юного хозяина устрицами и стаканом рома с водой на сон грядущий. Мы можем быть вполне уверены, что мистер Роусон со своей стороны извлекал выгоду из щедрости своего юного хозяина и его благодарности за удовольствия, которые доставлял ему этот джентльмен.

Для украшения особы маленького Джорджа был приглашен знаменитый портной из Вест-энда, — мистер Осборн не пожелал иметь дела с какими-нибудь мазилками, как он выражался, из Сити или с Холборна (хотя его самого вполне удовлетворял портной из Сити), — и этому чародею было сказано, чтобы он не жалел никаких затрат. Поэтому мистер Вулси с Конduit-стрит дал волю своему воображению и посылал ребенку на дом брюки-фантази, жилеты-фантази и куртки-фантази в количествах, достаточных для экипировки целой школы маленьких франтов. У Джорджи были маленькие белые жилеты для званных вечеров, открытые бархатные жилеты для обедов и очаровательный халатик, точь-в-точь как у взрослого мужчины. Он ежедневно переодевался к обеду, «словно настоящий вест-эндский щеголь», как говорил его дедушка. Один из лакеев состоял в личном у него услужении, помогал ему одеваться, являлся на его звонок и подавал письма всегда на серебряном подносе.

После утреннего завтрака Джорджи усаживался в кресло в столовой и читал «Морнинг пост», совсем как взрослый.

— А как он здорово ругается! — восклицали слуги, восхищенные такой скороспелостью. Те из них, которые еще помнили его отца, капитана, заявляли, что «мистер Джордж — вылитый папаша». Он оживлял дом своей непоседливостью, повелительным тоном, разносками прислуги и добродушием.

Воспитание Джорджа было поручено жившему по соседству ученому, частному педагогу, «готовящему молодых аристократов и джентльменов в университет, к законодательной деятельности и к ученым профессиям; в его учебной системе не применяются унижительные

телесные наказания, все еще практикуемые в старинных учебных заведениях, а в его семействе ученики обретут лоск высшего общества и встретят заботу и ласку, как в родном доме». Так преподобный Лоренс Вил с Харт-стрит, Блумсбери, капеллан графа Бейракрса, вместе со своей супругой миссис Вил старался заманить к себе учеников.

При помощи таких объявлений в газетах и всяких иных ухищрений капеллану и его супруге удавалось залучить двух-трех учеников, за которых платили большие деньги и которые считались отлично пристроенными. Так, в пансионе жил уроженец Вест-Индии, которого никто не навещал, — верзила с бронзовым лицом, курчавый и невероятно франтоватый; затем еще один неуклюжий парень, лет двадцати трех, образование которого было запущено и которого мистер и миссис Вил должны были ввести в высший свет; и еще — два сына полковника Бенглса, служившего в Ост-Индской компании. В то время, когда Джорджи познакомился с пансионом миссис Вил, эти четверо жили у нее и столовались.

Сам Джорджи, подобно десятку других учеников, был только приходящим: он приезжал по утрам под охраной своего друга, мистера Роусона, и, если стояла хорошая погода, уезжал после обеда верхом на пони в сопровождении грума. В училище считалось, что дедушка мальчика сказочно богат. Преподобный мистер Вил сам поздравлял Джорджа с этим обстоятельством, указывая ему, что он предназначен судьбой к занятию видного положения и ему следует, проявляя усердие и прилежание в юности, подготавливаться к высоким обязанностям, к которым он будет призван в зрелом возрасте, ибо послушание ребенка — лучший залог его способности повелевать, когда он станет мужчиной. Поэтому он просит Джорджи не привозить леденцов в школу и не расстраивать здоровье молодых Бенглсов, которые получают все, что им нужно, за изысканным и обильным столом миссис Вил.

Что касается обучения, то *curriculum*¹ его, как любил выражаться мистер Вил, был чрезвычайно обширен, и молодым джентльменам на Харт-стрит приходилось

¹ Программа учебных занятий (лат.).

обучаться понемногу всем известным миру наукам. У преподобного мистера Вила была заводная модель звездного неба, электрическая машина, токарный станок, театр (в прачечной), несколько пробирок и колб и то, что он называл избранной библиотекой, заключавшей в себе все творения лучших авторов древности и нашего времени на всех языках. Он водил мальчиков в Британский музей и разглагольствовал там о древностях и экспонатах по отделу естествознания, так что вокруг него собирались толпы слушателей, и все в Блумсбери восхищались им, как удивительно образованным человеком. И когда бы он ни говорил (а говорил он почти без передышки), он старался подбирать самые красивые и самые длинные слова, какие только мог почерпнуть из словаря, справедливо рассуждая, что эти красивые, полновесные и звучные слова обходятся ему не дороже, чем всякая одно-
сложная мелочь.

Так он, например, говорил Джорджу в школе:

— Возвращаясь домой после ученой беседы, коею меня удостоил вчера вечером мой превосходный друг, доктор Балдерс — истинный археолог, джентльмены, истинный археолог, — я заметил, что окна несравненно-роскошного особняка вашего всеми почитаемого дедушки на Рассел-сквере были освещены, как бы по причине праздника. Правильно ли я умозаключаю из этого, что вчера вокруг пышного стола мистера Осборна собиралось общество избранных умов?

Маленький Джорджи, не лишенный чувства юмора и передразнивавший мистера Вила прямо в лицо с большой остротой и ловкостью, отвечал на это, что мистер Вил совершенно прав в своей догадке.

— В таком случае, джентльмены, я готов биться об заклад, что у друзей, имевших честь пользоваться гостеприимством мистера Осборна, не было никаких причин жаловаться на угощение. Я сам не раз пользовался благосклонностью этого радушного хозяина... Кстати, мистер Осборн, вы приехали сегодня утром с небольшим опозданием и неоднократно уже грешили в этом отношении... Итак, джентльмены, я сам, несмотря на всю свою скромность, не был сочтен недостойным того, чтобы воспользоваться изысканным гостеприимством мистера Осборна. И хотя я пиршествовал с великими и знатными

мира сего, — ибо считаю, что могу причислить своего превосходного друга и покровителя, высокопочтенного графа Джорджа Бейракрса, к сонму вельмож, — однако заверяю вас, что стол английского купца был совершенно столь же богато сервирован, а прием, оказанный гостям, столь же любезен и благороден... А теперь, мистер Блэк, я попрошу вас продолжать чтение того отрывка из Евтропия, на котором мы были прерваны поздним прибытием мистера Осборна.

Вот этому-то великому человеку и было доверено на некоторое время воспитание Джорджа. Эмилию ошеломили его высокопарные фразы, но она считала его чудом учености. Бедная вдова подружилась с миссис Вил, — на то у нее были свои причины. Она любила бывать в этом доме и видеть, как Джордж приезжает туда учиться. Она любила получать приглашения к миссис Вил на *conversazioni*¹, которые устраивались раз в месяц (как сообщала вам розовая карточка с выгравированным на ней словом АΘΗΝΗ²) и на которых профессор угощал своих учеников и их друзей слабым чаем и ученой беседой. Бедная маленькая Эмилия никогда не пропускала ни одного такого собрания и считала их восхитительными, раз с нею рядом сидел Джорджи. Она приходила пешком из Бромптона в любую погоду, а когда гости расходились и Джорджи уезжал к себе со своим слугой мистером Роусоном, бедная миссис Осборн надевала накидку, закутывалась в шали, готовясь к обратному путешествию домой, и целовала миссис Вил со слезами благодарности за чудесно проведенный вечер.

Если говорить о знаниях, которые впитывал в себя Джорджи под руководством этого ценного и разностороннего наставника, то, судя по еженедельным отчетам, которые мальчик привозил деду, успехи его были замечательны. На особой карточке были напечатаны одно под другим названия по крайней мере двух десятков полезных наук, и успех ученика в каждой из них отмечался учителем в особой графе. По греческому языку у Джорджи значилось *aristos*³, по латинскому — *optimus*⁴, по

¹ Вечера (*итал.*).

² Афины (*греч.*).

³ Отличный, хороший (*греч.*).

⁴ Наилучший (*лат.*).

французскому — *très bien*¹ и т. д.; а в конце года все ученики по всем предметам получали награды. Даже мистер Суорц, курчавый молодой джентльмен, сводный брат почтенной миссис Мак-Мул, и мистер Блэк, двадцатитрехлетний недоросль из сельского округа, и этот ленивый юный повеса — уже упоминавшийся выше мистер Тод получали восемнадцатипенсовые книжечки с напечатанным на них словом АӨННН и пышной латинской надписью от профессора его юным друзьям.

Все члены семьи мистера Тода состояли прихлебателями в доме Осборнов. Старый джентльмен возвысил Тода с должности клерка до младшего совладельца своей фирмы. Мистер Осборн был крестным отцом юного мистера Тода (который в последующей своей жизни печатал на визитных карточках «Мистер Осборн Тод» и сделался весьма светским человеком), а мисс Осборн воспринимала от купели мисс Марию Тод и ежегодно, в знак своего расположения, дарила крестнице молитвенник, коллекцию назидательных брошюр, томик духовных стихов или еще какую-нибудь памятку в этом роде. Мисс Осборн иногда вывозила Тодов на прогулку в своем экипаже; когда они болели, ее лакей, в широких плюшевых штанах и жилете, приносил с Рассел-сквера на Корем-стрит варенье и разные лакомства. Корем-стрит, разумеется, трепетала и взирала на Рассел-сквер снизу вверх. Миссис Тод, большая искусница по части вырезывания из бумаги украшений для бараньих окороков и умевшая также делать отличные цветы, уток и т. д. из репы и моркови, частенько ходила на «Сквер», как она говорила, и принимала участие в приготовлениях к званому обеду, не допуская даже мысли о своем присутствии на самом обеде. Если в самую последнюю минуту какой-нибудь гость не являлся, тогда приглашали обедать Тода. Миссис же Тод приходила с Марией вечером, робко стучалась у подъезда, и к тому времени, когда мисс Осборн и находившиеся под ее конвоем дамы входили в гостиную, мать и дочь оказывались там, готовые петь дуэты, пока не появятся джентльмены. Бедная Мария Тод, бедная девушка! Сколько ей приходилось работать и пыхтеть

¹ Очень хорошо (франц.).

над этими дуэтами и сонатами у себя дома, прежде чем они исполнялись публично на Рассел-сквере!

Таким образом, словно самой судьбой было предназначено, чтобы Джорджи владычествовал над каждым, с кем он соприкасался, а все друзья, родственники и слуги преклоняли бы колени перед мальчуганом. Нужно признаться, что он весьма охотно мирился с подобным положением. Мало кто с этим не мирится. И Джорджи нравилось играть роль властелина, к которой у него, возможно, была врожденная склонность.

В доме на Рассел-сквере все трепетали перед мистером Осборном, а мистер Осборн трепетал перед Джорджи. Бойкие манеры мальчика, его развязная болтовня о книгах и учении, его сходство с отцом (который умер непросщенным в далеком Брюсселе) внушали страх старику и отдавали его во власть мальчику. Старик вздрагивал при каком-нибудь передававшемся по наследству жесте или интонации мальчугана, и ему мерещилось, что перед ним снова отец Джорджи. Он старался снисходительностью к внуку загладить свою жестокость по отношению к старшему Джорджу. Все удивлялись его ласковому обращению с ребенком. Он, как и прежде, ворчал и кричал на мисс Осборн, но улыбался, когда Джорджи опаздывал к завтраку.

Мисс Осборн, тетушка Джорджа, была увядшей старой девицей, сильно сдавшей под бременем более чем сорокалетней скуки и грубого обращения. Смышленому мальчику ничего не стоило поработить ее. И когда Джорджу что-нибудь было от нее нужно, — начиная от банки варенья в буфете до потрескавшихся и высохших красок в плоском ящичке (старом ящичке, который сохранился у нее с той поры, когда она училась у мистера Сми и была еще почти молодой и цветущей), — он завладевал предметом своих желаний, а добившись своего, попросту переставал замечать тетку.

Его друзьями и наперсниками были напыщенный старый школьный учитель, льстивший мальчику, и прихлебатель, который был несколько его старше и которого он мог колотить. Славная миссис Тод с восторгом позволяла Джорджу играть со своей младшей дочерью, Розой Джемаймой, очаровательной восьмилетней девочкой. «Малышам так хорошо вместе», — говаривала миссис Тод (разу-

меется, не обитателям «Сквера»!). «Кто знает, что может случиться! Ну, не чудесная ли эта парочка!» — думала про себя любящая мать.

Дед с материнской стороны, дряхлый, упавший духом старик, тоже был в подчинении у маленького тирана. Он не мог не чувствовать почтения к мальчику, у которого такое красивое платье, который ездит верхом в сопровождении грума. С другой стороны, Джорджи постоянно слышал грубую брань и насмешки, расточаемые по адресу Джона Седли его безжалостным старым врагом, мистером Осборном. Осборн иначе не называл его, как старым нищим, старым угольщиком, старым банкротом и многими другими подобными же грубо-презрительными наименованиями. Как же было маленькому Джорджу уважать столь низко павшего человека? Через несколько месяцев после переселения мальчика на Рассел-сквер умерла миссис Седли. Между нею и ребенком никогда не было близости. Он не постарался даже показать свое огорчение. Он приехал в красивом новом траурном костюмчике навестить мать и был очень недоволен, что ему не позволили пойти в театр на представление, о котором он давно мечтал.

Болезнь старой леди поглощала все время Эмилии и, пожалуй, послужила ей во спасение. Что знают мужчины о мученичестве женщин? Мы сошли бы с ума, если бы нам пришлось претерпевать сотую долю тех ежедневных мучений, которые многие женщины переносят так смиренно. Нескончаемое рабство, не получающее никакой награды; неизменная кротость и ласка, встречаемая столь же неизменно жестокостью; любовь, труд, терпение, заботы — и ни единого доброго слова признательности. Сколько их, что должны переносить все это спокойно и появляться на людях с ясным лицом, словно они ничего не чувствуют! Нежно любящие рабыни, как им приходится лицемерить!

Мать Эмилии в один прекрасный день слегла и уже больше не вставала. Миссис Осборн не отходила от ее постели, кроме тех случаев, когда спешила на свидание с сыном. Старуха ворчала на нее даже за эти редкие отлучки; когда-то, в дни своего благополучия, она была ласковой, доброй, приветливой матерью, — бедность и болезни сломили ее. Но холодность матери и уход за нею

не тяготили Эмилию. Скорее они помогали ей переносить другое горе, от которого она страдала и от мыслей о котором ее отвлекали нескончаемые призывы больной. Эмилия терпела ее капризы с полнейшей кротостью; поправляла неудобную подушку, всегда имела наготове ласковый ответ на беспокойную воркотню и упреки, утешала страдальцу словами надежды, какие могла найти в своем простом и благочестивом сердце; и сама закрыла глаза, когда-то глядевшие на нее с такой нежностью.

А затем она все свое время и заботы посвятила осиротевшему старику отцу, который был сражен обрушившимся на него ударом и остался совершенно один на белом свете. Его жена, его честь, его богатство — все, что он любил больше всего, было отнято навсегда. У него осталась только Эмилия, чтобы поддерживать своими нежными руками немощного старика с разбитым сердцем. Мы не будем писать об этом подробно — слишком это грустная и неинтересная повесть. Я уже вижу, как Ярмарка Тщеславия зевает, читая ее.

Однажды, когда молодые джентльмены собрались в кабинете преподобного мистера Вила и капеллан высокопочтенного графа Бейракса, по обыкновению, разглагольствовал перед ними, к подъезду, украшенному статуей Афины, подкатил изящный экипаж, и из него вышли два джентльмена. Молодые Бенглсы кинулись к окну со смутной мыслью, не приехал ли из Бомбея их отец. Двадцатитрехлетний верзила, плакавший тайком над отрывком из Евтропия, прижался своим грязным носом к оконному стеклу и глядел на запряжку, пока ливрейный лакей спрыгивал с козел и помогал седокам выйти из экипажа. ✕

— Один толстый, а другой худой, — сказал мистер Блак, и в эту минуту раздался громкий стук в дверь.

Все заинтересовались, начиная с самого капеллана, который уже возымел надежду, что перед ним отцы его будущих учеников, вплоть до мистера Джорджа, который рад был любому предлогу, чтобы отложить в сторону книгу.

Мальчик в тесной потертой ливрее с потускневшими медными пуговицами, которую он напяливал на себя,

когда приходилось открывать дверь, вошел в кабинет и доложил:

— Два джентльмена желают видеть мистера Осборна.

У профессора в то утро был с этим юным джентльменом не совсем приятный разговор, вызванный несходством мнений об уместности в школьном помещении хлопшек, но лицо его приняло обычное выражение кроткой вежливости, и он сказал:

— Мистер Осборн, я даю вам разрешение повидаться с вашими друзьями, прибывшими в коляске, коим прошу вас передать почтительный привет как от меня лично, так и от миссис Вил.

Джорджи вышел в приемную и, увидев там двух незнакомцев, стал рассматривать их, задрав голову, со своей обычной надменной манерой. Один был толстяк с усами, а другой — тощий и длинный, в синем сюртуке, загорелый, с сильной проседью.

— Боже мой, как похож! — сказал длинный джентльмен. — Ты догадываешься, кто мы такие, Джордж?

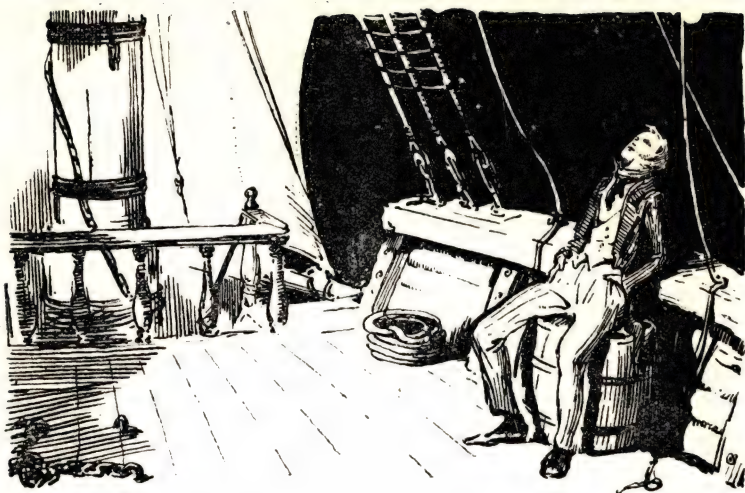
Лицо мальчика вспыхнуло, как всегда бывало, когда он волновался, и глаза заблестели.

— Того джентльмена я не знаю, — сказал он, — но я думаю, что вы, должно быть, майор Доббин.

И действительно, это был наш старый друг. Его голос дрожал от радости, когда он здоровался с мальчиком, и, взяв его за обе руки, он притянул юнца к себе.

— Значит, мама тебе рассказывала обо мне, да? — спросил он.

— Еще бы, — отвечал Джордж, — сколько раз!



ГЛАВА LVII

Эотен

Одной из многих причин для чувства гордости, которым тешил себя старик Осборн, было сознание, что Седли, старинный его соперник, враг и благодетель, в конце своей жизни дошел до такого падения и унижения, что вынужден принимать денежные подачки из рук человека, который больше всех преследовал и оскорблял его. Процветающий делец ругательски ругал старого нищего, но время от времени оказывал ему помощь. Снабжая Джорджи деньгами для его матери, он грубыми и неуклюжими намеками давал мальчику понять, что его другой дед — жалкий старый банкрот и приживальщик и что Джон Седли обязан благодарить человека, — которому он уже и без того должен столько денег, — за помощь, ныне великодушно оказываемую ему. Джорджи вместе с деньгами передавал эти самодовольные заявления своей матери и сломленному горем старику вдовцу, заботиться и ухаживать за которым стало теперь главным занятием

в жизни Эмилии. Мальчуган оказывал покровительство слабому, отчаявшемуся старику.

Быть может, Эмилия обнаруживала недостаток «надлежащей гордости», принимая денежные подачки от врага своего отца. Но «надлежащая гордость» никогда не была свойственна этой страдалице. С тех пор как кончилось ее детство,— со времени ее несчастного брака с Джорджем Осборном,— уделом этой простой и слабой женщины была смиренная бедность, ежедневные лишения, грубые слова и неблагодарность в ответ на ее любовь и услуги. О вы, взирающие на то, как ваши ближние изо дня в день несут такой позор, безропотно страдают под ударами судьбы, ни в ком не встречая сочувствия и только презируемые за свою бедность, — разве вы когда-нибудь снисходите к ним с высоты своего благополучия и обмываете ноги этим бедным, усталым нищим? Одна мысль о них противна и унижительна. «Классы должны существовать, должны быть и богатые и бедные»,— говорит богач, смакуя красное вино (хорошо еще, если он посылает крохи со стола своего бедному Лазарю, сидящему под окном). Совершенно верно! Но подумайте только, как таинственна и часто непостижима бывает жизненная лотерея, которая одному дает порфиру и виссон, а другому посылает лохмотья вместо одежды и псов вместо утешителей.

Итак, я должен признать, что Эмилия без особых терзаний — наоборот, с чувством, близким к благодарности,— принимала крохи, которые свекор время от времени бросал ей, и кормила ими своего родителя. Таков был характер этой молодой женщины (милые дамы, Эмилии сейчас всего лишь тридцать лет, и мы позволяем себе называть ее молодой женщиной),— так вот, говорю я, таков был характер Эмилии, что она всю себя приносила в жертву и повергала все, что имела, к ногам любимого существа. Сколько долгих безотрадных ночей она трудилась для маленького Джорджи, когда тот жил дома с нею; какие удары, упреки, лишения, нужду выносила ради отца и матери! И в этой жизни, полной незаметных жертв и отречений, она уважала себя ничуть не больше, чем уважал ее свет,— в глубине сердца она, вероятно, считала себя ничтожной, заурядной женщиной, которой повезло больше, чем она того заслуживала. Бедные женщины! Бедные мученицы и жертвы, чья жизнь — сплошная пытка,

каждую ночь вы терпите муки на своем ложе, каждый день кладете голову на плаху в гостиных. Всякий мужчина, взирающий на ваши мучения или заглядывающий в те мрачные места, где вас пытаются, должен пожалеть вас и... и возблагодарить господа бога за свою бороду! Помню, много лет тому назад я видел в тюрьме для слабоумных и сумасшедших в Бисетре, вблизи Парижа, несчастное существо, согбенное под игом заточения и болезни. Кто-то из нас дал ему шепотку грошового табаку в бумажном фунтике. Такая милость была слишком велика для бедного идиота: он заплакал от восторга и благодарности; мы с вами не были бы так тронуты, если бы кто подарил нам тысячу фунтов годового дохода или спас нам жизнь. И вот, если должным образом тиранить женщину, можно увидеть, как грошовый знак внимания трогает ее, вызывает слезы на ее глазах, словно вы ангел, оказывающий ей благодеяние!

Вот такие-то благодеяния и были самым отрадным, что фортуна посылала в дар бедной маленькой Эмили. Жизнь ее, начавшаяся так счастливо, свелась к тюремному существованию, к долгому презренному рабству. Маленький Джордж иногда навещал мать, освещая ее тюрьму слабыми вспышками радости. А границей ее тюрьмы был Рассел-сквер: она могла время от времени ходить туда, но на ночь всегда должна была возвращаться в свою камеру, чтобы выполнять унылые обязанности, бодрствовать у постели больных, переносить придирки и тиранство ворчливых, во всем отчаявшихся стариков. Сколько тысяч людей, главным образом женщин, осуждено влачить такое долгое рабство! Это больничные сиделки, не получающие жалованья.— сестры милосердия, если вы предпочтете их так называть, но без романтических мыслей о самоотверженном служении людям; они терпят нужду и голод, не спят ночей, выбиваются из сил и увядают в жалкой безвестности. Непостижимой и грозной силе, определяющей человеческие судьбы, угодно принижать и повергать в прах нежных, добрых и умных и возносить себялюбцев, глупцов и негодяев! О мой брат, будь смиренен в своем благополучии! Будь ласков с теми, кто менее счастлив, хотя и более заслуживает счастья. Подумай, какое ты имеешь право презирать,— ты, чья добродетель — лишь отсутствие искушений, чей успех, возможно,— дело случая,

чье высокое положение — заслуга далекого предка, чье благополучие, по всей вероятности, — злая шутка судьбы.

Мать Эмилии похоронили на бромптонском кладбище, в такой же дождливый, пасмурный день, — вспомнилось Эмилии, — как когда она впервые приезжала сюда, чтобы обвенчаться с Джорджем. Сынишка, в новом пышном траурном платье, сидел рядом с нею. Она вспомнила старую сторожиху и причетника. Пока священник читал, она жила мыслями в прошедшем. Не будь сейчас в ее руке руки Джорджи, она, пожалуй, непрочь была бы поменяться местами с... Но тут, как обычно, она устыдилась своих себялюбивых дум и вознесла молитву о ниспослании ей сил для исполнения своего долга.

И вот Эмилия решила приложить все силы и старания, чтобы сделать счастливым старика отца. Она работала не покладая рук, штопала, чинила и стряпала, пела старику Седли и играла с ним в триктрак, читала ему вслух газеты, водила его гулять в Кенсингтонский сад или на Бромптонский бульвар, слушала его рассказы, не устая улыбаясь и ласково лицемерить, или же сидела, задумавшись, рядом с ним, предаваясь своим мыслям и воспоминаниям, пока слабый и ворчливый старик грелся на солнышке, усевшись на садовую скамью, и болтал о своих горестях и невзгодах. Как печальны, как безотрадны были думы вдовы! Дети, бегавшие по склонам и по широким дорожкам бульвара, напоминали ей о Джорджи, отнятом у нее. Первый Джордж был тоже у нее отнят, — ее эгоистичная, грешная любовь в обоих случаях была отвергнута и жестоко наказана. Она старалась убедить себя в том, что заслуженно понесла такую кару: жалкая, несчастная грешница! Она была совсем одна на свете.

Я знаю, что повесть о таком одиночном заключении невыносимо скучна, если ее не оживляют какие-нибудь веселые или смешные черточки: например, чувствительный тюремщик, болтливый комендант крепости, мышонок, выбегающий из норки и резвящийся в бороде и бакенбардах Латюда *, или подземный ход, прорытый Тренком под стеною замка при помощи собственных ногтей и зубочистки. Но летописцу, повествующему о пленении Эмилии, нечем оживить свой рассказ. Прошу вас помнить, чита-

тель, что в эту пору ее жизни она была очень печальна, но всегда готова улыбнуться, если с нею заговорят; жила очень скромно, в большой бедности, пожалуй даже в нужде; пела песни, месила пудинги, играла в карты, штопала носки — все для старика отца. Итак, пожалуйста, не ломайте себе голову над тем, героиня Эмилия или нет. А нам с вами, когда мы будем старыми, сварливыми и банкротами, дай бог найти на склоне наших дней нежное плечо, на которое можно будет опереться, и ласковую руку, которая поправит нам, подагрикам, смятую подушку.

Старик Седли очень привязался к дочери после смерти жены. А дочь находила утешение в исполнении своего долга по отношению к старику отцу.

Но мы не собираемся долго оставлять этих двух людей в столь унижительных и неприличных условиях существования. Им суждено было узнать лучшие дни, поскольку дело идет о мирском благополучии. Быть может, проницательный читатель догадался, кто был тот полный джентльмен, который вместе с нашим старым другом, майором Доббином, приезжал в школу навестить Джорджа. Это был еще один наш старый знакомый, вернувшийся в Англию, и притом в такое время, когда его присутствие там должно было оказаться весьма полезным для его родственников.

Майору Доббину легко удалось получить от своего доброго командира разрешение съездить по неотложным личным делам в Мадрас, а оттуда, вероятно, и далее, в Европу; и он скакал без передышки днем и ночью, и так спешил, что прибыл в Мадрас в сильнейшей лихорадке. Сопровождавшие майора слуги привезли его в бреду в дом одного из друзей, у которого он предполагал пожить до своего отъезда в Европу. В течение многих, многих дней считалось, что он вообще никогда и никуда не поедет дальше кладбища при церкви святого Георгия, где солдаты дадут прощальный залп над его могилой и где не один доблестный офицер похоронен в чужой земле, вдали от родины.

Те, кто ухаживал за бедным Доббином, могли услышать, как он, сжигаемый лихорадкой, произносил в бреду имя Эмилии. Мысль о том, что он никогда больше ее не увидит, угнетала его и в минуты просветления. Он думал, что пришел его последний час, и торжественно приготовился покинуть этот мир: привел в порядок свои земные

дела и оставил свое небольшое состояние тем, кому больше всего на свете желал быть полезным. Друг, в доме которого он лежал, засвидетельствовал его завещание. Доббин выразил желание быть похороненным с цепочкой, сплетенной из каштановых волос, которую он носил на шею и которую, если сказать по правде, он получил от горничной Эмили в Брюсселе, когда молодой вдове остригли волосы во время болезни, свалившей ее с ног после смерти Джорджа Осборна на Сен-Жанском плато.

Доббин пришел в сознание, поправился немного и опять заболел, — только его железный организм и мог вообще выдержать такое количество кровопусканий и каломели. От него оставался один скелет и от слабости он не мог пошевелить рукой, когда его посадили на корабль «Рамчундра» под командой капитана Брега, зашедший в Мадрас на пути из Калькутты. Друг, вышедший Доббина в своем доме, пророчил, что тот не перенесет путешествия и в одно прекрасное утро полетит за борт, завернутый во флаг и матросскую койку, унося с собой на дно моря реликвию, хранившуюся у него на сердце. Но было ли то под действием морского воздуха, или от вновь всколыхнувшихся надежд, — только с того самого дня, как корабль распустил паруса и взял курс к дому, наш друг стал чувствовать себя лучше, а к тому времени, как они достигли мыса Доброй Надежды, он был совсем здоров (хотя и худ, как борзая).

— Кирк будет разочарован — майорский чин на этот раз ему не достался, — говорил он, улыбаясь. — А он-то надеется прочесть в «Газете» о своем повышении, когда полк вернется.

Нужно пояснить, что, пока наш майор лежал больным в Мадрасе, куда ему так не терпелось попасть, доблестный *** полк, прошедший много лет за пределами родины и по возвращении из Вест-Индии прервавший свою стоянку в Англии из-за кампании, закончившейся Ватерлоо, а затем переброшенный из Фландрии в Индию, теперь получил приказ вернуться домой. Поэтому майор мог бы совершить весь путь вместе со своими товарищами, пожелай он только дожидаться их прибытия в Мадрас.

Быть может, сейчас, когда он был так истощен, ему не улыбалось опять оказаться под надзором Глорвины.

— Пожалуй, если бы мисс О'Дауд ехала вместе

с нами, она тут бы меня и прикончила, — говорил он со смехом одному своему спутнику. — А утопив меня, она взялась бы за вас, можете быть в этом уверены, и привезла бы вас с собой в Саутгемптон в качестве приза, — так-то, мой милый Джоз!

В самом деле, этим пассажиром на борту «Рамчундры» был не кто иной, как наш толстый приятель. Он провел в Бенгалии десять лет. Бесконечные обеды, завтраки, светлое пиво и красное вино, чрезмерные труды по службе и коньяк с водою, к которому ему приходилось прибегать для подкрепления сил, оказали свое действие на Седли Ватерлооского — поездка в Европу была признана для него необходимой. Отслужив в Индии свой полный срок на отличном содержании, что позволило ему отложить значительную сумму денег, Джоз был волен ехать домой и остаться жить в Англии с хорошей пенсией или же опять вернуться в Индию и поступить на службу, приняв должность, на какую ему давали право его многолетние заслуги и редкостные дарования.

Он немного похудел с тех пор, как мы видели его в последний раз, но зато приобрел больше величественности и важности в обхождении. Как ветеран Ватерлоо, он снова отпустил усы и расхаживал по палубе в великолепной бархатной фуражке с золотым галуном, разукрасив свою особу множеством всяких булавок и драгоценных камней. Он завтракал у себя в каюте, а перед тем как выйти на палубу, одевался так тщательно, словно ему предстояло фланировать по Бонд-стрит или по Корсо в Калькутте. Он вез с собою слугу-туземца, который был его лакеем, готовил ему кальян и носил на тюрбане серебряный герб семейства Седли. Этому восточному слуге трудно приходилось у такого тирана, как Джоз Седли. Джоз следил за своей внешностью, словно женщина, и проводил за туалетом не меньше времени, чем какая-нибудь увядающая красавица. Пассажиры помоложе — юный Чеферс 150-го полка и бедняжка Рикетс, возвращавшийся домой после третьего приступа лихорадки, — любили раззадорить Седли за столом в кают-компании и вызвать его на рассказы о поразительных подвигах, свершенных им во время охоты на тигров и войны с Наполеоном. Джоз был великолепен, когда, стоя у могилы императора в Лонгвуде *, описывал этим джентльменам и молодым офицерам корабля всю

битву при Ватерлоо (майор Доббин при этом не присутствовал) и едва ли не утверждал, что Наполеон вообще не оказался бы на острове Святой Елены, если бы не он, Джоз Седли.

Когда отплыли с острова Святой Елены, он щедро угостил всех вином и мясными консервами из судовых запасов, а также содовой водой из больших бочонков, взятых им в дорогу для личного услаждения. Дам на корабле не было. Майор передал право старшинства Джозу, так что тот занимал первое место за столом, и капитан Брег и офицеры «Рамчундры» обращались с мистером Седли со всем уважением, какое подобало его рангу. Когда разыгралась двухдневная буря, он с некоторой поспешностью скрылся к себе в каюту и велел заколотить досками иллюминатор. Все это время он пролежал на койке, читая «Прачку Финчлейской общины», оставленную на борту «Рамчундры» высокопочтенной леди Эмили Хорнблоуэр, супругой преподобного Сайлеса Хорнблоуэра, когда они совершали путь к мысу Доброй Надежды, где этот джентльмен был миссионером. Но для каждодневного чтения Джоз вез с собой запас романов и театральных пьес, которыми снабжал всех желающих; он заслужил общую приязнь своей любезностью и обходительностью.

Много, много вечеров просидели мистер Седли и майор на квартердеке, беседуя о доме, пока судно несло вперед, разрезая бушующее темное море, а месяц и звезды сияли над головами и колокол отбивал вахты. Майор покуривал сигару, а чиновник пускал клубы дыма из кальяна, который приготавлил ему слуга.

Просто удивительно, с каким постоянством и как искусно майор Доббин наводил разговор на темы, касающиеся Эмили и ее маленького сына. Джоз, которому немного надоели злоключения отца и его бесцеремонные просьбы о помощи, смягчался под влиянием майора, когда тот подчеркивал печальную судьбу его родителей и их преклонный возраст. Вероятно, Джозу не очень-то улыбается мысль поселиться вместе со стариками: их привычки и жизненный уклад могут не совпасть с привычками более молодого человека, возвращающегося в совсем ином обществе (Джоз поклонился при этом комплименте); однако, указал майор, какие преимущества мог бы извлечь Джоз Седли, если бы обзавелся собственным

домом в Лондоне, а не устраивался по-холостяцки, как прежде! Сестра его Эмилия самое подходящее лицо, чтобы вести такой дом; как она элегантна, как мила и какие у нее прекрасные и утонченные манеры! Майор без конца рассказывал о том, каким успехом пользовалась миссис Джордж Осборн в былые дни в Брюсселе и в Лондоне, где ею восторгались люди, принадлежавшие к самым высшим светским кругам. Затем он намекнул, как мило было бы со стороны Джоза отдать Джорджи в какую-нибудь хорошую школу и сделать из него человека, потому что мать и ее родители, наверное, избалуют его. Одним словом, наш хитрый майор добился от Джоза обещания принять на себя заботы об Эмилии и ее сиротке-сыне. Он еще не знал, какие события произошли в маленьком семействе Седли: что смерть лишила Эмилию матери, а богатство отняло у нее Джорджа. Но одно верно: ежедневно и ежечасно этот уязвленный любовью джентльмен средних лет думал о миссис Осборн, и сердце его изнывало от желания сделать ей добро. Он улещал, уламывал, захваливал, задабривал Джоза Седли с упорством и сердечностью, которых, весьма возможно, и сам не замечал. Но многие мужчины, у которых есть незамужние сестры или даже дочери, припомнят, как необычайно предупредительны к отцам и братьям бывают джентльмены, когда они ухаживают за дочерьми и сестрами! Быть может, и этого плута Доббина подстегивало такое же лицемерие!

Сказать по правде, майор Доббин, прибыв на борт «Рамчундры» совсем больным, в те три дня, что корабль стоял на мадрасском рейде, еще не начал поправляться. Не очень подбодрила его и встреча с старым знакомым, мистером Седли, пока между ними не произошел однажды разговор, когда майор лежал на палубе, очень вялый и слабый. Он сказал тогда, что, кажется, его смерть близка; он завещал кое-что — пустяки — своему крестнику и надеется, что миссис Осборн не станет поминать его лихом и будет счастлива в браке, в который она собирается вступить.

— Брак? Ничего подобного,— отвечал Джоз.— Я получил от нее письмо, она не упоминала ни о каком браке, и, кстати,— вот любопытно! — она сообщала, будто майор Доббин собирается жениться, и выражала надежду, что он будет счастлив.

От какого числа были письма, полученные Седли из Европы? Джоз сходил за ними в каюту. Они были написаны на два месяца позднее писем, полученных майором. После этого корабельный доктор поздравил себя с лечением, назначенным им своему новому пациенту, которого мадрасский врач передал ему, высказав лишь очень слабую надежду на выздоровление. Ибо с этого самого дня, с того дня, когда доктор прописал больному новую микстуру, майор Доббин начал поправляться. И таким-то образом прекрасный офицер, капитан Кирк, не получил майорского чина.

Когда корабль миновал остров Святой Елены, майор Доббин настолько повеселел и окреп, что ему изумлялись все его спутники-пассажиры. Он проказничал с мичманами, фехтовал с помощниками капитана, бегал по вантам, как мальчишка, спел однажды вечером смешные куплеты к восхищению всего общества, собравшегося за грогом после ужина, и стал таким жизнерадостным и милым, что даже капитан Брег, не видевший в своем пассажире ничего особенного и считавший его сперва глуповатым малым, вынужден был признать, что майор сдержанный, но отлично образованный и достойный офицер.

— Манеры-то у него неважные, черт возьми,—заметил Брег старшему помощнику,—он не годится для губернаторского дома, где его милость — как и леди Вильям — был так любезен со мной, пожал мне руку перед всем обществом и за обедом, в присутствии самого главнокомандующего, предложил мне выпить с ним пива. Манеры у него не того... но все-таки в нем что-то есть.

Выразив такое мнение, капитан Брег показал, что он умеет не только командовать кораблем, но и здраво разбираться в людях.

Но вот, когда до Англии оставалось еще десять дней пути, корабль попал в штиль, и Доббин стал до того нетерпелив и раздражителен, что товарищи, лишь недавно восхищавшиеся его живостью и хорошим характером, только диву давались. Он оправился только тогда, когда снова подул бриз, и пришел в чрезвычайно возбужденное состояние, когда на корабль поднялся лоцман. Боже мой, как забилося его сердце при виде знакомых шпилей Саутгемптона!



ГЛАВА LVIII

Наш друг майор

Наш майор завоевал себе такую популярность на борту «Рамчундры», что, когда они с мистером Седли спускались в долгожданный баркас, который должен был увезти их с корабля, весь экипаж — матросы и офицеры во главе с самим великим капитаном Брегом — прокричал троекратное ура в честь майора Доббина, а он в ответ только густо покраснел и втянул голову в плечи. Джоз, по всей вероятности решивший, что приветствия относятся к нему, снял фуражку с золотым галуном и величественно помахал ею своим друзьям. Затем пассажиры были доставлены к пристани, где они и высадились с большим достоинством и откуда проследовали в гостиницу «Король Георг».

Хотя зрелище великолепного куска ростбифа и серебряного жбана, говорящего о настоящем английском эле и портере, которое неизменно ласкает взор путника, возвращающегося из чужих краев и вступающего в общий

зал «Короля Георга», — хотя это зрелище так отрадno и восхитительно, что всякому, кто войдет в эту уютную, тихую гостиницу, наверное, захочется провести тут несколько дней, однако Доббин сейчас же заговорил о дорожной карете и, едва очутившись в Саутгемптоне, уже стремился быть на пути в Лондон. Джоз, однако, не хотел и слышать о продолжении поездки в тот же вечер. Чего ради он будет проводить ночь в карете, когда к его услугам широкая, мягкая, удобная пуховая постель вместо отвратительной узкой койки, в которую тучный бенгальский джентльмен втискивался во время путешествия? Он и думать не может об отъезде, пока не будет досмотрен его багаж, и не поедет дальше без своего кальяна. Таким образом, майору пришлось переждать эту ночь, и он отправил с почтой письмо родным, извещая их о своем приезде. Он и Джоза уговаривал написать его друзьям. Джоз пообещал, но не исполнил обещания. Капитан, врач и кое-кто из пассажиров с корабля явились в гостиницу и отобедали с нашими джентльменами. Джоз превзошел самого себя в пышности заказанного обеда и пообещал майору на следующий день отбыть с ним в столицу. Хозяин гостиницы заявил, что одно удовольствие смотреть, как мистер Седли пьет свою первую пинту портера. Будь у меня время и посмей я уклониться от темы, я бы написал целую главу о первой пинте портера, выпитой на английской земле. Ах, как она вкусна! Стоит уехать из дому на год, чтобы потом иметь возможность насладиться этим первым глотком.

На следующее утро майор Доббин вышел из своей комнаты, по обыкновению, тщательно выбритый и одетый. Было еще так рано, что во всем доме никто не вставал, кроме коридорного, который, как и все его собратья, по видимому совсем не нуждался в сне. Поскрипывая сапогами, майор бродил по темным коридорам, слушая громкий храп разношерстных обитателей дома. Затем появился бессонный коридорный и зашмыгал от одной двери к другой, собирая блохеры, веллингтоны, оксфорды и всякого другого рода обувь, выставленную наружу. Затем поднялся туземец-слуга Джоза и начал приводить в готовность тяжеловесный аппарат хозяйского туалета и неизменный кальян. Затем встали горничные и, встретясь в коридоре с чернoлицым человеком, подняли визг, так как

приняли его за черта. Доббин и индус спотыкались о ведра, пока горничные скребли и мыли полы в «Короле Георге». Когда же появился первый взъерошенный лакей и снял засовы с входных дверей гостиницы, майор решил, что пора пускаться в путь, и приказал немедленно подавать карету.

Затем он направил свои стопы в комнату мистера Седли и раздвинул полог большой, широкой семейной кровати, с которой доносился храп мистера Джоза.

— Вставайте, Седли! — крикнул майор. — Пора ехать, карета будет подана через полчаса!

Из-под пуховика раздалось глухое ворчанье: это Джоз спрашивал, который час. Вырвав, наконец, из уст покрасневшего майора (тот никогда не лгал, даже если это было ему выгодно) признание относительно действительного положения часовых стрелок, Джоз разразился градом ругательств, которых мы не будем здесь повторять. При помощи их мистер Седли дал понять Доббину, что он, Джоз, будет проклят, если встанет в такой ранний час, что майор может убираться ко всем чертям, что он не желает ехать с ним и что чрезвычайно невежливо и не под-джентльменски беспокоить человека и будить его без всякой надобности. После этого майору пришлось отступить в замешательстве, оставив Джоза продолжать свой прерванный сон.

Тем временем подъехала карета, и майор не стал больше дожидаться.

Будь Доббин английским аристократом, путешествующим ради собственного удовольствия, или курьером, везущим депеши (правительственные указы обычно перевозятся с значительно меньшей спешкой), он и тогда не мог бы ехать быстрее. Форейторы дивились размерам чаевых, которые майор раздавал им. Какой веселой и зеленой казалась местность, по которой карета неслась от одного дорожного столба к другому, через чистенькие провинциальные городки, где хозяева гостиниц выходили на улицу, приветствуя Доббина улыбками и поклонами; мимо хорошеньких придорожных харчевен, где вывески висели на вязах, а лошади и извозчики пили под их узорчатой тенью; мимо старинных замков и парков; мимо скромных деревушек, жмущихся к древним серым церквям. Ах, этот милый, приветливый английский пейзаж! Есть ли что-нибудь в мире, подобное ему? Путешественника, возвращаю-

щегося домой, он встречает так ласково — словно пожимает вам руку, когда вы проносите мимо. Однако майор Доббин промчался от Саутгемптона до Лондона, ничего почти не замечая по дороге, кроме дорожных столбов. Вы понимаете, ему так нетерпелось увидеться со своими родителями в Кемберуэле!

Доббин пожалел даже о времени, потерянном на проезд от Пикадилли до его прежнего пристанища у Слотера, куда он направился по старой памяти. Долгие годы прошли с тех пор, как он был здесь в последний раз, с тех пор, как они с Джорджем, еще молодыми людьми, устраивали здесь кутежи и пирушки. Теперь Доббин был старым холостяком. Волосы у него поседели; поседели и многие страсти и чувства его молодости. Но вот у дверей стоит старый официант, все в той же засаленной черной паре, с таким же двойным подбородком и дряблым лицом, с тою же огромной связкой печаток на цепочке от часов; он все так же побрякивает деньгами в кармане и встречает майора с таким видом, словно тот уехал всего лишь неделю тому назад.

— Отнесите вещи майора в двадцать третий номер, это его комната, — сказал Джон, не обнаруживая ни малейшего изумления. — К обеду, наверно, закажете жареную курицу? Вы не женились? Говорили, что вы женаты, — у нас стоял доктор-шотландец из вашего полка. Нет, то был капитан Хамби из тридцать третьего полка, который квартировал с *** полком в Индии. Не угодно ли теплой воды? А зачем вы карету нанимали? Для вас что, дилижансы недостаточно хороши?

И с этими словами верный официант, который знал и помнил каждого офицера, останавливавшегося в этой гостинице, и для которого десять лет промелькнули, как один день, провел Доббина в его прежнюю комнату, где стояла та же большая кровать с шерстяным пологом, лежал тот же потертый ковер, чуть более грязный, и красовалась прежняя черная мебель, обитая выцветшим ситцем, — все это майор помнил еще со времен своей юности.

Доббин вспомнил, как Джордж накануне свадьбы расхаживал взад и вперед по этой комнате, кусая себе ногти и клянясь, что родитель должен же образумиться, а если нет — то ему, Джорджу, все равно. Майору казалось, что вот-вот хлопнет дверь и сам Джордж...

— А вы не помолодели! — заметил Джон, спокойно изучая друга прежних дней.

Доббин засмеялся.

— Десять лет и лихорадка не молодят человека, Джон, — сказал он. — Вот зато вы всегда молоды... или, вернее, всегда стары.

— Что случилось со вдовой капитана Осборна? — спросил Джон. — Прекрасный был молодой человек. Господи боже мой, как он любил швырять деньги! Он больше у нас не бывал с того самого дня, когда поехал отсюда венчаться. Он до сих пор должен мне три фунта. Вот взгляните, у меня записано: «Десятого апреля тысяча восемьсот пятнадцатого года, за капитаном Осборном три фунта». Интересно, уплатил бы мне за него его отец?

И Джон из номеров Слотера вытащил ту самую записную книжку в сафьяновом переплете, в которую он занес долг капитана и где на засаленной, выцветшей страничке запись эта бережно сохранялась вместе со многими другими корявыми заметками, касавшимися былых заведатаев гостиницы.

Проведя своего постояльца в комнату, Джон спокойно ретировался. А майор Доббин, краснея и мысленно подшучивая над собственной глупостью, извлек из багажа самый нарядный и лучше всего на нем сидевший штатский костюм и расхохотался, рассматривая в тусклом зеркальце на туалетном столе свое желто-зеленое лицо и седые волосы.

«Я рад, что старый Джон не забыл меня, — подумал он. — Надеюсь, она меня тоже узнает».

И, выйдя из гостиницы, он направил свои стопы в Бромптон.

Все мельчайшие подробности его последней встречи с Эмилией оживали в памяти этого преданного человека, когда он шел по направлению к дому миссис Осборн. Арка и статуя Ахиллеса были воздвигнуты уже после того, как он в последний раз был на Пикадилли; сотни перемен произошли за это время, взор и ум его смутно их отмечали. Доббина бросило в дрожь, когда он зашагал от Бромптона по переулку — знакомому переулку, который вел к улице, где она жила. Выходит она замуж или нет? Если он встретит ее вместе с мальчиком... боже мой, что ему тогда делать? Он увидел какую-то женщину, шедшую

ему навстречу с ребенком лет пяти... Уж не она ли это? Доббин задрожал при одной мысли о такой возможности: Когда, наконец, он подошел к ряду домов, в одном из которых жила Эмилия, и очутился у калитки, он ухватился за нее рукой и замер. Он слышал, как колотится у него сердце. «Да благословит ее бог, что бы ни случилось! — произнес он про себя. — Эх, да что я! Может, она уже уехала отсюда!» И он вошел в калитку.

Окно гостиной, в которой обычно проводила время Эмилия, было открыто, но в комнате никого не было. Майору показалось, что он как будто узнает фортепьяно и картину над ним — ту же, что и в былые дни, — и волнение охватило его с новой силой. Медная доска с фамилией мистера Клепа красовалась на входной двери рядом с молотком, при помощи которого Доббин и возвестил о своем прибытии.

Бойкая девушка лет шестнадцати, румяная, с блестящими глазами, вышла на стук и удивленно взглянула на майора, прислонившегося к столбику крыльца.

Он был бледен, как привидение, и едва мог пролепетать слова:

— Здесь живет миссис Осборн?

С минуту девушка пристально смотрела на него, а затем в свою очередь побледнела и воскликнула:

— Боже мой! Да это майор Доббин!

Она радостно протянула ему обе руки.

— Неужели вы меня не помните? — сказала она. — Я называла вас «Майор Пряник».

В ответ на это майор, — я уверен, что он вел себя так впервые за всю свою жизнь, — схватил девушку в объятия и расцеловал ее. Девушка взвизгнула, засмеялась, заплакала и, крича во весь голос: «Ма!» «Па!», вызвала этих почтенных людей, которые уже наблюдали за майором из оконца парадной кухни и были изумлены, увидев в коридорчике свою дочь в объятиях какого-то высоченного человека в синем фраке и белых полотняных панталонах.

— Я старый друг, — сказал он не без смущения. — Неужели вы не помните, миссис Клеп, каким вкусным печеньем вы, бывало, угощали меня за чаем? А вы, Клеп, узнаете меня? Я крестный Джорджа и только что вернулся из Индии.

Последовали сердечные рукопожатия; миссис Клеп

расчувствовалась и, словно приросши к полу коридорчика, снова и снова взывала к всевышнему.

Затем хозяин и хозяйка дома провели почтенного майора в комнату Седли (где Доббин помнил все предметы обстановки, от старого, отделанного бронзой фортепьяно работы Стотарда, когда-то блиставшего нарядной полировкой, до экранов и миниатюрного гипсового надгробного памятника, в центре которого тикали золотые часы мистера Седли). И там, усадив гостя в пустое кресло жильца, отец, мать и дочь, прерывая свой рассказ бесчисленными восклицаниями и отступлениями, поведали майору Доббину все, что мы уже знаем, но чего он еще не знал, а именно: о смерти миссис Седли, о примирении Джорджа с дедушкой Осборном, о том, как вдова горевала, расставаясь с сыном, и о разных других событиях, касавшихся Эмили. Два или три раза Доббин порывался спросить о ее планах, но у него не хватало духу. Он не мог решиться открыть свое сердце перед этими людьми. Наконец ему сообщили, что миссис Осборн отправилась гулять со своим папашей в Кенсингтонский сад, куда они всегда ходят после обеда в хорошую погоду (он стал теперь очень слабым и ворчливым, дочери с ним нелегко, хотя она заботится о нем, как ангел, ей-богу!).

— Я сейчас очень тороплюсь, — сказал майор, — у меня на вечер есть важные дела. Но мне бы хотелось повидать миссис Осборн. Не проводит ли меня мисс Мери, чтобы показать мне дорогу?

Мисс Мери и удивилась и обрадовалась такому предложению. Дорога ей известна. Она проводит майора Доббина. Она сама часто гуляет с мистером Седли, когда миссис Осборн уходит... уходит на Рассел-сквер. Ей известна и скамейка, на которой любит сидеть старый джентльмен.

Девушка убежала к себе и очень скоро вернулась в самой своей красивой шляпке и желтой шали миссис Клеп, заколотой большой брошкой из горного хрусталя, — то и другое она позаимствовала, чтобы быть достойной спутницей майору.

Затем наш офицер, облаченный в синий фрак, натянул замшевые перчатки, подал юной особе руку, и они очень весело пустились в путь. Доббин был рад, что около него есть друг, он побаивался предстоящего свидания. Он за-

сыпал свою спутницу тысячью вопросов относительно Эмили. Его доброе сердце печалилось при мысли, что миссис Осборн пришлось расстаться с сыном. Как она перенесла разлуку? Часто ли она его видит? Есть ли теперь у мистера Седли все необходимое? Мери отвечала, как умела, на все эти вопросы «Майора Пряника».

А в середине их пути произошел случай, по природе своей совершенно пустяковый, но тем не менее приведший майора Доббина в величайший восторг. Навстречу им по переулку шел какой-то бледный молодой человек с жиденькими бакенбардами, в накрахмаленном белом галстуке. Шел он «сендвичем», то есть ведя под руку с каждой стороны по даме. Одна из них была высокая, властного вида женщина средних лет, чертами и цветом лица похожая на англиканского пастора, рядом с которым она шествовала. А вторая — невзрачная, смуглолицая маленькая особа в красивой новой шляпке с белыми лентами, в изящной накидке и с золотыми часами на груди. Джентльмен, зажатый между этими двумя леди, тащил еще зонтик, шаль и корзиночку, так что руки у него были совершенно заняты, и он, конечно, не имел возможности снять шляпу в ответ на реверанс, которым приветствовала его мисс Мери Клеп.

Он только кивнул ей головой, и обе дамы в свою очередь с покровительственным видом ответили девушке, бросив в то же время строгий взгляд на субъекта в синем фраке и с бамбуковой тростью, сопровождавшего ее.

— Кто это? — спросил майор, когда позабавившая его тройца, которой он уступил дорогу, прошла мимо них по переулку.

Мери взглянула на него не без лукавства.

— Это наш приходский священник, преподобный мистер Бинни (майора Доббина передернуло), и его сестра, мисс Бинни. Боже мой, как она пилила нас в воскресной школе! А другая леди — маленькая, косоглазая и с красивыми часами — это миссис Бинни, дочь мистера Гритса. Ее папенька был бакалейным торговцем и содержал в Кенсингтоне чайную под вывеской «Настоящий золотой чайник». Они поженились месяц тому назад и только что вернулись из Маргета. У нее состояние в пять тысяч фунтов; но они с мисс Бинни уже ссорятся, хотя мисс Бинни сама устроила их брак.

Если майор и перед тем нервничал, то теперь он

вздрыгнул и так выразительно стукнул своей бамбуковой тростью о землю, что мисс Клеп вскрикнула «ой!» и расхохоталась. С минуту он стоял молча, с разинутым ртом, глядя вслед уходящей молодой чете, пока мисс Мери рассказывала ему их историю; но он не слышал ничего, кроме упоминания о браке преподобного джентльмена, — голова у него кружилась от счастья. После этой встречи он зашагал вдвое быстрее, — хотя они и без того чересчур скоро (ибо он трепетал при мысли о свидании, о котором мечтал в течение всех этих десяти лет) миновали бромптонские переулки и вошли в узкие старые ворота в стене Кенсингтонского сада.

— Вот они, — сказала мисс Мери и опять почувствовала, как Доббин вздрогнул, сжав ее руку.

Она сразу сообразила, в чем тут дело. Все ей стало так понятно, словно она прочла это в одном из любимых своих романов: «Сиротка Фанни» или «Шотландские вожди».

— Бегите вперед и скажите ей, — попросил майор.

И Мери побежала так, что ее шаль надулась на ветру, словно парус.

Старик Седли сидел на скамье, разложив на коленях носовой платок, и, по своему обыкновению, рассказывал какую-то старую историю о давно прошедших временах, которой Эмилия уже много, много раз внимала с терпеливой улыбкой. За последнее время она научилась думать о своих собственных делах и улыбалась или как-нибудь иначе показывала, что следит за болтовней отца, не слыша почти ни слова из того, что он ей рассказывал. Когда Мери подбежала к ним, Эмилия, увидев ее, вскочила со скамьи. Первой ее мыслью было, что что-нибудь случилось с Джорджи, но вид оживленного и счастливого лица девушки рассеял страх в робком материнском сердце.

— Новости! Новости! — закричала вестница майора Доббина. — Он приехал! Приехал!

— Кто приехал? — спросила Эмми, все еще думая о сыне.

— Вон, посмотрите, — ответила мисс Клеп, повернувшись и указывая пальцем. Взглянув в этом направлении, Эмилия увидела тощую фигуру Доббина и длинную тень, ползущую по траве. Эмилия в свою очередь вздрогнула, залилась румянцем и, конечно, заплакала. Во всех

торжественных случаях жизни этого бесхитростного создания версальские *grandes eaux*¹ непременно начинали играть.

Доббин смотрел на Эмилию — о, с какой любовью! — пока она бежала к нему, протягивая ему навстречу руки. Она не изменилась. Она была немного бледнее, чуть пополнела. Глаза у нее остались прежними: нежные, доверчивые глаза. В мягких каштановых волосах были каких-нибудь две-три серебряных нити. Она подала майору обе руки, сквозь слезы, с улыбкой глядя на его честное, такое знакомое лицо. Он взял обе ее ручки в свои и крепко держал их. С минуту он оставался безмолвным. Почему он не схватил ее в объятия и не поклялся, что не оставит ее никогда? Она, наверное, сдалась бы, она не могла бы противиться ему.

— Мне... мне нужно сообщить вам, что я приехал не один, — сказал он после короткого молчания.

— Миссис Доббин? — спросила Эмилия, отодвигаясь от него. Почему он ничего ей не говорит?

— Нет! — произнес он, выпуская ее руки. — Кто передал вам эти выдумки? Я хотел сказать, что на одном корабле со мной прибыл ваш брат Джоз. Он вернулся домой, чтобы всех вас сделать счастливыми.

— Папа, папа! — закричала Эмилия. — Какие новости! Брат в Англии! Он приехал, чтобы позаботиться о тебе. Здесь майор Доббин!

Мистер Седли вскочил на ноги, дрожа всем телом и стараясь собраться с мыслями. Затем он сделал шаг вперед и отвесил старомодный поклон майору, которого назвал мистером Доббином, выразив надежду, что его батюшка, сэра Вильям, вполне здоров. Он все намеревается заехать к сэру Вильяму, который недавно оказал ему честь своим посещением. Сэр Вильям не навещал старого джентльмена уже целых восемь лет, — об ответе на это-то визит и думал старик.

— Он очень сдал, — шепнула Эмми, когда Доббин подошел к нему и сердечно пожал ему руку.

Хотя у майора в этот день были неотложные дела в Лондоне, он согласился отложить их, когда мистер Седли пригласил его зайти к ним и выпить у них чашку чаю.

¹ Фонтаны (франц.).

Эмилия взяла под руку свою юную приятельницу в желтой шали и пошла вперед, так что мистер Седли достался на долю Доббина. Старик шел очень медленно и все рассказывал о себе самом, о своей бедной Мери, о прежнем их процветании и о своем банкротстве. Его мысли были в далеком прошлом, как это всегда бывает с дряхлеющими стариками. О близком прошлом, за исключением одной катастрофы, которую он помнил, он знал довольно мало. Майор охотно предоставил ему болтать. Взор его был устремлен на шедшую впереди фигуру — фигуру женщины, неизменно занимавшей его воображение, всегда поминавшейся в молитвах и витавшей перед ним в его грезах во сне и наяву.

Эмилия весь этот вечер была очень весела и оживлена и выполняла свои обязанности хозяйки с изумительной грацией и благородством, как казалось Доббину. Он все время следил за ней взглядом. Сколько раз он мечтал об этой минуте, думая об Эмилии вдали от нее, под знойными ветрами, во время утомительных переходов, представляя ее себе кроткой и счастливой, ласково исполняющей все желания стариков, украшающей их бедность своим безропотным подчинением, — такую, какою он видел ее сейчас. Я не хочу этим сказать, что у Доббина был особо возвышенный вкус или что люди большого ума обязаны довольствоваться простеньким счастьем, которое вполне удовлетворяло нашего невзыскательного старого друга, — во всяком случае его желания, худо ли это, или хорошо, не простирались дальше, и когда Эмилия угощала его, он готов был выпить столько же чашек чаю, сколько пил в свое время доктор Джонсон.

Подметив в Доббине такую склонность, Эмилия со смехом поощряла ее и поглядывала на майора с невыразимым лукавством, наливая ему чашку за чашкой. Правда, она не знала, что майор еще не обедал и что у Слотера для него накрыт стол и поставлен прибор в знак того, что этот стол занят, — тот самый стол, за которым майор не раз бражничал с Джорджем, когда Эмилия была еще совсем девочкой и только что вышла из пансиона мисс Пинкертон.

Первое, что миссис Осборн показала майору, была миниатюра Джорджи, за которой она сбегала к себе на-

верх, как только они вернулись домой. Разумеется, на портрете мальчик совсем не такой красивый, как в действительности, но не благородно ли было с его стороны подумать о таком подарке матери! Пока отец не заснул, Эмилия мало говорила о Джорджи. Слушать о мистере Осборне и Рассел-сквере было неприятно старику, по всей вероятности не сознававшему, что последние несколько месяцев он существует только благодаря щедрости своего богатого соперника. Мистер Седли страшно раздражался, когда кто-нибудь хоть словом упоминал об его враге.

Доббин рассказал старику все и даже, может быть, немного больше, о том, что произошло на борту «Рамчундры», преувеличивая благие намерения Джоза насчет отца и его желание лелеять отцовскую старость. Дело в том, что во время плавания майор горячо внушал своему спутнику мысль о родственном долге и вырвал у него обещание позаботиться о сестре и ее ребенке. Он успокоил Джоза, раздраженного векселями, которые старый джентльмен выдал на него, смеясь рассказал, что и сам попался, когда старик Седли прислал ему ту знаменитую партию скверного вина, и в конце концов привел Джоза, который был вовсе не злым человеком, когда ему говорили приятные вещи и умеренно льстили, в очень благодушное настроение по отношению к его родственникам.

К стыду своему, я должен сказать, что майор очень далеко зашел в искажении истины: он сообщил старику Седли, будто Джоза снова привело в Европу главным образом желание повидаться с родителями.

В обычный свой час мистер Седли задремал в кресле, и тогда пришел черед Эмилии вести разговор, что она и сделала с великой радостью, — беседа шла исключительно о Джорджи. Она ни словом не обмолвилась о своих страданиях при расставании с сыном, ибо эта достойная женщина, хотя и сраженная почти насмерть разлукой с ребенком, продолжала считать, что очень дурно с ее стороны роптать на эту утрату. Но зато она высказала все, что касалось сына, его добродетелей, талантов и будущей карьеры. Она описала его ангельскую красоту, привела сотни примеров благородства и великодушия, проявленных Джорджи, когда он жил с нею; рассказала, как герцогиня королевской крови, залюбовавшись мальчиком,

остановила его в Кенсингтонском саду; как замечательно ему сейчас живется; какие у него грум и пони; как он сообразителен и умен и какая необычайно образованная и восхитительная личность его преподобие Лоренс Вил, наставник Джорджа.

— Он знает *все!* — заявила Эмилия. — Он устраивает изумительные вечера. Вы, такой образованный, такой начитанный, такой умный и опытный, — пожалуйста, не качайте головой и не отнекивайтесь: *он* всегда так о вас отзывался, — вы будете просто очарованы, когда побываете на вечерах у мистера Вила. Последний вторник каждого месяца. Он говорит, что нет такой должности по судебному ведомству или по законодательству, на которую не мог бы рассчитывать Джорджи. Да вот, например, — и с этими словами она подошла к фортепьяно и вынула из ящика сочинение, написанное Джорджи. Этот гениальный труд, до сих пор хранящийся у матери Джорджа, был такого содержания:

«О себялюбии. Из всех пороков, унижающих личность человека, себялюбие самый гнусный и презренный. Чрезмерная любовь к самому себе ведет к самым чудовищным преступлениям и служит причиной величайших бедствий как в *государственной* жизни, так и в *семейной*. Подобно тому как себялюбивый человек обрекает на нищету свое семейство и часто доводит его до разорения, так и себялюбивый король разоряет свой народ и часто вовлекает его в войну.

Примеры: Себялюбие Ахилла, как отмечено у поэта Гомера, обрекло греков на тысячу бедствий: *μῆρι' Ἀχαιοῦ, ἀλλ' ἐ' ἑθ' ἡ* (Ном. Н. I, 2)¹. Себялюбие покойного Наполеона Бонапарта послужило причиной бесчисленных войн в Европе и привело его самого к гибели на жалком острове: на острове Святой Елены в Атлантическом океане.

Мы видим на этих примерах, что нам следует считаться не с одними собственными своими интересами и честолюбием, а принимать во внимание интересы других людей в такой же мере, как и свои личные.

Джордж Осборн.

Школа «Афины», 24 апреля 1827 года».

¹ Ахеенам тысячи бедствий соделал (Гомер, Илиада, I, 2).

— Подумайте только, что за почерк! И в таком раннем возрасте уже цитирует греческих поэтов! — сказала восхищенная мать. — О Вильям, — добавила она, протягивая руку майору, — каким сокровищем наградило меня небо в лице этого мальчика! Он утешение моей жизни, и он так похож на... ушедшего от нас!

«Неужели я должен сердиться на нее за то, что она верна ему? — подумал Вильям. — Неужели я должен ревновать к моему погибшему другу или огорчаться, что такое сердце, как у Эмилии, может любить только однажды и на всю жизнь? О Джордж, Джордж, как плохо ты знал цену тому, чем ты обладал!»

Эти мысли быстро пронеслись в голове Вильяма, пока он держал за руку Эмилию, закрывшую глаза платком.

— Дорогой друг, — произнесла она, пожимая ему руку. — Каким добрым, каким ласковым были вы всегда ко мне! Погодите, кажется папа проснулся... Вы съездите завтра к Джорджи, повидаться с ним?

— Завтра не могу, — сказал бедняга Доббин. — У меня есть дела.

Ему не хотелось признаться, что он еще не побывал у родителей и у своей дорогой сестрицы Энн, — упущение, за которое, как я уверен, каждый аккуратный человек побранит майора. И вскоре он откланялся, оставив свой адрес для передачи Джозу, когда тот приедет. Итак, первый день был прожит, и Доббин повидался с нею.

Когда он вернулся к Слотеру, жареная курица, разумеется, давно остыла, — такой и съел ее Доббин за ужином. Зная, что дома у них все ложатся рано, и не считая нужным нарушать покой родителей в столь поздний час, майор Доббин взял себе билет в Хеймаркетский театр, где, как мы надеемся, приятно провел время.



ГЛАВА LIX

Старое фортепьяно

Визит майора поверг старого Джона Седли в состояние сильнейшего волнения. В тот вечер дочери не удалось усадить старика за обычные занятия или развлечения. Он все рылся в своих ящиках и коробках, развязывая дрожащими руками пачки бумаг, сортируя и раскладывая их к приезду Джоза. Они хранились у него в величайшем порядке: перевязанные и подшитые счета, переписка с поверенными и агентами, бумаги, относящиеся к Винному проекту (который не удался из-за какой-то необъяснимой случайности, хотя поначалу сулил блестящие перспективы); к Угольному проекту (только недостаток капиталов помешал ему стать одним из самых удачных предприятий, когда-либо предлагавшихся публике); к проекту Патентованной лесопилки с использованием древесных опилок, и так далее, и так далее. Весь долгий вечер он провел в подготовке этих документов, бродя неверными шагами из одной комнаты в другую с оплывающей свечой в дрожащей руке.

— Вот винные бумаги, вот древесные опилки, вот угольные дела; вот мои письма в Калькутту и Мадрас и ответы на них майора Доббина, кавалера ордена Бани, и мистера Джозефа Седли. У меня, Эмми, он не найдет никакого беспорядка! — говорил старик.

Эмми улыбнулась.

— Я не думаю, чтобы Джозу захотелось рассматривать эти бумаги, папа, — сказала она.

— Ты, моя милая, ничего не понимаешь в делах! — отвечал ее родитель, с важным видом покачивая головой. Надо сознаться, что в этом отношении Эмми была полнейшей невеждой; и очень жаль, что зато некоторые другие люди бывают слишком хорошо осведомлены.

Разложив все свои никчемные бумажки на столе, старик Седли аккуратно покрыл их чистым пестрым платком (одним из подарков майора Доббина) и строго наказал горничной и домохозяйке не трогать этих бумаг, приготовленных к приезду на следующее утро мистера Джозефа Седли.

— Мистера Джозефа Седли — чиновника бенгальской службы досточтимой Ост-Индской компании!

На следующий день Эмилия застала отца на ногах с самого раннего утра, — он был еще слабее и еще больше возбужден, чем накануне.

— Я плохо спал, дорогая моя Эмми! — сказал он. — Все думал о бедной моей Мери. Ах, если бы она была жива: могла бы опять покататься в экипаже Джоза! У нее был свой собственный, и она была в нем очень хороша!

И слезы выступили у него на глазах и заструились по морщинистому старческому лицу. Эмилия отерла их, с улыбкой поцеловала отца, завязала ему шейный платок нарядным бантом и вколола красивую булавку в жабо его лучшей рубашки. В этой рубашке и праздничной траурной паре старик и сидел с шести часов утра в ожидании приезда сына.

На главной улице Саутгемптона есть несколько великолепных портновских мастерских, в прекрасных зеркальных витринах которых висят всевозможные роскошные жилеты — шелковые и бархатные, золотые и пунцовые,

и выставлены модные картинки, на которых изумительные джентльмены с моноклями ведут за руку кудрявых маленьких мальчиков с непомерно большими глазами и подмигивают дамам в амазонках, скачущим на конях мимо статуи Ахиллеса у Эпсли-хауса. Хотя Джоз и запаса несколько роскошными жилетами — лучшими, какие можно было найти в Калькутте, — однако он решил, что для столицы этого мало, и потому выбрал себе еще два: малиновый атласный, вышитый золотыми бабочками, и черно-красный из бархатного тартана с белыми полосками и отложным воротником. Прибавив к ним еще и пышный атласный синий галстук с золотой булавкой, изображавшей барьер с пятью перекладинами, через который прыгал всадник из розовой эмали, Джоз счел, что теперь он может совершить свой въезд в Лондон с известным достоинством. Прежняя застенчивость Джоза, заставлявшая его вечно краснеть и заикаться, уступила место более откровенному и смелому утверждению своей значительности.

— Скажу без обиняков, — говаривал герой Ватерлоо своим друзьям, — люблю хорошо одеваться.

И хотя он чувствовал себя неловко, когда дамы рассматривали его на балах в губернаторском доме, и краснел и смущенно отворачивался под их взорами, однако он избегал женщин главным образом из боязни, как бы они не стали объясняться ему в любви, — ибо он питал отвращение к браку. Но я слышал, что во всей Калькутте не встречалось другого такого франта, как Седли Ватерлооский: у него был самый красивый выезд, он устраивал самые лучшие холостые обеды и обладал самым роскошным серебром во всем городе.

Чтобы сшить жилеты для человека такого роста и сложения, понадобился целый день, и часть этого времени Джоз употребил на наем слуги для обслуживания как себя, так и своего туземца и на отдачу распоряжений агенту, получавшему в таможене его багаж: сундуки, книги, которых Джоз не читал, ящики с манго, индийскими пикулями и порошками карри, шали, предназначенные для подарка дамам, с которыми он еще не был знаком, и весь прочий его *persicos apparatus*¹.

¹ Персидская роскошь (лат.).

Наконец на третий день он двинулся не спеша в Лондон — в новом жилете. Дрожащий туземец, стуча зубами, кутался в платок, сидя на козлах рядом с новым слугой, европейцем; Джоз попыхивал трубкой в карете и выглядел столь величественно, что мальчишки кричали ему «ура», и многие считали, что он, должно быть, генерал-губернатор. Могу вас заверить: он-то не отклонял угодливых приглашений содержателей гостиниц в чистеньких провинциальных городках выйти из экипажа и подкрепиться. Обильно позавтракав в Саутгемптоне рыбой, рисом и крутыми яйцами, он так оживился в Винчестере, что стал подумывать о стакане доброго хереса. В Олтоне он, по совету слуги, вылез из экипажа и влил в себя некоторое количество эля, которым славится это место. В Фарнеме он остановился, чтобы посмотреть на епископский замок и скушать легкий обед, состоявший из тушеных угрей, телячьих котлет с фасолью и бутылки красного вина. Он промерз, проезжая Богшотскую степью, где его туземец дрожал больше прежнего, а потому Джоз-саиб выпил несколько глотков коньяка. В результате при въезде в Лондон Джоз был так же наполнен вином, пивом, мясом, пикулями, вишневкой и табаком, как каюта буфетчика на пароходе. Был уже вечер, когда его карета с грохотом подкатила к скромной двери в Бромптоне, куда этот отзывчивый человек направился прежде всего, даже не заехав в номер, который мистер Доббин снял для него у Слотера.

Во всех окнах на улице показались лица; маленькая служанка побежала к калитке. Mesdames Клеп выглянули из оконца парадной кухни; Эмми в волнении металась в коридоре среди шляп и плащей, а старик Седли сидел в гостиной, дрожа всем телом. Джоз вышел из кареты, величественно спустившись по скрипучим ступеням откинутой подножки, поддерживаемый под руки новым лакеем из Саутгемптона и дрожащим туземцем, коричневое лицо которого посинело от холода, приняв цвет индюшьего зоба. Индус произвел сенсацию в передней, куда явились миссис и мисс Клеп — вероятно для того, чтобы послушать у дверей гостиной, — и где они нашли Лола Джеваба, трясущегося от холода под грудой верхнего платья, — он странно и жалобно стонал, показывая свои желтые белки и белые зубы.

Как видите, мы ловко закрыли дверь за Джозом, его стариком отцом и бедной кроткой сестричкой и утаили от вас их встречу. Старик был сильно взволнован; так же, конечно, волновалась и его дочь, да и у Джоза сердце было не каменное. За долгое десятилетнее отсутствие самый себялюбивый человек задумается о доме и родственных узах. Расстояние освящает и то и другое. От многолетних размышлений утраченные радости кажутся слаще. Джоз был непритворно рад увидеть отца и пожать ему руку, — хотя в прошлом отношения между ними не отличались теплотой, — рад был и свиданию с сестренкой, которую помнил такой хорошенькой и веселой, и посетовал на перемену, произведенную временем, горем и несчастьями в сломленном жизнью старике. Эмми, в черном платье, встретила его у дверей и шепнула ему о смерти их матери, предупреждая, чтобы он не упоминал об этом в разговоре с отцом. Это было ненужное предупреждение, потому что старший Седли сам сейчас же начал говорить о печальном событии, безумолку твердил о нем и горько плакал. Это сильно потрясло нашего индийца и заставило его меньше обычного думать о себе.

Результаты свидания, вероятно, были очень удовлетворительны, потому что, когда Джоз вновь уселся в карету и направился к себе в гостиницу, Эмми нежно обняла отца и с торжеством спросила, не говорила ли она всегда, что у брата доброе сердце?

И действительно, Джозеф Седли, тронутый жалким положением, в котором он застал родных, и расчувствовавшись под впечатлением первой встречи, заявил, что они никогда больше не будут терпеть нужды или неудобств, что он, Джоз, во всяком случае проведет некоторое время в Англии, в течение которого его дом и все, что у него есть, к их услугам, и что Эмилия будет очень мила в качестве хозяйки за его столом... пока не устроит себе собственного дома.

Эмилия печально покачала головой и, по обыкновению, залилась слезами. Она поняла, что хотел сказать брат. Со своей юной наперсницей, мисс Мери, они вдоволь наговорились на эту тему в тот самый вечер, когда их посетил майор. Пылкая Мери не вытерпела и тогда же рассказала

о сделанном ею открытии и описала удивление и радостный трепет, которыми майор Доббин выдал себя, когда мимо прошел мистер Бинни с женою и майор узнал, что ему не приходится больше опасаться соперника.

— Разве вы не заметили, как он весь вздрогнул, когда вы спросили, не женился ли он, и при этом сказал: «Кто передал вам эти выдумки?» Ах, сударыня, — говорила Мери, — ведь он с вас ни на минуту глаз не спускал, он, наверно, и поседел-то потому, что все о вас думал!

Но Эмилия, взглянув на стену, где над кроватью висели портреты ее мужа и сына, попросила свою юную protégée никогда, никогда больше не упоминать об этом. Майор Доббин был самым близким другом ее мужа. Как добрый, преданный опекун он заботится о ней самой и о Джорджи. Она любит его, как брата, но женщина, бывшая замужем за таким ангелом, — она указала на стену, — не может и помышлять ни о каком другом союзе. Бедняжка Мери вздохнула: что ей делать, если молодой мистер Томкинс из соседней больницы, — он всегда так смотрит на нее в церкви, и ее робкое сердечко, повергнутое в смущение одними этими взглядами, уже готово сдаться, — что ей делать, если он умрет? Ведь он чахоточный, это все знают: щеки у него такие румяные, и он так необычайно худ в талии.

Нельзя сказать, чтобы Эмилия, осведомленная о страсти честного майора, оказывала ему хоть сколько-нибудь холодный прием или была им недовольна. Подобная привязанность со стороны такого верного и порядочного джентльмена не может рассердить женщину. Дездемона не сердилась на Кассио, хотя весьма сомнительно, чтобы она не замечала пристрастия к себе со стороны лейтенанта (что касается меня, то я уверен, что в этой грустной истории были кое-какие подробности, о которых не подозревал достойный мавр). Даже Миранда была очень ласкова с Калибаном * и, наверно, по тем же самым причинам. Правда, она ничуть его не поощряла — бедного неуклюжего уроды — конечно, нет! Точно так же не хотела поощрять своего поклонника-майора и Эмми. Она готова оказывать ему дружеское уважение, какого заслуживают его высокие качества и верность; она готова держаться с ним приветливо и просто, пока он не попро-

бует с ней объясниться. А тогда еще будет время поговорить с ним и положить конец несбыточным надеждам.

Поэтому она отлично проспала ту ночь после беседы с мисс Мери и наутро чувствовала себя веселее, чем обычно, несмотря на то, что Джоз запаздывал. «Я рада, что он не собирается жениться на этой мисс О'Дауд, — думала она. — У полковника О'Дауда не может быть сестры, достойной такого прекрасного человека, как майор Вильям».

Кто же среди небольшого круга ее знакомых годится ему в жены? Мисс Бинни? Нет, она слишком стара и у нее скверный характер. Мисс Осборн? Она также слишком стара. Маленькая Мери чересчур молода... Миссис Осборн так и уснула, не найдя для майора подходящей жены.

В положенное время явился почтальон и рассеял все сомнения: он принес Эмилии письмо, в котором Джоз извещал ее, что чувствует себя немного усталым после путешествия и потому не в состоянии выехать в тот же день, но на следующий день выедет из Саутгемптона рано утром и к вечеру будет у отца с матерью. Эмилия, читавшая это письмо отцу, запнулась на последнем слове. Брат, очевидно, не знал о событии, происшедшем у них в семье. Да и не мог знать. Дело в том, что хотя майор справедливо подозревал, что его спутник не двинется с места за такой короткий срок, как двадцать четыре часа, а найдет какой-нибудь предлог для задержки, он все же не написал Джозу и не известил его о несчастии, постигшем семейство Седли: он заговорился с Эмилией и пропустил час отправления почты.

В то же утро и майор Доббин в гостинице Слотера получил письмо от своего друга из Саутгемптона: Джоз просил дорогого Доба извинить его за то, что он так рассердился накануне, когда его разбудили (у него отчаянно болела голова и он только что уснул), и поручал Добу заказать удобные комнаты у Слотера для мистера Седли и его слуг. Майор стал необходим Джозу за время путешествия. Он привязался к нему и не отставал от него. Все другие пассажиры уехали в Лондон. Юный Рикетс и маленький Чеферс отбыли с почтовой каретой в тот же день, причем Рикетс сел на козлы и отобрал у кучера вожжи; доктор отправился к своему семейству в Портси; Брег поехал в Лондон к своим компаньонам, а первый

помощник занялся разгрузкой «Рамчундры». Мистер Джоз почувствовал себя очень одиноким в Саутгемптоне и пригласил хозяина гостиницы «Георг» разделить с ним стакан вина. В этот же самый час майор Доббин обедал у своего отца, сэра Вильяма, и сестра успела вывести у него (майор совершенно не умел лгать), что он уже побывал у миссис Джордж Осборн.

Джоз с таким комфортом устроился на Сент-Мартинс-лейн, так спокойно наслаждался там своим кальяном и, когда приходила охота, так беззаботно отправлялся оттуда в театр, что он, вероятно, и совсем остался бы у Слотера, если бы возле него не было его друга майора. Этот джентльмен ни за что не хотел оставить бенгальца в покое, пока тот не выполнит своего обещания создать домашний очаг для Эмилии и отца. Джоз был человеком податливым, а Доббин умел проявлять чудеса энергии в чьих угодно интересах, кроме своих собственных. Поэтому наш чиновник без труда поддался на нехитрые уловки этого добряка и дипломата и был готов сделать, купить, нанять или бросить все, что его приятель считал нужным. Лол Джеваб, над которым мальчишки с Сент-Мартинс-лейн жестоко потешались, когда его черная физиономия показывалась на улице, был отправлен обратно в Калькутту на корабле «Леди Киклбери», совладельцем которого был сэр Вильям Доббин. Перед отъездом индус обучил европейского слугу Джоза искусству приготовления карри, пилавов и кальяна. Джоз с большим интересом наблюдал за сооружением изящного экипажа, который они с майором заказали тут же поблизости, на улице Лонг-Экр. Была нанята и пара красивых лошадей, на которых Джоз катался по Парку во всем параде или навешал своих индийских приятелей. Во время таких прогулок рядом с ним нередко сидела Эмилия, а на скамеечке экипажа можно было увидеть и майора Доббина. Иногда коляской пользовался старый Седли с дочерью; и мисс Клеп, частенько сопровождавшая свою приятельницу, испытывала огромное удовольствие, если ее, восседающую в экипаже и облаченную в знаменитую желтую шаль, узнавал юный джентльмен из больницы, лицо которого обычно

виднелось за оконными шторами, когда девица проезжала мимо.

Вскоре после первого появления Джоза в Бромптоне грустная сцена произошла в том скромном домике, где Седли провели последние десять лет своей жизни. Однажды туда прибыл экипаж Джоза (временный, а не та коляска, которая еще сооружалась) и увез старого Седли с дочерью, — увез навсегда. Слезы, пролитые при этом событии хозяйкой дома и хозяйской дочерью, были, вероятно, самыми искренними слезами печали из всех, что лились на протяжении нашей повести. За все время их долгого знакомства обе хозяйки не слышали от Эмилии ни единого грубого слова. Она была олицетворением ласковости и доброты, всегда благодарная, всегда милая, даже когда миссис Клеп выходила из себя и настойчиво требовала уплаты за квартиру. Теперь, когда миссис Осборн готовилась уехать навсегда, хозяйка горько упрекала себя за каждое резкое слово. А как она плакала, наклеивая на окно облатками объявление, извещавшее о сдаче внаем комнаток, которые так долго были заняты! Никогда уже у них не будет таких жильцов! Это скорбное пророчество сбылось, и миссис Клеп мстила за падение нравов, взимая со своих locataires¹ свирепые контрибуции за подачу чая и баранины. Большинство жильцов бранилось и ворчалю, некоторые из них не платили за квартиру; никто не заживался долго. Хозяйка имела все основания оплакивать старых друзей, которые покинули ее.

Что же касается мисс Мери, то ее горе при отъезде Эмилии было таково, что я не берусь его описать. С самого детства она виделась с Эмилией ежедневно и так страстно привязалась к этой милой, хорошей женщине, что при виде поместительной коляски, которая должна была увезти Эмилию к роскоши и довольству, мисс Клеп лишилась чувств в объятиях своего друга, а сама Эмилия разволновалась едва ли не меньше этой славной девочки. Она любила ее, как родную дочь. На протяжении одиннадцати лет девочка была ее неизменным другом. Разлука с ней очень огорчала Эмилию. Но, конечно, было решено, что Мери будет часто гостить в большом новом доме,

¹ Жильцов (франц.).

куда уезжала миссис Осборн и где, по уверению Мери, она никогда не будет так счастлива, как была в их скромной хижине, — так мисс Клеп называла родительский дом на языке своих любимых романов.

Будем надеяться, что она ошибалась. Счастливых дней в этой скромной хижине у бедной Эмми было очень мало. Суровая судьба угнетала ее там. Эмилии никогда уж не хотелось возвращаться в этот дом и видеть хозяйку, которая тиранила ее, когда бывала в дурном настроении или не получала денег за квартиру, а в хорошие дни держалась с грубой фамильярностью, едва ли менее противной.

Теперь, когда счастье снова улыбнулось Эмми, угодливость и притворные комплименты прежней хозяйки тоже были ей не по душе. Миссис Клеп ахала от восторга в каждой комнате нового дома, превознося до небес каждый предмет обстановки, каждое украшение; она ощупывала платья миссис Осборн и высчитывала их стоимость, она клялась и божилась, что такой прелестной леди к лицу любая роскошь. Но в этой пошлой лицемерке, теперь угодничающей перед нею, Эмми всегда видела грубую тиранку, которая много раз унижала ее и которую ей приходилось умолять повременить с квартирной платой, которая ругала ее за расточительность, если Эмилия покупала какие-нибудь лакомства для немощных отца с матерью, которая видела ее унижение и попирала ее ногами.

Никто никогда не слышал об этих огорчениях, выпавших на долю бедной маленькой женщины. Она держала их в тайне от своего отца, безрассудство которого было причиной многих ее бедствий. Ей приходилось выносить все попреки за его ошибки, и она была до того кротка и смиренна, словно сама природа предназначила ей роль жертвы.

Я надеюсь, что Эмилии не придется больше страдать от грубого обращения. А поскольку, как говорят, можно найти утешение в любом горе, я тут же упомяну, что бедная Мери, которая после отъезда своего друга совсем расхворалась от слез, поступила на попечение того самого молодого человека из больницы и благодаря его заботам вскоре поправилась. Покидая Бромптон, Эмми подарила Мери всю обстановку своей квартиры, увезя с собой только портреты (те два портрета, что висели у нее над

кроватью) и фортепьяно — то самое маленькое фортепьяно, которое теперь достигло преклонного возраста и жалобно дребезжало, но которое Эмилия любила по причинам, известным ей одной. Она была ребенком, когда впервые играла на нем, — ей подарили его родители. Оно вторично было подарено ей, как, наверное, помнит читатель, когда отцовский дом рассыпался в прах и инструмент был извлечен из обломков этого крушения.

Майор Доббин, наблюдавший за устройством дома для Джоза и старавшийся, чтобы новое помещение было красиво и удобно, страшно обрадовался, когда из Бромптона прибыл фургон с чемоданами и баулами переселенцев и в нем оказалось также и старое фортепьяно. Эмилия захотела поставить его наверху в своей гостиной, миленькой комнатке, примыкавшей к отцовской спальне, — старый джентльмен сидел в этой гостиной по вечерам.

Когда носильщики стали перетаскивать старый музыкальный ящик и Эмилия распорядилась поставить его в вышеупомянутую комнату, Доббин пришел в полный восторг.

— Я рад, что вы его сохранили, — сказал он прочувствованным голосом. — Я боялся, что вы к нему равнодушны.

— Я ценю его выше всего, что у меня есть на свете, — отвечала Эмилия.

— *Правда, Эмилия?* — воскликнул майор Доббин.

Дело в том, что так как он сам его купил, хотя никогда не говорил об этом, то ему и в голову не приходило, что Эмми может подумать о каком-либо ином покупателе. Доббин воображал, что Эмилии известно, кто сделал этот подарок.

— *Правда, Эмилия?* — сказал он, и вопрос, самый важный из всех вопросов, уже готов был сорваться с его уст, когда Эмми ответила:

— Да может ли быть иначе? Разве это не *его* подарок!

— Я не знал, — промолвил бедный старый Доб, и лицо его омрачилось.

Эмми в то время не заметила этого обстоятельства; не обратила она внимания и на то, как омрачилось лицо честного Доббина. Но потом она призадумалась. И тут у нее внезапно явилась мысль, причинившая ей

невыносимую боль и страдание. Это Вильям подарил ей фортепьяно, а не Джордж, как она воображала! Это не был подарок Джорджа, единственный, который она думала, что получила от своего жениха и который ценила превыше всего, — самая драгоценная ее реликвия и сокровище. Она рассказывала ему о Джордже, играла на нем самые любимые пьесы мужа, просиживала за ним вечерние часы, по мере своих скромных сил и умения извлекая из его клавиш меланхоличные аккорды, и плакала над ним в тишине. И вот оказывается, что это не память о Джордже. Инструмент утратил для нее всякую цену. И в первый же раз, когда старик Седли попросил дочь поиграть, она сказала, что фортепьяно отчаянно расстроено, что у нее болит голова, что вообще она не может играть.

Затем, по своему обыкновению, она стала упрекать себя за взбалмошность и неблагодарность и решила вознаградить честного Вильяма за ту обиду, которую она хотя и не высказала ему, но нанесла его фортепьяно. Несколько дней спустя, когда она сидела в гостиной, где Джоз с большим комфортом спал после обеда, Эмилия произнесла дрогнувшим голосом, обращаясь к майору Доббину:

— Мне нужно попросить у вас прощения за одну вещь.

— За что? — спросил тот.

— За это... за маленькое фортепьяно. Я не поблагодарила вас, когда вы мне его подарили... много, много лет тому назад, когда я еще не была замужем. Я думала, что мне его подарил кто-то другой. Спасибо, Вильям.

Она протянула ему руку, но сердце бедной женщины обливалось кровью, а что касается глаз, то они, конечно, принялись за обычную свою работу.

Но Вильям не мог больше выдержать.

— Эмилия, Эмилия! — воскликнул он. — Да, это я купил его для вас! Я любил вас тогда, как люблю и теперь. Я должен все сказать вам. Мне кажется, я полюбил вас с первого взгляда, с той минуты, когда Джордж привез меня к вам в дом, чтобы показать мне ту Эмилию, с которой он был помолвлен. Вы были еще девочкой, в белом платье, с густыми локонами; вы сбежали к нам вниз напевая — вы помните? — и мы поехали в Воксхолл. С тех пор я мечтал только об одной женщине в мире — и это были вы! Мне кажется, не было ни единого часа

за все минувшие двенадцать лет, чтобы я не думал о вас. Я приезжал к вам перед своим отъездом в Индию, чтобы сказать об этом, но вы были так равнодушны, а у меня не хватило смелости заговорить. Вам было все равно, останусь я или уеду.

— Я была очень неблагодарной, — сказала Эмилия.

— Нет, только безразличной! — продолжал Доббин с отчаянием. — Во мне нет ничего, что могло бы вызвать у женщины интерес ко мне. Я знаю, что вы чувствуете сейчас. Вас страшно огорчило это открытие насчет фортепьяно; вам больно, что оно было подарено мною, а не Джорджем. Я забыл об этом, иначе никогда бы не заговорил. Это я должен просить у вас прощения за то, что на мгновение, как глупец, вообразил, что годы постоянства и преданности могли склонить вас в мою пользу.

— Это вы сейчас жестоки! — горячо возразила Эмилия. — Джордж — мой супруг и здесь и на небесах. Могу ли я любить кого-нибудь другого? Я попрежнему принадлежу ему, как и в те дни, когда вы впервые увидели меня, дорогой Вильям. Это он рассказал мне, какой вы добрый и благородный, и научил меня любить вас, как брата. И разве вы не были всем для меня и для моего мальчика? Нашим самым дорогим, самым верным, самым добрым другом и защитником? Если бы вы вернулись в Англию на несколько месяцев раньше, вы, может быть, избавили бы меня от этой... от этой страшной разлуки. О, она едва не убила меня, Вильям! Но вы не приезжали, хотя я желала этого и молилась о вашем приезде, и мальчика тоже отняли у меня... А разве он не чудесный ребенок, Вильям? Будьте же попрежнему его другом и моим...

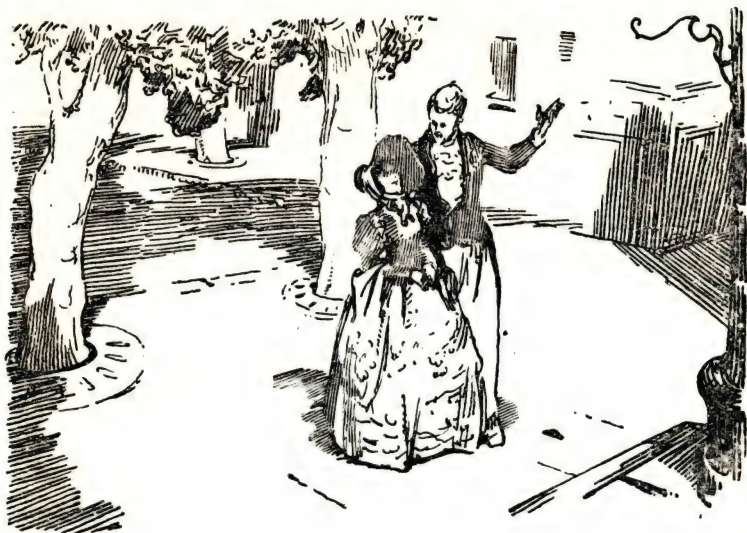
Тут ее голос оборвался, и она спрятала свое лицо на плече у Доббина.

Майор обнял Эмилию, прижал ее к себе, как ребенка, и поцеловал в лоб.

— Я не изменюсь, дорогая Эмилия, — сказал он. — Я не прошу ни о чем, кроме вашей любви. Пусть все останется так, как было. Только позвольте мне быть около вас и видеть вас часто.

— Да, часто, — сказала Эмилия.

И вот Вильяму было предоставлено смотреть и томиться, — так бедный школьник, у которого нет денег, вздыхает, глядя на лоток пирожницы.



ГЛАВА LX

Возвращение в благородное общество

Фортуна начинает улыбаться Эмили. Мы с удовольствием увлекаем ее из низших сфер, где она прозябала до сих пор, и вводим в круг людей избранных,— правда, не столь аристократический и утонченный, как тот, в котором вращалась другая наша приятельница, миссис Бекки, но все же отличающийся немалыми претензиями на аристократизм и светскость. Друзья Джоза были все из трех президентств *, и его новый дом находился в благоустроенном англо-индийском районе, центром которого является Мойра-плейс. Минто-сквер, Грейт-Клайв-стрит, Уорен-стрит, Хестингс-стрит, Октерлони-плейс, Плеси-сквер, Эсей-террас * (удачное слово «сады» в 1827 году еще не применялось к оштукатуренным домам с асфальтовыми террасами перед фасадом) — кто не знает этих респектабельных пристанищ отставной индийской аристократии, этого района, который мистер Уэнхем называет «Черной ямой» *! Общественное положение Джоза было недоста-

точно высоко, чтобы дать ему право занять дом на Мойра-плейс, где могут жить только отставные члены правлений да пайщики индийских торговых фирм (они банкротятся, после того как переведут на своих жен тысяч сто капитала, и удаляются на покой в скромное поместье с жалким доходом в четыре тысячи фунтов). Джоз нанял комфортабельный дом второго или третьего ранга на Джилспай-стрит, накупил ковров, дорогих зеркал и красивой мебели работы Седонса у агентов мистера Скейпа, недавно вступившего совладельцем в крупный калькуттский торговый дом «Фогл, Фейк и Крексмен», в который бедный Скейп всадил семьдесят тысяч фунтов — все сбережения своей долгой и честной жизни — и где занял место Фейка, удалившегося на покой в роскошное имение в Сассексе (Фоглы давно уже вышли из фирмы, и сэр Хорес Фогл будет, кажется, возведен в пэры и получит звание барона Банданна), — вступившего, говорю я, в крупную фирму «Фогл и Фейк» за два года до того, как она лопнула с миллионным убытком, обрекши индийских вкладчиков на нищету и разорение.

Честный, убитый горем Скейм, разорившись в шестьдесят пять лет, поехал в Калькутту ликвидировать дела фирмы. Уолтер Скейп был взят из Итона и отдан на службу в какой-то торговый дом. Флоренс Скейп, Фэнни Скейп и их матушка украдкой отбыли в Булонь, и о них никто больше не слышал. Короче сказать, Джоз занял их дом, скупил их ковры и буфеты и любовался собою в зеркалах, в которых когда-то отражались хорошенькие женские личики. Поставщики Скейпов, с которыми те полностью рассчитались, оставили свои карточки и усердно предлагали снабжать товарами новое хозяйство. Рослые официанты в белых жилетах, прислуживавшие на званых обедах у Скейпов, — по своей приватной профессии зеленщики, посыльные, молочники, — сообщали свои адреса и втирались в милость к дворецкому. Мистер Чами, трубочист, чистивший в доме трубы при трех последних семействах жильцов, пытался умаслить дворецкого и его помощника, на обязанности которого было, нарядившись в куртку со множеством пуговиц и в брюки с лампасами, сопровождать в качестве телохранителя миссис Эмилию, когда ей угодно было выйти погулять.

Дом был поставлен на скромную ногу. Дворецкий был в то же время камердинером Джоза и напивался не больше всякого другого дворецкого в маленькой семье, питающего должное уважение к хозяйскому вину. При Эмми находилась горничная, выросшая в загородном владении сэра Вильяма Доббина, — хорошая девушка, доброта и кротость которой обезоружили миссис Осборн, сперва испугавшуюся мысли, что у нее будет своя служанка. Эмилия совершенно не знала, как ей пользоваться услугами горничной, и всегда обращалась к прислуге с самой почтительной вежливостью. Но эта горничная оказалась очень полезной в домашнем обиходе и искусно ухаживала за старым мистером Седли, который почти не выходил из своей комнаты и никогда не принимал участия в веселых собраниях, происходивших в доме.

Много народу приезжало повидать миссис Осборн. Леди Доббин с дочерьми были в восторге от перемены в ее судьбе и явились к ней с визитом. Мисс Осборн с Рассел-сквера приехала в своей великолепной коляске с пышным чехлом на козлах, украшенным гербами лидских Осборнов. Говорили, что Джоз необычайно богат, и старик Осборн не видел препятствий к тому, чтобы Джорджи в добавление к его собственному состоянию унаследовал еще и состояние дяди.

— Черт возьми, мы сделаем человека из этого парнишки! — говаривал старик. — Я еще увижу его членом парламента. Я разрешаю вам навестить его мать, мисс Осборн, хотя сам я никогда не допущу ее к себе на глаза!

И мисс Осборн поехала. Можете быть уверены, что Эмми очень обрадовалась свиданию с ней и возможности быть ближе к Джорджу. Этому молодому человеку было разрешено навещать мать гораздо чаще. Раз или два в неделю он обедал на Джилспай-стрит и пускал там пыль в глаза слугам и родственникам, точно так же, как и на Рассел-сквере.

Впрочем, к майору Доббину Джорджи всегда относился почтительно и держал себя гораздо скромнее в присутствии этого джентльмена. Джорджи был умный мальчик и побаивался майора. Он не мог не восхищаться простотой своего друга, его ровным характером, его разнообразными познаниями, которыми Доббин без лишнего шума делился с мальчиком, его неизменной любовью

к правде и справедливости. Джордж еще не встречал такого человека на своем жизненном пути, а настоящие джентльмены всегда ему нравились. Он страстно привязался к своему крестному, и для него было большой радостью гулять с Доббином по паркам и слушать его рассказы. Вильям рассказывал Джорджу об его отце, об Индии и Ватерлоо, обо всем решительно, — но только не о себе самом. Когда Джордж бывал дерзок и заносчив более обыкновенного, майор подшучивал над ним, причем миссис Осборн считала такие шутки очень жестокими. Однажды, когда они отправились вместе в театр и мальчик не пожелал занять место в партере, считая это вульгарным, майор взял для него место в ложе, оставил его там одного, а сам спустился в партер. Очень скоро он почувствовал, что кто-то берет его под руку, и затаенная в лайковую перчатку ручка маленького франта стиснула Доббину локоть: Джорджи понял глупость своего поведения и спустился из высших сфер. Нежная улыбка, полная ласки, озарила лицо старого Доббина и мелькнула в его взоре, когда он взглянул на маленького блудного сына. Доббин любил мальчика, как любил все, что принадлежало Эмили. Она же была в полном восторге, услышав о таком прекрасном поступке Джорджа! Глаза ее глядели на Доббина ласковее обычного. Ему показалось, что она покраснела, взглянув на него.

Джорджи не устал расхваливать майора своей матери.

— Я люблю его, мама, потому что он знает такую уйму всяких вещей; и он не похож на старого Вила, который всегда хвастается и употребляет такие длинные слова. Ведь правда? Мальчишки называют его в школе «Длиннохвостым». Это я выдумал прозвище! Здорово? Но Доб читает по-латыни, как по-английски, и по-французски тоже, и по-всякому. А когда мы с ним гуляем, он рассказывает мне о папе и никогда ничего не говорит о себе. А я слышал у дедушки, как полковник Баклер говорил, что Доббин — один из храбрейших офицеров в армии и очень отличился. Дедушка был страшно удивлен и сказал: «Этот молодец? А я думал, что он и комара не обидит!» Но я-то знаю, что он обидит. Ведь верно, мама?

Эмми рассмеялась, подумав, что, по всей вероятности, на *это-то* майора хватит!

Если между Джорджем и майором существовала искренняя приязнь, то между мальчиком и его дядей, нужно сознаться, не было особенной любви. Джордж усвоил манеру раздувать щеки, засовывать пальцы в жилетные карманы и говорить: «Разрази меня господь, не может быть!» — так похоже на старого Джоза, что просто невозможно было удержаться от хохота. Во время обеда слуги прыскали со смеху, когда мальчик, обращаясь с просьбой подать ему что-нибудь, чего не было на столе, делал эту гримасу и пускал в ход любимую фразу дяди. Даже Доббин раздражался хохотом, глядя на мальчика. Если маленький озорник не передразнивал дядю перед его же носом, то только потому, что его сдерживали строгие замечания Доббина и мольбы перепуганной Эмилии. А достойный чиновник, терзаемый смутным подозрением, что мальчуган считает его ослом и выставляет на посмешище, сильно робел в присутствии Джорджи и оттого, конечно, становился вдвое более напыщенным и важным. Когда становилось известно, что молодого джентльмена ожидают к обеду на Джилспай-стрит, мистер Джоз обычно вспоминал, что у него назначено свидание в клубе. Нужно думать, что никто особенно не огорчался его отсутствием. В такие дни мистера Седли уговаривали выйти из его убежища в верхнем этаже, и в столовой устраивалось небольшое семейное сборище, участником которого по большей части бывал и майор Доббин. Он был *ami de la maison*¹ — другом старика Седли, другом Эмми, другом Джорджи, советником и помощником Джоза.

— Мы так редко его видим, что для нас он все равно что в Мадрасе! — заметила как-то мисс Энн Доббин в Кемберуэле.

Ах, мисс Энн, неужели вам не приходило в голову, что майор *не на вас* мечтал жениться!

Джозеф Седли проводил жизнь в полной достоинства праздности, как и подобало особе его значения. Разумеется, первым его шагом было пройти в члены Восточного клуба, где он просиживал целые утра в компании со своими индийскими собратьями, где он обедал и откуда привозил гостей к себе обедать.

¹ Другом дома (франц.).

Эмилия должна была принимать и занимать этих джентльменов и их дам. От них она узнавала, скоро ли Смит будет советником; сколько сотен тысяч рупий увез с собою в Англию Джонс; как торговый дом Томсона в Лондоне отказался принять к оплате векселя, выданные на него бомбейской фирмой «Томсон, Кибобджи и К°», и как все считают, что калькуттское отделение фирмы также должно прогореть; как безрассудно — если не сказать более — миссис Браун (супруга Брауна, офицера иррегулярного Ахмеднагарского полка) вела себя с юным Суонки из лейб-гвардейского: просиживала с ним на палубе до поздней ночи и заблудилась вместе с этим офицером, когда они ездили кататься верхом во время стоянки на мысе Доброй Надежды; как миссис Хардимен вывезла в Индию своих тринадцать сестер, дочерей деревенского викария, преподобного Феликса Ребитса, и выдала замуж одиннадцать из них, причем семь сделали очень хорошую партию; как Хорнби рвет и мечет, потому что его жена пожелала остаться в Европе, а Тротер назначен коллектором в Амерапуре. Вот такие или подобные им разговоры происходили обычно на всех званных обедах. Все беседовали об одном и том же; у всех была одинаковая серебряная посуда, подавалось одинаковое седло барашка, вареные индейки и *entrées*. Политические вопросы обсуждались после десерта, когда дамы удалялись наверх и заводили там беседу о своих недомоганиях и о своих детях.

*Mutato nomine*¹ — везде одно и то же. Разве жены стряпчих не беседуют о делах судебного округа? Разве военные дамы не сплетничают о полковых делах? Разве жены священников не рассуждают о воскресных школах и о том, кто кого замещает? И разве самые знатные дамы не ведут бесед о небольшой клике, к которой они принадлежат? Почему бы и нашим индийским друзьям не вести своих особых разговоров? Хотя я согласен, что это мало интересно для людей непосвященных, которым иной раз приходится сидеть молча и слушать.

Вскоре Эмми обзавелась книжечкой для записи визитов и регулярно выезжала в карете, навещая леди Бладайер (жену генерал-майора сэра Роджера Бладайера,

¹ Если изменить название (лат.).

кавалера ордена Бани, службы бенгальской армии); леди Хаф, жену сэра Дж. Хафа, бомбейского генерала; миссис Пайс, супругу директора Пайса, и т. д. Мы быстро привыкаем к жизненным переменам. Карета ежедневно выезжала и возвращалась на Джилспай-стрит; мальчик с блестящими пуговицами вскакивал на козлы и соскакивал с них, разнося визитные карточки Эмми и Джоза. В определенные часы Эмми и карета появлялись у клуба, чтобы захватить Джоза и увезти его подышать чистым воздухом; или же, усадив старика Седли в экипаж, Эмилия возила отца покататься по Риджентс-парку. Собственная горничная, коляска, книжка для записывания визитов и паж в пуговицах — ко всему этому Эмилия вскоре привыкла так же, как раньше привыкла к скучному однообразию бромптонской жизни. Она приспособилась ко всему этому, как приспособлялась раньше к другому. Если бы судьба определила ей быть герцогиней, она исполнила бы и этот долг. Дамы, составлявшие общество Джоза, единогласно постановили, что Эмилия довольно приятная молодая особа, — ничего особенного в ней нет, но она мила и все такое!

Мужчинам, как всегда, нравилась бесхитростная доброта Эмилии и ее простые, но изящные манеры. Галантные юные индийские щеголи, проводившие в Англии отпуск, — невероятные щеголи, обвешанные цепочками, усатые, разъезжающие в шикарных кебах, завсегда-таи театров, обитатели вест-эндских отелей, — восторгались миссис Осборн, охотно отвешивали поклон ее карете в Парке и бывали рады чести нанести Эмилии утренний визит. Сам лейб-гвардеец Суонки, этот опасный молодой человек, величайший франт во всей индийской армии, ныне пребывающий в отпуску, был однажды застигнут майором Доббином *tête-à-tête* с Эмилией, которой он с большим юмором и красноречием описывал охоту на кабанов. После этого он долго рассказывал об одном треклятом офицере, вечно торчащем в доме, — таком длинном, тощем, пожилom чудеке, при котором человеку просто невозможно поговорить.

Обладая майор хотя бы немного большим тщесла-вием, он, наверное, приревновал бы Эмилию к такому опасному молодому франту, как этот обворожительный бенгальский капитан. Но Доббин был слишком прост и

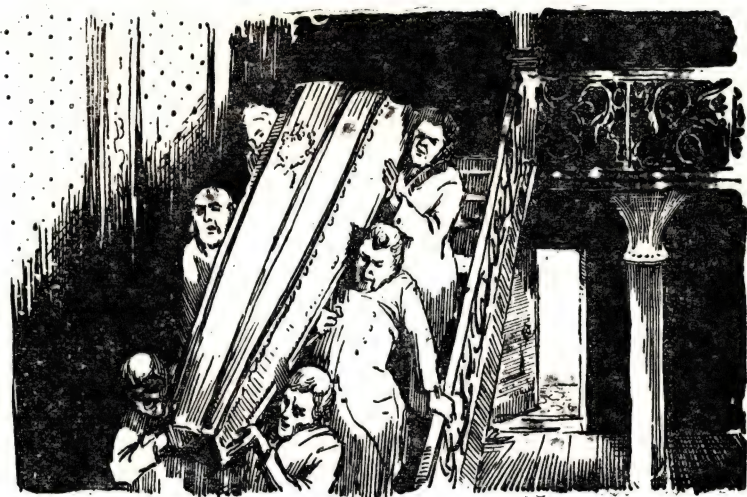
благороден, чтобы хоть сколько-нибудь сомневаться в Эмилии. Он радовался, что молодые люди оказывают ей внимание, что все восхищаются ею. Ведь почти с самого ее замужества ее обижали и не умели ценить! Майор с удовольствием видел, как ласковое обращение выявляло все лучшее, что было в Эмилии, и как она расцвела с тех пор, как ей стало легче житься. Все, кто ценил Эмилию, отдавали должное здравому суждению майора, — если только о человеке, ослепленном любовью, вообще можно сказать, что он способен на здравые суждения!

После того как Джоз был представлен ко двору, где он держал себя — мы можем быть в этом уверены! — как истый верноподданный (предварительно показавшись в полном придворном костюме в клубе, куда Доббин заехал за ним в потертом старом мундире), наш чиновник, бывший всегда заядлым лоялистом и сторонником Георга IV, стал таким ревностным тори и таким столпом государства, что решил обязательно взять с собою и Эмилию на один из дворцовых приемов. Джоз пришел к убеждению, что его долг — поддерживать общественное благополучие и что монарх не будет счастлив, пока Джоз Седли и его семейство не соберутся вокруг него в сент-джемском дворце.

Эмми смеялась.

— Не надеть ли мне фамильные брильянты, Джоз? — спросила она.

«Ах, если бы вы позволили мне купить вам брильянты, — подумал майор. — Лишь бы мне удалось найти такие, которые достойны вас!»



ГЛАВА LXI.

в которой гаснут два светильника

Настал день, когда благопристойные развлечения, которым предавалось семейство мистера Джоза Седли, были прерваны событием, какие случаются в очень многих домах. Поднимаясь по лестнице вашего дома из гостиной к спальням, вы, должно быть, обращали внимание на небольшую арку в стене прямо перед вами, которая пропускает свет на лестницу, ведущую из второго этажа в третий (где обычно находятся детская и комнаты слуг), и вместе с тем служит еще и для других полезных целей, — о них вам могут сообщить люди гробовщика. К этой арке они прислоняют гробы, и она же позволяет им повернуть, не потревожив холодных останков человека, мирно спящего в темном ковчеге.

Ах, эта арка второго этажа в лондонских домах, освещающая сверху и снизу лестничный пролет, господствующая над главным путем сообщения, которым

пользуются обитатели дома! Этим путем тихонько пробирается еще до зари кухарка, направляясь в кухню чистить свои горшки и кастрюли; этим путем, оставив в прихожей сапоги, крадучись поднимается юный хозяйский сын, возвращающийся на рассвете домой с веселого вечера в клубе; по этой лестнице спускается молоденькая мисс в кружевах и лентах, шурша кисейными юбками, сияющая и красивая, приготовившаяся к победам и танцам; по ней скатывается маленький мистер Томми, предпочитающий пользоваться в качестве средства передвижения перилами и презиравший опасность; по ней супруг нежно несет вниз на своих сильных руках улыбающуюся молодую мать, твердо ступая со ступеньки на ступеньку, в сопровождении сиделки из родильного покоя, в тот день, когда врач объявляет, что прелестная пациентка может спуститься в гостиную; вверх по ней пробирается к себе Джон, зевая над брызгающей сальной свечой, чтобы потом, еще до рассвета, собрать сапоги, ожидающие его в коридорах. По этой лестнице носят вверх и вниз грудных детей, водят стариков, по ней торжественно выступают гости, приглашенные на бал, священник идет на крестины, доктор — в комнату больного, а люди гробовщика — в верхний этаж. Какое *emento* о жизни, смерти и суете всего земного такая лестница и арка над ней — если хорошенько вдуматься в это, сидя на площадке и поглядывая то вверх, то вниз! И к нам, о мой друг в колпаке с бубенцами, поднимется в последний раз доктор! Сиделка, раздвинув полог, заглянет к вам, но вы уже не заметите этого, а потом она широко распахнет окна и проветрит спальню. Потом ваши родные опустят шторы по всему фасаду дома и перейдут жить в задние комнаты, а потом пошлют за стряпчим и другими людьми в черном и т. д. Ваша комедия, как и моя, будет сыграна, и нас увезут — о, как далеко! — от громких труб, и криков, и кривляния! Если мы дворяне, то на стену нашего бывшего жилища прибьют траурный герб с позолоченными херувимами и девизом, гласящим, что существует «покой на небесах». Ваш сын обставит дом заново или, быть может, сдаст его внаем, а сам переедет в какой-нибудь более модный квартал; ваше имя на будущий год появится в списке «скончавшихся членов» вашего клуба. Как бы горько вас ни оплакивали, все же вашей вдове захочется, чтобы ее

траурное платье было сшито красиво; кухарка пошлет узнать или сама поднимется спросить насчет обеда; оставшиеся в живых скоро смогут без слез смотреть на ваш портрет над камином, а потом его уберут с почетного места, чтобы повесить там портрет царствующего сына!

Кого же из умерших оплакивают с наибольшей скорбью и печалью? Мне кажется, тех, кто при жизни меньше всего любил своих близких. Смерть ребенка вызывает такой взрыв горя и такие отчаянные слезы, каких никому не внушит ваша кончина, брат мой читатель! Смерть малого дитяти, едва ли узнававшего вас как следует, способного забыть вас за одну неделю, поразит вас гораздо больше, чем потеря ближайшего друга или вашего первородного сына — такого же взрослого человека, как вы сами, и имевшего собственных детей. Мы строги и суровы с Иудой и Симеоном, — но наша любовь и жалость к младшему, к Вениамину *, не знает границ. Если же вы стары, мой читатель, — стары и богаты или стары и бедны, — то в один прекрасный день вы подумаете: «Все, кто меня окружает, очень добры ко мне, но они не будут горевать, когда я умру. Я очень богат, и они ждут от меня наследства»; или: «Я очень беден, и они устали содержать меня».

Едва истек срок траура после смерти миссис Седли и Джоз только-только успел сбросить с себя черные одежды и облечься в свои любимые цветные жилеты, как для всех окружавших мистера Седли стало очевидным, что назревает еще одно событие и что старик вскоре отправится на поиски жены в ту страну мрака, куда она ушла раньше его.

— Состояние здоровья моего отца, — торжественно заявлял Джоз Седли в клубе, — не позволяет мне в этом году устраивать *большие* званые вечера. Но если вы, дружище Чатни, без особых церемоний придете ко мне как-нибудь в половине седьмого и отобедаете у меня дома с двумя-тремя приятелями из нашей старой компании, то я всегда буду рад вас видеть!

Итак, Джоз и его друзья в молчании обедали и пили свой кларет, а тем временем в часах жизни его старика отца пересыпались уже последние песчинки. Дворецкий бесшумно вносил в столовую вино; после обеда гости

садились играть в карты; иногда в игре принимал участие и майор Доббин; бывали случаи, что вниз спускалась и миссис Осборн, когда ее больной, заботливо устроенный на ночь, забывался тем легким, тревожным сном, что слетает к постели стариков.

Старик привязался к дочери за время своей болезни. Он принимал лекарства и пил бульон почти только из рук одной Эмилии. Заботы о старике сделались чуть ли не единственным занятием в ее жизни. Постель ее была поставлена у самой двери, выходящей в комнату старика, и Эмилия вскакивала при малейшем шуме или шорохе, доносившемся с ложа капризного больного. Хотя надо отдать ему справедливость: старик часами лежал без сна, молча и не шевелясь, не желая будить свою заботливую сиделку.

Он любил теперь свою дочь так, как, вероятно, не любил с самых ранних дней ее детства. И никогда эта кроткая женщина не была так хороша, как когда выполняла свой дочерний долг. «Она входит в комнату тихо, словно солнечный луч», — думал мистер Доббин, наблюдая за тем, как Эмилия входит в комнату отца и выходит от него; ласковая нежность светилась на ее лице, она двигалась бесшумно и грациозно. Кто не видел на лицах женщин нежного ангельского света любви и сострадания, когда они сидят у колыбели ребенка или хлопочут в комнате больного?

Так утихла тайная вражда, длившаяся несколько лет, и произошло молчаливое примирение. В эти последние часы своей жизни старик, растроганный любовью и добротой дочери, забыл все причиненные ею огорчения, все проступки, которые они с женой обсуждали не одну долгую ночь: как Эмилия отказалась от всего ради своего мальчика; как она была невнимательна к престарелым и несчастным родителям и думала только о ребенке; как нелепо и глупо, как неприлично она горевала, когда у нее взяли Джорджи. Старый Седли забыл все эти обвинения, подводя свой последний итог, и воздал должное маленькой мученице, кроткой и безответной. Однажды ночью, тихонько войдя в комнату больного, Эмилия застала его бодрствующим, и немощный старик сделал дочери признание.

— Ох, Эмми! Я все думал, как мы были нехороши и

несправедливы к тебе! — сказал он, протягивая ей холодную, слабую руку.

Эмилия опустилась на колени и стала молиться у постели отца, который тоже молился, не выпуская ее руки из своей. Друг мой, когда настанет наш черед, дай нам бог, чтобы кто-то так же молился рядом с нами!

Быть может, в эту бессонную ночь вся жизнь снова проходила перед мысленным взором старика: молодость с ее борьбой и надеждами, успех и богатство в зрелом возрасте, страшная катастрофа, постигшая его на склоне лет, и нынешнее его беспомощное положение. И никаких шансов отомстить судьбе, одолевшей его; нечего завещать — ни имени, ни денег... Даром прожитая, неудавшаяся жизнь, поражения, разочарования — и вот конец! Что, по-вашему, лучше, брат мой читатель: умереть преуспевающим и знаменитым или бедным и отчаявшимся? Все иметь и быть вынужденным отдать, или исчезнуть из жизни, проиграв игру? Должно быть, странное это чувство, когда в один прекрасный день нам приходится сказать: «Завтра успех или неудача не будут значить ничего; взойдет солнце, и все люди пойдут, как обычно, работать или развлекаться, а я буду вдали от всяких тревог!»

И вот настало утро, когда солнце взошло и весь мир поднялся ото сна и занялся своими делами и развлечениями, — весь мир, за исключением старого Джона Седли, которому не надо было более бороться с судьбою, питать надежды, строить какие-то планы: ему оставалось лишь добраться до тихого, безвестного приюта на бромптонском кладбище, где уже успокоилась его старая жена.

Майор Доббин, Джоз и Джорджи проводили его в карете, обтянутой черным сукном. Джоз специально для этого приехал из «Звезды и Подвязки» в Ричмонде, куда он удалился после печального события. Ему не хотелось оставаться в доме вместе с... при таких обстоятельствах, вы понимаете? Но Эмми осталась и выполнила свой долг, как всегда. Смерть отца не явилась для нее особенно тяжелым ударом, и держалась она скорее серьезно, чем печально. Она молилась о том, чтобы ее кончина была такой же мирной и безболезненной, и думала с упованием и благоговением о словах, которые слышала от отца во время его болезни и которые свидетельствовали об его вере, покорности судьбе и надежде на будущую жизнь.

Да, в конце концов такая смерть, пожалуй, лучше всякой другой. Предположим, вы богаты и обеспечены, и вот вы говорите в этот последний день: «Я очень богат; меня довольно хорошо знают; я прожил свою жизнь в лучшем обществе и, благодарение богу, происхожу из самой почтенной семьи. Я с честью служил своему королю и отечеству. Я несколько лет подвизался в парламенте, где, смею сказать, к моим речам прислушивались и принимали их очень хорошо. Я никому не должен ни гроша; напротив, я дал займы старому школьному товарищу, Джеку Лазарю, пятьдесят фунтов, и мои душеприказчики не будут торопить его с уплатой. Я оставляю дочерям по десять тысяч фунтов — очень хорошее приданое; я завещал все серебро, обстановку и дом на Бейкер-стрит, вместе с законной долей наследства, в пожизненное владение жене; а мои земли, ценные бумаги и погреб с отборными винами в доме на Бейкер-стрит — своему сыну. Я оставляю двадцать фунтов ежегодного дохода своему камердинеру и ручаюсь, что после моей смерти никто не сыщет предлога, чтобы очернить мое имя!»

Или, предположим, ваш лебедь запоет совсем другую песню, и вы скажете: «Я бедный, горемычный, во всем отчаявшийся старик, всю мою жизнь мне не везло. Я не был наделен ни умом, ни богатством. Сознаюсь, что я совершил сотни всяких ошибок и промахов, что я не раз забывал о своих обязанностях. Я не могу уплатить свои долги. На смертном ложе я лежу беспомощный и униженный, и я молюсь о прощении мне моей слабости и с сокрушенным сердцем поворачиваю себя к стопам божественного милосердия».

Какую из этих двух речей вы бы выбрали для надгробного слова на ваших похоронах? Старик Седли произнес последнюю. И в таком смиренном состоянии духа, держа за руку дочь, ушел из жизни, оставив позади всю мирскую суету и огорчения.

— Вот видишь, — говорил старик Осборн Джорджу, — как вознаграждаются заслуги, трудолюбие и разумное помещение денег! Взять хотя бы меня, — какой у меня счет в банке. Теперь возьми своего бедного дедушку Седли с его злоключениями. А ведь двадцать лет тому назад

он был куда богаче меня — на целых десять тысяч фунтов!

Кроме этих людей и семьи мистера Клепа, приехавшей из Бромптона нанести сочувственный визит, ни одна живая душа не поинтересовалась старым Джоном Седли и даже не вспомнила о существовании такого человека.

Когда старик Осборн (о чем уже сообщал нам Джорджи) впервые услышал от своего друга полковника Баклера, какой выдающийся офицер майор Доббин, он отнесся к этому с презрительным недоверием и выразил удивление насчет того, как может такой молодец обладать умом и пользоваться хорошей репутацией. Но ему пришлось услышать отличные отзывы о майоре и от других своих знакомых. Сэр Вильям Доббин был весьма высокого мнения о своем сыне и рассказывал много историй, подтверждавших ученость майора, его храбрость и лестную оценку его достоинств со стороны общественного мнения. Наконец имя майора появилось в списке приглашенных на званые вечера в самом высшем свете, и это обстоятельство оказало прямо-таки волшебное действие на старого аристократа с Рассел-сквера.

Поскольку майор был опекуном Джорджи, а Эмилини пришлось отдать мальчика деду, между обоими джентльменами состоялся ряд деловых свиданий, и во время одного из них старик Осборн, отличный делец, просматривая отчеты майора по делам опекаемого и его матери, сделал поразительное открытие, которое и огорчило его и порадовало: часть средств, на которые существовали бедная вдова и ее ребенок, шла из собственного кармана Вильяма Доббина.

Когда Осборн потребовал от Доббина объяснений, тот, как человек, совершенно не умеющий лгать, покраснел, начал что-то плести и в конце концов признался.

— Брак Джорджа, — сказал он (при этих словах лицо его собеседника потемнело), — в значительной степени было делом моих рук. Я считал, что мой бедный друг зашел так далеко, что отступление от взятых им на себя обязательств опозорит его и убьет миссис Осборн. И когда она оказалась без всяких средств, я просто не мог не поддерживать ее в меру своих возможностей.

— Майор Доббин, — сказал мистер Осборн, глядя на него во все глаза и тоже заливаясь краской, — вы нанесли

мне большое оскорбление, но позвольте сказать вам, сэр, что вы честный человек! Вот моя рука, сэр, хотя мне никогда не приходило в голову, что собственная моя кровь и плоть жила на ваши средства...

И они пожали друг другу руки, к великому смущению лицемера Доббина, чье великодушие оказалось разоблаченным.

Доббин сделал попытку смягчить старика и примирить его с памятью сына.

— Джордж был такой благородный человек, — сказал он, — что все мы любили его и готовы были сделать для него что угодно. Я, в те дни еще молодой человек, был польщен свыше всякой меры тем предпочтением, которое Джордж мне оказывал, и не променял бы его общества даже на самого главнокомандующего! Я никогда не видел никого, кто сравнился бы с ним в храбрости или в других качествах солдата. — И Доббин рассказал старику отцу все, что мог припомнить о доблести и подвигах его сына. — А как Джорджи похож на него! — добавил майор.

— Он так похож на него, что мне иной раз просто страшно становится, — признался дед.

Раза два майор приезжал к мистеру Осборну обедать (это было во время болезни мистера Седли), и, оставшись вдвоем после обеда, они беседовали о почившем герое. Отец, по обыкновению, хвастался сыном, самодовольно перечисляя его подвиги, но чувствовалось, что он смягчился, что его гнев против бедного молодого человека остыл, и доброе сердце майора радовалось такой перемене в суровом старике. На второй вечер старый Осборн уже называл Доббина Вильямом, как в те времена, когда Доббин и Джордж были мальчиками. И честный наш майор усмотрел в этом доброе предзнаменование.

На следующий день за завтраком, когда мисс Осборн с резкостью, свойственной ее возрасту и характеру, рискнула сделать некоторые замечания и слегка пройти насчет внешности и поведения майора, хозяин дома перебил ее:

— Ты сама с удовольствием подцепила бы его, голу-бушка! Но зелен виноград! Ха-ха-ха! Майор Вильям прекрасный человек!

— Вот это правда, дедушка, — сказал одобрительно Джорджи и, подойдя к старому джентльмену, забрал в

горсть его длинные седые бакенбарды, ласково улыбнулся ему и поцеловал его. А вечером передал весь этот разговор своей матери, которая полностью согласилась с мальчиком.

— Конечно, он превосходный человек! — сказала она. — Твой дорогой отец всегда это говорил: Доббин один из лучших и справедливейших людей.

Очень скоро после этой беседы Доббин забежал к ним, что, должно быть, и заставило Эмилию вспыхнуть. А юный повеса смутил мать еще больше, передав Доббину вторую часть их утреннего разговора.

— Знаете, Доб, — заявил он, — одна необычайно прелестная девушка хочет выйти за вас замуж. У нее куча денег, она носит накладку и ругает прислугу с утра до ночи!

— Кто она такая? — спросил Доббин.

— Тетя Осборн! — ответил мальчик. — Так сказал дедушка. Ах, Доб, вот было бы здорово, если бы вы стали моим дядей!

В эту минуту дребезжащий голос старика Седли слабо окликнул из соседней комнаты Эмилию, и смех прекратился.

Что настроение старого Осборна изменилось, было совершенно ясно. Он иногда расспрашивал Джорджа об его дядюшке и смеялся, когда мальчик изображал, как Джоз говорит: «Разрази меня господь!» и жадно глотает суп. Однажды старик сказал:

— Это непочтительно с вашей стороны, сэр, что вы, молокососы, передразниваете родственников. Мисс Осборн! Когда поедете сегодня кататься, завезите мою карточку мистеру Седли, слышите? С ним-то я никогда не ссорился.

Была послана ответная карточка, и Джоз с майором получили приглашение к обеду — самому роскошному и самому нелепому из всех, какие когда-либо устраивал даже мистер Осборн. Все семейное серебро было выставлено напоказ, присутствовало самое именитое общество. Мистер Седли вел к столу мисс Осборн, и та была к нему очень благосклонна; зато она почти не разговаривала с майором, который сидел далеко от нее, рядом с мистером Осборном, и сильно робел. Джоз с большой важностью заметил, что такого черепахового супа он не ел за

всю свою жизнь, и осведомился у мистера Осборна, где он достал такую мадеру.

— Это из погреба Седли, — шепнул дворецкий хозяину.

— Я купил эту мадеру давно и заплатил за нее хорошенькую цену, — громко сказал мистер Осборн своему гостю. А потом шепотом сообщил соседу, сидевшему справа, как он приобрел вино «на распродаже у старика».

Старик Осборн неоднократно расспрашивал майора о... о миссис Джордж Осборн, — тема, на которую майор мог при желании говорить весьма красноречиво. Он рассказал мистеру Осборну о ее страданиях, об ее страстной привязанности к мужу, чью память она чтит до сей поры, о том, как заботливо она поддерживала родителей и как отдала сына, когда, по ее мнению, долг велел ей так поступить.

— Вы не знаете, что она выстрадала, сэр! — сказал честный Доббин с дрожью в голосе. — И я надеюсь и уверен, что вы примиритесь с нею. Пусть она отняла у вас сына, зато она отдала вам своего. И как бы горячо вы ни любили своего Джорджа, поверьте — она любила своего в десять раз больше!

— Честное слово, вы хороший человек, сэр! — вот все, что сказал мистер Осборн. Ему никогда не приходило в голову, что вдова могла страдать, расставаясь с сыном, или что его богатство могло причинить ей горе. Чувствовалось, что примирение должно произойти непременно, и притом в самом скором времени; и сердце Эмилии уже начало усиленно биться при мысли о страшном свидании с отцом Джорджа.

Однако этому свиданию так и не суждено было состояться: помешала затянувшаяся болезнь, а потом смерть старика Седли. Это событие и другие обстоятельства, должно быть, повлияли на мистера Осборна. Он очень сдал за это время, сильно постарел и весь ушел в свои мысли. Он посылал за своими поверенными и, вероятно, кое-что изменил в своем духовном завещании. Врач, осмотревший старика, признал его расстроенным, возбужденным и поговаривал о небольшом кровоизлиянии и поездке на берег моря, но старик Осборн отказался от того и другого.

Однажды, когда он должен был спуститься к завтраку,

слуга, не найдя его в столовой, вошел к нему в туалетную комнату и увидел старика на полу у туалетного столика. С ним случился удар. Вызвали мисс Осборн, послали за врачами, задержали Джорджи, уезжавшего в школу. Больному пустили кровь, поставили банки, и он пришел в сознание, но так уж и не мог больше говорить, хотя раз или два делал к тому мучительные попытки. Через четыре дня он умер. Доктора спустились по лестнице, люди гробовщика поднялись по ней; все ставни на стороне дома, обращенной к саду на Рассел-сквере, были закрыты. Буллок спешно примчался из Сити.

— Сколько денег он оставил мальчишке? Не половину же? Наверное, поровну между всеми тремя?

Минута была тревожная.

Что же такое тщетно старался высказать бедный старик? Я надеюсь, что ему хотелось повидать Эмилию и примириться с дорогой и верной женой своего сына, перед тем как самому покинуть этот мир. Очень вероятно, что так оно и было, ибо его завещание показало, что ненависть, которую он так долго лелеял, исчезла из его сердца.

В кармане его халата нашли письмо с большой красной печатью, написанное ему Джорджем из Ватерлоо. Очевидно, старик пересматривал и другие свои бумаги, имевшие отношение к сыну, потому что ключ от ящика, где хранились документы, оказался также у него в кармане. Печати были сломаны, а конверты вскрыты, по всей вероятности, накануне удара, — потому что, когда дворецкий подавал старику чай в его кабинет, он застал хозяина за чтением большой красной семейной библии.

Когда вскрыли завещание, оказалось, что половина состояния отказана Джорджу, остальное поровну обеим сестрам. Мистеру Буллоку предоставлялось продолжать вести дела торгового дома — в общих интересах всех наследников — или же выйти из фирмы, если на то будет его желание. Ежегодный доход в пятьсот фунтов, взимаемый с части Джорджа, завещался его матери, «вдове моего возлюбленного сына Джорджа Осборна»; ей предлагалось снова вступить в исполнение опекунских обязанностей по отношению к своему сыну.

«Майор Вильям Доббин, друг моего возлюбленного сына», назначался душеприказчиком, «и так как он, по

своей доброте и великодушию, поддерживал на свои личные средства моего внука и вдову моего сына, когда они оказались без всяких средств (так гласило дальше завешание), то я сим благодарю его сердечно за его любовь и приязнь к ним и прошу его принять от меня такую сумму, которая будет достаточна для покупки чина подполковника, или же располагать этой суммой по своему усмотрению».

Когда Эмилия узнала, что ее свекор примирился с нею, сердце ее растаяло и исполнилось признательности за состояние, оставленное ей. Но когда она узнала, что Джорджи возвращен ей, и как это произошло, и благодаря кому, а также и о том, что великодушный Вильям поддерживал ее в бедности, что это Вильям дал ей и мужа и сына, — о, тут она упала на колени и молила небо благословить это верное и доброе сердце! Она смиренно склонилась во прах перед такой прекрасной и великодушной любовью.

И за эту несравненную преданность и за все щедроты она могла заплатить только благодарностью — одной лишь благодарностью! Если у нее и мелькала мысль о какой-нибудь иной награде, образ Джорджа появлялся из могилы и говорил: «Ты моя, только моя, и ныне и присно!»

Вильяму были известны ее чувства, — разве он не провел всю свою жизнь в угадывании их?

Назидательно отметить, как выросла миссис Осборн во мнении людей, составлявших круг ее знакомых, когда стало известно содержание духовной мистера Осборна. Слуги Джоза, позволявшие себе оспаривать ее скромные распоряжения и говорить, что «спросят у хозяина», теперь и не думали о подобной апелляции. Кухарка перестала насмехаться над ее поношенными старыми платьями (которые, конечно, никуда не годились по сравнению с изящными нарядами этой леди, когда она разрядившись, шла в воскресенье вечером в церковь); лакей не ворчал больше, когда раздавался звонок Эмилии, и торопился на него откликнуться. Кучер, брюзжавший, что незачем тревожить лошадей и превращать карету в больницу ради этого старикашки и миссис Осборн, те-

перь гнал во весь дух и, боясь, как бы его не заменили кучером мистера Осборна, спрашивал: «Разве эти кучера с Рассел-сквера знают город, и разве они достойны сидеть на козлах перед настоящей леди?» Друзья Джоза — как мужчины, так и женщины — вдруг стали интересоваться Эмилией, и карточки с выражениями соболезнования горами лежали на столе в ее прихожей. Сам Джоз, считавший сестру добродушной и безобидной нищей, которой он обязан был давать пропитание и кров, стал относиться с величайшим уважением к ней и к богатому мальчику, своему племяннику, уверял, что «бедной девочке» нужны перемена и развлечения после ее тревог и испытаний, и начал выходить к завтраку и любезно справляться, как Эмилия располагает провести день.

В качестве опекуни Джорджи Эмилия, с согласия майора, своего соопекуна, предложила мисс Осборн оставаться в доме на Рассел-сквере, пока ей будет угодно там жить. Но эта леди, выразив свою признательность, заявила, что она и в мыслях не имела оставаться в этом мрачном особняке, и, облачившись в глубокий траур, переехала в Челтенхем с двумя-тремя старыми слугами. Остальным было щедро заплачено, и их отпустили. Верный старый дворецкий, которого мисс Осборн предполагала удержать у себя, отказался от места и предпочел вложить свои сбережения в питейный дом (мы надеемся, что дела его пошли неплохо). Когда мисс Осборн отказалась жить на Рассел-сквере, миссис Осборн, посовещавшись с друзьями, также не пожелала занять этот мрачный старый особняк. Дом был закрыт, — пышные портьеры, мрачные канделябры и унылые потускневшие зеркала уложены и спрятаны, богатая обстановка гостиной розового дерева укутана в солому, ковры скатаны и перевязаны веревками, маленькая избранная библиотека прекрасно переплетенных книг упакована в два ящика из-под вина, и все это имущество отвезено в нескольких огромных фургонах в Пантехникон *, где оно должно было оставаться до совершеннолетия Джорджи. А большие тяжелые сундуки с серебряной посудой отправились к господам Стампи и Рауди и исчезли в подвальных кладовых этих знаменитых банкиров до наступления того же срока.

Однажды Эмми, вся в черном, взяв с собой Джорджи, отправилась навестить опустевший дом, в который не

вступала со времени своего девичества. Улица перед домом, где грузились фургоны, была усеяна соломой. Эмилия с сыном вошла в огромные пустые залы с темными квадратами на стенах там, где раньше висели картины и зеркала. Они поднялись по широкой пустынной каменной лестнице в комнаты второго этажа, заглянули в ту, где умер дедушка, как шепотом сказал Джордж, а потом еще выше — в комнату самого Джорджа. Эмилия по-прежнему держала за руку сына, но думала она и о ком-то другом. Она знала, что задолго до Джорджи в этой комнате жил его отец.

Эмилия подошла к одному из открытых окон (к одному из тех окон, на которые она, бывало, смотрела с болью в сердце, когда у нее отняли сына) и увидела из-за деревьев Рассел-сквера старый дом, где она сама родилась и где провела так много счастливых дней своей благословенной юности. Все воскресло в ее памяти: веселые праздники, ласковые лица, беззаботные, радостные, невозвратные времена; а за ними бесконечные муки и испытания, придавившие ее своей тяжестью. Эмилия задумалась о них и о том человеке, который был ее неизменным покровителем, ее добрым гением, ее единственным другом, нежным и великодушным.

— Смотри, мама, — сказал Джорджи, — на стекле нацарапаны алмазом буквы «Дж. О»; я их раньше не видел... и это не я писал!

— Это была комната твоего отца задолго до того, как ты родился, — сказала Эмилия и, покраснев, поцеловала мальчика.

Она была очень молчалива на обратном пути в Ричмонд, где они на время сняли дом, куда суетливые, улыбающиеся стряпчие являлись проводить миссис Осборн (свои визиты они, разумеется, ставили ей потом в счет!) и где, конечно, была комната и для майора Доббина, часто приезжавшего туда верхом, ибо у него было много дел в связи с опекой над маленьким Джорджем.

Джорджи разрешили некоторое время отдохнуть от ученья и взяли его из заведения мистера Вила, а этому джентльмену поручили составить надпись для красивой мраморной плиты, которую должны были поместить в церкви Воспитательного дома у подножия памятника Джорджу Осборну.

Миссис Буллок, тетка Джорджи, хотя и ограбленная этим маленьким чудовищем на половину суммы, которую она надеялась получить от отца, тем не менее доказала свою незлобивость, примирившись с матерью и сыном. Роухемптон недалеко от Ричмонда; и вот однажды к дому Эмилии в Ричмонде подъехала карета с золотыми быками на дверцах и с худосочными детьми на подушках. Семейство Буллок вторглось в сад, где Эмилия читала, Джоз сидел в беседке, безмятежно погружая землянику в вино, а майор в индийской куртке подставлял спину Джорджи, которому пришло в голову поиграть в чехарду. Мальчик перекувырнулся через голову и влетел прямо в стайку маленьких Буллоков с огромными бантами на шляпах и грандиозными черными кушаками, шествовавших впереди своей облаченной в траур мамыши.

«Он очень подходит по возрасту для Розы», — подумала любящая мать и бросила взгляд на этого милого ребенка — болезненную семилетнюю девуцу.

— Роза, подойди и поцелуй своего двоюродного брата, — сказала миссис Фредерик. — Ты не узнаешь меня, Джордж? Я твоя тетя.

— Я знаю вас очень хорошо, — сказал Джордж, — но я не люблю целоваться! — и он уклонился от ласк послушной кузины.

— Проводи меня к своей мамочке, шалунишка, — сказала миссис Фредерик; и обе дамы встретились после многолетнего перерыва.

Пока Эмми терзали заботы и бедность, миссис Буллок ни разу не подумала о том, чтобы навестить ее, но теперь, когда Эмилия заняла достаточно видное место в свете, ее золовка, разумеется, считала свой визит в порядке вещей.

Явились и многие другие. Наша старая приятельница мисс Суорц и ее супруг с шумом и треском прискакали из Хемптон-корта со свитой лакеев, разодетых в пышные желтые ливреи, и мулатка попрежнему изливалась Эмилии в своей пылкой любви. Нужно отдать справедливость мисс Суорц: она неизменно любила бы Эмми, если бы могла с нею видаться. Но — *que voulez vous?* — в таком огромном городе людям некогда бегать и разыскивать своих друзей. Стоит им выйти из рядов, и они исчезают, а мы маршируем дальше без них. Разве чье-либо отсутствие замечается на Ярмарке Тщеславия?

Как бы там ни было, но еще до истечения срока траура по мистеру Осборну Эмми оказалась в центре светского круга, члены которого были твердо уверены, что каждый, кто допускается в их общество, должен почитать себя осчастливленным. Среди них едва ли нашлась бы хоть одна леди, не бывшая в родстве с каким-нибудь пэром, хотя бы супруг ее был простым москательщиком в Сити. Некоторые из этих леди были очень учены и осведомлены: они читали произведения миссис Сомервилль* и посещали Королевский институт. Другие были суровыми особами евангелического толка и придерживались Эксетер-холла*. Нужно сознаться, что Эмми чувствовала себя очень неловко, внимая их пустой болтовне, и ужасно измучилась, когда раз или два была вынуждена принять приглашение миссис Буллок. Эта леди упорно покровительствовала ей и весьма любезно решила заняться ее воспитанием. Она подыскивала для Эмилии портних, вмешивалась в ее распоряжения по хозяйству и следила за ее манерами. Она постоянно приезжала из Роухемптона и развлекала невестку бесцветной светской чепухой и жиденькими придворными сплетнями. Джоз любил послушать миссис Буллок, но майор всерьез удалялся при появлении этой женщины с ее потугами на светскость. Доббин однажды уснул после обеда под самым носом у лысого Фредерика Буллока на одном из лучших его званых вечеров (Фред все домогался, чтобы осборновские капиталы перекечевали из банкирского дома Стампи и Рауди к его фирме). А тем временем Эмилия, не знавшая латинского языка, не слышавшая, кто написал последнюю нашумевшую статью в «Эдинбургском обозрении», и нимало не обеспокоенная (словно это ее вовсе не касалось) неожиданным ходом мистера Пиля при обсуждении злополучного законопроекта об эмансипации католиков, — сидела, не раскрывая рта, среди дам в обширной гостиной, глядя в окно на бархатные лужайки, аккуратно усыпанные гравием дорожки и сверкающие крыши оранжерей.

— Повидимому, она добродушна, но простовата, — сказала миссис Рауди. — А этот майор, кажется, чрезвычайно ею épris¹.

¹ Увлечен (франц.)

— Ей страшно не хватает бонтонности, — заметила миссис Холиок. — Вам, милочка, никогда не удастся воспитать ее!

— Она чудовищно невежественна или ко всему равнодушна, — сказала миссис Глаури голосом, как бы исходящим из могилы, и мрачно покачала головой, украшенной тюрбаном. — Я спросила у нее, когда, по ее мнению, произойдет падение римского папы: в тысяча восемьсот тридцать шестом году, как считает мистер Джоулс, или в тысяча восемьсот тридцать девятом, как полагает мистер Уопшот. А она говорит: «Бедный папа! Надеюсь, что с ним ничего не случится... Что он сделал плохого?»

— Она вдова моего брата, — ответила миссис Фредерик, — и мне кажется, дорогие мои друзья, что уже одно это обязывает нас оказывать ей всяческое внимание и руководить ее вступлением в высший свет. Вы, разумеется, понимаете, что у тех, чьи *разочарования* так хорошо известны, не может быть *корыстных* соображений!

— Бедняжка эта милая миссис Буллок, — сказала миссис Рауди, обращаясь к миссис Холиок, с которой они уезжали вместе, — вечно она что-то замышляет и подстраивает! Ей хочется, чтобы счет миссис Осборн был переведен из нашего банка в ее. А ее старания подладиться к этому мальчику и держать его при своей подследственной Розочке положительно смешны!

— Хоть бы эта Глаури подавилась своим «Греховным человеком» и «Битвой Армагеддона»! — воскликнула ее собеседница; и карета покатила через Патнийский мост.

Но такое общество было чересчур изысканным для Эмми, и поэтому все запрыгали от радости, когда было решено предпринять заграничную поездку.



ГЛАВА LXII

*Am Rhein*¹

В одно прекрасное утро, через несколько недель после довольно обыденных событий, описанных выше, когда парламент закрылся, лето было в разгаре и все лондонское приличное общество собиралось покинуть столицу в поисках развлечений или здоровья, пароход «Батавец» отчалил от тауэрской пристани, нагруженный изрядным количеством английских беглецов. На палубе были подняты тенты, скамьи и переходы заполнили десятки румяных детей, хлопотливые няньки, дамы в прелестнейших розовых шляпках и летних платьях, джентльмены в дорожных фуражках и полотняных жакетах (только что отпустившие себе усы для предстоящего путешествия) и дородные, подтянутые старые ветераны в накрахмаленных галстуках и отлично вычищенных шляпах — из тех, что наводняют Европу со времени заключения мира и

¹ На Рейне (немецк.).

привозят национальное Goddem¹ во все города континента. Над ними высились горы шляпных картонок, брамовских шкатулок* и несессеров. Были среди пассажиров жизнерадостные кембриджские студенты, отправлявшиеся с воспитателем в научную экспедицию в Ноненверт или Кенигсвинтер; были ирландские джентльмены с лихими бакенбардами, сверкавшие драгоценностями, болтавшие неустанно о лошадях и необычайно вежливые с молодыми дамами, которых кембриджские юнцы и их бледнолицый воспитатель, наоборот, избегали с чисто девической застенчивостью. Были старые фланеры с Пель-Мель, направлявшиеся в Эмс и Висбаден на лечение водами — чтобы смыть обеды минувшего сезона, — и для легонькой рулетки и trente et quarante² — чтобы поддержать в себе приятное возбуждение. Был тут и старый Мафусаил, женившийся на молодой девушке, а при нем — капитан гвардии Папильон, державший ее зонтик и путеводители. Был и молодой Май, отбывавший в увеселительную поездку со своей новобрачной супругой (она была раньше миссис Уинтер и училась в школе с бабушкой мистера Мая). Был тут сэр Джон и миледи с десятком ребят и соответствующим количеством нянек; и знатнейшее из знатнейших семейство Бейраксров, сидевшее особняком у козуха, глаза на всех и каждого, но ни с кем не вступая в разговоры. Их кареты, украшенные коронами, увенчанные горами багажа, помещались на фордеке вместе с десятком таких же экипажей. Пробраться среди них было нелегко, и бедным обитателям носовых кают едва оставалось место для передвижения. В числе их было несколько еврейских джентльменов с Хаундсдича*, которые везли с собой собственную провизию и могли бы закупить половину веселой публики в большом салоне; несколько рабочих с усами и папками, которые, не пробыв и получаса на пароходе, уже принялись за свои зарисовки; две-три французских femmes de chambre, которых укачало еще до того, как пароход миновал Гринвич; и два-три грума, которые слонялись по соседству со стойлами лошадей, находившихся на их попечении, или же, наклонившись через борт у пароход-

¹ Черт возьми (англ.).

² Тридцать и сорок — азартная карточная игра (франц.).

ного колеса, беседовали о том, какие лошади годятся для Леджера и сколько им самим предстоит выиграть или проиграть на Гудвудских скачках.

Все проводники, обследовав корабль и разместив своих хозяев в каютах или на палубе, собрались в кучку и начали болтать и курить. Еврейские джентльмены, присоединившись к ним, разглядывали экипажи. Там была большая карета сэра Джона, вмещавшая тринадцать человек; экипаж милорда Мафусаила; коляска, бричка и фургон милорда Бейракреса, за которые он предоставлял платить кому угодно. Изумительно, как милорд вообще добывал наличные деньги для дорожных расходов! Еврейские джентльмены знали, как он их добывал. Им было известно, сколько у его милости денег в кармане, какой он заплатил за них процент и кто дал ему их. Наконец был там очень чистенький, красивый дорожный экипаж, заинтересовавший курьеров.

— *A qui cette voiture là?* ¹ — спросил один джентльмен-курьер, с большой сафьяновой сумкой через плечо и с серьгами в ушах, — у другого, с серьгами в ушах и с большой сафьяновой сумкой.

— *C'est à Kirsch, je bense — je l'ai vu toute à l'heure — qui brenoit des sangviches dans la voiture* ², — отвечал курьер на чистейшем германо-французском языке.

В это время Кирш вынырнул из трюма, где он, уснащая свою речь ругательствами на всех языках мира, громгласно командовал матросами, занятыми размещением пассажирского багажа. Подойдя к своим собратьям-толмачам, он осведомил их, что экипаж принадлежит сказочно богатому набобу из Калькутты и Ямайки, которого он нанялся сопровождать во время путешествия.

И как раз в эту минуту какой-то юный джентльмен, которого попросили удалиться с мостика между кожухов, прыгнул на крышу кареты лорда Мафусаила, оттуда пробрался по другим экипажам на свой собственный, спустился с него и влез в окно внутрь кареты под возгласы одобрения взиравших на это проводников.

¹ Чей это экипаж? (франц.).

² Кирша. Кажется, я его сейчас видел — он закусывал сендвичами в экипаже (испорченный французский).

— Nous allons avoir une belle traversée¹, monsieur Джордж, — сказал проводник, ухмыляясь и приподняв свою фуражку с золотым галуном.

— К черту ваш французский язык! — сказал молодой джентльмен. — А где галеты?

На это Кирш ответил ему по-английски, или на такой имитации английского языка, с какой мог справиться, потому что, хотя monsieur Кирш обращался свободно со всеми языками, он не знал как следует ни одного и говорил на всех одинаково бегло и неправильно.

Властный молодой джентльмен, жадно поглощавший галеты (ему действительно уже пора было подкрепиться, так как он завтракал в Ричмонде, целых три часа тому назад), был нашим молодым другом Джорджем Осборном. Дядя Джоз и мать мальчика сидели на юте вместе с джентльменом, с которым они проводили большую часть времени, — все четверо отправлялись в летнее путешествие.

Джоз расположился на палубе под тентом, чуть-чуть наискосок от графа Бейракса и его семейства, которые почти всецело занимали внимание бенгальца. Оба благородных супруга выглядели несколько моложе, чем в достопамятном 1815 году, когда Джоз видел их в Брюсселе (разумеется, в Индии он всегда заявлял, что близко знаком с ними). Волосы леди Бейракс, в то время темные, теперь были прекрасного золотисто-каштанового цвета, а бакенбарды лорда Бейракса, прежде рыжие, теперь почернели и на свету отливали то красным, то зеленым. Но как ни изменилась эта благородная чета, все же она целиком занимала мысли Джоза. Присутствие лорда заворожило его, и он не мог смотреть ни на что другое.

— Повидимому, эти господа вас сильно интересуют, — сказал Доббин, глядя на Джоза с улыбкой. Эмилия тоже рассмеялась. Она была в соломенной шляпке с черными лентами и в траурном платье, но веселая суета и праздничное настроение, обычное во время путешествия, радовали и волновали ее, поэтому вид у нее был особенно счастливый.

— Какой чудесный день, — сказала Эмми и добавила,

¹ Предстоит прекрасный переезд (франц.).

проявляя большую оригинальность: — надеюсь, переезд будет спокойный.

Джоз махнул рукой, пренебрежительно покосившись на знатных особ, сидевших напротив.

— Доведись тебе побывать там, где *мы* плавали, — сказал он, — ты не стала бы беспокоиться насчет погоды!

Однако, хотя он и был старым морским волком, он все же отчаянно страдал от морской болезни и провел ночь в карете, где проводник отпаивал его грогом и всячески за ним ухаживал.

В должный срок эта веселая компания высадилась на роттердамской пристани, откуда другой пароход доставил их в Кельн. Здесь экипаж и все семейство были спущены на берег, и Джоз к немалой своей радости убедился, что об его прибытии кельнские газеты оповестили так: «Herr Graf Lord von Sedley nebst Begleitung aus London»¹.

Джоз привез с собой придворный костюм; он же уговорил Доббина захватить в дорогу все свои военные регалии. Мистер Седли заявил о намерении представляться иностранным дворам, чтобы свидетельствовать свое почтение государям тех стран, которые он почитит своим посещением.

Где бы ни останавливалась наша компания, мистер Джоз при всяком удобном случае завозил свою визитную карточку и карточку майора «нашему посланнику». С большим трудом удалось его уговорить не надевать треуголку и панталоны с чулками в гости к английскому консулу в вольном городе Юденштадте, когда этот гостеприимный чиновник пригласил наших путешественников к себе на обед. Джоз вел дневник своего путешествия и прилежно отмечал недостатки или достоинства гостиниц, в которых останавливался, и вин и блюд, которые вкушал.

Что касается Эмми, то она была очень счастлива и довольна. Доббин носил за нею складной стул и альбом для рисования и любовался рисунками простодушной маленькой художницы, как никто никогда не любовался ими раньше. Эмилия усаживалась на палубе парохода и рисовала скалы и замки или садилась верхом на ослика

¹ Господин граф лорд фон Седли из Лондона со свитой (немец.).

и поднималась к старинным разбойничьим башням в сопровождении своих двух адъютантов, Джорджи и Доббина. Она смеялась — смеялся и сам майор — над его забавной фигурой, когда он ехал верхом на осле, касаясь земли своими длинными ногами. Доббин служил переводчиком для всего общества, — он хорошо изучил немецкий язык по военной литературе, — и вместе с восхищенным Джорджем вспоминал во всех подробностях знаменитые кампании на Рейне и в Пфальце. За несколько недель Джордж сделал изумительные успехи в усвоении верхне-немецкого диалекта благодаря постоянным беседам на козлах экипажа с герром Киршем и болтал со слугами в гостиницах и с форейторами так бойко, что приводил в восторг свою мать и потешал опекуна.

Мистер Джоз редко принимал участие в послеобеденных экскурсиях своих спутников. По большей части он после обеда спал или нежился в беседках очаровательных гостиничных садов. Ах, эти сады на Рейне! Тихий, залитый солнцем пейзаж, лиловые горы, отраженные в величественной реке, — кто, повидав вас хоть раз, не сохранит благодарного воспоминания об этих картинах безмятежного покоя и красоты? Отложить перо и только подумать об этой прекрасной Рейнской земле — и то уже чувствуешь себя счастливым! Летним вечером стада спускаются с гор, мыча и позвякивая колокольчиками, и бредут к старому городу с его древними крепостными рвами, воротами, шпицами и густыми каштанами, от которых тянутся по траве длинные синие тени. Небо и река под ним пылают багрянцем и золотом. Уже выглянул месяц и бледно светит на закатном небе. Солнце садится за высокие горы, увенчанные замками; ночь наступает внезапно, река все больше темнеет; свет из окон старых укреплений, струясь, отражается в ней, и мирно мерцают огоньки в деревнях, что приютились у подножия холмов на том берегу.

Итак, Джоз любил хорошенько поспать, прикрыв лицо индийским платком, а потом прочитывал известия из Англии и всю, от слова до слова, замечательную газету «Галиньяни» (да почтуют на основателях и владельцах этого пиратского листка благословения всех англичан, когда-либо побывавших за границей!). Но бодрствовал Джоз или спал, друзья его легко обходились и без него.

Да, они были очень счастливы! Часто по вечерам они ходили в оперу — на те милые, непритязательные оперные представления в немецких городах, где дворянское сословие сидит, проливая слезы и занимаясь вязанием чулок, по одну сторону, а бюргерское сословие против него — по другую, и его лучезарность герцог со своим лучезарным семейством — все такие жирные, добродушные — являются и рассаживаются посредине в большой ложе; а партер заполняют офицеры с осиними талиями, с усами цвета соломы и с окладом — два пенса в день. Здесь для Эмми был неисчерпаемый источник радости, здесь впервые ей открылись чудеса Моцарта и Чимарозы *. О музыкальных вкусах майора мы уже упоминали и одобряли его игру на флейте. Но, быть может, больше всего удовольствия во время исполнения этих опер ему доставляло созерцание восхищенной Эмми. Эти божественные музыкальные произведения явились для нее новым миром любви и красоты. Эмилия обладала тончайшей чувствительностью, — могла ли она оставаться равнодушной, слушая Моцарта? Нежные арии Дон Жуана пробуждали в ней столь дивные восторги, что она, становясь на молитву перед отходом ко сну, задавалась вопросом: не грех ли чувствовать такое упоение, каким переполнялось ее кроткое сердечко, когда она слушала «Vedrai Carino» или «Batti Batti»? Но майор, к которому обратилась она по этому поводу, как к своему советнику по богословским вопросам (сам он был человеком благочестивым и набожным), сказал Эмилии, что его лично всякая красота в искусстве и в природе исполняет не только счастья, но и благодарности, и что удовольствие, получаемое от прекрасной музыки, как и при созерцании звезд на небе или красивого пейзажа и картины, составляет благо, за которое мы должны благодарить небо столь же искренне, как и за всякие иные земные дары. И в ответ на кое-какие слабые возражения миссис Эмилии (почерпнутые из теологических трудов, вроде «Прачки Финчлейской общины» и других произведений той же школы, каковыми миссис Осборн снабжали во время ее жизни в Бромптоне), Дрббин рассказал ей восточную басню о филине, который считал, что солнечный свет невыносим для глаз и что соловья сильно переоценивают.

— Одним свойственно петь, другим ухать, — сказал он, смеясь, — но вам с таким сладким голоском, конечно, подобает быть среди соловьев!

Я с удовольствием останавливаюсь на этой поре ее жизни, и мне приятно думать, что Эмми была весела и довольна. Ведь до сих пор ей не слишком часто приходилось вести такую жизнь, а окружавшая ее обстановка мало содействовала развитию в ней ума и вкуса. До последнего времени ее подавляли вульгарные умы. Таков жребий многих женщин. И так как каждая особа прекрасного пола — соперница всех других себе подобных, то в их милостивом суждении робость выдается за недомыслие, а доброта за тупость; суровее же всего инквизиторши осуждают молчание, которое есть не что иное, как безмолвный протест, робкое отрицание несносного апломба власть имущих. Таким образом, мой дорогой и образованный читатель, если бы мы с вами оказались сегодня вечером, скажем, в обществе зеленщиков, то, по всей вероятности, наша беседа не блистала бы остроумием. Но, с другой стороны, если бы зеленщик оказался за вашим изысканным и просвещенным чайным столом, где каждый говорит умные вещи, а каждая светская и именитая дама грациозно обливает грязью своих подруг, возможно, что этот чужак также не отличался бы особой разговорчивостью и никого не заинтересовал бы, да и сам никем бы не заинтересовался.

Кроме того, надо вспомнить, что бедная Эмилия до сих пор не встречалась с настоящими джентльменами. Очень может быть, что эта разновидность человеческого рода попадаетея реже, чем кажется на первый взгляд. Кто из нас найдет среди своих знакомых много людей, чьи цели благородны, чья честность неизменна, и не только неизменна в себе самой, но и является честностью высшего порядка; людей, которых отсутствие пошлости делает простыми; людей, которые могут прямо смотреть в лицо всем, с одинаковой мужественной приязнью к великим и к малым? Все мы знаем сотни людей, у которых отлично сшиты сюртуки, десятка два, обладающих отличными манерами, и одного или двух счастливых, которые вращаются, так сказать, в избранных кругах и сумели оказаться в самом центре фешенебельного мира, — но сколько в их числе настоящих джентльменов? Давайте

возьмем клочок бумаги, и каждый пусть составит свой список!

В свой список я без всяких колебаний заношу моего друга майора. У него были очень длинные ноги и желтое лицо, и он немного пришепetyвал, отчего при первом знакомстве казался чуть-чуть смешным, но судил он о жизни здраво, голова у него работала исправно, жизнь он вел честную и чистую, а сердце имел горячее и кроткое. Конечно, у него были очень большие руки и ноги, над чем много смеялись оба Джорджа Осборна, любившие изображать Доббина в карикатурном виде. Их насмешки, возможно, не позволяли бедной маленькой Эмилии оценить майора по достоинству. Но разве мы все не заблуждались насчет своих героев и не меняли своих мнений сотни раз? Эмми в это счастливое время убедилась, что ее мнение о Доббине изменилось очень сильно.

Пожалуй, это было самое счастливое время в жизни их обоих, но едва ли они это сознавали. Кто из нас может вспомнить какую-нибудь минуту в своей жизни и сказать, что это — кульминационная точка, вершина человеческой радости? Но во всяком случае эти двое были довольны и наслаждались веселой летней поездкой, как и всякая другая чета, покинувшая Англию в том году. Джорджи всегда посещал вместе с ними театр, но после представления на Эмми набрасывал шаль майор. А во время прогулок и поездок мальчуган убегал вперед и взбирался то на лестницу какой-нибудь башни, то на дерево, в то время как Эмми с майором спокойно оставались внизу: он невозмутимо покуривал сигару, она зарисовывала пейзаж или развалины. Именно во время этого путешествия я, автор настоящей повести, в которой каждое слово — правда, имел удовольствие впервые увидеть их и познакомиться с ними.

Полковника Доббина и его спутников я встретил впервые в уютном великогерцогском городке Пумперникеле* (том самом, где сэр Питт Кроули когда-то блистал в качестве атташе, но то было в стародавние дни, еще до того, как известие о битве при Аустерлице обратило в бегство всех английских дипломатов, бывших в Германии). Они прибыли в карете с переводчиком-проводником в отель

«Erbprinz»¹, лучший в городе, и обедали за табльдотом. Все обратили внимание на величественную осанку Джоза и на то, как он с видом знатока потягивал, или, вернее, посасывал иоганисбергер, заказанный к обеду. У маленького мальчика был тоже, как мы заметили, отменный аппетит, и он уплетал Schinken, Braten, Kartoffeln², клюквенное варенье, салат, пудинги, жареных цыплят и печенку с отвагой, делавшей честь его нации. После пятнадцатого, кажется, блюда он закончил обед десертом, часть которого даже унес с собой. Дело в том, что какие-то юные джентльмены за столом потешались над хладнокровием мальчугана и его смелыми и независимыми манерами и посоветовали ему сунуть себе в карман горсть миндального печенья, каковое он и грыз по дороге в театр, куда ходили все обитатели этого веселого немецкого городка. Дама в черном, мать мальчика, смеялась, краснела и, повидимому, была чрезвычайно довольна, хотя и взирала на выходки своего сына с некоторым смущением. Я помню, что полковник — он весьма скоро потом был произведен в этот чин — подшучивал над мальчиком и с самым серьезным видом дразнил его, указывая на те блюда, которых тот еще не пробовал, и умоляя не сдерживать своего аппетита, а брать по второй порции.

В тот вечер в великогерцогском Pumpernikelisch Hof, то есть придворном театре, шел так называемый гастрольный спектакль, и madame Шредер-Девриен*, тогда еще в расцвете красоты и таланта, исполняла роль героини в изумительной опере «Фиделио». Из кресел партера мы видели четырех своих друзей по табльдоту в ложе, которую владелец отеля «Erbprinz», Швендлер, абонировал для лучших своих гостей. И я не мог не заметить, какое впечатление производили чудесная актриса и музыка на миссис Осборн — так называл ее, как мы слышали, полный джентльмен с усами. Во время замечательного хора пленников, над которым прелестный голос певицы взлетал и парил в восхитительной гармонии, на лице у английской леди появилось выражение такого изумления и восторга, что даже этот циник атташе, маленький Фипс,

¹ «Наследный принц» (немецк.).

² Ветчину, жареное мясо, картофель (немецк.).

который разглядывал ее в бинокль, удивленно просюсюкал:

— Божже мой, право приятно видеть женщину, спэссобную нэ тэкие чюства!

А в сцене в тюрьме, где Фиделио, бросаясь к своему супругу, восклицает: «Nichts, nichts, mein Florestan»¹, Эмилия, позабыв обо всем на свете, даже закрыла лицо носовым платочком. В эту минуту все женщины в театре всхлипывали, но, — вероятно, потому, что мне было суждено написать биографию именно этой леди, — я обратил внимание только на нее.

На следующий день шла другая вещь Бетховена — «Die Schlacht bei Vittoria»². В начале пьесы вводится песенка про Мальбрука — намек на стремительное продвижение французской армии. Затем — барабаны, трубы, гром артиллерии, стоны умирающих, и, наконец, торжественно и мощно звучит «God save the king»³.

В зале было десятка два англичан, не больше, но при звуках этой любимой и знакомой мелодии все они — мы, молодежь в креслах партера, сэр Джон и леди Булминстер (нанявшие в Пумперникеле дом для воспитания своих девяти детей), толстый джентльмен с усами, долговязый майор в белых парусиновых брюках и леди с маленьким мальчиком, которых майор так ласково опекал, даже проводник Киш, сидевший на галерее, — все поднялись со своих мест и встали навтыжку, утверждая свою принадлежность к милой, старой британской нации. А Тейпворм, *chargé d'affaires*⁴, встал во весь рост и раскланивался и улыбался так, словно представлял всю империю. Тейпворм был племянником и наследником старого маршала Типтофа, появлявшегося в этой книге незадолго перед битвой при Ватерлоо под именем генерала Типтофа, командира *** полка, в котором служил майор Доббин, — осыпанный почестями, он умер в том же году, поев заливного с куликовыми яйцами. После смерти генерала его величество все милостивейше препоручил полк полковнику сэру Майкелу О'Дауду, кавалеру ор-

¹ Ничего, ничего, мой Флорестан (немецк.).

² «Битва при Виттории» (немецк.).

³ «Боже, храни короля» (англ.).

⁴ Дипломатический агент, поверенный в делах (франц.).

дена Бани, который уже командовал этим полком во многих славных сражениях.

Тейпворм, должно быть, встречался с полковником Доббином в доме маршала, полкового командира полковника, потому что узнал его в тот вечер в театре. И вот представитель его величества проявил необычайную благосклонность: он вышел из ложи и публично обменялся рукопожатием со своим новообретенным знакомым.

— Взгляните-ка на этого чертова хитреца Тейпворма, — шепнул Фипс, наблюдавший за своим начальником из кресел партера. — Чуть где-нибудь появится хорошенькая женщина, он тотчас туда втирается.

Но скажите, для чего же много и созданы дипломаты?

— Не имею ли я чести обращаться к миссис Доббин? — спросил посол с обворожительной улыбкой.

Джорджи громко расхохотался и воскликнул:

— Вот это здорово, честное слово!

Эмми и майор густо покраснели (мы видели их из первых рядов партера).

— Эта леди — миссис Джордж Осборн, — сказал майор, — а это ее брат, мистер Седли, выдающийся чиновник бенгальской гражданской службы. Позвольте мне представить его вашей милости.

Милорд совершенно сразил Джоза, удостоив его любезнейшей улыбки.

— Вы намерены пожить в Пумперникеле? — спросил он. — Скучное место! Но нам нужны светские люди, и мы постараемся, чтобы вы провели здесь время как можно приятнее. Мистер... кха-кха... миссис... гм-гм! Буду иметь честь навестить вас завтра в вашей гостинице.

И он удалился с парфянской улыбкой и взглядом, которые, по его убеждению, должны были убить миссис Осборн наповал.

По окончании представления мы столпились в вестибюле и видели, как общество разъезжалось. Вдовствующая герцогиня уехала в своей дребезжащей старой коляске, в сопровождении двух верных сморщенных старушек фрейлин и маленького, засыпанного нюхательным табаком, камергера на журавлиных ножках, в коричневом паричке и зеленом мундире, покрытом орденами,

среди которых ярче всего сияла звезда и широкая желтая лента ордена святого Михаила Пумперникельского. Пророкотали барабаны, гвардия отдала честь, и старый рыдван укатил.

Затем появились его лучезарность герцог и все лучезарное семейство в окружении главных должностных лиц государства. Герцог благосклонно кланялся всем. Гвардия снова отдала честь, ярко вспыхнули факелы в руках скороходов, одетых во все красное, и лучезарные кареты покатили к старому герцогскому дворцу, венчавшему своими башнями и шпицами гору Шлоссберг. В Пумперникеле все знали друг друга. Не успевал там появиться иностранец, как уже министр иностранных дел или какое-нибудь другое крупное или мелкое должностное лицо ехали в отель «Erbprinz» и осведомлялись об имени вновь прибывших.

Итак, мы наблюдали за разездом из театра. Тейп-ворм отправился домой пешком, закутавшись в плащ, с которым всегда стоял наготове его огромный выездной лакей, и как нельзя более похожий на Дон Жуана. Супруга премьер-министра только что втиснулась в свой портшез, а ее дочь, очаровательная Ида, только что надела капор и деревянные калошки, когда к подъезду направилась знакомая нам компания англичан. Мальчик зевал, майор старался приладить шаль на голове миссис Осборн, а мистер Седли шел, заломив набекрень парадный шапокляк и заложив руку за борт объемистого белого жилета. Мы сняли шляпы и раскланялись со своими знакомыми по табльдоту, и леди в ответ наградила нас милой улыбкой и реверансом, которые у кого угодно вызвали бы чувство благодарности.

Гостиничная карета под надзором суетливого мистера Кирша ждала у театра, чтобы отвезти всю компанию домой. Но толстяк заявил, что пойдет пешком и по дороге выкурит сигару. Остальные трое, посылая нам поклоны и улыбки, уехали без мистера Седли. Кирш, с сигарным ящиком подмышкой, последовал за своим хозяином.

Мы все пошли вместе и завели с тучным джентльменом беседу об *agrément*¹ городка. Для англичан здесь много интересного и приятного: устраиваются охотничьи

¹ Развлечения (франц.).

выезды и облавы; гостеприимный двор постоянно задает балы и вечера; общество в общем хорошее; театр отличный, а жизнь дешева.

— А наш посланник, видимо, чрезвычайно любезный и обходительный человек, — сказал наш новый знакомый. — При таком представителе и... и хорошем враче, пожалуй, это местечко нам подойдет. Спокойной ночи, джентльмены!

И под Джозом затрещали ступеньки лестницы, ведущей к его опочивальне, куда он и проследовал в сопровождении Кирша со светильником. Мы же выразили надежду, что его хорошенькая сестра соблазнится подольше пробыть в этом городе.



ГЛАВА LXIII.

в которой мы встречаемся со старой знакомой

Столь отменная любезность со стороны лорда Тейпворма, разумеется, произвела самое благоприятное впечатление на мистера Седли, и на следующее же утро за завтраком Джоз высказал мнение, что Пумперникель лучшее из всех местечек, которые они посетили за время своего путешествия. Уразуметь мотивы и уловки Джоза было нетрудно, и лицемер Доббин тихонько посмеивался, догадавшись по глубокомысленному виду бывшего коллектора и по уверенности, с какой тот разглагольствовал о замке Тейпвормов и о других членах этой фамилии, что Джоз еще рано утром успел заглянуть в «Книгу пэров», которую повсюду возил с собой. Да, он встречался с высокопочтенным графом Бегвигом, отцом его милости. Наверное встречался — он видал его... на высочайшем выходе... Разве Доб не помнит этого? И когда посланник, верный своему обещанию, явился к ним с визитом, Джоз принял его с такими почестями и поклонами, какие редко выпадали на долю этого заштатного дипломата. По

прибытии его превосходительства Джоз мигнул Киршу, и тот, заранее получив инструкции, вышел распорядиться, чтобы подали угощение в виде холодных закусок, заливных и прочих деликатесов, которые и внесли в комнату на подносах и которые Джоз стал настоятельно предлагать вниманию своего благородного гостя.

Тейпворм готов был задержаться у них на любых условиях, лишь бы иметь возможность вдоволь полюбоваться на ясные глазки миссис Осборн (ее свежее личико удивительно хорошо переносило дневной свет). Он задал Джозу два-три ловких вопроса об Индии и тамошних танцовщицах, спросил у Эмилии, кто этот красивый мальчик, который был вместе с нею, поздравил изумленную маленькую женщину с той сенсацией, которую произвело ее появление в театре, и попытался обворожить Доббина, заговорив о последней войне и о подвигах пумперникельского отряда под командой наследного принца, ныне герцога Пумперникельского.

Лорд Тейпворм унаследовал немалую толику фамильной галантности и искренне верил, что каждая женщина, на которую ему угодно было бросить любезный взгляд, уже влюблена в него. Он расстался с Эмми вполне убежденный, что сразил ее насмерть своим остроумием и прочими чарами, и отправился к себе домой, чтобы написать ей любовную записочку. Но Эмми не была очарована, ее лишь озадачили его улыбочки, хихиканье, его надушенный батистовый носовой платочек и лакированные сапоги на высоких каблуках. Она не поняла и половины его комплиментов. При своем малом знании людей она никогда еще не встречала профессионального дамского угодника и потому смотрела на милорда, как на нечто скорее курьезное, чем приятное, и если не восхищалась им, то уж наверное изумлялась, на него глядя. Зато Джоз был в полном восторге.

— Как приветлив милорд! — говорил он. — Как было любезно со стороны милорда обещать прислать мне своего врача! Кирш, сейчас же отвезите наши карточки графу де Шлюссельбаку. Мы с майором будем иметь величайшее удовольствие как можно скорее засвидетельствовать наше почтение при дворе. Достаньте мой мундир, Кирш!.. Обоим нам мундиры! Свидетельствовать свое почтение иностранным государям, как и представителям

своей родины за границей, — это знак вежливости, которую обязан проявлять в посещаемых им странах всякий английский джентльмен!

Когда явился врач, присланный Тейпвормом, — доктор фон Глаубер, лейб-медик его высочества герцога, — он быстро убедил Джоза в том, что минеральные источники Пумперникеля и специальное лечение, применяемое доктором, непременно возвратят бенгальцу молодость и стройность фигуры.

— Ф прошлый год, — рассказывал он, — к нам приехали генераль Бюлькли, английский генераль, два раз так тольсты, как ви, сэр. Я послал его домой софсем тонкий через три месяц, а через два он уже танцеваль з баронесс Глаубер!

Решение было принято: источники, доктор, двор и *chargé d'affaires* убедили Джоза, и он предложил провести осень в этой восхитительной местности. Верный своему слову, *chargé d'affaires* на следующий же день представил Джоза и майора Виктору Аврелию XVII; на аудиенцию к этому монарху их провожал граф де Шлюссельбак, министр двора.

Они тут же получили приглашение на придворный обед, а когда стало известно их намерение прожить в городе подольше, то самые светские дамы столицы немедленно явились с визитом к миссис Осборн. И так как ни у одной из них, как бы она ни была бедна, не было титула ниже баронессы, то восторг Джоза не поддается описанию. Он послал письмо Чатни, члену своего клуба, и сообщил ему, что чины бенгальской службы пользуются в Германии большим почетом, что он, Джоз, собирается показать своему другу, графу де Шлюссельбаку, как колют свиней по индийскому способу, и что его августейшие друзья, герцог и герцогиня, — олицетворенная доброта и учтивость.

Эмми тоже была представлена августейшей фамилии, и так как в известные дни ношение траура при дворе не разрешается, то она появилась в розовом креповом платье с брильянтовым аграфом на корсаже, подаренным ей братом, и была так хороша в этом наряде, что герцог и двор (мы уже не говорим о майоре, — он едва ли когда раньше видел Эмилию в вечернем туалете и

клялся, что она выглядит не старше двадцати пяти лет) восхищались ею сверх всякой меры.

В этом платье она на придворном балу прошлась в полонезе с майором Доббином, и в том же несложном танце мистер Джоз имел честь выступать с графиней фон Шлюссельбак, старой дамой, немного горбатой, но зато имевшей в семейном гербе не менее шестнадцати эмблем и девизов и связанной родством с половиной царствующих домов Германии.

Пумперникель расположен в веселой долине, по которой текут, сверкая на солнце, плодоносные воды Пумпа, чтобы слиться где-то с Рейном, — у меня под рукой нет карты, и я не могу точно сказать, где именно. В некоторых местах река настолько глубока, что по ней ходит паром; в других она только-только вертит колеса мельниц. В самом Пумперникеле пред-пред-предпоследняя его лучезарность, великий и прославленный Виктор Аврелий XIV, выстроил грандиозный мост, на котором воздвигнута его собственная статуя, окруженная водяными нимфами и эмблемами победы, мира и изобилия. Ногой своей он попирает выю поверженного турка, — история повествует, что при освобождении Вены Собесским* он вступил в бой с янычаром и пронзил его насквозь. Нимало не смущаясь страданиями этого поверженного магометанина, в муках извивающегося у его ног, герцог кротко улыбается и указывает жезлом по направлению к Augelius Platz¹, где он начал воздвигать новый дворец, который стал бы чудом своего века, если бы только у славного герцога хватило средств для окончания постройки. Но завершение Монплезира (честные немцы называют его Монблезиром) было отложено из-за отсутствия свободных денег, и ныне дворец и его парк и сад находятся в довольно запущенном состоянии и по своим размерам только в десять раз превышают потребности двора царствующего монарха.

Разбитые здесь сады должны были соперничать с версальскими, и среди террас и рощ до сих пор красуется несколько огромных аллегорических фонтанов, которые в дни празднеств извергают чудовишные пенистые струи, пугая зрителей таким разгулом водной сти-

¹ Площадь Аврелия (немецк.).

хии. Есть там и грот Трофония*, где свинцовые тритоны при помощи какого-то хитрого устройства не только могут извергать воду, но и извлекать ужаснейшие стоны из своих свинцовых раковин; есть и купальня нимф и Ниагарский водопад, которым окрестные жители не устают восхищаться, когда собираются на ежегодную ярмарку при открытии ландтага или на празднества, которыми этот счастливый народец до сих пор отмечает дни рождений или бракосочетания своих владетельных правителей.

Тогда из всех городов герцогства, простирающегося почти на десять миль, — из Болкума, лежащего у его западной границы и угрожающего Пруссии; из Грогвица, где у князя есть охотничий домик и где его владения отделяются рекою Пумп от владений соседнего князя Поцентальского; из всех деревенок, рассеянных по этому счастливому княжеству, с ферм и мельниц вдоль Пумпа поселянки в красных юбках и бархатных головных уборах и поселяне в треугольных шляпах и с трубками в зубах стекаются в столицу и принимают участие в ярмарочных развлечениях и празднествах. Тогда театры устраивают даровые представления; тогда играют фонтаны Монплезира (к счастью, ими любитесь целое общество, а то смотреть на них в одиночестве страшно); тогда приезжают акробаты и бродячие цирки (всем известно, как его лучезарность увлекся одной из цирковых наездниц, причем распространено мнение, что *la petite vivandière*¹, как ее называли, была шпионкой и собирала сведения в пользу Франции), и восхищенному народу разрешают проходить по всему великогерцогскому дворцу, из комнаты в комнату, и любоваться скользким паркетом, богатыми драпировками и плевательницами у дверей бесчисленных покоев. В Монплезире есть один павильон, построенный Аврелием Виктором XV — великим государем, но чересчур падким на удовольствия; мне говорили, что этот павильон — чудо фривольной элегантности. Он расписан эпизодами из истории Вакха и Ариадны*, а стол в нем вкатывается и выкатывается при помощи ворота, что избавляло обедающих от вмешательства прислуги. Но помещение это было закрыто Барбарой, вдовой Аврелия XV, суровой и набожной принцессой из дома

¹ Маленькая маркитантка (франц.).

Болкумов и регентом герцогства во время славного малолетства ее сына и после смерти супруга, взятого могилой в расцвете слишком веселой жизни.

Пумперникельский театр известен и знаменит в этой части Германии. Он пережил полосу упадка, когда нынешний герцог во дни своей юности настоял на исполнении в театре своих собственных опер. Рассказывают, что однажды, сидя в оркестре и слушая репетицию, герцог пришел в бешенство и разбил фагот о голову капельмейстера, который вел оперу в слишком медленном темпе. В этот же период герцогиня София писала комедии, которые, должно быть, непереносно было смотреть. Но теперь герцог исполняет свою музыку в интимном кружке, а герцогиня показывает свои пьесы только знатым иностранцам, посещающим ее гостеприимный двор.

Двор содержится с немалым комфортом и пышностью. Когда устраивают балы, то, будь даже за ужином четырехста приглашенных, все же на каждых четырех гостей полагается один лакей в алой ливрее и кружевах, и всем подают на серебре. Празднества и развлечения следуют одно за другим без перерыва. У герцога есть свои камергеры и шталмейстеры, а у герцогини — свои статс-дамы и фрейлины, точь-в-точь как у других владетельных князей, более могущественных.

Конституция предусматривает, или предусматривала, умеренный деспотизм, ограниченный ландтагом, который мог быть, а мог и не быть избран. Сам я в бытность свою в Пумперникеле ни разу не слышал, чтобы он собирался на заседания. Премьер-министр жил в третьем этаже, а министр иностранных дел занимал удобную квартиру над кондитерской Цвибака. Армия состояла из великолепного оркестра, который также выполнял свои обязанности и на сцене, где было чрезвычайно приятно видеть этих достойных молодцов, марширующих в турецких костюмах, нарумяненных, с деревянными ятаганами в руках, или в виде римских воинов с офиклеидами¹ и тромбонами, — приятно, говорю я, было увидеть их опять вечером, после того как вы все утро слышали их на Augelius Platz, где они играли против кафе, в котором вы завтракали. Кроме оркестра, был еще пышный и многочислен-

¹ О ф и к л е и д — медный духовой инструмент.

ный штаб офицеров и, кажется, несколько солдат. Три или четыре солдата в гусарской форме, кроме постоянных часовых, несли дежурство во дворце, но я никогда не видал их верхом на лошади. Да и действительно, что было делать кавалерии во времена безмятежного мира? И куда, скажите на милость, могли бы гусары ездить?

Все члены общества, — конечно, мы говорим о благородном обществе, ибо, что касается бюргеров, то никто от нас не ожидает, чтобы мы обращали на них внимание, — ездили друг к другу в гости. Ее превосходительство madame де Бурст принимала у себя раз в неделю, ее превосходительство madame де Шнурбарт имела свой день, театр был открыт дважды в неделю, раз в неделю происходили всемилостивейшие приемы при дворе; таким образом, жизнь превращалась в нескончаемую цепь удовольствий в непритязательном пумперникельском духе.

Что в городе бывали распри — этого никто не может отрицать. Политикой в Пумперникеле занимались с большой страстностью, и партии жестоко враждовали между собой. Существовала фракция Штрumpf и партия Ледерлунг; одну поддерживал наш посланник, другую — французский chargé d'affaires, мосье де Макабо. И стоило только нашему посланнику высказаться за мадам Штрumpf, которая, несомненно, пела лучше, чем ее соперница мадам Ледерлунг, и считала в своем диапазоне на три ноты больше, — стоило только, говорю я, нашему посланнику высказать хоть *какое-нибудь* мнение, чтобы французский дипломат сейчас же занял противоположную позицию.

Все жители города примыкали к той или к другой из этих двух партий. Ледерлунг, что и говорить, была милым созданием и голос имела если и не большой, то очень приятный, а Штрumpf, вне всякого сомнения, была уже не первой молодости и не в расцвете красоты и к тому же чересчур полна: например, когда она выходила в последней сцене в «Сомнамбуле» * в ночной рубашке, с лампой в руке и ей нужно было вылезать из окна и пробираться по доске через ручей у мельницы, она с трудом протискивалась в окно, а доска сгибалась и трещала под ее тяжестью. Но зато как она пела в финале! И с каким бурным чувством кидалась в объятия Эльвино, — кажется, еще немного — и она задушила бы его! Между тем как маленькая Ледерлунг... но довольно сплетничать, —

важно то, что эти дамы были знаменами французской и английской партий в Пумперникеле, и все общество делилось на приверженцев одной из этих двух великих наций.

На нашей стороне были министр внутренних дел, шталмейстер, личный секретарь герцога и наставник наследного принца, тогда как к французской партии примыкали министр иностранных дел, супруга главнокомандующего, служившего при Наполеоне, и гофмаршал со своей супругою, которая была рада возможности получать из Парижа последние фасоны и всегда выписывала их и свои шляпки через курьера мосье де Макабо. Секретарем его канцелярии был маленький Гриньяк — молодой человек, лукавый, как сатана, и рисовавший всем в альбомы карикатуры на Тейпворма.

Их штаб-квартира и табльдот находились в отеле «Pariser Hof»¹, второй из городских гостиниц; и хотя на людях эти джентльмены были обязаны, разумеется, соблюдать все приличия, однако они постоянно ранили друг друга эпиграммами, острыми, как бритва, — так двое борцов, которых я видел в Девоншире, нещадно колотили друг друга по ногам, в то время как лица их оставались невозмутимо спокойными. Ни Тейпворм, ни Макабо никогда не отправляли своим правительствам депеш, не подвергая соперника яростным нападкам. Например, наша сторона писала так:

«Интересам Великобритании в этом государстве, да и во всей Германии, грозит серьезная опасность в связи с деятельностью нынешнего французского посланника. У этого человека столь гнусный характер, что он не остановится ни перед какой ложью, ни перед каким преступлением ради достижения своих целей. Он отравляет умы здешнего двора, настраивая их против английского посланника, представляет поведение Великобритании в самом злостном и отвратительном свете и, к несчастью, пользуется поддержкой министра, невежество которого общеизвестно, а влияние тлетворно».

Французы же высказывались следующим образом:

«Господин де Тейпворм продолжает придерживаться своей системы глупого островного высокомерия и пошлых

¹ «Парижский двор» (немек.).

инсинуаций по адресу величайшей в мире нации. Вчера мы слышали его легкомысленные отзывы об ее королевском высочестве герцогине Беррийской *; ранее он оскорбительно говорил о доблестном герцоге Ангулемском * и осмелился инсинуировать, будто его королевское высочество герцог Орлеанский замышляет заговор против августейшего трона Лилий. Он щедрою рукою сыплет золото всем, кого не могут запугать его бессмысленные угрозы. Тем или иным средством он сманил на свою сторону продажных любимцев здешнего двора, — словом, Пумперникель не дождется покоя, Германия — порядка, Франция — уважения, а Европа — мира, пока эта ядовитая гадина не будет раздавлена...» и так далее. Когда та или другая сторона посылала особенно пикантную депешу, слухи об этом обязательно просачивались наружу.

В начале зимы Эмми до того осмелела, что назначила свой приемный день и стала устраивать вечера, отличавшиеся большой благопристойностью и скромностью. Она обзавелась французом-учителем, осыпавшим свою ученицу комплиментами и хвалившим чистоту ее произношения и способность к изучению языка. Дело в том, что Эмилия уже училась когда-то давно, а потом повторила грамматику, чтобы обучать Джорджа. Мадам Штрumpf давала Эмми уроки пения, и та пела вокализы так хорошо и так музыкально, что у майора, который жил напротив, как раз под квартирой премьер-министра, окна всегда бывали открыты, чтобы было слышно, как Эмилия берет уроки. Многие из немецких дам, сентиментальных и не слишком взыскательных, влюбились в Эмилию и сразу стали говорить ей *du*¹. Все это мелкие, не важные подробности, но они относятся к счастливым временам. Майор взял на себя воспитание Джорджа, читал с ним Цезаря, занимался математикой; был у них и учитель немецкого языка, а по вечерам они выезжали на прогулки верхом, сопровождая экипаж Эмми, — она всегда была трусихой и страшно пугалась каждого движения верховой лошади. Она ездила кататься с одной из своих приятельниц-немок и с Джозом, дремавшим на скамеечке открытой коляски.

¹ Ты (немецк.).

Джоз начал было сильно ухаживать за графиней Фанни де Бутерброд, очень милой, скромной и добросердечной женщиной, страшно родовитой, но едва ли имевшей хотя бы десять фунтов годового дохода. Со своей стороны Фанни уверяла, что иметь сестрой Эмилию было бы величайшей радостью, какую только может ниспослать ей небо. И Джоз мог бы присоединить герб и корону графини к собственному гербу, изображенному на его карете и вилках, но... но тут произошли некоторые события, и начались пышные празднества по поводу бракосочетания наследного принца Пумперникельского с обворожительной принцессой Амалией Гомбург-Шлиппеншлоппенской.

Этот фестиваль был обставлен с таким великолепием, какого в маленьком германском государстве не видали со времен расточительного Виктора Аврелия XIV. Были приглашены все соседние принцы, принцессы и вельможи. Цены на кровати в Пумперникеле поднялись до полукроны в сутки, а армия выбилась из сил, выставляя почетные караулы для разных высочеств, светлостей и превосходительств, прибывавших отовсюду. Принцессу повенчали в резиденции ее отца заочно, с уполномоченным жениха в лице графа де Шлюссельбака. Табакерки раздавались кучами (как мы узнали от придворного ювелира, который продавал, а затем снова скупал их), и ордена святого Михаила Пумперникельского рассылались придворным сановникам целыми мешками, взамен чего нашим вельможам привозили корзины лент и орденов Колеса святой Екатерины Шлиппеншлоппенской. Французский посланник получил оба ордена.

— Он покрыт лентами, как призовой першерон, — говорил Тейпворм, которому правила его службы не разрешали принимать никаких знаков отличия. — Пусть себе получает ордена, — победа-то все равно за нами!

Дело в том, что этот брак был триумфом британской дипломатии: французская партия всячески изощрялась, чтобы устроить брак с принцессой из дома Поцтаузенд-Доннерветтер, против которой, разумеется, интриговали мы.

На свадебные празднества были приглашены все. В честь новобрачной через улицы были перекинuty гирлянды и воздвигнуты триумфальные арки. Фонтан свя-

того Михаила извергал струи необычайно кислого вина, фонтан на Артиллерийской площади пенился пивом. Большие фонтаны в парке тоже играли, а в садах поставлены были столбы, на которые счастливые поселяне могли взбираться сколько их душе угодно, чтобы снимать с самой верхушки часы, серебряные вилки, призовые колбасы и т. п., висевшие там на розовых ленточках. Джорджи тоже получил приз: он сорвал его с верхушки столба, на который вскарабкался, к восторгу зевак, соскользнув потом вниз с быстротой водопада. Но он сделал это только ради славы. Мальчик отдал колбасу крестьянину, который и сам чуть-чуть не схватил ее и стоял теперь у подножия столба, сетуя на свою неудачу.

Помещение, занятое французской канцелярией, было иллюминировано на шесть лампированных пышнее, чем наше. Но чего стоила вся французская иллюминация по сравнению с нашим транспарантом, изображавшим шествие юной четы и улетающий прочь Раздор, до смешного похожий на французского посланника! Не сомневаюсь, что именно за этот транспарант Тейпворм получил повышение и орден Бани, который был ему вскоре пожалован.

На празднества прибыли целые толпы иностранцев, включая, разумеется, англичан. Кроме придворных балов, давались балы в городской ратуше и редуте, а в первом из вышеупомянутых мест иждивением одной крупной немецкой компании из Эмса или Аахена было отведено помещение и для *trente et quarante* и рулетки — только на неделю празднеств. Офицерам и местным жителям не разрешалось играть в эти игры, но иностранцы, крестьяне и дамы допускались, как и всякий иной, кому угодно было проиграть или выиграть.

Маленький озорник Джорджи Осборн, у которого карманы всегда были набиты деньгами, проводив старших на придворный бал, тоже явился в ратушу с курьером своего дяди, мистером Киршем; и так как в Баден-Бадене ему удалось только мимоходом заглянуть в игорную залу — он был там с Доббином, который, конечно, не разрешил ему играть, — то теперь он первым делом устремился к месту этих развлечений и стал вертеться около столов, где расположились крупные и понтеры. Иг-

рали женщины, некоторые из них были в масках, — такая вольность позволялась в разгульные дни карнавала.

За одним из столов, где играли в рулетку, сидела белокурая женщина в низко вырезанном платье не первой свежести и в черной маске, сквозь вырезы которой как-то странно поблескивали ее глаза; перед нею лежала карточка, булавка и несколько флоринов. Когда крупные выкрикивал цвет и число, она аккуратно делала на карточке отметки булавкой и решалась ставить деньги на цвета лишь после того, как красное или черное выходило несколько раз подряд. Странное она производила впечатление.

Но как она ни старалась, она ни разу не отгадала верно, и последние ее два флорина один за другим были подхвачены лопаточкой крупные, невозмутимо объявлявшего выигравший цвет и число. Дама вздохнула, передернула плечами, которые и без того уже очень сильно выступали из платья, и, проткнув булавкой карточку, лежавшую на столе, несколько минут сидела, барабая по ней пальцами. Затем она оглянулась и увидела славное личико Джорджи, глазевшего на эту сцену. Маленький бездельник! Чего ему тут надо?

Увидев мальчика и сверкнув на него глазами из-под маски, она сказала:

— *Monsieur n'est pas joueur?*¹

— *Non, madame,* — ответил мальчик, но она, должно быть, по его выговору узнала, откуда он родом, потому что ответила ему по-английски с легким иностранным акцентом:

— Вы никогда еще не играли, — не окажете ли мне маленькой любезности?

— Какой? — спросил Джорджи краснея. Мистер Кирш занялся *rouge et noir* и не видел своего юного хозяина.

— Сыграйте, пожалуйста, за меня; поставьте на любой номер.

Она вынула из-за корсажа кошелек, достала из него золотой — единственную монету, лежавшую там, — и вложила его в руку Джорджи. Мальчик засмеялся и исполнил ее просьбу.

¹ Вы не играете? (франц.)

Номер, конечно, выпал. Говорят, есть какая-то сила, которая устраивает это для новичков.

— Спасибо, — сказала дама, пододвигая к себе деньги. — Спасибо. Как вас зовут?

— Меня зовут Осборн, — сказал Джорджи и уже полез было в карман за деньгами; но только он хотел попытать счастья, как появились майор в парадном мундире и Джоз в костюме маркиза, приехавшие с придворного бала. Кое-кто из гостей, наскучив герцогскими развлечениями и предпочитая повеселиться в ратуше, покинул дворец еще раньше. Но майор и Джоз, очевидно, заезжали домой и узнали там об отсутствии мальчика, потому что Доббин сейчас же подошел к нему и, взяв за плечо, быстро увел подальше от соблазна. Затем, оглядевшись по сторонам, он увидел Кирша, погруженного в игру, и, подойдя к нему, спросил, как он смел привести мистера Джорджа в такое место.

— *Laissez-moi tranquille*, — отвечал мистер Кирш, сильно возбужденный игрой и вином. — *Il faut s'amuser, parbleu! Je ne suis pas au service de monsieur*¹.

Увидев, в каком он состоянии, майор решил не вступать с ним в спор и удовольствовался тем, что увел Джорджа, спросив только у Джоза, уходит он или остается. Джоз стоял около дамы в маске, которая теперь играла довольно удачно, и с большим интересом следил за игрой.

— Пойдемте-ка лучше по домам, Джоз, — сказал майор, — вместе со мной и Джорджем.

— Я побуду здесь и вернусь с этим негодяем Киршем, — ответил Джоз. И Доббин, считая, что в присутствии мальчика не следует говорить лишнего, оставил Джоза в покое и отправился с Джорджем домой.

— Ты играл? — спросил майор, когда они вышли из ратуши.

Мальчик ответил:

— Нет.

— Дай мне честное слово джентльмена, что никогда не будешь играть!

¹ Оставьте меня в покое. Надо же человеку развлечься, черт возьми! Я не состою у вас на службе (*франц.*).

— Почему? — спросил мальчик. — Это же очень весело!

Тут майор весьма красноречиво и внушительно пояснил Джорджу, почему тот не должен играть; он мог бы подкрепить свои наставления ссылкой на собственного отца Джорджа, но не захотел ни единым словом опорочить память покойного. Отведя мальчика домой, майор отправился к себе и вскоре увидел, как погас свет в комнате Джорджа рядом со спальней Эмилии. Через полчаса и Эмилия потушила у себя свет. Право, не знаю, почему майор отметил это с таким дотошным вниманием!

А Джоз остался у игорного стола. Он не был записным игроком, но не гнушался иной раз испытать легкое возбуждение, вызываемое игрой. Несколько наполеондоров позвякивало в карманах его вышитого жилета. Протянув руку над белым плечиком дамы, сидевшей перед ним, он поставил золотой и выиграл. Дама чуть подвинулась влево и, словно приглашая Джоза сесть, сбросила оборки своего платья со свободного стула рядом.

— Садитесь и принесите мне счастье, — произнесла она все еще с иностранным акцентом, сильно отличавшимся от того чисто английского «спасибо», которым она приветствовала удачный *соур*¹ Джорджа. Наш дородный джентльмен, посмотрев по сторонам, не наблюдает ли за ним кто-нибудь из именитых особ, опустил на стул и пробормотал:

— Ну что ж, право, разрази меня господь, мне везет! Я уверен, что принесу вам счастье, — затем последовали комплименты и другие смущенно-нелепые слова.

— Вы играете по крупной? — спросила незнакомка.

— Ставлю иногда один-два наполеондора, — ответил Джоз, небрежно швыряя на стол золотую монету.

— Ну, конечно, это интереснее, чем воевать с Наполеоном! — лукаво сказала маска. Но, заметив испуганный взгляд Джоза, продолжала со своим милым французским акцентом: — Вы играете не для того, чтобы выиграть. И я также. Я играю, чтобы забыться, но не могу... не могу забыть былых времен, *monsieur*! Ваш маленький племянник — вылитый отец. А вы... вы не изменились...

¹ Удар, ход (франц.).

Нет, вы изменились... все люди меняются, все забывают, ни у кого нет сердца!

— Господи боже, кто это? — спросил ошеломленный Джоз.

— Не узнаете, Джозеф Седли? — сказала маленькая женщина печальным голосом и, сняв маску, взглянула на Джоза. — Вы позабыли меня!

— Боже милосердный! Миссис Кроули! — пролепетал Джоз.

— Ребекка, — произнесла дама, кладя свою руку на руку Джозефа, но продолжая внимательно следить за игрой.

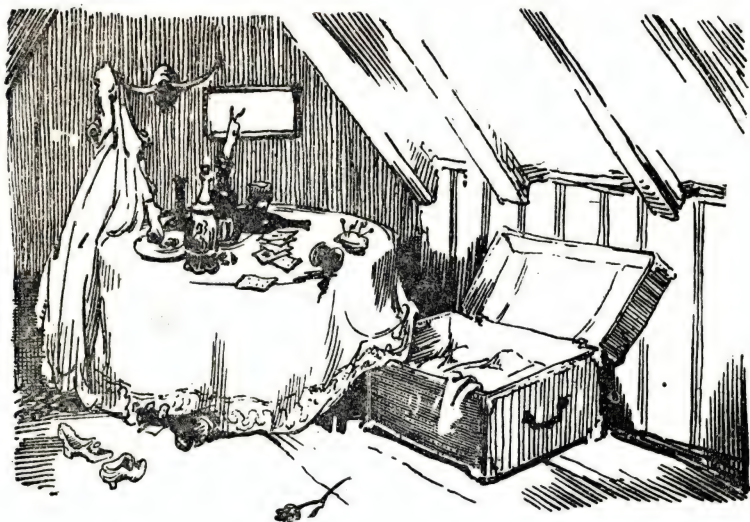
— Я остановилась в гостинице «Слон», — сказала она. — Спросите мадам де Родон. Сегодня я видела мою милочку Эмилию. Какой она мне показалась прелестной и счастливой! И вы тоже! Все счастливы, кроме меня, Джозеф Седли!

И она передвинула свою ставку с красного на черное как бы случайным движением руки, пока вытирала слезы носовым платочком, обшитым рваным кружевом.

Опять вышло красное, и она проиграла всю свою ставку.

— Пойдемте отсюда! — сказала она. — Пройдемтесь немного. Мы ведь старые друзья, не так ли, дорогой мистер Седли?

И мистер Кирш, проигравший тем временем все свои деньги, последовал за хозяином по озаренным луною улицам, где догорала иллюминация и едва можно было различить транспарант над помещением нашего посольства.



ГЛАВА LXIV

Неприкаянная глава

Мы вынуждены опустить часть биографии миссис Ребекки Кроули, проявив всю деликатность и такт, каких требует от нас общество — высоконравственное общество, которое, возможно, ничего не имеет против порока, но не терпит, чтобы порок называли его настоящим именем. На Ярмарке Тщеславия мы много чего делаем и знаем такого, о чем никогда не говорим: так поклонники Аримана молятся дьяволу, не называя его вслух. И светские люди не станут читать достоверного описания порока, подобно тому как истинно утонченная англичанка или американка никогда не позволит, чтобы ее целомудренного слуха коснулось слово «штаны». А между тем, сударыня, и то и другое каждодневно предстает нашим взорам, не особенно нас смущая. Если бы вы краснели всякий раз, как они появляются перед вами, какой был бы у вас цвет лица! Лишь когда произносятся их недо-

стойные имена, ваша скромность считает нужным чувствовать себя оскорбленной и бить тревогу; поэтому автором настоящей повести с начала до конца руководило желание строго придерживаться моды нашего века и лишь намекать иногда на существование в мире порока, намекать легко, грациозно, приятно — так, чтобы ничьи тонкие чувства не оказались задетыми. Пусть кто-нибудь попробует утверждать, что наша Бекки, которой, конечно, нельзя отказать в кое-каких пороках, не была выведена перед публикой в самом благородном и безобидном виде! Автор со скромной гордостью спрашивает у своих читателей, забывал ли он когда-нибудь законы вежливости и, описывая пение, улыбки, лесть и коварство этой сирены, позволял ли мерзкому хвосту чудовища показываться над водою? Нет! Желаящие могут заглянуть в волны, достаточно прозрачные, и посмотреть, как этот хвост мелькает и кружится там, отвратительный и липкий, как он хлопает по костям и обвивает трупы. Но над поверхностью воды разве не было все отменно прилично и приятно? Разве может ко мне придрататься даже самый щепетильный моралист на Ярмарке Тщеславия? Правда, когда сирена исчезает, ныряя в глубину, к мертвецам, вода над нею становится мутной, и потому, сколько ни вглядывайся в нее, все равно ничего не увидишь. Сирены довольно привлекательны, когда они сидят на утесе, бренчат на арфах, расчесывают себе волосы, поют и манят вас, умоляя поддержать им зеркало; но когда они погружаются в свою родную стихию, то, поверьте мне, от этих морских дев нельзя ждать ничего хорошего, и лучше уж нам не видеть, как эти чертовы водяные людоедки пляшут и угощаются трупами своих несчастных засоленных жертв. Итак, будьте уверены, что, когда мы не видим Бекки, она занята не особенно хорошими делами, — и чем меньше говорить об этих ее делах, тем, право же, будет лучше.

Если бы мы дали полный отчет о поведении Бекки за первые два-три года после катастрофы на Керзон-стрит, то у публики, пожалуй, нашлись бы основания сказать, что наша книжка непристойна. Поступки людей очень суетных, бессердечных, гоняющихся за удовольствиями, весьма часто бывают непристойными (как и многие ваши поступки, мой друг с важной физиономией и безупречной репутацией, -- но об этом я упоминаю просто к слову).

Каких же поступков ждать от женщины, не имеющей ни веры, ни любви, ни доброго имени! А я склонен думать, что в жизни миссис Бекки был период, когда она оказалась во власти не то чтобы угрызений совести, но какого-то отчаяния, и совершенно не берегла себя, не заботясь даже о своей репутации.

Такое *abattement*¹ и нравственное падение наступили не сразу, они появились постепенно — после ее несчастья и после многих отчаянных попыток удержаться на поверхности. Так человек, упавший за борт, цепляется за доску, пока у него остается хоть искра надежды, а потом, убедившись, что борьба напрасна, разжимает руки и идет ко дну.

Пока Родон Кроули готовился к отъезду во вверенные ему заморские владения, Бекки оставалась в Лондоне и, как полагают, не раз предпринимала попытки повидаться со своим зятем, сэром Питтом Кроули, с целью заручиться его поддержкой, которой она перед тем почти успела добиться. Однажды, когда сэр Питт и мистер Уэнхем направлялись в палату общин, последний заметил, что около дворца законодательной власти маячит миссис Родон в шляпке под черной вуалью. Встретившись глазами с Уэнхемом, она быстро скользнула прочь, да и после этого ей так и не удалось добраться до баронета.

Вероятно, в дело вмешалась леди Джейн. Я слышал, что она изумила супруга твердостью духа, проявленной ею во время ссоры, и своей решимостью не признавать миссис Бекки. Она по собственному почину пригласила Родона прожить у них все время до его отъезда на остров Ковентри, зная, что при такой надежной охране миссис Бекки не посмеет ворваться к ним в дом, и внимательно изучала конверты всех писем, адресованных сэру Питту, чтобы в случае чего пресечь переписку между ним и его невесткой. Разумеется, вздумай Ребекка ему написать, она могла бы это сделать, но она не пыталась ни повидаться с сэром Питтом, ни писать ему на дом и после одной или двух попыток согласилась на его просьбу направлять ему всю корреспонденцию касательно своих семейных неурядиц только через посредство адвоката.

Дело в том, что Питт был теперь решительно настроен против Ребекки. Вскоре после несчастья, постигшего

¹ Уныние, упадок сил (франц.).

лорда Стайна, Уэнхем побывал у баронета и познакомил его с некоторыми подробностями биографии миссис Бекки, которые сильно удивили члена парламента от Королевского Кроули. Уэнхем знал о Бекки все: кем был ее отец, в каком году ее мать танцевала в опере, каково было ее прошлое и как она себя вела во время своего замужества. Поскольку я уверен, что большая часть этого рассказа была лжива и продиктована личным недоброжелательством, я не буду повторять его здесь. Но после этого Ребекке уже нечего было надеяться восстановить свою репутацию в глазах почтенного землевладельца и родственника, некогда дарившего ее своей благосклонностью.

Доходы губернатора острова Ковентри невелики. Часть их его превосходительство откладывал для оплаты кое-каких неотложных долгов и обязательств; само его высокое положение требовало значительных расходов; и в конце концов оказалось, что Родон не может выделить жене более трехсот фунтов в год, каковую сумму он и предложил платить ей, при условии, что она никогда не будет его беспокоить, — в противном случае воспоследуют скандал, развод, Докторс-коммонс *. И мистер Уэнхем, и лорд Стайн, и Родон и все в первую очередь заботились о том, чтобы удалить Бекки из Англии и замять это крайне неприятное дело.

Должно быть, Бекки была так занята улаживанием деловых вопросов с поверенными мужа, что забыла предпринять какие-либо шаги относительно своего сына, маленького Родона, и даже ни разу не выразила желания повидать его. Юный джентльмен был оставлен на полное попечение дяди и тетки, которая всегда пользовалась большой любовью мальчика. Его мать, покинув Англию, написала ему очень милое письмо из Булони, в котором советовала ему хорошо учиться и сообщала, что уезжает в путешествие на континент и будет иметь удовольствие написать ему еще. Но написала она только через год, да и то лишь потому, что единственный сын сэра Питта, болезненный ребенок, умер от коклюша и кори. Тут мамаша Родона отправила чрезвычайно нежное послание дорогому сыночку, который после смерти своего кузена оказался наследником Королевского Кроули и стал еще ближе и дороже для доброй леди Джейн, чье нежное сердце уже усыновило племянника. Родон Кроули, пре-

вратившийся теперь в высокого красивого мальчика, вспыхнул, получив это письмо.

— Вы моя мама, тетя Джейн, — воскликнул он, — а не... а не она! — Но все-таки написал ласковое и почтительное письмо миссис Ребекке, жившей тогда в дешевом пансионе во Флоренции.

Однако мы забегаем вперед.

Для начала наша милочка Бекки упорхнула не очень далеко. Она опустилась на французском побережье в Булони, этом убежище многих невинных изгнанников из Англии, и там вела довольно скромный вдовый образ жизни, обзаведясь *femme de chambre* и занимая две-три комнаты в гостинице. Обедала она за табльдотом, где ее считали очень приятной женщиной и где она занимала соседей рассказами о своем брате, сэре Питте, и знатных лондонских знакомых и болтала всякую светскую чепуху, производящую столь сильное впечатление на людей неискушенных. Многие из них полагали, что Бекки особа с весом; она устраивала маленькие сборища за чашкой чая у себя в комнате и принимала участие в невинных развлечениях, которым предавалась местная публика: в морских купаньях, катанье в открытых колясках, в прогулках по пляжу и в посещении театра. Миссис Берджойс, супруга типографа, поселившаяся со всем своим семейством на лето в гостинице, — ее Берджойс приезжал к ней на субботу и воскресенье, — называла Бекки очаровательной, пока этот негодяй Берджойс не вздумал приволочнуться за нею. Но ничего особенного не произошло, — Бекки всегда бывала общительна, весела, добродушна, в особенности с мужчинами.

В конце сезона толпы людей уезжали, как обычно, за границу, и Бекки имела полную возможность убедиться по поведению своих знакомых из большого лондонского света в том, какого мнения придерживается о ней «общество». Однажды, скромно прогуливаясь по булонскому молу, — утесы Альбиона сверкали в отдалении за полосой глубокого синего моря, — Бекки встретила лицом к лицу с леди Партлет и ее дочерьми. Леди Партлет мановением зонтика собрала всех своих дочерей вокруг себя и удалилась с мола, метнув свирепый взгляд на бедную маленькую Бекки, оставшуюся стоять в одиночестве.

Однажды к ним прибыл пакетбот. Дул сильный ветер, а Бекки всегда доставляло удовольствие смотреть на уморительные страдальческие лица вымотанных качкой пассажиров. В этот день на пароходе оказалась леди Слингстоун. Ее милость весь переезд промучилась в своей каюте и едва была в состоянии пройти по сходням с корабля на пристань. Но едва она увидела Бекки, лукаво улыбавшуюся из-под розовой шляпки, слабость ее как рукой сняло: бросив на Ребекку презрительный взгляд, от которого съежилась бы любая женщина, леди проследовала в здание таможни без всякой посторонней помощи. Бекки только рассмеялась, но не кажется мне, чтобы она была довольна. Она почувствовала себя одинокой, очень одинокой, а сиявшие вдали утесы Англии были для нее неодолимой преградой.

В поведении мужчин тоже произошла какая-то трудно определяемая перемена. Как-то раз Гристон противно оскалил зубы и фамильярно расхохотался в лицо Бекки. Маленький Боб Саклинг, который три месяца тому назад был ее рабом и прошел бы под дождем целую милю, чтобы отыскать ее карету в веренице экипажей, стоявших у Гонт-хауса, разговаривал однажды на набережной с гвардейцем Фицуфом (сыном лорда Хихо), когда Бекки прогуливалась там. Маленький Бобби кивнул ей через плечо, не снимая шляпы, и продолжал беседу с наследником Хихо. Том Рейкс попробовал войти в ее гостиную с сигарой в зубах, но Бекки захлопнула перед ним дверь и, наверное, закрыла бы ее на замок, если бы только пальцы посетителя не попали в щель. Ребекка начинала чувствовать, что она в самом деле одна на свете. «Будь он здесь, — думала она, — эти трусы никогда не посмели бы оскорблять меня!» Она думала о «нем» с большой грустью и, может, даже тосковала об его честной, глупой, постоянной любви и верности, его неизменном послушании, его добродушии, его храбрости и отваге. Очень может быть, что Бекки плакала, потому что она была особенно оживлена, когда сошла вниз к обеду, и подрумянилась чуть больше обычного.

Она теперь постоянно румянилась, а... а ее горничная покупала для нее коньяк — сверх того, который ей ставили в счет в гостинице.

Однако еще тягостнее, чем оскорбления мужчин.

было, пожалуй, для Бекки сочувствие некоторых женщин. Миссис Крекенбери и миссис Вашингтон Уайт проезжали через Булонь по дороге в Швейцарию. (Они ехали под охраной полковника Хорнера, молодого Бомори и, конечно, старика Крекенбери и маленькой дочери миссис Уайт.) Эти дамы не избегали Бекки. Они хихикали, кудахтали, болтали, соболезовали, утешали и покровительствовали Бекки, пока не довели ее до бешенства. «Пользоваться *их* покровительством!» — подумала она, когда дамы уходили, расцеловавшись с ней и расточая улыбки. Она слышала хохот Бомори, доносившийся с лестницы, и отлично поняла, как надо объяснить себе это веселье.

А после этого визита Бекки, аккуратно, каждую неделю платившая по счетам гостиницы, Бекки, старавшаяся быть приятной всем и каждому в доме, улыбавшаяся хозяйке, называвшая лакеев *monsieur* и расточавшая горничным вежливые слова и извинения, чем сторицей искупалась некоторая скупость в отношении денег (от которой Бекки никогда не была свободна), — Бекки, повторяю, получила от хозяина извещение с просьбой покинуть гостиницу. Кто-то сообщил ему, что миссис Кроули совершенно неподходящая особа для проживания у него в доме; английские леди не пожелают сидеть с нею за одним столом. И Бекки пришлось переселиться на частную квартиру, где скука и одиночество действовали на нее удручающе.

Все же, несмотря на эти щелчки, Бекки держалась, пробовала создать себе хорошую репутацию вопреки всем сплетням. Она не пропускала ни одной службы в церкви и пела там громче всех; она принимала на себя заботы о вдовах погибших рыбаков, жертвовала рукоделия и рисунки для миссии в Квошибу; она участвовала в подписках на благотворительные балы, но сама никогда не вальсировала, — словом, вела себя в высшей степени пристойно; и потому-то мы останавливаемся на этой части ее жизненной карьеры с большим удовольствием, чем на последующих, менее приятных эпизодах. Она видела, что люди ее избегают, и все-таки усердно улыбалась им; глядя на нее, вы никогда бы не догадались, какие муки унижения она испытывает.

Ее история так и осталась загадкой. Люди отзыва-

лись о ней по-разному. Одни, взявшие на себя труд заняться этим вопросом, говорили, что Бекки преступница; между тем как другие клялись, что она невинна, как агнец, а во всем виноват ее гнусный супруг. Многих она покорила тем, что ударялась в слезы, говоря о своем сыне, и изображала бурную печаль, когда упоминалось его имя или когда она встречала кого-нибудь похожего на него. Таким образом она пленила сердце доброй миссис Олдерни, которая была, так сказать, королевой британской Булони и чаще всех других ее обитательниц задавала обеды и балы: Ребекка расплакалась, когда маленький Олдерни приехал из учебного заведения доктора Суиштейла провести каникулы у матери.

— Ведь они с Родоном одного возраста и так похожи! — произнесла Бекки голосом, прерывающимся от муки.

В действительности между мальчиками была разница в пять лет и они были похожи друг на друга не больше, чем уважаемый читатель похож на вашего покорного слугу! Уэнхем, проезжая через Францию по пути в Киссинген, где он должен был встретиться с лордом Стайном, просветил миссис Олдерни на этот счет и заверил ее, что он может описать маленького Родона гораздо лучше, чем его мамаша, которая его терпеть не может и никогда не навещает; что мальчику тринадцать лет, тогда как маленькому Олдерни только девять; он белокур, между тем как ее милый мальчуган темноволос, — словом, заставил почтенную даму пожалеть о своей доброте.

Стоило Бекки ценою невероятных трудов и усилий создать вокруг себя небольшой кружок, как кто-нибудь появлялся и грубо разрушал его, так что ей приходилось начинать все сначала. Ей было очень тяжело... очень тяжело... одиноко и безотраднo.

На некоторое время ее пригрела некая миссис Ньюбрайт, плененная сладостным пением Бекки в церкви и ее правоверными взглядами на разные серьезные вопросы, — миссис Бекки очень наострилась на них в былые дни в Королевском Кроули. Так вот: она не только брала брошюрки, но и читала их; она шила фланелевые юбки для Квошибу и бумажные ночные колпаки для индейцев с Кокосовых островов; раскрашивала веера в интересах

обращения в истинную веру римского папы и евреев; заседала под председательством мистера Раулса по вторникам и мистера Хаглтона по четвергам; посещала воскресные богослужения дважды в день, а кроме того, по вечерам ходила слушать мистера Боулера, дарбиита, — и все напрасно. Миссис Ньюбрайт пришлось как-то вступить в переписку с графиней Саутдаун по вопросу о «Фонде для покупки грелок обитателям островов Фиджи» (обе леди были членами дамского комитета, управлявшего делами этого прекрасного благотворительного общества), и так как она упомянула о «милом своем друге» миссис Родон Кроули, то вдовствующая графиня написала ей такое письмо о Бекки, с такими подробностями, намеками, фактами, выдумками и пожеланиями, что с той поры всякой близости между миссис Ньюбрайт и миссис Кроули настал конец. И все серьезные люди в Туре, где произошло это несчастье, немедленно перестали знаться с отверженной. Те, кто знаком с колониями англичан за границей, знают, что мы возим с собой свою гордость, свои пилюли, свои предрассудки, харвейскую сою, кайенский перец и других домашних богов, создавая маленькую Британию всюду, где мы только устраиваемся на жительство.

Бекки с тяжелым сердцем перекочевывала из одной колонии в другую: из Булони в Дьепп, из Дьеппа в Кан, из Кана в Тур, всячески стараясь быть респектабельной, но — увы! — в один прекрасный день ее обязательно узнавали какие-нибудь *настоящие* галки и долбили клювами, пока не выгоняли вон из клетки.

Однажды в ней приняла участие миссис Хук Иглз — женщина безупречной репутации, имевшая дом на Портмен-сквере. Она проживала в гостинице в Дьеппе, куда бежала Бекки, и они познакомились сперва у моря, где вместе купались, а потом в гостинице за табльдотом. Миссис Иглз слыхала, — да и кто не слыхал? — кое-что о скандальной истории со Стайном, но после беседы с Бекки заявила, что миссис Кроули — ангел, супруг ее — злодей, а лорд Стайн — человек без чести и совести, что, впрочем, всем известно, и весь шум, поднятый против миссис Кроули, — результат позорного и злокозненного заговора, устроенного этим мерзавцем Уэнхемом.

— Если бы у вас, мистер Иглз, была хоть капля

мужества, вы должны были бы надавать этому негодяю пощечин в первый же раз, как встретитесь с ним в клубе, — заявила она своему супругу. Но Иглз был всего лишь тихим старым джентльменом, супругом миссис Иглз, любившим геологию и не обладавшим достаточно высоким ростом, чтобы дотянуться до чьей-либо физиономии.

И вот миссис Иглз стала покровительствовать миссис Родон, пригласила ее погостить в ее собственном доме в Париже, поссорилась с женой посла, не пожелавшей принимать у себя ее protégée, и делала все, что только во власти женщины, чтобы удержать Бекки на стезе добродетели и сберечь ее доброе имя.

Сперва Бекки вела себя примерно, но вскоре ей осточертела эта респектабельная жизнь. Каждый день был похож на другой — тот же опостылевший комфорт, то же катанье по дурацкому Булонскому лесу, то же общество по вечерам, та же самая проповедь Блейра в воскресенье — словом, та же опера, неизменно повторявшаяся. Бекки изнывала от скуки. Но тут, к счастью для нее, приехал из Кембриджа молодой мистер Иглз, и мать, увидев, какое впечатление произвела на него ее маленькая приятельница, сейчас же выставила Бекки за дверь.

Тогда Бекки попробовала жить своим домом вместе с одной подругой, но этот двойной ménage¹ привел к ссоре и закончился долгами. Тогда она решила перейти в пансион и некоторое время жила в знаменитом заведении мадам де Сент-Амур на Рю-Ройяль в Париже, где и начала пробовать свои чары на потрепанных франтах и сомнительного поведения красавицах, посещавших салоны ее хозяйки. Бекки любила общество, положительно не могла без него существовать, как курильщик опиума не может обходиться без своего зелья, и в пансионе ей жилось неплохо.

— Здешние женщины так же забавны, как и в Мейфэре, — говорила она одному старому лондонскому знакомому, которого случайно встретила, — только платья у них не такие свежие. Мужчины носят чищенные перчатки и, конечно, страшные жулики, но не хуже Джека такого-то и Тома такого-то. Хозяйка пансиона несколько

¹ Домашнее хозяйство (франц.).

вульгарна, но не думаю, чтобы она была так вульгарна как леди... — И тут она назвала имя одной модной львицы, но я скорее умру, чем открою его! Увидев как-нибудь вечером освещенные комнаты мадам де Сент-Амур, мужчин с орденами и лентами за столиками для игры в экарте и дам в некотором отдалении, вы и в самом деле могли бы на мгновение подумать, что находитесь в хорошем обществе и что мадам — настоящая графиня. Многие так и думали, и Бекки в течение некоторого времени была одной из самых блестящих дам в салонах графини.

Но, по всей вероятности, старые кредиторы времен 1815 года отыскиали ее и заставили покинуть Париж, потому что бедной маленькой женщине пришлось неожиданно бежать из французской столицы, и тогда она переехала в Брюссель.

Как хорошо она помнила этот город! С усмешкой взглянула она на маленькие антресоли, которые когда-то занимала, и в памяти ее возникло семейство Бейракрсов, как они хотели бежать и отчаянно искали лошадей, а их карета стояла под воротами гостиницы. Она побывала в Ватерлоо и в Лекене, где памятник Джорджу Осборну произвел на нее сильное впечатление. Она сделала с него маленький набросок.

— Бедный Купидон! — сказала она. — Как сильно он был влюблен в меня и какой он был дурак! Интересно, жива ли маленькая Эмилия? Славная была девочка. А этот толстяк, ее брат? Изображение его жирной особы до сих пор хранится где-то у меня среди бумаг. Это были простые, милые люди.

В Брюссель Бекки приехала с рекомендательным письмом от мадам де Сент-Амур к ее приятельнице, мадам графине де Бородино, вдове наполеоновского генерала, знаменитого графа де Бородино, оставшейся после кончины этого героя без всяких средств, кроме тех, которые давал ей табльдот и стол для игры в экарте. Второсортные денди и гоуэс¹, вдовы, вечно занятые какими-то тяжбами, и простоватые англичане, воображавшие, что встречаются в таких домах «континентальное общество», играли или питались за столами мадам де Бородино. За табльдотом галантные молодые люди угощали обще-

¹ Плуты (франц.).

ство шампанским, ездили кататься верхом с женщинами или нанимали лошадей для загородных экскурсий, покупали сообща ложи в театр или в оперу, делали ставки, нагибаясь через прелестные плечи дам во время игры в экарте, и писали родителям в Девоншир, что возвращаются за границей в самом лучшем обществе.

Здесь, как и в Париже, Бекки была королевой узкого пансионского мирка. Она никогда не отказывалась ни от шампанского, ни от букетов, ни от поездки за город, ни от места в ложе, но всему предпочитала экарте по вечерам — и играла очень смело. Сперва она играла только по маленькой, потом на пятифранковики, потом на наполеондоры, потом на кредитные билеты; потом не могла оплатить месячного счета в пансионе, потом стала занимать деньги у юных джентльменов, потом опять обзавелась деньгами и стала помыкать мадам де Бородино, перед которой раньше лебезила и угодничала, потом играла по десять су ставка и впала в жестокую нищету; потом подоспело ее содержание за четверть года, и она расплатилась по счету с мадам де Бородино и опять начала ставить против мосье де Россиньоля или шевалье де Рафа.

С прискорбием нужно сознаться, что Бекки, покидая Брюссель, осталась должна мадам де Бородино за трехмесячное пребывание в пансионе. Об этом обстоятельстве, а также о том, как она играла, пила, как стояла на коленях перед преподобным мистером Мафом, англиканским священником, выманивая у него деньги, как любезничала с милордом Нудлем, сыном сэра Нудля, учеником преподобного мистера Мафа, которого частенько приглашала к себе в комнату и у которого выигрывала крупные суммы в экарте, — об этом, как и о сотне других ее низостей, графиня де Бородино осведомляет всех англичан, останавливающихся в ее заведении, присовокупляя, что мадам Родон была просто-напросто *une vipère*¹.

Так наша маленькая скиталица раскидывала свой ша-тер в различных городах Европы, не ведая покоя, как Улисс или Бемфилд Мур Керу. Ее вкус к беспорядочной жизни становился все более заметным. Скоро она пре-

¹ Гадюка (франц.)

вратилась в настоящую цыганку и стала знаться с людьми, при встрече с которыми у вас волосы встали бы дыбом!

В Европе нет сколько-нибудь крупного города, в котором не было бы маленькой колонии английских проходимцев — людей, чьи имена мистер Хемп, судебный исполнитель, время от времени оглашает в камере шерифа, — молодых джентльменов, часто сыновей весьма почтенных родителей (только эти последние не желают их знать), завсегдатаев бильярдных зал и кофеен, покровителей скачек и игорных столов. Они населяют долговые тюрьмы, они пьянствуют и шумят, они дерутся и бесчинствуют, они удирают, не заплатив по счетам, вызывают на дуэли французских и немецких офицеров, обыгрывают мистера Спуни в экарте, раздобывают деньги и уезжают в Баден в великолепных бричках, пускают в ход непогрешимую систему отыгрышей и шныряют вокруг столов с пустыми карманами — обтрепанные драчуны, нищие франты, — пока не надуют какого-нибудь еврея банкира, выдав ему фальшивый вексель или не найдут какого-нибудь другого мистера Спуни, чтобы ограбить его. Забавно наблюдать смену роскоши и нищеты, в которой проходит жизнь этих людей. Должно быть, она полна сильных ощущений. Бекки — признаться ли в этом? — вела такую жизнь, и вела ее не без удовольствия. Она переезжала с этими бродягами из города в город. Удачливую миссис Родон знали за каждым игорным столом в Германии. Во Флоренции она жила на квартире вместе с мадам де Крюшкассе. Говорят, ей предписано было выехать из Мюнхена. А мой друг, мистер Фредерик Пижон, утверждает, что в ее доме в Лозанне его опоили за ужином и обыграли на восемьсот фунтов майор Лодер и почтенный мистер Дьюсис. Как видите, мы вынуждены слегка коснуться биографии Бекки; но об этом периоде ее жизни, пожалуй, чем меньше будет сказано, тем лучше.

Говорят, что когда миссис Кроули переживала полосу особого невезения, она давала кое-где концерты и уроки музыки. Какая-то мадам де Родон действительно выступала в Вильдбаде на *matinée musicale*¹, причем ей аккомпанировал герр Шпоф, первый пианист господаря Валахского; а мой маленький друг, мистер Ивз, который знает

¹ Утреннем концерте (франц.).

всех и каждого и путешествовал повсюду, рассказывал, что в бытность его в Страсбурге в 1830 году некая *madame Rébecque*¹ пела в опере «*Dame Blanche*»*, вызвав ужаснейший скандал в местном театре. Публика освистала ее и прогнала со сцены, отчасти за никудышное исполнение, но главным образом из-за проявлений неуместной симпатии со стороны некоторых лиц, сидевших в партере (туда допускались гарнизонные офицеры); Ивз уверяет, что эта несчастная *débutante*² была не кто иная, как миссис Родон Кроули.

Да, она была просто бродягой, скитавшейся по лицу земли. Когда она получала от мужа деньги, она играла, а проигравшись, все же не умирала с голоду. Кто скажет, как и какими средствами ей это удавалось? Передают, что однажды ее видели в Санкт-Петербурге, но из этой столицы ее ускоренным порядком выслала полиция, так что совсем уж нельзя верить слухам, будто она потом была русской шпионкой в Теплице и в Вене. Мне даже сообщали, что в Париже Бекки отыскала родственницу, не более и не менее как свою бабушку с материнской стороны, причем та оказалась вовсе не Монморанси, а безобразной старухой, капельдинершей при каком-то театре на одном из бульваров. Свидание их, о котором, как будет видно из дальнейшего, знали и другие лица, было, вероятно, очень трогательным. Автор настоящей повести не может сказать о нем ничего достоверного.

Как-то в Риме случилось, что миссис де Родон только что перевели ее полугодовое содержание через одного из главных тамошних банкиров, а так как каждый, у кого оказывалось на счету свыше пятисот скуди, приглашался на балы, которые этот финансовый туз устраивал в течение зимнего сезона, то Бекки удостоилась пригласительного билета и появилась на одном из званых вечеров князя и княгини Полониа. Княгиня происходила из семьи Помпилиев*, ведших свой род по прямой линии от второго царя Рима и Эгерии из дома Олимпийцев, а дедушка князя, Алессандро Полониа, торговал мылом, эссенциями, табаком и платками, был на побегушках у раз-

¹ Госпожа Ребекка (франц.).

² Дебютантка; артистка, впервые выступающая перед публикой (франц.).

ных джентльменов и помаленьку ссужал деньги под проценты. Все лучшее общество Рима толпилось в гостиных банкира — князья, герцоги, послы, художники, музыканты, монсиньоры, юные путешественники со своими гувернерами — люди всех чинов и званий. Залы были залиты светом, блистали золочеными рамами (с картинами) и сомнительными антиками. А огромный позолоченный герб хозяина — золотой гриб на пунцовом поле (цвет платков, которыми торговал его дедушка) и серебряный фонтан рода Помпилиев — сверкал на всех потолках, дверях и стенах дома и на огромных бархатных балдахинах, готовых к приему пап и императоров.

И вот Бекки, приехавшая из Флоренции в дилижансе и остановившаяся в очень скромных номерах, получила приглашение на званый вечер у князя Полониа. Горничная нарядила ее старательнее обычного, и Ребекка отправилась на бал, опираясь на руку майора Лодера, с которым ей привелось путешествовать в то время. (Это был тот самый Лодер, который на следующий год застрелил в Неаполе князя Раволи и был избит сэром Джоном Бакскином тростью за то, что у него в шляпе оказалось еще четыре короля, кроме тех, которыми он играл в экарте.) Они вместе вошли в зал, и Бекки увидела там немало знакомых лиц, которые помнила по более счастливому времени, когда была хотя и не невинна, но еще не поймана. Майора Лодера приветствовали многие иностранцы — бородатые востроглазые господа с грязными полосатыми орденскими ленточками в петлицах и весьма слабыми признаками белья. Но соотечественники майора явно избегали его. У Бекки тоже нашлись знакомые среди дам — вдовы-француженки, сомнительные итальянские графини, с которыми жестоко обращались их мужья... Фу! стоит ли нам говорить об этих отбросах и подонках, — нам, вращавшимся на Ярмарке Тшеславия среди самого блестящего общества! Если уж играть, так играть чистыми картами, а не этой грязной колодой. Но всякий входящий в состав бесчисленной армии путешественников видал таких мародеров, которые, примазываясь, подобно Ниму и Пистолю *, к главным силам, носят мундир короля, хвастаются купленными чинами, но грабят в свою пользу и иногда попадают на виселицу где-нибудь у большой дороги.

Итак, Бекки под руку с майором Лодером прошла по комнатам, выпила вместе с ним большое количество шампанского у буфета, где гости, а в особенности иррегулярные войска майора, буквально дрались из-за угощения, а затем, изрядно подкрепившись, двинулась дальше и дошла до гостиной самой княгини в конце анфилады (там, где стоит статуя Венеры и большие венецианские зеркала в серебряных рамах). В этой комнате, обтянутой розовым бархатом, стоял круглый стол, и здесь княжеское семейство угощало ужином самых именитых гостей. Бекки вспомнилось, как она в таком же избранном обществе ужинала у лорда Стайна... И вот он сидит за столом у Полонии, и она увидела его.

На его белом лысом блестящем лбу алел шрам от раны, нанесенной брильянтом; рыжие бакенбарды были перекрашены и отливали пурпуром, отчего его бледное лицо казалось еще бледнее. На нем была цепь и ордена, среди них орден Подвязки на голубой ленте. Из всех присутствовавших он был самым знатным, хотя за столом находились и владетельный герцог, и какое-то королевское высочество, — каждый со своими принцессами; возле его милости восседала красавица графиня Белладонна, урожденная де Гландье, супруг которой (граф Паоло делла Белладонна), известный обладатель замечательных энтомологических коллекций, уже давно находился в отлучке, будучи послан с какой-то миссией к императору Марокко.

Когда Бекки увидела его знакомое и столь прославленное лицо, каким вульгарным показался ей майор Лодер и как запахло табаком от противного капитана Рука! Мгновенно в ней встрепенулась светская леди, и она попыталась и выглядеть и держать себя так, точно снова очутилась в Мейфэре. «У этой женщины глупый и злой вид, — подумала она, — я уверена, что она не умеет развлечь его. Да, она, должно быть, ему страшно наскучила; со мной он никогда не скучал».

Множество таких трогательных надежд, опасений и воспоминаний трепетало в ее сердечке, когда она смотрела на прославленного вельможу своими блестящими глазами (они блестели еще больше от румян, которыми она покрывала себе лицо до самых ресниц). Надевая на парадный прием орден Звезды и Подвязки, лорд Стайн

принимал также особо величественный вид и смотрел на всех и говорил с важностью могущественного владыки, каковым он и был. Бекки залюбовалась его снисходительной улыбкой, его непринужденными, но утонченными манерами. Ах, *bon Dieu*, каким он был приятным собеседником, как он блестящ и остроумен, как много знает, как прекрасно держится! И она променяла все это на майора Лодера, провонявшего сигарами и коньяком, на капитана Рука с его кучерскими шуточками и боксерским жаргоном, и на других, им подобных!

«Интересно, узнает ли он меня!» — подумала она. Лорд Стайн, улыбаясь, беседовал с какой-то знатной дамой, сидевшей рядом с ним, и вдруг, подняв взор, увидел Бекки.

Она страшно смутилась, встретившись с ним глазами, изобразила на своем лице самую очаровательную улыбку, на какую была способна, и сделала его милости скромный, жалобный реверансик. С минуту лорд Стайн взирал на нее с таким же ужасом, какой, вероятно, охватил Макбета, когда на его званом ужине появился дух Банко; раскрыв рот, он смотрел на нее до тех пор, пока этот отвратительный майор Лодер не потянул ее за собою из гостиной.

— Пройдемтесь-ка в зал, где ужинают, миссис Ребекка, — заметил этот джентльмен. — Мне тоже захотелось пожрать, когда я увидел, как лопают эти аристократишки. Надо отведать хозяйского шампанского.

Бекки подумала, что майор уже и без того выпил более чем достаточно.

На другой день она отправилась гулять в Монте-Пинчо — этот Хайд-парк римских лодырей, — быть может, в надежде еще раз увидеть лорда Стайна. Но она встретила там с другим своим знакомым: это был мистер Фич, доверенное лицо его милости. Он подошел к Бекки, кивнув ей довольно фамильярно и дотронувшись одним пальцем до шляпы.

— Я знал, что мадам здесь, — сказал он. — Я шел за вами от вашей гостиницы. Мне нужно дать вам совет.

— От маркиза Стайна? — спросила Бекки, собрав все остатки собственного достоинства и замирая от надежды и ожидания.

— Нет, — сказал камердинер, — от меня лично. Рим очень нездоровое место.

— Не в это время года, мосье Фич, только после пасхи.

— А я заверяю, мадам, что и сейчас. Здесь многие постоянно заболевают малярией. Проклятый ветер с болот убивает людей во все времена года. Слушайте, мадам Кроули, вы всегда были *bon enfant*¹, и я вам желаю добра, *parole d'honneur*². Берегитесь! Говорю вам, уезжайте из Рима, иначе вы заболеете и умрете.

Бекки расхохоталась, хотя в душе ее клокотала ярость.

— Как! Меня, бедняжку, убьют? — сказала она. — Как это романтично! Неужели милорд возит с собой наемных убийц, вместо проводников, и держит прозапас стилеты? Чепуха! Я не уеду, хотя бы ему назло. Здесь есть кому меня защитить.

Теперь расхохотался мосье Фич.

— Защитить? — проговорил он. — Кто это вас будет защищать? Майор, капитан, любой из этих игроков, которых мадам выдает здесь, лишат ее жизни за сто луидоров. О майоре Лодере (он такой же майор, как я — милорд и маркиз) нам известны такие вещи, за которые он может угодить на каторгу, а то и подальше! Мы знаем все, и у нас друзья повсюду. Мы знаем, кого вы видели в Париже и каких родственниц нашли там. Да, да, мадам может смотреть на меня сколько угодно, но это так! Почему, например, ни один наш посланник в Европе не принимает мадам у себя? Она оскорбила кое-кого, кто никогда не прощает, чей гнев еще распалился, когда он увидел вас. Он просто с ума сходил вчера вечером, когда вернулся домой. Мадам де Белладонна устроила ему сцену из-за вас, рвала и метала так, что сохрани боже!

— Ах, так это происки мадам де Белладонна! — заметила Бекки с некоторым облегчением, потому что слова Фича сильно ее напугали.

— Нет, она тут ни при чем, она всегда ревнует. Уверяю вас, это сам монсиньор. Напрасно вы попались ему на глаза. И если вы останетесь в Риме, то пожалеете. Запомните мои слова. Уезжайте! Вот экипаж милорда, —

¹ Сговорчивым человеком (франц.).

² Честное слово (франц.).

и, схватив Бекки за руку, он быстро увлек ее в боковую аллею. Коляска лорда Стайна, запряженная бесценными лошадьми, мчалась по широкой дороге, сверкая гербами; развалиясь на подушках, в ней сидела мадам де Белладонна, черноволосая, цветущая, надутая, с болонкой на коленях и белым зонтиком над головой, а рядом с нею — старый маркиз, мертвенно-бледный, с пустыми глазами. Ненависть, гнев, страсть иной раз еще заставляли их загораться, но обычно они были тусклы и, казалось, устали смотреть на мир, в котором для истаскавшегося, порочного старика уже не оставалось ни красоты, ни удовольствий.

— Монсиньор так и не оправился после потрясений той ночи, — шепнул мосье Фич, когда коляска промчалась мимо и Бекки выглянула ей вслед из-за кустов, скрывавших ее.

«Хоть это-то утешение!» — подумала Бекки.

Действительно ли милорд питал такие кровожадные замыслы насчет миссис Бекки, как говорил ей мосье Фич (после кончины монсиньора он вернулся к себе на родину, где и жил, окруженный большим почетом, купив у своего государя титул барона Фиччи), но только его фактотуму не захотелось иметь дело с убийцами, или же ему просто было поручено напугать миссис Кроули и удалить ее из города, в котором его милость предполагал провести зиму и где лицемерие Бекки было бы ему в высшей степени неприятно, — вот вопрос, который так никогда и не удалось разрешить. Но угроза возымела действие, и маленькая женщина не пыталась больше навязываться своему прежнему покровителю.

Все читали о грустной кончине этого вельможи, происшедшей в Неаполе, спустя два месяца после французской революции 1830 года, когда distinguished Джордж Густав, Маркиз Стайн, Граф Гонт из Гонт-касля, Пэр Ирландии, Виконт Хелборо, Барон Пичли и Грилсби, Кавалер высокоблагородного ордена Подвязки, испанского ордена Золотого Руна, русского ордена Святого Николая первой степени, турецкого ордена Полумесяца, Первый Лорд Пудреной Комнаты и Грум Черной Лестницы, Полковник Гонтского, или Собственного его высочества регента, полка милиции, Попечитель Британского музея, Старший брат гильдии Св. Троицы, Попечитель

колледжа Уайтфрайерс и Доктор гражданского права скончался после ряда ударов, вызванных, по словам газет, потрясением, каким явилось для чувствительной души милорда падение древней французской монархии.

В одной еженедельной газете появился красноречивый перечень добродетелей маркиза, его щедрот, его талантов, его добрых дел. Его чувствительность, его привязанность к славному дому Бурбонов, на родство с которыми он претендовал, были таковы, что он не мог пережить несчастий своих августейших родичей. Тело его похоронили в Неаполе, а сердце — то сердце, что всегда волновали чувства возвышенные и благородные, — отвезли в серебряной урне в Гонт-касль.

— В лице маркиза, — говорил мистер Уэг, — бедняки и изящные искусства потеряли благодетеля и покровителя, общество — одно из самых блестящих своих украшений, Англия — одного из величайших патриотов и государственных деятелей, — и так далее и так далее.

Его завещание долго и энергично оспаривалось, причем делались попытки заставить мадам де Белладонна вернуть знаменитый брильянт, называвшийся «Глаз Иудея», который его светлость всегда носил на указательном пальце и который упомянутая дама якобы сняла с этого пальца после безвременной кончины маркиза. Но его доверенный друг и слуга мосье Фич доказал, что кольцо было подарено упомянутой мадам де Белладонна за два дня до смерти маркиза, точно так же, как и банковые билеты, драгоценности, неаполитанские и французские процентные бумаги и т. д., обнаруженные в секретере его светлости и значившиеся в иске, вчиненном его наследниками этой безвинно опороченной женщине.



ГЛАВА LXV,

полая дел и забав

На следующий день после встречи за игорным столом Джоз разрядился необычайно тщательно и пышно и, не считая нужным хоть слово сказать кому-либо относительно событий минувшей ночи и не спрашивая, не хочет ли кто составить ему компанию, рано отбыл из дому, а вскоре уже наводил справки у дверей гостиницы «Слон». Благодаря празднествам гостиница была полна народу, за столиками на улице уже курили и распивали местное легкое пиво, общие помещения тонули в облаках дыма. Мистера Джоза, с важным видом спросившего на своем ломаном немецком языке, где ему найти интересующую его особу, направили на самый верх дома — выше комнат бельэтажа, где жило несколько странствующих торговцев, устроивших там выставку своих драгоценностей и парчи: выше апартаментов третьего этажа, занятых штабом игорной фирмы; выше номеров четвертого

этажа, снятых труппой знаменитых цыганских вольтижеров и акробатов; еще выше — к маленьким каморкам на чердаке, где среди студентов, коммивояжеров, разносчиков и поселян, приехавших в столицу на празднества, Бекки нашла себе временное гнездышко — самое грязное убежище, в каком когда-либо скрывалась красота.

Бекки нравилась такая жизнь. Она была на дружеской ноге со всеми постояльцами — с торговцами, игроками, акробатами, студентами. У нее была беспокойная, ветреная натура, унаследованная от отца и матери — истых представителей богемы и по вкусам своим и по обстоятельствам жизни. Если под рукой не было какого-нибудь лорда, Бекки с величайшим удовольствием болтала с его курьером. Шум, оживление, пьянство, табачный дым, гомон евреев-торговцев, важные, спесивые манеры нищих акробатов, жаргон заправил игорного дома, пение и буйство студентов — весь этот неумолчный гам и крик, царивший в гостинице, и веселил и забавлял маленькую женщину, даже когда ей не везло и нечем было заплатить по счету. Тем милее была ей вся эта суeta теперь, когда кошелек у нее был набит деньгами, которые маленький Джорджи выиграл ей накануне вечером.

Когда Джоз, отдуваясь, одолел последнюю скрипучую лестницу и, едва переводя дух, остановился на верхней площадке, а затем, отерев с лица пот, стал искать № 92, — дверь в комнату напротив, № 90, была открыта, и какой-то студент в высоких сапогах и грязном шлафроке лежал на кровати, покуривая длинную трубку, а другой студент, с длинными желтыми волосами и в расштой шнурами куртке, чрезвычайно изящной и тоже грязной, стоял на коленях у двери № 92 и выкрикивал через замочную скважину мольбы, обращенные к особе, находившейся в комнате.

— Уходите прочь, — произнес знакомый голос, от которого Джоза пронизала дрожь. — Я жду кое-кого... Я жду моего дедушку. Нельзя, чтобы он вас здесь застал.

— Ангел Engländerin! ¹ — вопил коленопреклоненный студент с белобрысой головой и с большим кольцом на пальце. — Сжальтесь над нами! Назначьте свидание! Отобедайте со мной и Фрицем в гостинице в парке. Будут

¹ Англичанка (немецк.).

жареные фазаны и портер, плумпудинг и французское вино. Мы умрем, если вы не согласитесь!

— Обязательно умрем! — подтвердил юный дворянин на кровати.

Этот разговор и услышал Джоз, хотя не понял ни слова по той простой причине, что никогда не изучал языка, на котором он велся.

— Newmero kattervang dooze, si vous plait ¹, — сказал Джоз тоном вельможи, когда обрел, наконец, дар речи.

— Quater fang tooce! — повторил студент и, вскочив на ноги, ринулся в свою комнату; дверь захлопнулась, и до Джоза донесся громкий взрыв хохота.

Бенгальский джентльмен стоял неподвижно, озадаченный этим происшествием, как вдруг дверь № 92 сама собою отворилась и из комнаты выглянуло личико Бекки, полное лукавства и задора. Взгляд ее упал на Джоза.

— Это вы? — сказала она, выходя в коридор. — Как я ждала вас! Стойте! Не входите... через минуту я вас приму.

За эту минуту она сунула к себе в постель баночку румян, бутылку коньяку и тарелку с колбасой, наскоро пригладила волосы и, наконец,пустила своего гостя.

Ее утренним нарядом было розовое домино, немножко выцветшее и грязноватое, местами запачканное помадой. Но широкие рукава не скрывали прекрасных, ослепительно белых рук, а пояс, которым была перехвачена ее тонкая талия, выгодно подчеркивал изящную фигуру. Бекки за руку ввела Джоза к себе в каморку.

— Входите! — сказала она. — Входите, и давайте побеседуем. Садитесь вот здесь. — И, слегка пожав руку толстому чиновнику, она со смехом усадила его на стул. Сама же уселась на кровать — конечно, не на бутылку и тарелку, на которых мог бы расположиться Джоз, если бы он вздумал занять это место. И вот, сидя там, Бекки начала болтать со своим давнишним поклонником.

— Как мало годы изменили вас! — сказала она, бросив на Джоза взгляд, полный нежного участия. — Я узнала бы вас где угодно; как приятно, живя среди чужих

¹ Номер девяносто второй, пожалуйста! (ломаный французский).

людей, опять увидеть честное, открытое лицо старого друга.

Если сказать правду, честное, открытое лицо выражало в этот момент что угодно, но только не прямодушие и честность. Наоборот, оно было весьма смущенным и озадаченным. Джоз оглядел странную комнатку, в которой нашел свою былую пассию. Одно из ее платьев висело на спинке кровати, другое свешивалось с гвоздя, вбитого в дверь; шляпка наполовину загораживала зеркало, а на подзеркальнике валялись очаровательные башмачки бронзового цвета. На столике у кровати лежал французский роман рядом со свечою — не восковой. Бекки собиралась было сунуть и ее в постель, но спрятала туда только бумажный колпачок, которым тушила свечку, отходя ко сну.

— Да, я узнала бы вас где угодно, — продолжала она: — женщина никогда не забывает некоторых вещей. А вы были первым мужчиной, которого я когда-либо... когда-либо видела!

— Да неужели? — произнес Джоз. — Разрази меня господь, не может быть, да что вы говорите!

— Когда я приехала к вам из Чизвика вместе с вашей сестрой, я была еще совсем ребенком, — сказала Бекки. — Как поживает моя ненаглядная милочка? О, ее муж был ужасно испорченный человек, и, конечно, бедняжка ревновала его ко мне. Как будто я обращала на него внимание, когда существовал кто-то другой... но нет... не будем говорить о былом. — И она провела по ресницам носовым платочком с разодранными кружевами.

— Разве не странно, — продолжала она, — найти в таком месте женщину, которая жила в совершенно другом мире? Я перенесла столько горя и несчастий, Джозеф Седли! Мне пришлось так ужасно страдать, что иногда я просто с ума сходила! Я нигде не могу отдохнуть, я должна вечно скитаться, не зная ни покоя, ни счастья. Все мои друзья меня предали — все до одного. Нет на свете честных людей. Я была верной, безупречной женой, хотя и вышла замуж назло, потому что кто-то другой... но не будем об этом вспоминать! Я была верна ему, а он надо мной надругался и бросил меня. Я была нежнейшей матерью, у меня было только одно дитя, одна любовь, одна надежда, одна радость, его я прижимала к своему сердцу со всей нежностью матери, он был моей жизнью, моей

молитвой, моим... моим благословением... и они... они отняли его у меня... отняли у меня! — И жестом, исполненным отчаяния, она прижала руку к сердцу и на минуту зарылась лицом в постель.

Бутылка с коньяком, лежавшая под одеялом, звякнула о тарелку с остатками колбасы. Обе, несомненно, были растроганы проявлением столь сильного горя. Макс и Фриц стояли за дверью, с удивлением прислушиваясь к рыданиям миссис Бекки. Джоз также порядком перепугался, увидев свою былую пассивность в таком состоянии. И тут она начала излагать свою историю — повесть столь бесхитростную, правдивую и простую, что, слушая ее, становилось совершенно ясно: если когда-либо ангел, облаченный в белоснежные ризы, спускался с небес и здесь, на земле, становился жертвой коварных происков и сатанинской злобы, то это незапятнанное создание, эта несчастная непорочная мученица находилась в ту минуту перед Джозом — сидела на постели на бутылке с коньяком.

Между ними произошел очень долгий, дружеский и конфиденциальный, разговор, во время которого Джоз Седли был осведомлен о том (но так, что это его ничуть не испугало и не обидело), что сердце Бекки впервые научилось трепетать в присутствии его, несравненного Джоза Седли; что Джордж Осборн, конечно, ухаживал за ней без всякой меры и это могло возбудить ревность Эмилии и привело к их небольшой размолвке; но что Бекки решительно никогда и ничем не поощряла несчастного офицера и не переставала помышлять о Джозе с первого дня, как его увидела, хотя, разумеется, долг и обязанности замужней женщины она ставила превыше всего и всегда соблюдала и будет соблюдать до своего смертного часа или до тех пор, пока вошедший в разговор дурной климат той местности, где проживает полковник Кроули, не освободит ее от ярма, которое жестокость мужа сделала для нее невыносимым.

Джоз отправился домой, вполне убежденный в том, что Ребекка не только самая очаровательная, но и самая добродетельная женщина, и уже перебирал в уме всевозможные планы для устройства ее благополучия. Гонениям на Ребекку должен быть положен конец; она должна вернуться в общество, украшением которого призвана

служить. Он посмотрит, что нужно будет сделать. Она должна выехать из этой скверной гостиницы и поселиться в тихой, спокойной квартире. Эмилия должна навестить ее и приласкать. Он все это уладит и посоветуется с майором. Бекки, расставаясь с Джозом, вытирала слезу прочувствованной благодарности и пожала ему руку, когда галантный толстяк наклонился, чтобы поцеловать ее пальчики.

Бекки проводила Джоза из своей каморки так церемонно, словно была владельницей родового замка; а когда грузный джентльмен исчез в пролете лестницы, Макс и Фриц вышли из своей норы с трубками в зубах, и Бекки принялась потешаться, изображая им Джоза, а заодно жевала черствый хлеб и колбасу и прихлебывала свой излюбленный коньяк, слегка разведенный водой.

Джоз торжественно направился на квартиру к Доббину и там поведал ему трогательную историю, с которой только что ознакомился, не упомянув, однако, о том, что произошло за игорным столом накануне вечером. И в то время как миссис Бекки заканчивала свой прерванный *déjeuner à la fourchette*¹, оба джентльмена стали совещаться и обсуждать, чем они могут быть ей полезны.

Какими судьбами попала она в этот городок? Как случилось, что у нее нет друзей и она скитается по свету одна-одинешенька? Маленькие мальчики в школе знают из начального учебника латинского языка, что по Авернской тропинке очень легко спускаться*. Обойдем же молчанием этот этап постепенного падения Ребекки. Она не стала хуже, чем была в дни своего благоденствия, — просто от нее отвернулось счастье.

Что же касается миссис Эмилии, то она была женщиной с таким мягким и нелепым характером, что стоило ей услышать о чьем-либо несчастье, как она всем сердцем тянулась к страдальцу. А так как сама она никогда не помышляла ни о каких смертных грехах и не была в них повинна, то и не чувствовала того отвращения к пороку, которым отличаются более осведомленные моралисты. Если она безнадежно избаловывала всех, кто находился вблизи нее, своим вниманием и лаской; если она просила

¹ Легкий завтрак (франц.).

прощенья у своей служанки за то, что побеспокоила ее звонком; если она извинялась перед приказчиком, показывавшим ей кусок шелка, или приседала перед метельщиком улиц, поздравляя его с прекрасным состоянием доверенного ему перекрестка, — а Эмилия, пожалуй, была способна на любую такую глупость, — то весть о том, что ее старая знакомая в нужде, конечно же должна была тронуть ее сердце; о том же, что кто-нибудь может быть наказан по заслугам, она и слышать не хотела. В мире, где законы издавала бы Эмилия, вероятно было бы не очень удобно жить. Но мало встречается женщин, подобных Эмилии, — во всяком случае среди правителей! Мне кажется, эта леди упразднила бы все тюрьмы, наказания, кандалы, плети, нищету, болезни, голод. Она была созданием столь ограниченным, что, — мы вынуждены это признать, — могла даже позабыть о нанесенном ей смертельном оскорблении.

Когда майор Доббин услышал от Джоза о сентиментальном приключении, которое последний только что пережил, он, скажем прямо, не проявил к нему такого же интереса, как наш бенгальский джентльмен. Наоборот, волнение его было отнюдь не радостным; он выразился кратко, но не вполне пристойно по адресу бедной женщины, попавшей в беду:

— Значит, эта вертихвостка опять объявилась?

Он всегда ее недолюбливал и не доверял ей с тех пор, как она впервые глянула на него своими зелеными глазами и отвернулась, встретившись с его взглядом.

— Этот чертенок приносит с собою зло всюду, где только ни появится, — непочтительно заявил майор. — Кто знает, какую она вела жизнь и чем занимается здесь, за границей, совсем одна? Не говорите мне о гонениях и врагах; у честной женщины всегда есть друзья, и она никогда не разлучается со своей семьей. Почему она оставила мужа? Может быть, он и был скверным, бесчестным человеком, как вы рассказываете. Он всегда был таким. Я отлично помню, как этот плут заманивал и надувал беднягу Джорджа. Кажется, был какой-то скандал в связи с их разводом? Как будто я что-то слышал! — воскликнул майор Доббин, не очень-то интересовавшийся светскими сплетнями.

И Джоз тщетно старался убедить его, что мисси́с

Бекки во всех отношениях добродетельная и безвинно обиженная женщина.

— Ну, ладно, ладно! Давайте спросим миссис Джордж, — сказал наш архидипломат майор. — Пойдемте к ней и посоветуемся с *нею*. Вы согласитесь, что она-то хороший судья в таких делах.

— Гм! Эмми, пожалуй, годится, — сказал Джоз, который не был чрезмерно увлечен своей сестрой.

— Пожалуй, годится? Черт возьми, сэр, она самая лучшая женщина, какую я только встречал в своей жизни! — выпалил майор. — Одним словом, идемте к ней и спросим у нее, следует ли видаться с этой особой. Как она скажет, так и будет.

Этот противный, хитрый майор не сомневался, что играет наверняка. Он помнил, что одно время Эмми отчаянно и с полным основанием ревновала к Ребекке и никогда не упоминала ее имени без содрогания и ужаса. «Ревнивая женщина никогда не прощает», — думал майор. И вот наши два рыцаря направились через улицу к дому миссис Джордж, где та беспечно распевала романсы со своей учительницей мадам Штрумф.

Когда эта дама удалилась, Джоз приступил к делу с обычной своей высокопарностью.

— Дорогая моя Эмилия, — сказал он. — Со мной только что произошло совершенно необычайное... да... разрази меня господь... совершенно необычайное приключение. Один твой старый друг... да, весьма интересный старый друг, — друг, могу сказать, со стародавних пор, — только что прибыл сюда, и мне хотелось бы, чтобы ты с *нею* повидалась.

— С *нею*! — воскликнула Эмилия. — А кто это? Майор Доббин, не ломайте, пожалуйста, мои ножницы.

Майор крутил их, держа за цепочку, на которой они иногда висели у пояса хозяйки, и тем самым подвергал серьезной опасности свои глаза.

— Это женщина, которую я очень не люблю, — угрюмо заметил майор, — и которую вам также не за что любить.

— Это Ребекка, я уверена, что это Ребекка! — сказала Эмилия, краснея и приходя в сильнейшее волнение.

— Вы правы, как всегда, правы, — ответил Доббин. Брюссель, Ватерлоо, старые-старые времена, горести,

муки, воспоминания сразу ожили в нежном сердце Эмилии.

— Я не хочу ее видеть, — продолжала она. — Не могу.

— Что я вам говорил? — сказал Доббин Джозу.

— Она очень несчастна и... всякая такая штука, — настаивал Джоз. — Она в страшной бедности, беззащитна... и болела... ужасно болела... и этот негодяй муж ее бросил.

— Ах! — воскликнула Эмилия.

— У нее нет ни одного друга на свете, — продолжал Джоз не без догадливости, — и она говорила, что она думает, что может довериться тебе. Она такая жалкая, Эмми! Она чуть с ума не сошла от горя. Ее рассказ страшно меня взволновал... честное слово, взволновал... могу сказать, что никогда еще такие ужасные гонения не переносились столь ангельски терпеливо. Семья поступила с ней крайне жестоко.

— Бедняжка! — сказала Эмилия.

— И она говорит, что если она не найдет дружеской поддержки, то, наверно, умрет, — продолжал Джоз тихим, дрожащим голосом. — Разрази меня господь! Ты знаешь, она покушалась на самоубийство! Она возит с собой опиум.. я видел пузырек у нее в комнате... такая жалкая комнатка... в третьеразрядной гостинице «Слон», под самой крышей, на самом верху. Я ходил туда.

Повидимому, это не произвело впечатления на Эмми. Она даже улыбнулась слегка. Быть может, она представила себе, как Джоз пыхтел, взбираясь по лестнице.

— Она просто убита горем, — снова начал он. — Страшно слушать, какие страдания перенесла эта женщина. У нее был мальчуган, ровесник Джорджи.

— Да, да, я как будто припоминаю, — заметила Эмми. — Ну и что же?

— Красивейший ребенок, — сказал Джоз, который, как все толстяки, легко поддавался сентиментальному волнению и был сильно растроган повестью Ребекки, — сущий ангел, обожавший свою мать. Негодяи вырвали рыдающего ребенка из ее объятий и с тех пор не позволяют ему видеться с нею.

— Дорогой Джозеф, — воскликнула Эмилия, вскакивая с места, — идем к ней сию же минуту!

И она бросилась к себе в спальню, впопыхах завязала

шляпку и, выбежав с шалью на руке, приказала Доббину идти с ними.

Доббин подошел и накинул ей на плечи шаль — белую кашемировую шаль, которую сам прислал ей из Индии. Он понял, что ему остается только повиноваться. Эмилия взяла его под руку, и они отправились.

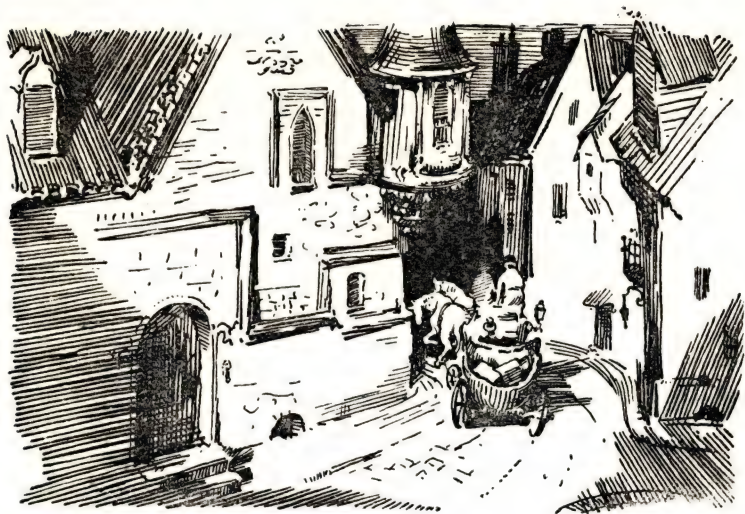
— Она в номере девяносто втором, до него восемь маршей, — сказал Джоз, вероятно не чувствовавший большой охоты опять подниматься под крышу. Он поместился у окна своей гостиной, выходящего на площадь, на которой стоит «Слон», и наблюдал, как наша парочка шла через рынок.

Хорошо, что Бекки тоже увидела их со своего чердака, где она балагурила и смеялась с двумя студентами. Те подшучивали над наружностью дедушки Бекки, прибытие и отбытие которого видели сами, но Бекки успела выпроводить их и привести в порядок свою комнатку, прежде чем владелец «Слона», знавший, что миссис Осборн жалуют при светлейшем дворе, и потому относившийся к ней с почтением, поднялся по лестнице, подбодря миледи и герра майора на крутом подъеме.

— Милостивая леди, милостивая леди! — сказал хозяин, постучавшись в дверь к Бекки (накануне еще он называл ее просто мадам и обращался с нею без всяких церемоний).

— Кто там? — спросила Бекки, высовывая голову, и тихо вскрикнула. Перед нею стояла трепещущая Эмми и Доббин, долговязый майор с бамбуковой тростью.

Он стоял молча и наблюдал, весьма заинтересованный этой сценою; но Эмми с распростертыми объятиями бросилась к Ребекке, и тут же простила ее, и обняла, и поцеловала от всего сердца. Ах, несчастная женщина, когда запечатлевались на твоих губах такие чистые поцелуи?



ГЛАВА LXVI

*Amantium irac*¹

Прямодушие и доброта, проявленные Эмилией, способны были растрогать даже такую закоренелую нечестивицу, как Бекки. На ласки и нежные речи Эмми она отвечала с чувством, очень похожим на благодарность, и с волнением, которое хотя и длилось недолго, но в то мгновение было почти что искренним. Рассказ о «рыдающем ребенке, вырванном из ее объятий», оказался удачным ходом со стороны Ребекки. Описанием этого душераздирающего несчастья она вернула себе расположение подруги, и, конечно, оно же послужило одной из первых тем, на которые наша глупенькая Эмми заговорила со своей вновь обретенной приятельницей.

— Значит, они отняли у тебя твое милое дитя! — воскликнула наша простушка. — Ах, Ребекка, дорогой мой

¹ Гнев влюбленных (лат.), — начало известного выражения из комедии римского драматурга Теренция: «Гнев влюбленных есть возобновление любви».

друг, бедная страдальца! Я знаю, что значит потерять сына, и могу сочувствовать тем, кто утратил его. Но, даст бог, твой сын будет возвращен тебе, так же как милосердное провидение вернуло мне моего мальчика.

— Дитя, мое дитя? О да, страдания мои были ужасны, — подтвердила Бекки, ощутив, однако, мимолетное чувство стыда. Ей стало как-то не по себе при мысли, что в ответ на такое полное и простодушное доверие она вынуждена сразу же начать со лжи. Но в том-то и беда тех, кто хоть раз покривил душой! Когда одна небылица принимается за правду, приходится выдумывать другую, чтобы не подорвать доверия к выданным раньше векселям; и таким образом количество лжи, пущенной в обращение, неизбежно увеличивается, и опасность разоблачения растет с каждым днем.

— Когда меня разлучили с сыном, — продолжала Бекки, — мои страдания были ужасны (надеюсь, она не сядет на бутылку!). Я думала, что умру... К счастью, у меня открылась горячка, так что доктор уже потерял надежду на мое выздоровление. Но я... выздоровела, и... вот я здесь, в бедности и без друзей.

— Сколько ему лет? — спросила Эмми.

— Одиннадцать, — ответила Бекки.

— Одиннадцать! — воскликнула гостя. — Но как же так? Ведь он родился в один год с Джорджи, а Джорджи...

— Я знаю, знаю! — воскликнула Бекки, которая совершенно не помнила возраста маленького Родона. — От горя я много чего перезабыла, дорогая моя Эмилия. Я очень сильно изменилась, иной раз совсем как безумная. Ему было одиннадцать, когда его отняли у меня. Да благословит господь его милую головку! Я его с тех пор не видела.

— Он белокурый или темненький? — продолжала глупышка Эмми. — Покажи мне его волосы.

Бекки чуть не расхохоталась над ее наивностью.

— Не сегодня, голубчик... когда-нибудь в другой раз, когда придут из Лейпцига мои сундуки, — ведь я оттуда приехала. Я покажу тебе и портрет его, который сама нарисовала еще давно, в счастливую пору.

— Бедная Бекки, бедная Бекки! — сказала Эмми. — Как же я-то должна быть благодарна! (Хотя это благо-

честивое правило, внушаемое нам нашими родственницами с юных лет, — благодарить всевышнего за то, что нам гораздо лучше, чем кому-то другому, не кажется мне особенно разумным.) — И тут она, по своему обыкновению, подумала о том, что сын ее самый красивый, самый добрый и самый умный мальчик во всем свете.

— Вот ты увидишь моего Джорджи! — Лучше этого Эмми ничего не могла придумать для утешения Бекки. Уж если что может ее успокоить, так только это!

Так обе женщины беседовали в течение часа или больше, и за это время Бекки успела полно и обстоятельно изложить подруге историю своей жизни. Она поведала Эмми, что семья мужа всегда смотрела на их брак с Родоном Кроули в высшей степени враждебно; что ее невестка (злокозненная женщина) настраивала Родона против нее; что муж стал заводить мерзкие связи, а ее совсем разлюбил; что она сносила бедность, пренебрежение, холодность со стороны существа, любимого ею больше всего на свете, — и все это ради счастья ее ребенка; наконец, что ей было нанесено гнуснейшее оскорбление, почему она и была вынуждена уехать от мужа: этот негодяй не постыдился требовать, чтобы она пожертвовала своим добрым именем ради должности, которую мог ему предоставить один весьма важный и влиятельный, но беспринципный человек — маркиз Стайн. Ужаснейший изверг!

Эту часть своей богатой событиями истории Бекки рассказала с величайшей, чисто женской деликатностью и с видом негодующей добродетели. Нанесенное ей оскорбление заставило ее покинуть кров супруга, но негодяй отомстил ей, отняв у нее ребенка. И вот, закончила Бекки, теперь она скиталица — нищая, беззащитная, без друзей и без счастья.

Лица, знакомые с характером Эмми, легко могут себе представить, как она приняла эту историю, рассказанную довольно пространно. Она трепетала от негодования, слушая о поведении злодея Родона и изверга Стайна. Во взгляде ее появлялись знаки восклицания к каждой фразе, в которой Бекки описывала преследования со стороны своих аристократических родственников и охлаждение своего мужа. (Бекки его не порицала. Она говорила о нем скорее горестно, чем злобно. Она любила его

слишком горячо; и разве он не отец ее мальчика!) А когда дело дошло до сцены разлуки с ребенком, Эмми надолго спряталась за своим носовым платочком, так что наша трагическая актриса должна была остаться очень довольна тем, какое впечатление ее игра производит на публику.

Пока дамы были заняты разговором, верный телохранитель Эммии майор (не хотевший, разумеется, мешать их беседе), устал ходить взад-вперед по узкому скрипучему коридорчику, потолок которого ерошил ворс на его шляпе, и, спустившись в нижний этаж гостиницы, попал в большую общую залу «Слона», откуда и шла лестница наверх. Это помещение всегда полно табачного дыма и обильно забрызгано пивом. На грязном столе стоят десятки одинаковых медных подсвечников с сальными свечами для постояльцев, а над подсвечниками рядами висят ключи от комнат. Эмми, когда направлялась к Бекки, покраснела от смущения, проходя через эту комнату, где собрались самые разношерстные люди: тирольские перчаточники и дунайские торговцы полотном со своими тюками; студенты, подкреплявшиеся бутербродами и мясом; бездельники, игравшие в карты или в домино на липких, залитых пивом столах; акробаты, отдохавшие в перерыве между двумя представлениями, — словом, весь *fumus* и *strepitus*¹ немецкой гостиницы в ярмарочное время. Лакей, не дожидаясь заказа, подал майору кружку пива. Доббин вынул сигару и решил развлечься этим губительным зельем и газетою, в ожидании, когда за ним придет вверенная его попечениям особа.

Вскоре по лестнице, позвякивая шпорами, спустились Макс и Фриц в шапочках набекрень и с трубками, раскрашенными гербами и пышными кисточками. Они повесили на доску ключ от № 90, заказали себе порцию бутербродов и пива и, усевшись около майора, завели беседу, отрывки которой долетали до слуха Доббина. Разговор шел главным образом о «фуксах»^{*} и «филистерах», о дуэлях и попойках в соседнем шопенгаузенском университете, прославленном рассаднике просвещения, откуда они только что приехали в *Eilwagen*², повидимому

¹ Дым и шум (лат.).

² В дилижансе (немецк.).

вместе с Бекки, чтобы присутствовать на свадебных торжествах в Пумперникеле.

— Эта маленькая Engländerin, кажется, попала en bays de gonnoissance ¹, — сказал Макс, знавший французский язык, своему товарищу Фрицу. — После ухода толстяка дедушки к ней явилась хорошенькая соотечественница. Я слышал, как они болтали и охали в комнате маляutki.

— Нужно взять билеты на ее концерт, — заметил Фриц. — У тебя есть деньги, Макс?

— Вот еще! — воскликнул тот. — Этот концерт — концерт in pubibus ². Ганс рассказывал, что она и в Лейпциге объявляла о таком концерте, и бурши взяли много билетов. Но она уехала, не выступив. Вчера в карете она рассказывала, что ее пианист заболел в Дрездене. Я уверен, что она просто не умеет петь: голос у нее сипит так же, как у тебя, о пропившаяся знаменитость!

— Да, он у нее сипит; я слышал из окна, как она разделявала какую-то schreckliche ³ английскую балладу, под названием: «De Rose upon de Balgony» ⁴.

— Saufen und singen ⁵ вместе не уживаются, — заметил красноносый Фриц, очевидно предпочитавший первое из этих занятий. — Нет, не нужно брать у нее никаких билетов. Вчера вечером она выиграла в trente et quarante. Я видел ее: она заставила играть за себя какого-то английского мальчугана. Спустим твои денежки там же или в театре, а то угостим ее французским вином или коньяком в саду Аврелия, а билеты брать не к чему... Что скажешь? Еще по кружке пива?

И, по очереди окунув свои белокурые усы в омерзительное пойло, они подкрутили их и отбыли на ярмарку.

Майор, видевший, как вешали на крючок ключ от № 90, и слышавший беседу университетских фатов, не мог не понять, что их разговор относился к Бекки. «Чертенюк, опять она принялась за свои старые штучки!» — подумал он и улыбнулся, вспомнив былые дни, когда он был свидетелем ее отчаянного заигрывания с Джозом и умори-

¹ В среде знакомых (ломаный французский).

² В облаках (лат.).

³ Ужасную (немецк.).

⁴ «Роза на балконе» (ломаный английский);

⁵ Пить и петь (немецк.).

тельного конца этой затеи. Они с Джорджем часто смеялись над этим впоследствии, пока — через несколько недель после женитьбы Джорджа — тот и сам не попал в тенета маленькой Цирцеи и не вошел с ней в какое-то соглашение, о чем товарищ его, конечно, догадывался, но предпочитал не спрашивать. Вильяму было слишком больно или стыдно выведывать эту позорную тайну, но однажды Джордж, видимо в порыве раскаяния, сам намекнул на нее. Было это в утро сражения при Ватерлоо, когда молодые люди стояли вместе на своих позициях, наблюдая сквозь пелену дождя за темными массами французов, занимавших расположенные впереди высоты.

— Я впутался в глупую интригу с одной женщиной, — сказал тогда Джордж. — Хорошо, что мы выступили в поход. Если меня убьют, то Эмми, надеюсь, никогда не узнает об этой истории. Эх, если бы ничего этого не было!

Вильям любил вспоминать и не раз утешал бедную вдову Джорджа рассказами о том, как Осборн, расставшись с женой, в первый день после сражения у Катр-Бра прочувствованно говорил об отце и жене. Это обстоятельство Вильям особенно подчеркивал в своих беседах с Осборном-старшим, и таким образом ему удалось склонить старого джентльмена хотя бы на самом закате дней примириться с памятью покойного сына.

«Итак, эта чертовка все еще продолжает свои козни, — думал Вильям. — Хотел бы я, чтобы она была за сотни миль отсюда! Она всюду приносит с собой зло».

Сжав руками виски и не видя у себя под носом «Пумперникельской газеты» недельной давности, Доббин сидел, погруженный в эти мрачные предчувствия и неприятные мысли, как вдруг кто-то дотронулся зонтиком до его плеча. Доббин поднял голову и увидел миссис Эмилию.

У этой женщины была привычка тиранить майора Доббина (ибо и самому слабому человеку хочется над кем-нибудь властвовать), и она командовала им, заставляла его носить поноску и изредка гладила, словно он был большим ньюфаундленским псом. Ему же нравилось, так сказать, бросаться в воду, когда Эмилия кричала: «Доббин, хоп!», и трусить за нею рысцей, держа в зубах ее ридикюль. Наше повествование не достигло цели, если читатель до сих пор не заметил, что майор был порядочным простофилей.

— Почему вы не дождались меня, сэр, чтобы проводить по лестнице? — сказала она, вздернув головку и насмешливо приседая перед Доббином.

— Я не мог выпрямиться в этом коридоре, — ответил майор, глядя на нее с забавно виноватым выражением и обрадованный возможностью подать Эмили руку и вывести ее из этого ужасного, насквозь прокуренного места. Он вышел бы из гостиницы, даже не вспомнив про лакея, если бы тот не побежал за ним вдогонку, не остановил на пороге «Слона» и не заставил заплатить за пиво, к которому Доббин и не притронулся. Эмми весело смеялась; она заявила, что Доббин гадкий человек — хотел сбежать не расплатившись, и сделала несколько шуточных замечаний по поводу местного пива. Она была в прекрасном расположении духа и проворно перебежала Рыночную площадь. Ей нужно сию же минуту повидаться с Джозом. Майор посмеялся над проявлением таких бурных чувств: в самом деле, не очень часто бывало, чтобы миссис Эмilia хотела увидеть своего брата «сию же минуту».

Они застали коллектора в его гостиной в бельэтаже. Пока Эмми сидела запершись со своей подругой на чердаке, а майор отбивал барабанную дробь на липких столах в общей зале, Джоз, разгуливая по комнате и грызя ногти, то и дело поглядывал через Рыночную площадь на гостиницу «Слон». Ему тоже не терпелось повидаться с миссис Осборн.

— Ну, что же? — спросил он.

— Бедная, несчастная, как она настрадалась! — сказала Эмми.

— О да, разрази меня господь! — произнес Джоз, качая головой, так что его щеки затряслись, словно желе.

— Она займет комнату Пейн, а Пейн может перейти наверх, — продолжала Эмми.

Пейн была степенная англичанка-горничная при особе миссис Осборн. Проводник Кирш, как полагается, ухаживал за нею, а Джордж изводил ее страшными рассказами о немецких разбойниках и привидениях. Занималась она главным образом тем, что ворчала, помыкала своей хозяйкой и грозила завтра же вернуться в свою родную деревню Клепем.

— Она займет комнату Пейн, — сказала Эмми.

— Вы хотите сказать, что собираетесь поселить эту

женщину *у себя в доме?* — выпалил майор, вскочив на ноги.

— Да, собираемся, — ответила Эмилия самым невинным тоном. — Не злитесь и не ломайте мебель, майор Доббин! Конечно, мы собираемся поселить ее здесь.

— Конечно, моя дорогая, — сказал Джоз.

— Бедняжка так намучилась, — продолжала Эмми, — ее ужасный банкир прогорел и сбежал; ее муж — такой негодяй — бросил ее и отнял у нее ребенка! (Тут она стиснула кулачки и выставила их вперед, приняв самую грозную позу. Майор был очарован зрелищем столь отважной воительницы.) Бедная моя, дорогая! Совершенно одна, вынуждена давать уроки пения ради куска хлеба... Как же не устроить ее у нас!

— Берите у нее уроки, дорогая моя миссис Джордж, — воскликнул майор, — но не приглашайте к себе жить! Умоляю вас!

— Вздор! — фыркнул Джоз.

— Вы всегда такой добрый и отзывчивый... во всяком случае вы таким были... я изумляюсь вам, майор Вильям! — вскричала Эмилия. — Когда же и помочь ей, как не сейчас, когда она так несчастна! Теперь-то и нужно оказать ей помощь. Самый старинный друг, какой у меня есть, и не...

— Она не всегда была вам другом, Эмилия, — сказал майор, не на шутку разгневанный.

Этого намека Эмилия не в силах была стерпеть. Взглянув почти с яростью в лицо майору, она сказала:

— Стыдитесь, майор Доббин! — и удалилась из комнаты, захлопнув дверь за собой и за своим оскорбленным достоинством.

— Намекать на это! — воскликнула она, когда дверь закрылась. — О, как это было жестоко с его стороны! — И она взглянула на портрет Джорджа, висевший, как обычно, в ее спальне, над портретом сына. — Это было жестоко. Если я простила, то ему и подавно следовало молчать. И ведь из его же собственных уст я узнала, какой гадкой и необоснованной была моя ревность, и что ты чист... о да! Ты был чист, мой святой, вознесшийся на небеса!

Она прошла по комнате, вся дрожа от негодования. Потом оперлась на комод, над которым висело изображе-

ние мужа, и долго, не отрываясь, смотрела на него. Глаза Джорджа, казалось, глядели на нее с упреком, и взгляд их становился все печальнее. Давние бесценные воспоминания о краткой поре их любви опять нахлынули на нее. Рана, едва затянувшаяся с годами, снова сочилась кровью, — о, как мучительно! Эмилия не в силах была вынести укоризненного взгляда своего мужа. Это невозможно!.. Нет, нет!

Бедный Доббин! Бедный старый Вильям! Одно злосчастное слово уничтожило кропотливый труд многих лет — здание, воздвигнутое бог знает на каких тайных и скрытых основаниях, где таились сокровенные страсти, нескончаемая борьба, неведомые жертвы... Произнесено одно слово — и рушится впрах дивный дворец надежды; одно слово — и прочь улетает птичка, которую Доббин всю свою жизнь старался приманить!

Вильям хотя и видел по выражению лица Эмилии, что наступила решительная минута, однако продолжал в самых энергических выражениях умолять Седли остерегаться Ребекки и горячо заклинал Джоза не принимать ее. Он молил мистера Седли по крайней мере навести о ней справки, рассказал, как ему довелось услышать, что она знается с игроками и всякими подозрительными людьми; напомнил, сколько зла она причинила в былые дни: как она вместе с Кроули обирала бедного Джорджа. Теперь она, по ее же собственному признанию, живет врозь с мужем, — и, быть может, на это есть причины... Как опасно будет ее общество для Эмилии, которая ничего не понимает в житейских делах! Вильям молил Джоза не допускать Ребекку в свою семью со всем красноречием, на какое только был способен, и с гораздо большей энергией, чем обычно выказывал этот невозмутимый джентльмен.

Будь Доббин менее порывист и более ловок, ему, возможно, удалось бы уговорить Джоза, но коллектор немало досадовал на майора, который, как ему казалось, постоянно подчеркивал свое превосходство перед ним (он даже поделился своим мнением с мистером Киршем, проводником, а так как майор Доббин всю дорогу проверял счета мистера Кирша, тот вполне согласился со своим хозяином). И Джоз разразился хвастливой речью

на тему о том, что он сам сумеет защитить свою честь, и просит не вмешиваться в его дела, и не намерен слушать майора... Но тут их разговор — довольно продолжительный и бурный—был прерван самым естественным образом, а именно: появлением миссис Бекки в сопровождении носильщика из гостиницы «Слон», нагруженного тощим багажом гостей.

Она приветствовала хозяина с ласковой почтительностью; майору Доббину, который, как сразу же подсказал ей инстинкт, был врагом и только что пытался восстановить против нее Джоза, она поклонилась дружески, но сдержанно. На шум, вызванный ее прибытием, вышла из своей комнаты Эмми. Она подошла к госте и с жаром расцеловала ее, не обращая внимания на майора, если не считать того, что на него был брошен гневный взгляд, — вероятно, самый презрительный и самый несправедливый взгляд, в каком была повинна эта кроткая маленькая женщина со дня своего рождения. Но у нее имелись на это свои причины, она намерена была продолжать сердиться на Доббина. И Доббин ушел, негодуя на такую несправедливость (а не на свое поражение) и отвесив Эмилии столь же высокомерный поклон, сколь высокомерен был убийственно вежливый реверанс, которым маленькой женщине угодно было с ним попрощаться.

Когда он удалился, Эмми стала особенно оживленной и нежной с Ребеккою и принялась хлопотать и устраивать свою гостью в отведенной для нее комнате с таким пылом и энергией, какие при своем спокойном характере редко обнаруживала. Но когда людям, в особенности людям слабым, нужно совершить какой-нибудь несправедливый поступок, то лучше уж, чтобы он совершился быстро. К тому же Эмми воображала, что своим поведением она выказывает большую твердость и надлежащую любовь и уважение к памяти покойного капитана Осборна.

К обеду явился с гулянья Джордж и увидел, что стол накрыт, как обычно, на четыре прибора, но одно место занято не майором Доббином, а какой-то дамой.

— О! А где Доб? — спросил юный джентльмен, выражаясь, по своему обыкновению, чрезвычайно просто.

— Майор Доббин, должно быть, обедает в городе, — ответила ему мать и, притянув мальчика к себе, осыпала

поцелуями, откинула у него волосы со лба и представила его миссис Кроули.

— Это мой сын, Ребекка! — произнесла миссис Осборн с таким выражением, словно хотела сказать: «Может ли что на свете сравниться с ним?»

Бекки упоенно взглянула на Джорджи и нежно пожала ему руку.

— Милый мальчик! — сказала она. — Как он похож на моего...

Волнение помешало ей договорить, но Эмилия и без слов поняла, что Бекки подумала о своем собственном обожаемом ребенке. Впрочем, общество приятельницы утешило миссис Кроули, и она пообедала с большим аппетитом.

Всякий раз как она что-нибудь говорила, Джорджи внимательно смотрел на нее и прислушивался. За десертом Эмми вышла из-за стола отдать какое-то распоряжение по хозяйству; Джоз дремал в глубоком кресле над номером «Галиньяни»; Джорджи и гостья сидели друг возле друга; мальчик продолжал хитро поглядывать на нее и, наконец, отложил в сторону щипцы для орехов.

— Послушайте, — сказал Джорджи.

— Что такое? — ответила Бекки смеясь.

— Ведь вы та дама, которую я видел в маске за rouge et noir!

— Тс! Ах ты, маленький проказник! — ответила Бекки, беря его за руку и целуя ее. — Твой дядя там тоже был, и твоя мамочка не должна этого знать.

— О нет... ни в коем случае, — ответил мальчуган.

— Видишь, мы уже совсем подружились! — сказала Бекки, обращаясь к Эмми, когда та вернулась в столовую.

Что и говорить, миссис Осборн ввела к себе в дом очень подходящую и милую компаньонку!

Пылая негодованием, хотя еще не зная, сколь гнусная против него замышляется измена, Вильям бесцельно бродил по городу, пока не наткнулся на посланника Тейпворма, который и пригласил его обедать. Во время обеда он как бы невзначай спросил посланника, не знает ли тот чего-нибудь о некоей миссис Родон Кроули, которая, как

ему помнится, наделала немало шуму в Лондоне. И тут Тейпворм, разумеется знакомый со всеми лондонскими сплетнями и к тому же состоявший в родстве с леди Гонт, преподнес ушам изумленного майора такую историю о Бекки и ее супруге, которая совершенно его ошеломила, а заодно сделала возможным наше повествование (ибо за этим-то столом много лет тому назад автор настоящей книги и имел удовольствие слышать этот увлекательный рассказ). Тафто, Стайн, семейство Кроули — все, связанное с Бекки и ее прежней жизнью, — все получило должную оценку в устах язвительного дипломата. Он знал все решительно — и даже больше — обо всем на свете! Словом, он сделал простодушному майору самые изумительные разоблачения. Когда же Доббин сказал, что миссис Осборн и мистер Седли приняли миссис Кроули в свой дом, дипломат расхохотался так, что майора покорило, и заявил, что с тем же успехом можно было бы послать в тюрьму, пригласить оттуда одного или двух из тех джентльменов с бритыми головами и в желтых куртках, которые, скованные попарно, подметают улицы Пумперникеля, предоставить им кров и стол и поручить воспитание этого маленького сорванца Джорджи!

Эти сведения немало изумили и перепугали майора. Еще утром (до свидания с Ребеккой) было решено, что Эмилия отправится вечером на придворный бал. Вот там-то он и поговорит с нею. Майор пошел домой, нарядился в мундир и появился при дворе, надеясь увидеть миссис Осборн. Она не приехала. Когда майор вернулся к себе, все огни в помещении, занятом Седли, были потушены. Доббин не мог повидаться с нею до утра. Уж не знаю, хорошо ли он отдохнул наедине со своей страшной тайной.

Утром, в самый ранний час, какой позволяло приличие, майор послал своего слугу через улицу с записочкой, в которой писал, что ему необходимо побеседовать с Эмилией. В ответ пришло сообщение, что миссис Осборн чувствует себя очень плохо и не выходит из спальни.

Эмилия тоже не спала всю ночь. Она думала все о том же, что волновало ее ум уже сотни раз. Сотни раз, уже готовая сдаться, она отказывалась принести жертву, представлявшуюся ей непосильной. Она не могла решиться, несмотря на его любовь и постоянство, несмотря на свою собственную привязанность, уважение и благо-

дарность. Что проку в благодеяниях? Что проку в постоянстве и заслугах? Один завиток девичьих локонов, один волосок из бакенбард мгновенно перетянет чашку весов, хотя бы на другой лежали все эти достоинства. Для Эмми они не имели большего веса, чем для других женщин. Она подвергала их испытанию... хотела их оттолкнуть... не могла... И теперь безжалостная маленькая женщина нашла предлог и решила стать свободной.

Когда майор был, наконец, допущен к Эмили, то вместо сердечного и нежного приветствия, к какому он привык за столько долгих дней, его встретили вежливым реверансом, и ему была подана затянута в перчатку ручка, которую тотчас же вслед за тем и отдернули.

Ребечка находилась тут же и пошла навстречу майору, улыбаясь и протягивая ему руку. Доббин сделал шаг назад, несколько смутясь.

— Прошу... прошу извинить меня, сударыня,— сказал он,— но я считаю своей обязанностью предупредить вас, что явился сюда не в качестве вашего друга.

— Вздор! О черт, оставим это!—воскликнул встревоженный Джоз, до смерти боявшийся всяких сцен.

— Интересно знать, что может майор Доббин сказать против Ребекки? — произнесла Эмилия тихим, ясным, чуть дрогнувшим голосом и с весьма решительным видом.

— Я не допущу никаких таких вещей у себя в доме! — опять вмешался Джоз.— Повторяю, не допущу. И, Доббин, прошу вас, сэр, прекратите все это!

Он густо покраснел, оглянулся по сторонам и, дрожа и пыхтя, направился к двери своей комнаты.

— Дорогой друг,— произнесла Ребекка ангельским голосом,— выслушайте, что майор Доббин имеет сказать против меня.

— Я не желаю этого слушать! — взвизгнул Джоз срывающимся голосом и, подобрав полы своего халата, удалился.

— Остались только две женщины,— сказала Эмилия.— Теперь вы можете говорить, сэр!

— Такое обращение со мной едва ли подобает вам, Эмилия, — высокомерно ответил майор, — и, я думаю, мне никто не поставит в вину грубого обращения с женщинами. Мне не доставляет никакого удовольствия исполнять тот долг, который привел меня сюда.

— Так, пожалуйста, исполните его поскорее, прошу вас, майор Доббин,— сказала Эмилия, раздражаясь все больше и больше. Выражение лица у Доббина, когда она заговорила так повелительно, было не из приятных.

— Я пришел сказать... и раз вы остались здесь, миссис Кроули, то мне приходится говорить в вашем присутствии... что я считаю вас... что вам не подобает быть членом семейства моих друзей. Общество женщины, живущей врозь со своим мужем, путешествующей под чужим именем, посещающей публичные азартные игры...

— Я приехала туда на бал! — воскликнула Бекки.

— ...не может быть подходящим для миссис Осборн и ее сына,— продолжал Доббин.— И я могу прибавить, что здесь есть люди, которые вас знают и заявляют, что им известны такие вещи о вашем поведении, о которых я даже не желаю говорить в присутствии... в присутствии миссис Осборн.

— Вы избрали очень скромный и удобный вид клеветы, майор Доббин,— сказала Ребекка.— Вы оставляете меня под тяжестью обвинения, которого в сущности говоря даже не предъявили. В чем же оно состоит? Я неверна мужу? Неправда! Пусть кто угодно попробует доказать это, хотя бы вы сами! Моя честь так же незапятнана, как и честь тех, кто чернит меня по злобе. Может быть, вы обвиняете меня в том, что я бедна, всеми покинута, несчастна? Да, я виновна в этих преступлениях, и меня наказывают за них каждый день. Позволь мне уехать, Эмми. Стоит только предположить, что я с тобой не встречалась, и мне будет не хуже сегодня, чем было вчера. Стоит только предположить, что ночь прошла и бедная страдалница снова пустилась в путь... Помнишь песенку, которую мы певали в былые дни — милые былые дни? Я с тех самых пор скитаюсь по свету — бедная, отверженная, презираемая за свои несчастья и оскорбляемая, потому что я одинока. Позволь мне уехать: мое пребывание здесь мешает планам этого джентльмена!

— Да, сударыня, мешает,— сказал майор.— Если мое слово что-нибудь значит в этом доме...

— Ничего оно не значит! — перебила Эмилия.— Ребекка, ты останешься со мной. Я-то тебя не покину из-за того, что все тебя преследуют, и не оскорблю из-за того...

из-за того, что майору Доббину заблагорассудилось так поступить. Пойдем отсюда, милочка!

И обе женщины направились к двери.

Вильям распахнул ее. Однако, когда дамы выходили из комнаты, он взял Эмилию за руку и сказал:

— Пожалуйста, останьтесь на минуту поговорить со мной!

— Он не хочет говорить с тобой при мне,— сказала Бекки с видом мученицы. Эмилия в ответ стиснула ей руку.

— Клянусь честью, я намерен говорить не о вас,— сказал Доббин.— Эмилия, вернитесь! — И она вернулась. Доббин отвесил поклон миссис Кроули, затворяя за нею дверь. Эмилия глядела на него, прислонившись к зеркалу. Лицо и губы у нее побелели.

— Я был взволнован, когда говорил здесь давеча,— начал майор после короткого молчания,— и напрасно упомянул о своем значении в вашем доме.

— Совершенно верно,— сказала Эмилия; зубы у нее стучали.

— Во всяком случае, у меня есть право на то, чтобы меня выслушали,— продолжал Доббин.

— Это великодушно — напоминать, что мы вам многим обязаны! — ответила Эмми.

— Право, которое я имею в виду, предоставлено мне отцом Джорджа,— сказал Вильям.

— Да! А вы оскорбили его память. Оскорбили вчера. Вы сами это знаете. И я вам никогда этого не прощу... никогда! — сказала Эмилия.

Каждая короткая гневная фраза звучала как выстрел.

— Так вот вы о чем, Эмилия! — грустно отвечал Вильям.— Вы хотите сказать, что эти нечаянно вырвавшиеся слова могут перевесить преданность, длившуюся целую жизнь? Мне кажется, что память Джорджа ни в чем не была оскорблена мною, и если уж нам начать обмениваться упреками, то я во всяком случае не заслуживаю ни одного от вдовы моего друга, матери его сына. Подумайте над этим потом, когда... когда у вас будет время,— и ваша совесть отвергнет подобное обвинение. Да она уже и сейчас его отвергает!

Эмилия поникла головой.

— Не моя вчерашняя речь взволновала вас,— продол-

жал Доббин.— Это только предлог, Эмилия, или я зря любил вас и наблюдал за вами пятнадцать лет! Разве я не научился за это время читать все ваши чувства и заглядывать в ваши мысли? Я знаю, на что способно ваше сердце: оно может быть верным воспоминанию и лелеять мечту, но оно не способно чувствовать такую привязанность, какая была бы достойным ответом на мою любовь и какой я мог бы добиться от женщины более великодушной. Нет, вы не стоите любви, которую я вам дарил! Я всегда знал, что награда, ради которой я бился всю жизнь, не стоит труда; что я был просто глупцом и фантазером, выменивавшим всю свою верность и пыл на жалкие остатки вашей любви. Я прекращаю этот торг и удаляюсь. Я вас ни в чем не виню. Вы очень добры и сделали все, что было в ваших силах. Но вы не могли... не могли подняться до той привязанности, которую я питал к вам и которую с гордостью разделила бы более возвышенная душа. Прощайте, Эмилия! Я наблюдал за вашей борьбой. Надо ее кончать: мы оба от нее устали.

Эмилия стояла безмолвная, испуганная тем, как внезапно Вильям разорвал цепи, которыми она его удерживала, и заявил о своей независимости и превосходстве. Он так долго был у ее ног, что бедняжка привыкла попить его. Ей не хотелось выходить за него замуж, но хотелось его сохранить. Ей не хотелось ничего ему давать, но хотелось, чтобы он отдавал ей все. Такие сделки нередко заключаются в любви.

Вылазка Вильяма совершенно опрокинула и разбила ее. Ее же атака еще раньше потерпела неудачу и была отражена.

— Должна ли я понять это в том смысле, что вы... что вы уезжаете... Вильям? — сказала она.

Он печально рассмеялся.

— Я уезжал уже однажды и вернулся через двенадцать лет. Мы были молоды тогда, Эмилия. Прощайте. Я потратил достаточную часть своей жизни на эту игру.

Пока они разговаривали, дверь в комнату миссис Осборн все время была приоткрыта: Бекки держалась за ручку и повернула ее в тот момент, когда Доббин отпустил ее. Поэтому она слышала каждое слово приведенного выше разговора. «Какое благородное сердце у этого

человека,— подумала она,— и как бесстыдно играет им эта женщина!» Бекки восхищалась Доббином; она не питала к нему зла за то, что он выступил против нее. Это был ход, сделанный честно, в открытую. «Ах,— подумала она,— если бы у меня был такой муж... человек, наделенный сердцем и умом! Я бы и не посмотрела на его большие ноги!..» И, быстро что-то сообразив, Ребекка убежала к себе и написала Доббину записочку, умоляя его остаться на несколько дней... отложить отъезд... она может оказать ему услугу в деле с Э.

Разговор был окончен. Еще раз бедный Вильям дошел до двери — и на этот раз удалился. А маленькая вдовушка, виновница всей этой кутерьмы, добилась своего, одержала победу,— и теперь ей оставалось по мере сил наслаждаться плодами этой победы. Пусть дамы позавидуют ее триумфу!

В романтический час обеда появился мистер Джорджи и снова обратил внимание на отсутствие «старого Доба». Обед прошел в полном молчании. Аппетит Джоза не уменьшился, но Эмми ни к чему не притрагивалась.

После обеда Джорджи развалился на подушках дивана у большого старинного окна фонарем, выходившего на Рыночную площадь, где находится гостиница «Слон»; мать сидела рядом с сыном и что-то шила. Вдруг мальчик заметил признаки движения в доме майора на другой стороне улицы.

— Смотрите! — воскликнул он. — Вот рыдван Доба... его выкатили со двора.

«Рыдваном» назывался экипаж, приобретенный майором за шесть фунтов стерлингов. Все вечно потешались над ним по поводу этой покупки.

Эмми слегка вздрогнула, но ничего не сказала.

— Вот так штука! — продолжал Джорджи. — Фрэнсис выходит с чемоданами, а по площади идет Кунц, одноглазый форейтор, и ведет трех Schimmels¹. Посмотрите-ка на его сапоги и желтую куртку: чем не чучело? Что такое? Они запрягают лошадей в экипаж Доба? Разве он куда-нибудь уезжает?

— Да,— сказала Эмми,— он уезжает в путешествие.

— В путешествие? А когда он вернется?

¹ Белых, или сивых, лошадей (немецк.).

— Он... он не вернется,— ответила Эмми.

— Не вернется!— воскликнул Джорджи, вскакивая на ноги.

— Оставайтесь здесь, сэр! — взревел Джоз.

— Остаься, Джорджи! — произнесла мать, и лицо ее было печально.

Мальчик остановился, потом начал прыгать по комнате, то вскакивая коленями на подоконник, то спрыгивая на пол и выказывая все признаки беспокойства и любопытства.

Лошади были впряжены. Багаж увязан. Фрэнсис вышел из дому с хозяйской саблей, тростью и зонтиком, связанными вместе, и уложил их в багажный ящик, а письменный прибор и старую жестяную коробку для треугольной шляпы поставил под сиденье. Вынес Фрэнсис и старый синий плащ на красной камлотовой подкладке, который не раз за эти пятнадцать лет укутывал своего владельца и *hat manchen Sturm erlebt*¹, как говорилось в популярной песенке того времени. Он был куплен для ватерлооской кампании и укрывал Джорджа и Вильяма после ночной битвы у Катр-Бра.

Показался старик Бурке, хозяин квартиры, затем Фрэнсис еще с какими-то пакетами... последними пакетами... затем вышел майор Вильям. Бурке хотел расцеловаться с ним, — майора обожали все, с кем он имел дело. С большим трудом удалось ему избавиться от таких проявлений приязни.

— Ей-богу, я пойду! — завизжал Джорджи.

— Передай ему вот это! — сказала Бекки, с интересом наблюдавшая за приготовлениями к отъезду, и сунула мальчику в руку какую-то бумажку. Тот стремглав ринулся вниз по лестнице и мигом перебежал улицу; желтый форейтор уже пощелкивал тихонько бичом.

Вильям, освободившись от объятий хозяина, усаживался в экипаж. Джорджи вскочил вслед за ним, обвил руками его шею (это хорошо было видно из окна) и сыпал его вопросами. Затем он порывлся в жилетном кармане и передал Доббину записку. Вильям торопливо схватил ее и вскрыл дрожащими руками, но выражение его лица тотчас изменилось, он разорвал бумажку попо-

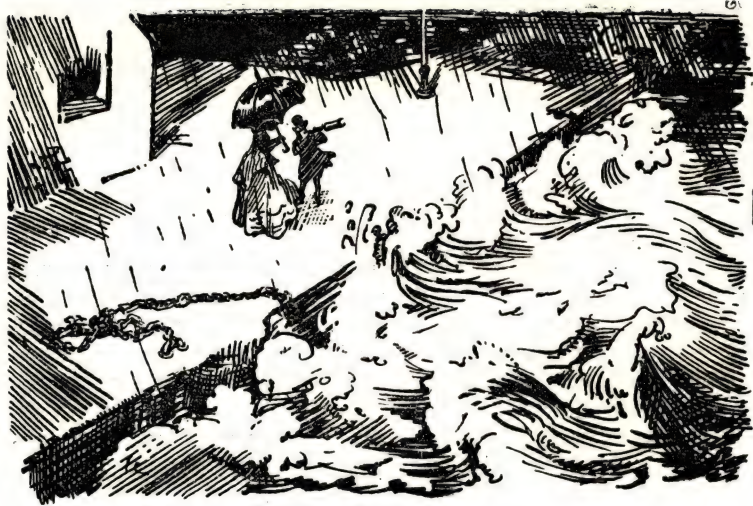
¹ Испытал не мало бурь (немецк.).

лам и выбросил ее из экипажа. Потом поцеловал Джорджи в голову, и мальчик с помощью Фрэнсиса вылез из коляски, утирая глаза кулаками. Он не отходил, держась рукой за дверцу. Fort Schwager! ¹ Желтый фореитор яростно защелкал бичом, Фрэнсис вскочил на козлы, лошади тронули. Доббин сидел понутив голову. Он так и не поднял глаз, когда проезжал под окнами Эмилии. А Джорджи, оставшись один на улице, залился громким плачем на глазах у всех.

Ночью горничная Эмми слышала, как он опять рыдал и всхлипывал, и принесла ему засахаренных абрикосов, чтобы утешить его. Она тоже поплакала вместе с ним. Все бедные, все смиренные, все честные, все хорошие люди, знавшие майора, любили этого доброго и простого джентльмена.

А что касается Эмилии, то разве она не исполнила своего долга? Ей в утешение остался портрет Джорджа.

¹ Погоняй, ямщик! (немецк.).



ГЛАВА LXVII,

трактующая о рождениях, браках и смертях

Каков бы ни был тайный план Бекки, по которому преданная любовь Доббина должна была увенчаться успехом, маленькая женщина считала, что этот план нужно пока держать в секрете. К тому же, отнюдь не будучи заинтересована в чем бы то ни было благополучии больше, чем в своем собственном, она должна была еще обдумать множество вопросов, касавшихся ее самой и волновавших ее гораздо больше, чем земное счастье майора Доббина.

Нежданно-негаданно она очутилась в уютной, удобной квартире, окруженная друзьями, лаской и добродушными, простыми людьми, каких давно уже не встречала; и хотя она была бродягой и по склонности и в силу обстоятельств, однако бывали минуты, когда отдых доставлял ей удовольствие. Как арабу, всю жизнь кочующему по пустыне на своем верблюде, приятно бывает отдохнуть у родника под финиковыми пальмами или заехать в город, погулять по базару, понежиться в бане и помолиться в ме-

чети, прежде чем снова приняться за свои набеги, так шатры и пилав Джоза были приятны этой маленькой измаильтянке. Она стреножила своего скакуна, сняла с себя оружие и с наслаждением грелась у хозяйского костра. Передышка в этой беспокойной бродячей жизни была ей невыразимо мила и отрадна.

И оттого, что самой ей было так хорошо, она изо всех сил старалась угодить другим; а мы знаем, что в искусстве доставлять людям удовольствие Бекки порой достигала подлинной виртуозности. Что касается Джоза, то даже во время краткого свидания с ним на чердаке гостиницы «Слон» Бекки ухитрилась вернуть себе значительную часть его расположения. А через неделю коллектор превратился в верного ее раба и восторженного поклонника. Он не засыпал после обеда, как бывало прежде — в гораздо менее веселом обществе Эмили. Он выезжал с Бекки на прогулки в открытом экипаже. Он устраивал небольшие вечера и выдумывал в ее честь всякие празднества.

Тейпворм, поверенный в делах, столь жестоко поносивший Бекки, явился на обед к Джозу, а потом стал приходить ежедневно — свидетельствовать свое уважение миссис Кроули. Бедняжка Эмми, которая никогда не отличалась разговорчивостью, а после отъезда Доббина стала еще более унылой и молчаливой, совершенно стушеввалась перед этой блистательной особой. Французский посланник был так же очарован Бекки, как и его английский соперник. Немецкие дамы, снисходительные во всем, что касается морали, особенно в отношении англичан, были в восторге от талантов и ума обворожительной приятельницы миссис Осборн. И хотя она не добивалась представления ко двору, однако сами августейшие и лучезарные особы прослышали о ее чарах и непрочь были с нею познакомиться. Когда же стало известно, что Бекки дворянка, из старинного английского рода, что муж ее гвардейский полковник, его превосходительство и губернатор целого острова, а с женой разъехался из-за пустяковой ссоры, каким придают мало значения в стране, где все еще читают «Вертера» и где «Сродство душ» того же Гете считается назидательной и нравственной книгой, то никто в высшем обществе маленького герцогства и не подумал отказать ей от дома; а дамы были склонны говорить ей

«ди» и клясться в вечной дружбе даже больше, чем Эмили, которую они в свое время оделяли теми же неоценимыми благами. Любовь и Свободу эти простоватые немцы толкуют в таком смысле, которого не понять честным жителям Йоркшира или Сомерсетшира; и в некоторых философски настроенных и цивилизованных городах дама может разводиться сколько угодно раз и все-таки сохранить свою репутацию. С тех пор как Джоз обзавелся собственным домом, там никогда еще не бывало так весело, как теперь, благодаря Ребекке. Она пела, она играла, она смеялась, она разговаривала на трех языках, она привлекала в дом всех и каждого и внушала Джозу уверенность, что это его личные выдающиеся светские таланты и остроумие собирают вокруг него местное высшее общество.

Что касается Эмми, которая совсем не чувствовала себя хозяйкой в собственном доме, кроме тех случаев, когда приходилось платить по счетам, то Бекки скоро открыла способ услаждать и развлекать ее. Она постоянно беседовала с нею об опальном майоре Доббине, не уставала восхищаться этим замечательным, благородным человеком и уверять Эмилию, что та обошлась с ним страшно жестоко. Эмми защищала свое поведение и доказывала, что оно было подсказано ей высокими религиозными правилами, что женщина, которая однажды... и так далее, да еще за такого ангела, как тот, за кого она имела величайшее счастье выйти замуж, остается его женою навсегда. Но она охотно предоставляла Бекки без конца расхваливать майора и даже сама по многу раз в день наводила ее на разговор о Доббине.

Средства завоевать расположение Джорджи и слуг были найдены легко. Горничная Эмили, как уже говорилось, была всей душой предана великодушному майору. Сперва она невзлюбила Бекки за то, что из-за нее Доббин разлучился с ее хозяйкой, но потом примирилась с миссис Кроули, потому что та показала себя самой пылкой поклонницей и защитницей Вильяма. И во время тех ночных совещаний, на которые собирались обе дамы после званных вечеров, мисс Пейн, расчесывая им «волоса», как она называла белокурые локоны одной и мягкие каштановые косы другой, всегда вставляла словечко в пользу этого милого, доброго джентльмена, майора Доббина. Ее

заступничество сердило Эмилию так же мало, как и восторженные речи Ребекки. Она постоянно заставляла Джорджи писать ему и велела приписывать в постскриптуме, что «мама шлет привет». И когда по ночам она смотрела на портрет мужа, он уже не упрекал ее, — быть может, она сама упрекала его теперь, когда Вильям уехал.

Нельзя сказать, чтобы Эмми чувствовала удовлетворение от своей героической жертвы. Она была очень *distracte*¹, нервна, молчалива и капризна. Родные никогда не видели ее такой раздражительной. Она побледнела и прихварывала. Не раз она пробовала петь некоторые романсы (одним из них был «*Einsam bin ich und allein*»² — этот нежный любовный романс Вебера, который в стародавние дни, о юные дамы, когда вы только-только родились на свет, доказывал, что люди, жившие до вас, тоже умели и петь и любить), — некоторые романсы, повторяю, к которым питал пристрастие майор. Напевая их в сумерках у себя в гостиной, она вдруг смолкала, уходила в соседнюю комнату и там, без сомнения, утешалась созерцанием миниатюры своего супруга.

После отъезда Доббина осталось несколько книг, помеченных его фамилией: немецкий словарь с надписью «Вильям Доббин *** полка» на первом листе, путеводитель с его инициалами и еще один-два тома, принадлежавших ему. Эмми поставила их на комод, где, под портретами обоих Джорджей, помещались ее рабочая коробка, письменный прибор, библия и молитвенник. Кроме того, майор, уезжая, забыл свои перчатки; и вот Джорджи, роясь как-то в материнской шкатулке, нашел аккуратно сложенные перчатки, спрятанные в так называемом потайном ящичке.

Не интересуясь обществом и скучая на балах, Эмми больше всего любила в летние вечера совершать с Джорджи далекие прогулки (на это время Бекки оставалась в обществе мистера Джозефа), и тогда мать с сыном беседовали о майоре в таком духе, что даже мальчик улыбался. Эмилия говорила сыну, что не знает человека лучше майора Вильяма — такого благородного, доброго,

¹ Рассеянна (франц.).

² «Я одинока и одна» (немецк.).

храброго и скромного. Снова и снова она твердила ему, что они обязаны всем, что только у них есть, вниманию и заботам этого доброго друга, что он помогал им в минуту их бедности и несчастий, пекся о них, когда никому не было до них никакого дела; что все его товарищи восторгались им, хотя сам он никогда не упоминал о своих подвигах; что отец Джорджи доверял ему больше, чем кому-либо другому, и всегда пользовался дружбой доброго Вильяма.

— Твой папа часто рассказывал мне, — говорила она, — как еще в школе, когда он был маленьким мальчиком, Вильям не дал его в обиду одному забияке и драчуну. И дружба между ними не прекращалась с того самого дня и до последней минуты, когда твой дорогой отец пал на поле брани.

— А Доббин убил того человека, который убил папу? — спросил Джорджи. — Я уверен, что убил, или убил бы, если бы только поймал его. Правда, мама? Когда я буду солдатом, и буду же я ненавидеть французов! Вот увидишь!

В таких беседах мать и сын проводили большую часть своего времени, когда оставались вдвоем. Бесхитростная женщина сделала мальчика своим наперсником. Он был таким же другом Вильяма, как и всякий, кто хорошо знал его.

Тем временем миссис Бекки, чтобы не отстать в проявлении нежных чувств, тоже повесила у себя в комнате портрет, чем вызвала немало веселого удивления среди своих знакомых и великую радость самого оригинала, который был не кто иной, как наш приятель Джоз.

Осчастливив семейство Седли своим переселением к ним, маленькая женщина, прибывшая с более чем скромным багажом, должно быть стыдилась невзрачного вида своих чемоданов и картонок и потому часто с большим уважением упоминала о вещах, оставшихся в Лейпциге, откуда она собиралась их выписать. Если путешественник постоянно твердит о своем роскошном багаже, который по чистой случайности оказался не при нем, — остерегайся такого путешественника, о сын мой! В девяти случаях из десяти это жулик.

Ни Джоз, ни Эмми не знали этого важного правила. Им казалось совершенно несущественным, действительно ли у Бекки есть множество прекрасных платьев в ее невидимых сундуках. Но так как ее наличный гардероб был чрезвычайно поношен, то Эмми снабжала ее вещами из собственных запасов или возила к лучшей в городе портнихе и там заказывала ей все необходимое. Теперь, будьте покойны, на ней не было рваных кружев и выцветших шелков, сползающих с плеча! С переменой своего положения Бекки изменила и свои привычки: баночка с румянами была заброшена; другое возбуждающее средство, к которому Бекки пристрастилась, также было забыто, или по крайней мере она обращалась к нему только в исключительных случаях — например, когда Джоз летним вечером, в отсутствие Эмми и мальчика, ушедших на прогулку, уговаривал ее выпить рюмочку. Но если Бекки строго себя ограничивала, то нельзя сказать того же про курьера: этого каналью Кирша невозможно было удерживать от бутылки, и он никогда не мог сказать, сколько выпил. Иной раз он сам поражался, почему так быстро убывает французский коньяк мистера Седли. Но оставим эту щекотливую тему!.. По всей вероятности, Бекки злоупотребляла напитками значительно меньше, чем до своего переезда в приличное семейство.

Наконец из Лейпцига прибыли пресловутые сундуки, числом три, но ничуть не огромные и не роскошные. Да и что-то не похоже было, чтобы Бекки доставала из них какие-нибудь наряды или украшения. Но из одной шкатулки, содержавшей кучу разных бумаг (это была та самая шкатулка, в которой рылся Родон Кроули в бешеных поисках денег, спрятанных Ребеккой), она с торжеством извлекла какую-то картину, а затем приколотла ее булавками к стене в своей комнате и подвела к ней Джоза. То был портрет какого-то джентльмена, исполненный карандашом, только физиономия его удостоилась окраски в розовый цвет. Джентльмен ехал на слоне, удаляясь от нескольких кокосовых пальм и пагоды. Это была сцена из восточной жизни.

— Разрази меня господь! Да ведь это я! — вскричал Джоз.

Да, это был он сам в цвете молодости и красоты, в нанковой куртке покроя 1804 года. Это была ста-

рая картинка, висевшая когда-то в доме на Рассел-сквере.

— Я купила его,— сказала Бекки голосом, дрожащим от волнения.— Я тогда отправилась посмотреть, не могу ли я чем-нибудь помочь моим милым друзьям. Я никогда не расстаюсь с этим портретом — и никогда не расстанусь!

— В самом деле? — воскликнул Джоз, преисполненный невыразимого восторга и гордости.— Значит, вам он действительно так дорог... из-за меня?

— Вы и сами это отлично знаете! — сказала Бекки.— Но к чему говорить... к чему вспоминать... оглядываться назад? Слишком поздно!

Для Джоза этот вечерний разговор был полон сладости. Эмми, как только вернулась домой, легла спать, чувствуя себя очень усталой и нездоровой. Джоз и его прекрасная гостья остались в очаровательном tête-à-tête, и сестра мистера Седли, лежа без сна в своей комнате, слышала, как Ребекка пела Джозу старые романсы, времен 1815 года. В эту ночь Джоз, против обыкновения, спал так же плохо, как и Эмилия.

Стоял июнь, а следовательно в Лондоне был самый разгар сезона. Джоз, каждый день читавший от слова до слова несравненного «Галиньяни» (лучшего друга изгнанников), за завтраком угощал дам выдержками из своей газеты. Еженедельно в ней помещается полный отчет о военных назначениях и перебросках воинских частей — новости, которыми Джоз, как человек, понюхавший пороху, особенно интересовался. И вот однажды он прочел: «Прибытие *** полка. — Грейвзэнд. 20 июня. — «Рамчундра», судно Ост-Индской компании, вошла сегодня утром в устье Темзы, имея на борту 14 офицеров и 132 рядовых этой доблестной части. Они находились за пределами Англии 14 лет, будучи отправлены за море в первый год после битвы при Ватерлоо, в каковом славном сражении принимали деятельное участие, а затем отличились в бирманской войне. Ветеран-полковник сэр Майкел О'Дауд, кавалер ордена Бани, со своей супругой и сестрой высадились здесь вчера вместе с капитанами Поски, Стаблом, Мекро, Мелони, лейтенантами Смитом, Джонсом, Томпсоном, Ф. Томпсоном, прапорщиками Хиксом и Греди. На пристани оркестр исполнил национальный гимн, и толпа громогласно приветствовала доблест-

ных ветеранов на их пути в гостиницу Уэйта, где в честь защитников Старой Англии был устроен пышный банкет. Во время обеда, на сервировку которого Уэйт, само собой разумеется, не пожалел никаких трудов, продолжали раздаваться такие восторженные приветственные клики, что леди О'Дауд и полковник вышли на балкон и выпили за здоровье своих соотечественников по бокалу лучшего уэйтовского кларета».

В другой раз Джоз прочитал краткое сообщение: майор Доббин прибыл в *** полк, в Четем; затем он огласил отчет о представлении на высочайшем приеме полковника сэра Майкела О'Дауда, кавалера ордена Бани, леди О'Дауд (представленной миссис Молой Мелони из Белимелони) и мисс Глорвины О'Дауд (представленной леди О'Дауд). Очень скоро после этого фамилия Доббина появилась в списке подполковников, потому что старый маршал Типтоф скончался во время переезда *** полка из Мадраса, и король соизволил произвести полковника сэра Майкела О'Дауда, по его возвращении в Англию, в чин генерал-майора, с указанием, чтобы он оставался командиром доблестного полка, которым так долго командовал.

Эмилия была осведомлена о некоторых из этих событий. Переписка между Джорджем и его опекуном отнюдь не прекращалась. Вильям даже писал раза два самой Эмили, но в таком непринужденно-холодном тоне, что бедная женщина почувствовала в свой черед, что утратила власть над Доббином и что он, как и говорил ей, стал свободен. Он покинул ее, и она была несчастна. Воспоминания о его бесчисленных услугах, о возвышенных и нежных чувствах вставали перед нею и служили ей укором и днем и ночью. По свойственной ей привычке она целыми часами предавалась этим воспоминаниям; она понимала, какой чистой и прекрасной любовью пренебрегла, и корила себя за то, что отвергла такое сокровище.

Да, его больше не было, Вильям растратил его. Он уже не любит Эмили, думал он, так, как любил раньше. И никогда не полюбит! Такую привязанность, какую он предлагал ей в течение многих лет, нельзя отбросить, разбить вдребезги, а потом снова склеить так, чтобы не видно было трещин.

Беспечная маленькая тиранка именно так и разбила

его любовь. «Нет,— снова и снова думал Вильям,— я сам себя обманывал и тешил надеждой: будь она достойна любви, которую я предлагал ей, она ответила бы на нее давно. Это была глупая ошибка. Но, разве вся наша жизнь не состоит из подобных ошибок? А если бы даже я добился своего, то не разочаровался бы я на другой же день после победы? Зачем же мучиться или стыдиться поражения?» Чем больше Доббин думал об этой долгой поре своей жизни, тем яснее видел, как глубоко он заблуждался. «Пойду опять служить,— говорил он,— и буду исполнять свой долг на том жизненном поприще, на которое небу угодно было меня поставить. Буду следить за тем, чтобы пуговицы у рекрутов были как следует начищены и чтобы сержанты не делали ошибок в отчетах. Буду обедать в офицерской столовой и слушать анекдоты нашего доктора-шотландца. Когда же состареюсь и превращусь в развалину, выйду на половинный оклад, а мои старухи сестры будут пилить меня. Ich habe gelebt und geliebt¹, как говорит героиня в «Валленштейне» *. Я человек конченный...» — Уплатите по счету и дайте мне сигару, да узнайте, что сегодня идет в театре, Фрэнсис; завтра мы отплываем на «Батавце».

Вышеприведенную речь, из которой Фрэнсис слышал только последние три строчки, Доббин произносил, расхаживая взад и вперед по Боомпъес * в Роттердаме. «Батавец» стоял в порту. Доббин мог рассмотреть то место на палубе, где он сидел с Эмми в начале своего счастливого путешествия. Что хотела ему сказать эта маленькая миссис Кроули? Э, да что там! Завтра он отплывает в Англию — домой, к своим обязанностям!

В начале июля маленький придворный кружок Пумперникеля распадался: члены его, в силу порядка, принятого у немцев, разъезжались по многочисленным курортам, где они пили минеральные воды, катались на осликах, а у кого были деньги и склонность — играли в азартные игры, вместе с сотнями себе подобных насыщались за табльдотами и так коротали лето. Английские дипломаты ехали в Теплиц и Киссинген, их французские

¹ Я жила и любила (немецк.).

соперники запирали свою chancellerie¹ и мчались на милый их сердцу Гентский бульвар. Лучезарная владетельная фамилия также отправлялась на воды или в свои охотничьи поместья. Уезжали все, кто только претендовал на принадлежность к высшему свету, а с ними вместе, конечно, и доктор фон Глаубер, придворный врач, и его супруга-баронесса. Купальный сезон был самым прибыльным в практике доктора: он соединял приятное с полезным и, обычно выбирая местом своего пребывания Остенде, усердно посещаемый немцами, лечил как себя самого, так и свою супругу морскими купаньями.

Его интересный пациент Джоз был для доктора настоящей дойной коровой, и он без труда убедил коллектора провести лето в этом отвратительном приморском городке как ради здоровья самого Джоза, так и ради здоровья его очаровательной сестры, которое действительно пошатнулось. Эмми было совершенно все равно, куда ехать. Джорджи запрыгал от радости при мысли о переезде на новые места. Что касается Бекки, то она, само собой разумеется, заняла четвертое место в прекрасной коляске, приобретенной мистером Джозом; двое слуг поместились впереди на козлах. У Бекки были кое-какие опасения насчет вероятной встречи в Остенде с друзьями, которые могли порассказать о ней довольно-таки некрасивые истории. Но пустяки! Она была достаточно сильна, чтобы не дать себя в обиду. Она обрела теперь такой надежный якорь в лице Джоза, что нужен был бы поистине сильный шторм, чтобы сорвать ее и бросить в волны. Инцидент с портретом доконал Джоза. Бекки сняла со стены своего слона и уложила его в шкатулку, полученную ею в подарок от Эмилии много лет тому назад; Эмми тоже пустилась в путь со своими «ларами» — своими двумя портретами, — и в конце концов все наши друзья остановились на жительство в чрезвычайно дорогой и неудобной гостинице в Остенде.

Здесь Эмилия начала брать морские ванны, пытаясь извлечь из них какую возможно пользу; и хотя десятки людей, знакомых с Бекки, проходили мимо и не кланялись ей, однако миссис Осборн, всюду появлявшаяся с нею вместе и никого не знавшая, не подозревала о таком отно-

¹ Канцелярию (франц.).

шении к приятельнице, которую она столь рассудительно избрала себе в компаньонки; сама же Бекки не считала нужным сообщать ей, что происходит перед ее невинным взором.

Впрочем, некоторые знакомые миссис Родон Кроули узнавали ее довольно охотно, — быть может, охотнее, чем она сама того желала бы. Среди них был майор Лодер (никакого полка) и капитан Рук (бывший стрелок); их можно было видеть в любой день на набережной, где они курили и глазели на женщин. Очень скоро они проникли в избранный кружок мистера Джозефа Седли и присоединились к его гостеприимному столу. Они не признавали никаких отказов: они врываются в дом — все равно, была там Бекки или нет, проходили в гостиную миссис Осборн, наполняя комнату запахом своих скрутков и усов, называли Джоза «старым пшютом», совершали набеги на его обеденный стол и хохотали и пили часами.

— Что это может значить? — спрашивал Джорджи, не любивший этих джентльменов. — Я слышал, как майор говорил вчера миссис Кроули: «Нет, нет, Бекки, вам не удастся одной завладеть старым пшютом. Дайте и нам на него поставить, не то я, черт возьми, вас выдам!» Что майор хотел сказать, мама?

— Майор! Не называй *его* майором! — сказала Эми. — Право, я не знаю, что он хотел сказать.

Присутствие Лодера, как и присутствие его друга, внушало бедной Эмили невыносимый ужас и отвращение. Они отпускали ей пьяные комплименты, нагло разглядывали ее за обедом, а капитан делал ей авансы, от которых ее бросало в дрожь; и она боялась встречаться с ним, если рядом не было Джорджа.

Ребекка — нужно отдать ей справедливость — также не разрешала этим господам оставаться наедине с Эмилией, тем более что майор был в то время свободен и поклялся, что завоюет ее расположение. Два негодяя дрались между собой за это невинное создание, отбивали ее друг у друга за ее же собственным столом. И хотя Эмилия не знала, какие планы эти мерзавцы строили на ее счет, она испытывала в их присутствии мучительную неловкость и страстно хотела одного — бежать.

Она просила, она молила Джоза вернуться домой.

Куда там! Он был тяжел на подъем, его удерживал доктор, а может, и еще кое-какие соображения. Во всяком случае, Бекки не стремилась уезжать в Англию.

Наконец Эмми приняла серьезное решение — бросилась с головой в воду: она написала письмо одному своему другу, жившему за морем; письмо, о котором никому не сказала ни слова, которое сама отнесла под шалью на почту, так что никто ничего не заметил. Лишь при виде Джорджи, который вышел встречать ее, Эмилия покраснела и смутилась, а вечером особенно долго целовала и обнимала мальчика. Вернувшись с прогулки, она весь день не выходила из своей комнаты. Бекки решила, что ее напугали майор Лодер и капитан.

«Нельзя ей тут оставаться, — рассуждала Бекки сама с собой. — Она должна уехать, глупышка этакая. Она все еще хнычет о своем болване-муже, хоть он уже пятнадцать лет как в могиле (и поделом ему!). Она не выйдет замуж ни за одного из этих господ. Какая дрянь этот Лодер! Нет, она выйдет замуж за «бамбуковую трость»; я это устрою сегодня же вечером».

И вот Бекки понесла Эмилии чашку чаю к ней в комнату, где застала ее в обществе портретов и в самом меланхолическом и нервном состоянии. Бекки поставила чашку на стол.

— Спасибо, — сказала Эмилия.

— Послушай меня, Эмилия, — начала Бекки, расхаживая по комнате и поглядывая на приятельницу с какой-то презрительной нежностью. — Мне нужно с тобой поговорить. Ты должна уехать отсюда, от дерзостей этих людей. Я не желаю, чтобы они тебя изводили; а они будут оскорблять тебя; если ты останешься здесь. Говорю тебе: они мерзавцы, которым место только на каторге. Не спрашивай, откуда я их знаю. Я знаю всех. Джоз не может тебя защитить: он слишком слаб и сам нуждается в защите. В житейских делах ты беспомощна, как грудной ребенок. Ты должна выйти замуж, иначе и ты сама и твой драгоценный сын, оба вы пропадете. Тебе, дурочка, нужен муж. И один из лучших джентльменов, каких я когда-либо видела, предлагал тебе руку сотни раз, а ты оттолкнула его, глупое, бессердечное, неблагоприятное создание!

— Я старалась... старалась изо всех сил! Право, я ста-

ралась, Ребекка, — сказала Эмилия молящим голосом, — но я не могу забыть... — и она, не договорив, обратила взор к портрету.

— Не можешь забыть *его*, — воскликнула Бекки, — этого себялюбца и пустозвона, этого невоспитанного, вульгарного денди, этого никчемного олуха, человека без ума, без воспитания, без сердца, который против нашего друга с бамбуковой тростью — все равно, что ты против королевы Елизаветы! Да ведь он тяготился тобой и, наверное, надул бы тебя, если бы этот Доббин не заставил его сдержать слово! Он признался мне в этом. Он никогда тебя не любил. Он вечно подсмеивался над тобою, я сама сколько раз слышала, и начал объясняться мне в любви через неделю после вашей свадьбы.

— Это ложь! Это ложь, Ребекка! — закричала Эмилия, вскакивая с места.

— Смотри же, дурочка! — сказала Бекки все с тем же вызывающим добродушием и, вынув из-за пояса какую-то бумажку, развернула ее и бросила на колени к Эмми. — Тебе известен его почерк. Он написал это мне... хотел, чтобы я бежала с ним... передал мне записку перед самым твоим носом, за день до того, как его убили, и поделом ему! — повторила Ребекка.

Эмми не слушала ее, она смотрела на письмо. Это была та самая записка, которую Джордж сунул в букет и подал Бекки на балу у герцогини Ричмонд. Все было так, как говорила Бекки: шалый молодой человек умолял ее бежать с ним.

Эмми поникла головой и, кажется, в последний раз, что ей полагается плакать на страницах нашей повести, приступила к этому занятию. Голова ее упала на грудь, руки поднялись к глазам, и некоторое время она отдавалась своему волнению, а Бекки стояла и смотрела на нее. Кто поймет эти слезы и скажет, сладки они были или горьки? Скорбела ли она о том, что кумир ее жизни рухнул и разлетелся вдребезги у ее ног, или негодовала, что любовь ее подверглась такому поруганию, или радовалась, что исчезла преграда, которую скромность воздвигла между нею и новым, настоящим чувством? «Теперь ничто мне не мешает, — подумала она. — Я могу любить его теперь всем сердцем. О, я буду, буду любить его, только бы он мне позволил, только бы простил меня!» Думается

мне, что это чувство затопило все другие, волновавшие ее нежное сердечко.

Сказать по правде, она плакала не так долго, как ожидала Бекки, которая утешала ее и целовала, — редкий знак симпатии со стороны миссис Бекки. Она обращалась с Эмми, словно с ребенком, даже гладила ее по головке.

— А теперь давай возьмем перо и чернила и напишем ему, чтобы он сию же минуту приезжал, — сказала она.

— Я... я уже написала ему сегодня утром, — ответила Эмми, страшно покраснев.

Бекки взвизгнула от смеха.

— Un biglietto, — запела она подобно Розине *, — essolo quí! ¹ — Весь дом зазвенел от ее пронзительного голоса.

На третье утро после этой сценки, хотя погода была дождливая и ветреная, а Эмилия провела ночь почти без сна, прислушиваясь к завыванию ветра и с жалостью думая обо всех путешествующих на суше и на море, она все же встала рано и пожелала пройтись с Джорджи на набережную. Здесь она стала прогуливаться взад и вперед; дождь бил ей в лицо, а она все смотрела на запад — за темную полосу моря, поверх тяжелых валов, с шумом и пеной ударявшихся о берег. Мать и сын почти все время молчали; лишь изредка мальчик обращался к своей робкой спутнице с несколькими словами сочувствия и покровительства.

— Я надеюсь, что он не пустился в море в такую погоду, — промолвила Эмми.

— А я ставлю десять против одного, что пустился, — ответил мальчик. — Смотри, мама, дым от парохода! — И действительно, вдали показался дымок.

Но ведь его могло и не быть на пароходе... он мог не получить письма... он мог не захотеть... Опасения одно за другим ударялись о ее сердечко, как волны о камни набережной.

Вслед за дымом показалось судно. У Джорджи была подозрительная труба, он ловко навел ее на цель и, по мере того как пароход подходил все ближе и ближе, то ныряя, то поднимаясь над водой, отпускал подходящие случаю

¹ Записка — вот она! (итал.)

замечания, достойные заправского моряка. На мачте пристани взвился и затрепетал сигнальный вымпел: «Приближается английский корабль». Точно так же, надо полагать, трепетало и сердце миссис Эмили.

Эмми посмотрела в трубу через плечо Джорджи, но ничего не увидела, — только какое-то черное пятно прыгало у нее перед глазами.

Джордж опять взял трубу и направил на пароход.

— Как он зарывается носом! — сказал он. — Вон волна перехлестнула через борт. На палубе только двое, кроме рулевого. Один лежит, а другой... другой в плаще... Ура! Это Доб, честное слово! — Он захлопнул подозрительную трубу и бурно обнял мать. Что касается этой леди, то о ней мы скажем словами излюбленного поэта: *λαχροὺν ἐλάττω*¹. Она не сомневалась, что это Вильям. Это не мог быть никто иной. Когда она выражала надежду, что он не поедет, это было чистым лицемерием. Конечно, он должен был приехать, — что же ему еще оставалось? Она знала, что он придет!

Корабль быстро приближался. Когда они повернули к пристани, чтобы встретить его, у Эмми так дрожали ноги, что она едва могла двигаться. Ей хотелось тут же упасть на колени и возблагодарить бога. О, думала она, как она будет благодарить его всю жизнь!

Погода была такая скверная, что на пристани совсем отсутствовали зеваки, которые обычно толпами встречают каждый пароход; даже зазывалы из гостиниц не дежурили в ожидании пассажиров. Сорванец Джордж тоже куда-то скрылся, так что, когда джентльмен в старом плаще на красной подкладке ступил на берег, едва ли кто мог бы рассказать, что там произошло. А произошло, говоря вкратце, вот что.

Леди, в промокшей до нитки шляпе и шали, протянув вперед руки, подошла к джентльмену и в следующее мгновение совершенно исчезла в складках старого плаща и что было сил целовала одну руку джентльмена, между тем как другая, по всей вероятности, была занята тем, что прижимала оную леди к сердцу (которого она едва достигала головой) и не давала ей свалиться с ног. Она бормо-

¹ Сквозь слезы смеялась (греческ.). (Гомер, Илиада, песнь VI.)

тала что-то вроде: «Простите... Вильям, милый... милый, милый, дорогой друг...» — чмок, чмок, чмок — и прочую несусветную ерунду в том же духе.

Когда Эмми вынырнула из-под плаща, все еще крепко держа Вильяма за руку, она посмотрела ему в лицо. Это было грустное лицо, полное нежной любви и жалости. Она поняла написанный на нем упрек и поникла головой.

— Вы долго ждали, прежде чем позвать меня, дорогая Эмилия, — сказал он.

— Вы больше не уедете, Вильям?

— Нет, никогда, — ответил он и снова прижал к сердцу свою нежную подругу.

Когда они выходили из помещения таможни, откуда-то выскочил Джорджи и навел на них свою подозрительную трубу, приветствуя Доббина громким, радостным смехом. Всю дорогу домой он плясал вокруг них и выделял самые причудливые пируэты. Джоз еще не вставал; Бекки не было видно (хотя она подглядывала за ними из-за гардины). Джорджи побежал справиться, готов ли завтрак. Эмми, сдав свою шаль и шляпку на руки мисс Пейн, стала расстегивать пряжку на плаще Вильяма и... с вашего позволения, мы пойдем вместе с Джорджем позаботиться о завтраке для полковника. Корабль — в порту. Он добился приза, к которому стремился всю жизнь. Птичка, наконец, прилетела. Вот она, положив головку ему на плечо, щебечет и воркует у его сердца, распушив свои легкие крылышки. Об этом он просил каждый день и час в течение восемнадцати лет, по этому томился. Вот оно — вершина — конец — последняя страница третьего тома. Прощайте, полковник! Благослови вас господь, честный Вильям! Прощайте, дорогая Эмилия! Зеленой опять, нежная повилика, обвиняясь вокруг могучего старого дуба, к которому ты прильнула!

Может быть, из стыда перед простым и добрым существом, которое первым стало на ее защиту, может из отвращения ко всяким сентиментальным сценам, — но только Ребекка, удовлетвовавшись той ролью, которую она уже сыграла в этом деле, не показалась на глаза полковнику Доббину и его жене. Объяснив, что ей необходимо съездить «по неотложным делам» в Брюгге, она от-

правились туда, и только Джорджи и его дядя присутствовали при венчании. Но после свадьбы, когда Джордж с родителями уехал в Англию, миссис Бекки вернулась (всего на несколько дней), чтобы утешить одинокого холостяка, Джозефа Седли. Он сказал, что предпочитает жизнь на континенте, и отклонил предложение поселиться вместе с сестрой и зятем.

Эмми была рада, что написала мужу прежде, чем прочла то письмо Джорджа или узнала о его существовании.

— Я все это знал, — сказал Вильям, — но разве мог я пустить в ход такое оружие против памяти бедняги? Вот почему мне было так больно, когда ты...

— Никогда больше не говори об этом! — воскликнула Эмми так смиренно и униженно, что Вильям переменял разговор и начал рассказывать о Глорвине и милой старой Пегги О'Дауд, у которых он сидел, когда получил письмо с призывом вернуться. — Если бы ты не послала за мною, — прибавил он со смехом, — кто знает, какая была бы теперь фамилия у Глорвины!

В настоящее время ее зовут Глорвина Поски (ныне майорша Поски). Она вступила в этот брак после смерти первой жены майора, решив выйти замуж только за однополчанина. Леди О'Дауд тоже столь привязана к своему полку, что, по ее словам, если что-нибудь случится с Миком, она, ей-богу, вернется и выйдет за кого-нибудь из своих офицеров. Но генерал-майор чувствует себя прекрасно; он живет очень пышно в О'Даудстауне, держит свору гончих и (если не считать, пожалуй, их соседа Хогарти из замка Хогарти) почитается первым человеком в графстве. Ее милость до сих пор танцует жигу и на последнем балу у лорда-наместника выразила желание протанцевать с обер-штальмейстером. И она и Глорвина утверждали, что Доббин обошелся с последней бессовестно; но когда подвернулся Поски, Глорвина утешилась, а великолепный тюрбан из Парижа умирил гнев леди О'Дауд.

Когда полковник Доббин вышел в отставку (а сделал он это сразу после свадьбы), он нанял премиленькую усадьбу в Хемпшире, недалеко от Королевского Кроули, где сэр Питт, после проведения билля о реформе*, безвыездно жил со своим семейством. Все его надежды на звание пэра рухнули, ибо оба его места в парламенте были потеряны. Эта катастрофа отразилась и на его кар-

мане и на состоянии духа, здоровье его стало сдавать, и он пророчил близкую гибель империи.

Леди Джейн и миссис Доббин сделались большими друзьями; между замком и Эвергринзом, домом полковника (который он снял у своего друга, майора Понто, жившего с семьей за границей), постоянно мелькали коляски, запряженные пони. Миледи была восприимчивой дочери миссис Доббин; девочку называли в честь крестной — Джейн, а крестил ее преподобный Джеймс Кроули, получивший приход после своего отца; между обоими мальчиками — Джорджем и Родоном — завязалась тесная дружба; во время каникул они вместе охотились, поступили в один и тот же колледж в Кембридже и ссорились из-за дочери леди Джейн, в которую оба, конечно, были влюблены. Обе матери лелеяли планы касательно брака Джорджа и этой юной леди, но я слышал, что сама мисс Кроули питает склонность к своему кузену.

Имя миссис Родон Кроули не упоминалось ни в том, ни в другом семействе. Для этого были свои причины. Ибо, куда бы ни направлялся мистер Джозеф Седли, туда же следовала и она; и этот несчастный человек был настолько ею увлечен, что превратился в ее послушного раба. Поверенные полковника сообщили ему, что его шурин застраховал свою жизнь на крупную сумму, откуда можно было заключить, что он добывал деньги для уплаты долгов. Он взял долгосрочный отпуск в Ост-Индской компании — и действительно его недуги с каждым днем множились.

Услышав, что брат ее застраховал свою жизнь, Эмилия изрядно перепугалась и упросила мужа съездить в Брюссель, где в то время находился Джоз, и разузнать о состоянии его дел. Полковник неохотно уезжал из дому (ибо он был погружен в свою «Историю Пенджаба», которая занимает его и по сию пору, и к тому же сильно беспокоился в то время за свою дочурку, которую боготворит и которая только что стала оправляться от ветряной оспы), но тем не менее он отправился в Брюссель и разыскал Джоза в одной из громадных гостиниц этого города. Миссис Кроули, которая имела собственную карету, принимала много гостей и вообще жила на широкую ногу, занимала несколько комнат в той же гостинице.

Полковник, конечно, не имел желания встречаться с этой леди и о своем приезде в Брюссель известил только Джоза, послав к нему лакея с запиской. Джоз попросил полковника зайти к нему в тот же вечер, когда миссис Кроули будет на *soirée* и они могут повидаться *с глазу на глаз*. Доббин застал шурина тяжело больным и в великом страхе перед Ребеккой, хотя он и расточал ей горячие похвалы: она самоотверженно ухаживала за ним во время целого ряда неслыханных болезней; она была для него настоящей дочерью.

— Но... но... ради бога, живите где-нибудь недалеко от меня и... и... навешайте меня иногда, — прохныкал несчастный.

Полковник нахмурился.

— Мы этого не можем сделать, Джоз, — сказал он. — При нынешних обстоятельствах Эмилия не может у вас бывать.

— Клянусь вам... клянусь, — прохрипел Джоз и потянулся к библии, — что она невинна, как младенец, так же безупречна, как ваша собственная жена.

— Пусть так, — мрачно возразил полковник, — но Эмми не может приехать к вам. Будьте мужчиной, Джоз: порвите эту некрасивую связь. Возвращайтесь домой, к нам. Мы слышали, что ваши дела запутаны.

— Запутаны? — воскликнул Джоз. — Кто распускает такую клевету? Все мои деньги помещены самым выгодным образом. Миссис Кроули... то есть... я хочу сказать... они вложены под хороший процент.

— Значит, у вас нет долгов? Зачем же вы застраховались?

— Я думал... небольшой подарок ей, если бы что-нибудь случилось; ведь вы знаете, я себя так плохо чувствую... понимаете, простая благодарность... Я собираюсь все оставить вам... я могу выплачивать страховые взносы из моего дохода, честное слово могу! — восклицал бесхарактерный шурин Вильяма.

Полковник умолял Джоза бежать сейчас же — уехать в Индию, куда миссис Кроули не могла последовать за ним; сделать все, чтобы порвать связь, которая может привести к самым роковым последствиям.

Джоз стиснул руки и воскликнул, что вернется в Индию, что сделает все, — но только нужно время.

— Нельзя ничего говорить миссис Кроули; она... она убьет меня, если узнает. Вы понятия не имеете, какая это ужасная женщина, — говорил бедняга.

— Так уезжайте вместе со мной, — сказал на это Доббин.

Но у Джоза не хватало смелости. Он хотел еще раз повидаться с Доббином утром; и тот ни в коем случае не должен говорить, что был здесь. А теперь пусть уходит: Бекки может войти. Доббин покинул его, полный дурных предчувствий.

Он никогда больше не видел Джоза. Три месяца спустя Джозеф Седли умер в Аахене. Выяснилось, что все его состояние было промотано в спекуляциях и обращено в ничего не стоящие акции различных дутых предприятий. Действительную ценность представляли только те две тысячи, на которые была застрахована его жизнь и которые и были поровну поделены между его «возлюбленной сестрой Эмилией, супругой полковника и прочее и прочее, и его другом и неоценимой сиделкой во время болезни — Ребеккой, супругой подполковника Родона Кроули, кавалера ордена Бани», каковая назначалась душеприказчицей.

Поверенный страхового общества клялся, что это самое темное дело в его практике, и поговаривал о том, чтобы послать в Аахен комиссию для обследования обстоятельств смерти; общество отказывалось платить по полису. Но миссис, или, как она себя титуловала, леди Кроули, немедленно явилась в Лондон (в сопровождении своих поверенных, гг. Берка, Тертля и Хейза из Тевиз-Инна) и потребовала от общества выплаты денег. Ее поверенные соглашались на обследование; они объявили, что миссис Кроули — жертва возмутительного заговора, отравившего всю ее жизнь, и, наконец, восторжествовали. Деньги были уплачены, и ее репутация восстановлена; но полковник Доббин отослал свою долю наследства обратно страховому обществу и наотрез отказался поддерживать какие-либо отношения с Ребеккой.

Ей не пришлось сделаться леди Кроули, хотя она продолжала так величать себя. Его превосходительство полковник Родон Кроули, к великой скорби обожавших его подданных, скончался от желтой лихорадки на острове Ковентри, за полтора месяца до кончины своего брата,

сэра Питта. Титул достался, таким образом, нынешнему сэру Родону Кроули, баронету.

Он тоже не пожелал видеть свою мать, которой, впрочем, выплачивает щедрое содержание и которая, повидимому, и без того очень богата. Баронет постоянно живет в Королевском Кроули с леди Джейн и ее дочерью, между тем как Ребекка — леди Кроули — по большей части обретается в Бате и Челтенхеме, где множество прекрасных людей считают ее несправедливо обиженной. Есть у нее и враги. У кого их нет? Ответом им служит ее жизнь. Она погрузилась в дела милосердия. Она посещает церковь всегда в сопровождении слуги. Ее имя значится на всех подписных листах. «Нищая торговка апельсинами», «Покинутая прачка», «Бедствующий продавец пышек» нашли в ее лице отзывчивого и щедрого друга. Она всегда торгует на благотворительных базарах в пользу этих обездоленных созданий. Эмми, ее дети и полковник, которые вернулись недавно в Лондон, встретили ее случайно на одном из таких базаров. Она скромно опустила глаза и улыбнулась, когда они бросились прочь от нее; Эмми — под руку с Джорджем (ныне превратившимся в чрезвычайно элегантного молодого человека), а полковник — подхватив маленькую Джейн, которую любит больше всего в мире, больше даже, чем «Историю Пенджаба».

«Больше, чем меня», — думает Эмми и вздыхает. Но он ни разу не сказал ей неласкового или недоброго слова и старается выполнить всякое ее желание, лишь только узнает о нем.

— Ах, *Vanitas vanitatum!*¹ Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет большего?.. Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено.

¹ Суета сует! (лат.)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

1

Роман Теккерея «Ярмарка Тщеславия» — одно из крупнейших произведений английского критического реализма, вошедшее в сокровищницу мировой литературы. Английские писатели-реалисты XIX века, Чарльз Диккенс, Вильям Мейкпис Теккерей, Шарлотта Бронте и Елизабет Гаскель, создали английский социальный роман, в котором запечатлели правдивую картину современной им действительности. Маркс назвал этих писателей блестящей школой романистов и отметил, что их «наглядные и красноречивые описания... разоблачили миру больше политических и социальных истин, чем это сделали все политики, публицисты и моралисты, вместе взятые...»¹ Эти слова Маркса в полной мере характеризуют и «Ярмарку Тщеславия».

Вильям Мейкпис Теккерей (1811—1863) — сын английского колониального чиновника, служившего в Калькутте. Шестилетним мальчиком, после смерти отца, он был отправлен из Индии, где прошли первые годы его детства, в Англию — для получения среднего, а затем высшего образования. В 1830 году будущий писатель ушел из Кембриджского университета, не закончив его, и решил посвятить себя живописи (незаурядный талант Теккерея-рисовальщика проявился впоследствии в иллюстрациях к собственным книгам). Изучать живопись Теккерей поехал в Германию, а затем во Францию. В Веймаре он познакомился с великим немецким писателем Гете.

¹ «К. Маркс, Ф. Энгельс об искусстве», изд. «Искусство», М. — Л. 1937, стр. 320—321.

В Париже он наблюдал политическую жизнь, еще полную отголосков революции 1830 года.

В 1833 году Теккерей, вернувшись в Англию, становится журналистом. Радикальные газеты «Знамя нации» и «Конституционалист» печатают его корреспонденции и публицистические статьи.

Художественные произведения Теккерей начал писать в конце 30-х годов, и многие из них печатались в сатирическом журнале «Панч». В этой работе, требовавшей живого отклика на события современности, вырабатывался творческий метод писателя, формировался его талант сатирика.

Наиболее значительными из произведений, печатавшихся в «Панче», были очерки «Снобы Англии» (1846—1847), переизданные в 1848 году под названием «Книга снобов». В том же 1848 году Теккерей закончил свое лучшее произведение — роман «Ярмарка Тщеславия». За «Ярмаркой Тщеславия» последовали «Пенденнис» (1850) и «Ньюкомы» (1855) — романы о современной Теккерею Англии, и исторические романы «Генри Эсмонд» (1852) и «Виргинцы» (1859). Кроме того, Теккерей напечатал прочитанные им в 1851 году публичные «Лекции об английских юмористах», содержащие характеристику творчества выдающихся английских писателей XVIII века, — лекции «Четыре Георга», в которых описаны общественные нравы Англии в царствование Георгов I, II, III и IV и даны сатирические портреты этих четырех королей. Последний роман Теккерей — «Дени Дюваль», напечатанный уже после смерти писателя, остался незаконченным.

В эпоху, когда творил Теккерей, в Англии происходили сильнейшие социальные потрясения и битвы. Завершение промышленного переворота способствовало усилению экономического могущества крупной буржуазии и в то же самое время усугубило обнищание народных масс. Экономические кризисы, безработица, жестокая эксплуатация рабочих и рабские условия труда вызывали выступления английского пролетариата, носившие не только экономический, но и политический характер. Рабочие требовали проведения парламентской реформы, которая обеспечила бы представительство народа в английском парламенте; существовавшие в Англии с XVIII века законы предоставляли избирательные права главным образом землевладельцам; возникшие в XIX веке промышленные районы почти не имели представительства в парламенте, в то время как за захиревшими «гнилыми местечками» (так назывались города, утратившие свое значение с перемещением экономических центров в другие места) сохранялось право посылать депутатов в парламент. В результате такого положения политическая власть оставалась в руках землевладельческой аристократии, а промышленная буржуазия и тем

более пролетариат были устранены от участия в управлении государством. Поэтому движение за реформу получило широкое распространение.

Промышленная революция, как определяет Энгельс, «...совершенно переместила центр тяжести экономических сил. Богатство буржуазии теперь стало расти несравненно быстрее, чем богатство земельной аристократии... Остававшаяся еще в руках аристократии политическая власть, которую она направила против притязаний новой промышленной буржуазии, стала несовместимой с новыми экономическими интересами. Необходимо было возобновить борьбу против аристократии, и эта борьба могла кончиться только победой новой экономической силы. Под влиянием французской революции 1830 г. впервые была проведена... парламентская реформа. Это создало для буржуазии признанное и могущественное положение в парламенте»¹.

Буржуазия сначала стремилась использовать выступления пролетариата в своих интересах — в качестве оружия против аристократии. Но вскоре она испугалась растущей революционности рабочего класса и «...предпочла новый компромисс с земельной аристократией компромиссу с массой английского народа»². Реформа 1832 года, уничтожившая «гнилые местечки» и передавшая политическую власть в руки промышленников, ничего не дала рабочему классу; пореформенная политика ставшей у власти буржуазии отличалась антидемократическим характером, и обманутый в своих ожиданиях английский пролетариат выступает после 1835 года как самостоятельная сила, требующая для себя, по словам Энгельса, «участия в политической власти — Народной хартии»³. За требованиями Народной хартии скрывалась истинная конечная цель чартизма — свержение капиталистического строя.

Таковы были особенности эпохи, в которую Теккерей создавал свои произведения. Сотрудничая в газетах радикального направления в качестве редактора и автора, Теккерей также выступает за реформу парламентской системы, за равенство всех перед законом, за свободу печати, свободу вероисповедания. Он надеялся, что следствием парламентской реформы будет не только расширение избирательных прав, но и облегчение жизни народа, сокращение рабочего дня и увеличение заработной платы рабочих, снятие налогов

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс, Избр. произведения в двух томах, М. 1949, т. II, стр. 99.

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. X, стр. 322.

³ К. Маркс, Ф. Энгельс, Избр. произведения в двух томах, М. 1949, т. II, стр. 392.

с бедняков и увеличение налогов, взимаемых с имущих классов. Теккерей критикует монархический строй и высказывается за республику.

В обстановке социально-политической борьбы 30—40-х годов XIX века рождается английский критический реализм, к которому вполне применимо высказывание В. Г. Белинского, определившего важнейшую особенность русской и западноевропейской литературы XIX века в следующих словах: «В наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы... сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов»¹. Анализируя произведения представителей мировой литературы и говоря о значении их творчества, Белинский делает вывод, что «поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе»².

Английский критический реализм был подлинным выразителем «интересов первой степени», о которых говорил Белинский. «Колорит и смысл всей эпохи» составляли острейшие социальные противоречия. Чартистское движение своей борьбой против капиталистической эксплуатации привлекло к этим противоречиям внимание широкой английской общественности — и, безусловно, общественности литературной. Разительные контрасты богатства и нищеты, жалкие заработки рабочих и огромные прибыли фабрикантов, изнурительный труд на предприятиях, праздность и развращенность богачей, полное бесправие бедняков и открытый произвол власть имущих — все эти социальные стороны английской жизни составляют содержание реалистических романов Диккенса, Теккерея, Бронте и Гаскель.

Сфера Теккерея — сатирическое изображение высших классов. Во всех своих произведениях, и публицистических, и художественных, он выражает «общее и необходимое» суровым и едким обличением правящих классов: стоящей у политической власти аристократии и постыдно пресмыкающейся перед ней буржуазии, которая была по характеристике Маркса «неофициально, но фактически господствующей во всех важнейших сферах гражданского общества»³.

Теккерей был беспощаден в своей сатире. Он создает огромную галерею сатирических образов аристократов и буржуа — членов английского парламента, политиков, военных, придворных, священников, дельцов Сити, купцов. Он показывает их главным образом

¹ В. Г. Белинский, Соч. в трех томах, М. 1948, т. III, стр. 793.

² Там же, стр. 792.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. X, стр. 321.

в их частной жизни; он бичует пороки, свойственные этим «хозяевам» Англии, обнаруживает позорные источники их богатств, мишуру их величия и блеска, низменность их побуждений. Его сарказм, его ирония продиктованы гневом и негодованием против общества, поправшего и унизившего человечность.

С самого начала своего творческого пути Теккерей выступает как реалист. Участвуя в литературной полемике против эпигонов романтизма, Теккерей отвергает романтическую идеализацию жизни, ложную патетику, сентиментализм. Он требует искусства правдивого, призванного обличать пороки, — искусства, выполняющего высокую общественную миссию.

Уже в одном из сравнительно ранних произведений Теккерей, историческом романе из эпохи XVIII века «Мемуары Барри Линдона», осуществлены принципы реализма. Теккерей, полемизируя с писателями, идеализировавшими историю, выбирает в качестве героя авантюриста, пробравшегося благодаря выгодной женитьбе в аристократическую среду, и показывает истинное лицо деятелей прошлого — хищников и деспотов, вокруг которых буржуазными историками и романистами создается ореол романтического величия.

Пороки своих современников он клеймит в написанных одновременно с «Барри Линдоном» очерках, составивших «Книгу снобов». Снобизм Теккерей определяет как угодливость по отношению к вышестоящим и презрение и деспотизм по отношению к низестоящим. Снобизм, по мнению Теккерей, является одним из самых основных пороков английского общества, который порожден самой английской общественной системой. При этой системе «титолопочитание является частью символа веры и дети воспитываются в духе узажения к знати», утверждает писатель в «Книге снобов». Подвергая жестокому осмеянию снобизм, Теккерей доказывает, что им заражены почти все слои общества; аристократы и буржуа, чиновники и литераторы, священнослужители и военные, господа и слуги — все они приучены простирались ниц перед рангом, титулом, богатством, высоким положением в обществе и пренебрежительно относиться к истинным человеческим достоинствам — уму, благородству, честности.

«Книга снобов» является и острым политическим памфлетом, направленным против самой основы государственного устройства Англии — против ее конституции, иронически называемой Теккереем в «Книге снобов» «предметом гордости британцев и зависти всех соседних наций». Теккерей показывает, что снобизм является национальным пороком, обусловленным особенностями исторического развития Англии. Он нападает на конституцию, которая закрепляет

за аристократией политическую власть, утверждая ее наследственные привилегии и права на командные посты в парламенте, в армии, в церкви. Обрушиваясь на аристократию за игнорирование ею интересов нации, саркастически издеваясь над рангами и степенями, Теккерей высказывается за лишение аристократии права на господство и требует социального равенства. «Я не могу более выносить это. Дьявольское изобретение дворянства, убивающее естественную доброту, честность, доброжелательство! Ранг и старшинство! Табель о рангах и степенях! Какая ложь! Все это имело смысл для церемониймейстеров прошлых веков. Явись, новый великий маршал, и водвори Равенство среди людей», — пишет Теккерей в «Книге снобов».

Тема «Книги снобов» развивается во всех последующих произведениях Теккерей со все большей полнотой и силой, достигая особой выразительности и остроты в «Ярмарке Тщеславия».

В романе «Пенденнис», дающем ту же безотрадную картину нравов буржуазно-аристократического общества, что и «Ярмарка Тщеславия», Теккерей разрабатывает тему «утраченных иллюзий». Герой романа Артур Пенденнис на опыте познает, что главной силой в буржуазном обществе являются деньги, что все в нем продается и покупается — любовь, дружба, убеждения, что продажны и пресса и парламент. Теккерей пытается противопоставить своего героя обществу, но Пенденнис не становится на путь борьбы, и ему остается путь приспособления к обществу.

В поисках подлинного героя Теккерей обращается к историческому прошлому Англии. В последующем романе, «Генри Эсмонд», жизнь аристократической семьи Каслвудов и Генри Эсмонда, показанная на фоне общественных нравов Англии конца XVII и начала XVIII века, связана писателем с социально-политической борьбой того времени. Теккерей рисует «изнанку» истории, разоблачает мнимый героизм исторических деятелей, их карьеризм, предательство и продажность. Его герой Эсмонд убеждается в несостоятельности монархии, в моральном разложении правящей верхушки, в беспринципности политических партий. «Ряд удивительных компромиссов, — горестно заключает участник исторических событий XVIII века Генри Эсмонд, — вот что являет собою английская история: компромиссы идейные, компромиссы партийные, компромиссы религиозные!»

«Генри Эсмонд» — роман, чрезвычайно важный для понимания всего творчества Теккерей.

В этом произведении материал прошлого Англии послужил писателю для того, чтобы вскрыть исторические корни пороков, типичных для английских привилегированных классов.

В предисловии к «Положению рабочего класса в Англии» Энгельс, говоря о массовых выступлениях рабочих, которые требовали в 40-е годы политической власти, отмечает, что «...их поддерживало большинство мелкой буржуазии, и единственное разногласие между ними состояло лишь в том, как надо добиться хартии: насильственным или законным путем»¹. Для Теккерея, который, как уже было сказано, стоял за парламентскую реформу, насильственный путь был неприемлем. Мужественный и суровый критик буржуазного общества, он, однако, никогда не призывает к разрушению его и пытается лишь исправить людей, но он сам сомневается в такой возможности, и поэтому выводы, которые он высказывает в своих романах, полны пессимизма и горечи.

Роман «Ньюкомы»; написанный в 1855 году, свидетельствует о тех переменах, которые произошли в общественных настроениях Англии после 1848 года, то есть после поражения чартизма и европейских революций. «Социалистические лозунги победоносных французских рабочих напугали английскую мелкую буржуазию и внесли дезорганизацию в движение английских рабочих,— пишет Энгельс в цитированной выше работе,—...Как раз в тот момент, когда чартизм должен был развернуть всю свою силу, она оказалась надломленной изнутри еще до того, как наступило внешнее поражение 10 апреля 1848 года»².

Страх мелкобуржуазной интеллигенции перед революцией сказывается известным образом на английской реалистической литературе. При сохранении общего весьма критического отношения к буржуазному обществу, в ней постепенно усиливаются тенденции примирения с последним.

Характерен в этом отношении роман Теккерея «Ньюкомы». Снова, как и во всех предыдущих произведениях, Теккерей клеймит высшие классы за их испорченность и показывает «власть чистогана». Но в то же самое время в этом романе писатель противопоставляет испорченной буржуазно-аристократической среде положительных героев, которых он теперь находит среди своих современников. Новые герои Теккерея — это полковник Ньюком и его сын, художник Клайв. Анализ «Ньюкомов» сделан в одном из номеров «Современника» Н. Г. Чернышевским, и этот анализ имеет глубокое значение для оценки эволюции творчества Теккерея.

Отметив высокие художественные достоинства нового романа Теккерея, Чернышевский остро критикует английского романиста за

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс, Избр. произведения в двух томах. М. 1949, т. II, стр. 392.

² Там же, стр. 392—393.

то, что он не связал деятельность своего героя, Клайва, с серьезными общественными интересами: «...если б вы поставили это дело как вопрос о средствах к жизни, или о борьбе гения с обстоятельствами, призвания с предубеждениями, — о, тогда иное дело, — картины и живопись были бы для вас случаем говорить о человеческой жизни, о силах, ею управляющих, о быте людей»¹.

Чернышевский, таким образом, как бы требует от Теккерея подкрепить сатиру на общество показом активного, действенного героя, озабоченного общественными проблемами и связывающего с ними свое призвание.

Если Чернышевский подверг критике роман «Ньюкомы», то он вместе с тем указывал на «Ярмарку Тщеславия» — как на высшее проявление реализма в творчестве Теккерея.

2

«Ярмарка Тщеславия» — это сатирическая картина моральной деградации правящих классов Англии. Аристократия представлена здесь несколькими поколениями семейства Кроули, лордом Стайном и целым рядом второстепенных персонажей. Буржуазия — семьями дельцов Сити, банкирами и купцами — Седли, Осборном, Доббинами. Все они снобы, полные «самоомнения, чопорности, мелочного тираниства и невежества»².

Глубина реализма Теккерея определяется его умением найти и показать ту действующую в обществе силу, которая обусловливает цели, стремления и деятельность изображаемых им людей, их взаимоотношения, их нравственный облик. Сила эта — закон купли и продажи. Этому закону подчинено поведение людей изображаемой Теккереем среды. Под его влиянием складываются характеры, он управляет судьбами. Не случайно символическое заглавие романа, позаимствованное Теккереем из аллегорического произведения писателя XVII века Бэньяна «Путь паломника». На ярмарке тщеславия, описываемой Бэньяном, «продаются любые товары: дома, земли, торговые предприятия, почести, повышения, титулы, страны, королевства... мужья, жены, дети... жизнь, кровь, тела, души — и все, что угодно... Здесь... увидишь воровство, убийства, прелюбодеяния, лжесвидетельства, — и все это кроваво-красного цвета».

¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., Гослитиздат, М. 1948, т. IV, стр. 519.

² «К. Маркс, Ф. Энгельс об искусстве», изд. «Искусство», М. — Л. 1937, стр. 321.

Та же социальная картина представлена и в «Ярмарке Тщеславия» Теккерея. Действие романа происходит в период примерно с 1812 по 1832 год. Нравы, описываемые в романе, характеризуют, однако, английскую аристократию и буржуазию не только этого периода. Это нравы развитого английского буржуазного общества, в котором в полной мере выявилась бесчеловечная сущность системы частной собственности, господства чистогана.

Погоня за деньгами определяет поведение и аристократов Кроули и Стайна, и купцов Осборна и Седли, и авантюристки Бекки Шарп. В романе превосходно изображено разлагающее влияние денег на человека в буржуазном обществе. Под влиянием страсти к деньгам человек превращается в себялюбца и деспота. Под влиянием этой страсти разрываются многолетние дружеские связи, разрушаются семьи; из-за материальных расчетов старый Джордж Осборн приказывает своему сыну отказаться от невесты и жениться на богатой наследнице.

На ярмарке тщеславия царят мелкие, пошлые расчеты. Они не оставляют места большим чувствам, высоким стремлениям, сильным страстям. Поэтому «Ярмарка Тщеславия» — роман без героя. Теккерею не мог найти его среди людей буржуазного английского общества XIX века.

Многочисленные члены аристократической семьи Кроули не испытывают никаких родственных чувств друг к другу, объединяет их только ожидание наследства, которое должно перейти к одному из них после смерти мисс Кроули. Это наследство превращает родственников в соперников, во врагов.

Теккерей подчеркивает наиболее типичные национальные черты аристократов Кроули. У английской аристократии, начиная с XVI века, по определению Энгельса, «...привычки и стремления были гораздо более буржуазными, чем феодальными. Они прекрасно знали цену деньгам и немедленно принялись вздувать земельную ренту, прогнав с земли сотни мелких арендаторов и заменив их овцами...»¹ Буржуазные, деляческие и торгашеские навыки, укрепившиеся у аристократии в процессе ее развития, составляли одну из характерных для нее черт и в эпоху, современную Теккерею. Великолепный сатирический портрет такого обуржуазившегося аристократа дает писатель в образе старого сэра Питта, баронета, пэра Англии, члена палаты общин от двух «гнилых местечек»: «Он питал страсть к сутяжничеству... Он был таким притяжимым землевладельцем, что только

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс, Избр. произведения в двух томах, М. 1949, т. II, стр. 95.

вконец разорившиеся горемыки решались арендовать у него землю, и таким расчетливым сельским хозяином, что буквально тряся над каждым зерном для посева... Он участвовал во всевозможных спекуляциях: разрабатывал копи; покупал акции обществ для постройки каналов; поставлял лошадей для почтовых карет; брал казенные подряды... среди всех баронетов, пэров и членов палаты общин Англии вряд ли бы нашелся другой такой хитрый, низкий, себялюбивый, вздорный и малопорядочный старик».

Теккерей, как уже было сказано, показывает действующих лиц своих романов только в их частной, личной жизни, но он не забывает сообщить читателю о том, что его аристократы — столпы общества. Правда, вопрос о служении обществу нисколько не беспокоит их: для сэра Питта Кроули-старшего два «гнилых местечка», представителем которых он являлся в палате общин, были лишь источником ежегодного дохода в полторы тысячи: владельцы «гнилых местечек» охотно продавали свое право представительства. Сын его, сэр Питт Кроули-младший, на свое наследственное право представлять в парламенте «гнилые местечки» также смотрит как на источник дохода и возможность получения титула пэра. Парламентскую реформу 1832 года он считает катастрофой: «гнилые местечки» были уничтожены, и от этого «пострадали и его карман и состояние его духа». Тонкими и острыми штрихами рисует Теккерей образы действующих лиц своего романа. Обнажая всеми способами политическую беспринципность этой типичной аристократической семьи, ее карьеризм, ее корыстные интересы, Теккерей доказывает несостоятельность всего класса, подвергает сомнению его право на командные государственные посты.

Буржуазия, с точки зрения Теккерей, заражена теми же самыми пороками, что и аристократия. Образы буржуа, созданные Теккереем в «Ярмарке Тщеславия», могут служить художественной иллюстрацией к характеристике английской буржуазии, данной Энгельсом в «Положении рабочего класса в Англии»:

«Мне никогда не приходилось встречать класса, столь глубоко деморализованного, столь безнадежно испорченного своекорыстием, внутренне разлагающегося и совершенно неспособного к какому бы то ни было прогрессу, как английская буржуазия... Все, что существует в мире, существует, по ее мнению, только ради денег, и она сама не составляет здесь исключения: она живет только для того, чтобы наживать деньги, она знает только одно счастье — счастье быстрой наживы, и одно горе — горе денежной потери»¹.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 553.

Корысть, нажива — вот основа всех взглядов, поведения и психики дельцов из Сити и их детей. Это проявляется в отношениях отцов к детям и детей к отцам, в матримониальных проектах, сделках, в выборе друзей и знакомых, в оценке вопросов общественного характера, событий мирового значения. Осборны и Седли равнодушны ко всему, что лежит вне их материальных расчетов. Самое крупное мировое событие того времени — война с Наполеоном, бушующая во всей Европе и ставящая на карту судьбу многих империй, — интересует их только с точки зрения ее выгоды или невыгоды для их благосостояния. Добрейший мистер Седли, играя на бирже, рассчитывает приумножить свое богатство в случае победы Наполеона, забывая о том, что Наполеон является врагом его родины. Мистер Седли, которому, как типичному английскому буржуа, чуждо патриотическое чувство, свои частные, корыстные интересы ставит выше интересов национальных. Поражение Наполеона при Лейпциге принесло банкротство мистеру Седли, и весть об этом поражении вызывает у него тревогу, так как это связано с его финансовыми операциями.

Образ Бекки Шарп — шедевр Теккерея. В нем сконцентрировано типичное для буржуазного общества своекорыстное отношение к миру и человеку. Бекки полна стяжательских стремлений и страсти к роскоши и наслаждениям. Она стремится сделать карьеру, выбиться в люди, стать титулованной дамой, быть представленной ко двору. Ее отношения к людям определены одним критерием: может или не может тот или другой человек — Эмилия, Джоз Седли, сэр Питт Кроули, Родон, мисс Кроули, лорд Стайн — послужить ее восхождению. Она хитрит и интригует, обольщает и обманывает. Она цинична и лицемерна в одно и то же время. У нее нет ни чести, ни совести; она не знает ни дружбы, ни любви. Она разыгрывает роль любящей матери, зная, что эта роль делает ее привлекательной в глазах тех, из кого она собирается извлечь выгоду. Эти уродливые качества Бекки отнюдь не даны ей от природы. Сила Теккерея в том, что он показывает типические образы, закономерно сложившиеся в типических для буржуазного общества обстоятельствах. Разнузданный эгоизм, антиобщественная сущность поведения Бекки рождены той борьбой, которую она с младенческих лет ведет за место в обществе снобов, где человека оценивают по его богатству или по его титулу.

Образ Бекки нарисован великолепными живыми и яркими красками.

Каждый из персонажей романа неповторим в своей индивидуальности, хотя все они, как уже было сказано, подчиняются силе одного и того же закона — закона купли и продажи.

В лекции о великом сатирике XVIII века Свифте, входящей в серию «Лекций об английских юмористах», Теккерей так определяет цель писателя: «Писатель-юморист стремится пробуждать и воспитывать в вас... презрение ко лжи, притворству и обману, сочувствие к слабым, бедным, угнетенным, несчастным». Такую же цель Теккерей ставит и перед собой.

Он не только живописует образы, рассказывает о поведении своих героев, раскрывает их чувства и мысли, — он сам вмешивается в события, комментирует мотивы действий своих персонажей: он перевоплощается то в хозяина ярмарочного балагана, на подмостках которого выступают марионетки — Бекки и Родон, Эмилия и Джордж и все другие, то, верный своему излюбленному приему иронии, — в такого же обывателя, как и все действующие лица романа. С позиций обывателя он высказывает такие же банальные суждения, как и все они, и начинает оправдывать тех, кого — логикой всех художественных образов, логикой событий — он осуждает. Так, он является в роли защитника Бекки, этой «бедной, милой девушки», не имевшей маменьки, которая бы о ней позаботилась и подыскала бы ей жениха. Но поза защитника — это прием, выражающий горчайшую иронию, прием, близкий приемам сатиры Свифта. Теккерей на самом деле не защитник Бекки, а ее судья. Он обвиняет общество, создавшее Бекки, но это не значит, что он оправдывает ее. «Презрение ко лжи, притворству и обману» возбуждает Теккерей в своем читателе, сам страстно ненавидя и презирая людей, утративших в мире алчном и эгоистичном свой человеческий облик.

Есть ли в этом мире корысти, на этой «ярмарке тщеславия» хоть один человек, которого можно было бы противопоставить всем Седли, Осборнам, Кроули, Стайнам? Прием иронии действует и в отношении «положительной героини» — Эмилии. Подробно и сочувственно анализирует Теккерей жизнь ее бедного, маленького, страдающего сердца, показывает ее любовь к Джорджу, ее верность этому пустоголовому шеголю. И незаметно и тонко Теккерей подводит читателя к пониманию ничтожности внутреннего мира Эмилии, сотворившей себе кумира из пошлого человека, к пониманию эгоистичности этой «большой» любви, превратившей ее в сноба, сверху вниз смотрящего на единственного настоящего в этой среде человека — Доббина. Доббин — носитель качеств, редких и исключительных на ярмарке тщеславия: он бескорыстен, самоотвержен и предан друзьям; он искренен, скромен; его связи с людьми свободны от влияния чистогана. Но Доббин выглядит Дон Кихотом среди нравственных уродов ярмарки тщеславия. Ничтожна «награда»,

дарованная ему судьбой за его верность и преданность, глубоко ироничен традиционно «счастливый» конец этого английского романа, грустен последний вывод автора о «суете сует».

А. М. Горький назвал имя Теккерея среди имен крупнейших сатириков мировой литературы: «Свифт, Рабле, Вольтер, Лесажи, Байрон, Теккереи, Верхарн, Анатоль Франс — помимо других, все это были безукоризненно правдивые и суровые обличители пороков командующего класса...»

Наглядные и красноречивые описания Теккерея, его смелая сатира навсегда пригвоздили к позорному столбу пороки господствующих классов Англии. Лучшие произведения писателя — и среди них в особенности «Ярмарка Тщеславия» — сохраняют свою действительную силу и в наше время, ибо честное, правдивое искусство помогает той борьбе, которую передовые люди во всем мире ведут против бесчеловечного капиталистического общества.

Е. Корнилова

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 17. *Миссис Гранди*. — Выражение: «Что скажет миссис Гранди?» — то есть как на это посмотрит «высший свет», вошло в Англии в поговорку благодаря популярной пьесе английского драматурга Мортонa (1764—1838), в которой персонажи постоянно задают этот вопрос.

Стр. 18. *Сен-Жерменское предместье* — квартал в Париже, населенный в описываемые времена аристократами.

Стр. 38. *Коридон* — идиллический пастух, персонаж из «Буколик» Вергилия.

...вы тоже рыцарь этого ордена. — Речь идет об ордене «Золотого руна».

Стр. 45. ...где нашему коллектору... довелось увидеть бывшего императора. — В первой половине XIX века английские суда, курсировавшие между Индией и Англией, заходили в порт острова св. Елены — места последней ссылки Наполеона.

Стр. 49. *Кенсингтон* — район Лондона с огромным парком; во времена Теккерея — предместье Лондона.

Стр. 57. *Джек Кеч* — кличка английского палача XVII века, Ричарда Джекета, ставшая в Англии нарицательной.

Стр. 77. *Сидонс*, Сарра (1775—1831) — известная английская трагическая актриса.

Стр. 81. *Диссидент* — в данном случае член одной из протестантских сект, не признающих господствующей в Англии англиканской церкви.

Стр. 100. *Ломбард-стрит* — улица в Лондоне, где помещались ссудные лавки и банки.

Стр. 117. «У слиянья рек» и «Юный менестрель» — стихотворения английского поэта-романтика Томаса Мура (1799—1852) из цикла «Ирландские мелодии».

Стр. 124. *Совестные деньги* — деньги, посылавшиеся в министерство финансов (большей частью анонимно) лицами, ранее уклонившимися от уплаты налога.

Стр. 141. *Синие книги* — официальные документы, издающиеся английским парламентом; обычно выходят в синих обложках.

Стр. 146. *Евтропий* — римский историк (IV в. н. э.), автор «Краткого очерка римской истории», который изучали в английских школах.

Стр. 149. *Лондонский Тауэр* — замок, бывший в продолжение столетий попеременно крепостью, дворцом, тюрьмой для крупных государственных преступников. Давно упраздненный как тюрьма, замок теперь открыт для осмотра.

Норвал — персонаж из трагедии «Дуглас», написанной английским драматургом XVIII века Джоном Хомом (1722—1808) на сюжет шотландской баллады.

Стр. 152. «*Помощник отцу*» — книга нравоучительных детских рассказов английской писательницы Марии Эджуорт (1767 — 1849).

«*История Сендфорда и Мертона*» — детская повесть английского писателя Дея (1748—1789), сторонника педагогических идей Руссо.

Стр. 155. ...*принц и Пердита*. — Речь идет о принце Уэльском, будущем короле Георге IV, и его фаворитке, актрисе Мери Робинзон (1758—1800), игравшей роль Пердиты в драме Шекспира «Зимняя сказка».

Герцог и Марианна Кларк — имеются в виду брат принца Уэльского герцог Йоркский и его возлюбленная — Мери-Анна Кларк.

Козуэй Ричард (1740—1821) — придворный живописец и портретист.

Эгалите, герцог Орлеанский — герцог Людовик-Филипп-Жозеф (1747—1793), отец французского короля Луи-Филиппа; принимал участие во французской буржуазной революции конца XVIII века, за что и получил прозвище Эгалите (Равенство). В 1793 году, заподозренный в измене, был казнен.

Стр. 156. *Король Брут* — легендарный завоеватель и король Англии.

Филипп и Мария — Филипп II (1527—1598), испанский король, один из вдохновителей феодально-католической реакции в Европе XVI века, был в течение короткого срока мужем английской королевы Марии Тюдор (1553—1558), прозванной Кровавой за свирепую расправу с протестантами.

Шотландская королева — Мария Стюарт (1542—1587), француженка по матери, из рода Гизов. Претендовала на английский престол. Была заключена в тюрьму королевой Елизаветой и по ее приказу казнена.

Гизы — французский дворянский род, возглавлявший реакционное католическое движение во Франции в эпоху гугенотских войн XVI века.

Великий герцог — имеется в виду Генрих I Гиз (1550—1588), один из наиболее фанатичных и активных участников Варфоломеевской ночи (массовой резни гугенотов, учиненной католиками в Париже в ночь под праздник св. Варфоломея 24 августа 1572 года); возглавил «Священную лигу» — католическую организацию, созданную для борьбы с гугенотами.

Армада — испанский флот, известный в истории под названием Непобедимой Армады, был снаряжен в 1588 году Филиппом II и отправлен к берегам Англии. Поражение Непобедимой Армады положило конец испанскому могуществу в Европе и усилило мощь Англии.

Иаков I (1566—1625) — английский король, сын Марии Стюарт.

Карл I (1600—1649) — английский король, был казнен во время английской революции.

Стр. 157. *Дофина Мария-Антуанетта* (1755—1793) — жена дофина (наследника), будущего короля Людовика XVI. Оба были казнены революционным народом Франции во время первой французской революции конца XVIII века.

Стр. 158. *Кибернское дело*. — Во время революции, в 1795 году, контрреволюционный отряд французских эмигрантов при помощи английского флота высадился в Бретани на полуострове Кибероне и был разбит революционными войсками под командованием Гоша.

Красная книга — список английской титулованной знати.

Стр. 159. *Принц Хел*, или Гарри, — уменьшительное имя принца Генриха, будущего английского короля Генриха V. Сцена, в которой принц примеряет корону отца, дана у Шекспира в трагедии «Генрих IV» (ч. II, акт. IV, сц. IV).

Стр. 160. *...напуская Оксфорд на Сент-Ашель*. — Речь идет о богословском факультете в Оксфордском университете и об основанной в годы Реставрации католической школе во французской деревне Сент-Ашель.

Лэтимер (ок. 1485—1555) — протестантский проповедник, сожженный на костре в царствование Марии Кровавой.

Лойола, Игнатий (1491—1556) — основатель иезуитского ордена.

Стр. 161. *«Путешественники»* — название аристократического клуба, основанного в начале XIX века в Лондоне.

Стр. 166. *Пудренная комната* — так в дворянских домах XVIII века назывались комнаты, где пудрили парики.

Стр. 167. *«Брауншвейгская Звезда»* — король Георг IV. Происходил из ганноверской династии, сменившей в Англии династию Стюартов.

Стр. 169. *Цинтия* — одно из имен Дианы, богини луны в римской мифологии.

Стр. 172. *«Похищение локона»* — героиня-комическая поэма английского поэта-классициста Попа (1688—1744); речь идет о «сверкающем кресте» на груди Белинды, героини поэмы.

Ментенон, маркиза (1635—1719) — фаворитка, а потом жена короля Людовика XIV.

Помпадур, маркиза (1721—1764) — фаворитка короля Людовика XV.

Стр. 174. *Малин* — город в Бельгии, славившийся своими кружевами.

Стр. 175. *Гонерилья* и *Регана* — жестокосердые дочери короля Лира.

Стр. 181. *Ньюгет* — старинная лондонская уголовная и политическая тюрьма, существовавшая до начала XX века.

Бедлам — дом для умалишенных в Лондоне.

Стр. 183. *Грейз-Инн* — одна из старинных судебных коллегий в Лондоне.

Стр. 184. *Красномундирники* — английские солдаты.

Стр. 185. *Младший Марло* и *мисс Хардкасл* — персонажи из комедии английского писателя Голдсмита (1728—1774) «Она смиряется, чтобы победить, или Ночь ошибок». Молодой Марло, чрезвычайно робкий в обществе светских девушек, развязен и предприимчив со служанками Мисс Хардкасл, переодевшись служанкой, покоряет молодого человека.

Ринг в Хайд-парке — беговой круг в Хайд-парке, близ которого в XVIII веке происходили аристократические дуэли.

Стр. 197. *Леди Джейн Грэй* (1537—1554) — королева Англии, казненная Марией Кровавой.

Стр. 201. *Семела* (греч. миф.) — возлюбленная Зевса, погибшая, когда громовержец по ее просьбе явился ей в своем истинном облике.

Тайберн — район Лондона, в котором с XII по XVIII век происходили казни.

Бельгрейвия — район Лондона, близко расположенный к аристократическому Вест-энду.

Тадмор — современное название Пальмиры, прославленного в древности города, от которого сейчас сохранились лишь развалины в оазисе Сирийской пустыни.

Леди Эстер Стенхоп (1776—1839) — племянница Питта, путешествовала по Востоку, где стала своего рода королевой одного из кочевых племен.

Дандас, Эдингтон, Скотт — английские государственные деятели, друзья и единомышленники Питта-младшего.

Эотен — имя героя книги «Эотен» («На рассвете»), принадлежащей перу друга Теккерея, Кинглейка, и посвященной его путешествиям по Востоку.

Стр. 202. *Христианнейший* — титул, в XV веке дарованный папою французским королям.

Стр. 204. *Патронесса Олмека*. — В залах Олмека устраивались развлечения и лекции для лондонской знати.

Справочники Дебрета и Берка — генеалогические словари английской аристократии.

Стр. 212. *Катон* — герой одноименной трагедии английского писателя Аддисона (1672—1719).

Стр. 214. *Фирман* — указ султана.

Стр. 215. *Эгист* и *Клитемнестра* — по древнегреческому мифу, разработанному Эсхилом в трагедии «Агамемнон», аргосский царь Агамемнон был убит своей женой Клитемнестрой и ее возлюбленным Эгистом.

Стр. 218. *Филомела* (греч. миф.) — афинская царевна, превращенная богами в соловья. В поэзии слово «Филомела» часто употреблялось в значении «соловей».

Разгадка шарада: Агамемнон — 1) ага («господин» на Востоке). 2) Мемнон. — По древнему преданию, голова статуи эфиопского царя Мемнона на восходе солнца издавала мелодичные звуки.

Соловей — по-английски Nightingale; в шараде: 1) night (ночь), 2) inn (гостиница), 3) gale (шторм).

Стр. 223. *Уайтфрайерс* (белые братья) — название средневекового монашеского ордена, члены которого носили белые плащи.

Цистерцианцы — монашеский орден, основанный в XI веке.

Стр. 226. *Фаг* — так называются в английской школе младшие воспитанники, обязанные прислуживать старшим ученикам.

Стр. 227. *Этли* — цирк Этли; существовал в Лондоне до второй половины XIX века.

Стр. 264. *Остров Ковентри* — вымысел автора, такого острова нет.

Стр. 266. *Криб*, Том — английский боксер.

Стр. 295. *Тренк* и *Латюд* — известные авантюристы XVIII века.

Стр. 298. *Лонгвуд* — мыза на острове св. Елены, где провел последние годы жизни и был первоначально похоронен Наполеон.

Стр. 321. *Миранда* и *Калибан* — персонажи из драмы Шекспира «*Буря*».

Стр. 329. ...из *трех президентств* — президентствами назывались во время существования Ост-Индской компании три административных провинции Индии: Мадрас, Бомбей и Бенгалия.

Мойра-плейс (от греч. *Мойра* — рок), *Минто-сквер* и другие названия улиц выдуманы Теккереем; для большинства их он использовал имена английских правителей Индии.

«*Черная яма*». — В 1756 году, во время борьбы индийских правителей против Ост-Индской компании, бенгальский набоб Сурадж-уд-Доуле, захватив Калькутту, заключил в военную тюрьму в форте Вильям 146 англичан, большинство которых погибло там от духоты в первую же ночь. Эта тюрьма получила название Калькуттской черной ямы.

Стр. 339. *Иуда*, *Симеон*, *Вениамин* — сыновья библейского патриарха Иакова; младший, Вениамин, был его любимцем.

Стр. 349. *Пантехникон* — здесь: мебельный склад.

Стр. 352. *Миссис Сомервилль* (1780—1872) — известный в Англии популяризатор естественно-научных знаний.

Эксетер-холл — здание на одной из главных улиц Лондона, в котором происходили религиозные собрания.

Стр. 355. *Брамовские шкатулки* — шкатулки с особыми замками, изобретенные англичанином Брамом.

Хаундсдич — улица в Лондоне, где были сосредоточены лавки, торговавшие старым платьем.

Стр. 360. *Чимароза* (1749—1801) — итальянский композитор.

Стр. 362. *Пумперникель* (по-немецки — черный хлеб) — под этим вымышленным названием Теккерей изображает в иронических тонах город Веймар, столицу герцогства Саксен-Веймар Эйзенахского, где он сам побывал в молодости.

Стр. 363. *Шредер-Девриен*, Вильгельмина (1804—1860) — известная оперная певица, прославившаяся созданием роли Фиделио в одноименной опере Бетховена «*Фиделио*, или Супружеская любовь».

Стр. 371. *Собесский*, Ян (1624—1696) — польский король; в союзе с австрийцами в 1683 году одержал победу над турками под Веной.

Стр. 372. *Трофоний* (греч. миф.) — строитель храма в Дельфах; в честь самого Трофония был воздвигнут храм, близ которого находилась пещера, славившаяся своим оракулом.

Вакх и Ариадна (греч. миф). — По преданию, дочь Критского царя Ариадна помогла Тезею выбраться из Лабиринта с помощью нити, но была покинута последним на острове Наксосе, где стала женою Вакха.

Стр. 374. *«Сомнамбула»* — опера итальянского композитора Беллини (1801—1835).

Стр. 376. *Герцогиня Беррийская* — вдова сына Карла X, герцога Беррийского, убитого в 1820 году шорником Лувелем; после июльской революции 1830 года вместе с Карлом X отправилась в Англию, где пыталась подготовить восстание против Луи-Филиппа Орлеанского, ставшего королем после свержения Карла X.

Герцог Ангулемский (1775—1844) — старший сын Карла X; после революции 1830 года вместе с отцом переехал в Англию; представитель крайней монархической партии Бурбонов.

Стр. 386. *Докторс-коммонс* — судебное учреждение, ведавшее делами по заключению и расторжению браков, церковными, адмиралтейскими и т. д.; упразднено во второй половине XIX века.

Стр. 396. *«La Dame Blanche»* («Белая дама» — комическая опера французского композитора Буальдье (1775—1834).

Помпилий, Нума — один из семи легендарных римских царей; по преданию, нимфа *Эгерия*, его возлюбленная, помогала ему своими советами в управлении царством.

Стр. 397. *Ним и Пистоль* — персонажи из комедии Шекспира «Виндзорские кумушки» и трагедии «Генрих IV», беспутные гуляки и прихлебатели Фальстафа.

Стр. 408. *...по Авернской тропинке очень легко спускаться.* — Авернское озеро в Италии, из которого поднимаются серные испарения, в древности считалось спуском в ад. Отсюда латинское выражение — *facilis descensus Averni* (легкий спуск Авернский).

Стр. 416. *Фукс* — так немецкие студенты называли первокурсников.

Стр. 440. *«Валленштейн»* — трилогия Шиллера. Во второй части трилогии — «Пикколомини» — Текла поет песенку, кончающуюся словами: «Я жила и любила».

Боомпъес (Деревца) — название набережной в Роттердаме.

Стр. 445. ...подобно *Розине*—героине оперы «Севильский цирюльник» Россини, написанной на сюжет одноименной комедии Бомарше. На предложение Фигаро написать влюбленному в нее Альмавиве, Розина показывает уже готовую любовную записку.

Стр. 448. *Билль о реформе*. — По парламентской реформе 1832 года были уничтожены «гнилые местечки».

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава XXXV.</i> Вдова и мать	3
<i>Глава XXXVI.</i> Как можно жить — и жить припеваючи — не- известно на что	16
<i>Глава XXXVII.</i> Продолжение предыдущей	27
<i>Глава XXXVIII.</i> Семья в крайне стесненных обстоятельствах	45
<i>Глава XXXIX.</i> Глава циническая	62
<i>Глава XL,</i> в которой Бекки признана членом семьи	73
<i>Глава XLI,</i> в которой Бекки вновь посещает замок предков	84
<i>Глава XLII,</i> в которой речь идет о семье Осборнов	98
<i>Глава XLIII,</i> в которой читателя просят обогнуть мыс Доброй Надежды	108
<i>Глава XLIV.</i> Между Лондоном и Хемпширом	120
<i>Глава XLV.</i> Между Хемпширом и Лондоном	133
<i>Глава XLVI.</i> Невзгоды и испытания	144
<i>Глава XLVII.</i> Гонт-хаус	154
<i>Глава XLVIII,</i> в которой читатель вводится в высшее об- щество	165
<i>Глава XLIX,</i> в которой мы наслаждаемся тремя переменами блюд и десертом	179
<i>Глава L</i> содержит рассказ об одном тривиальном происше- ствии	189
<i>Глава LI,</i> где разыгрывается шарада, которая, быть может, поставит, а быть может, и не поставит читателя втупик .	200
<i>Глава LII,</i> в которой лорд Стайн показывает себя с самой привлекательной стороны	222
<i>Глава LIII.</i> Спасение и катастрофа	235
<i>Глава LIV.</i> Воскресенье после битвы	247
<i>Глава LV,</i> в которой развивается та же тема	258
<i>Глава LVI.</i> Из Джорджи делают джентльмена	277

Глава LVII. Эотен	292
Глава LVIII Наш друг майор	302
Глава LIX. Старое фортепьяно	316
Глава LX. Возвращение в благородное общество	329
Глава LXI, в которой гаснут два светильника	337
Глава LXII. Am Rhein	354
Глава LXIII, в которой мы встречаемся со старой знакомой	368
Глава LXIV. Неприкаянная глава	383
Глава LXV, полная дел и забав	403
Глава LXVI. Amantium irae	413
Глава LXVII, трагующая о рождениях, браках и смертях	432
Послесловие. Е. Корнилова	453
Примечания. М. Черневич	466

Редактор *Л. Арабей*
Переплет и титул *А. Санетко*
Художественный редактор *Н. Широков*
Технический редактор *Ю. Алексеева*
Корректоры *В. Михайлова, А. Косая*

*


АТ 01579. Подп. к печати 13. III 1958 г.
Тираж 100 000 экз. Формат 84×108_{1/2}. Физ. печ.
л. 14,875. Усл. печ. л. 24,39. Уч.-изд. л. 24,26.
Цена 7 руб. 60 коп. Зак. 791.

Типография им. Сталина, Минск,
проспект им. Сталина, 105.

25/11/65

EXHIBIT NO.	065
DATE	
TIME	

7 p. 60 k.



В. ТЕККЕРЕЙ
ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВІЯ